



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

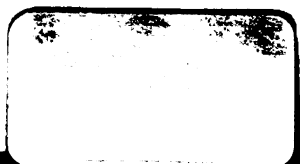
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





Tv 1044
2583

Ч. Вѣтринскій.

(Вас. Е. Чешихинъ)

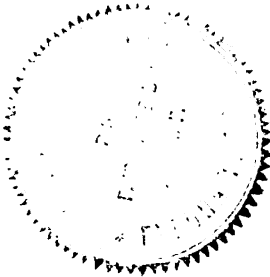
Т. Н. ГРАНОВСКІЙ

И ЕГО ВРЕМЯ.

#1603



ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.



There is no time so miserable,
but a man may be true.

Не бываетъ времени настолько
бѣдственнаго, чтобъ человѣкъ не
могъ быть честенъ.

Шекспиръ, Тимонъ Афинскій,
д. IV, сц. 3.

Издание 2-е.

Издательство
О. Ж. Поповой.

1905.

С.-Петербургъ,
Невскій пр. 54.

Тип. Исидора Гольдберга, Спб., Екатерин. кан., 94.

Предисловіе ко второму изданію.

Выпуская въ свѣтъ первое изданіе книги „Грановскій и его время“, авторъ говорилъ, между прочимъ:

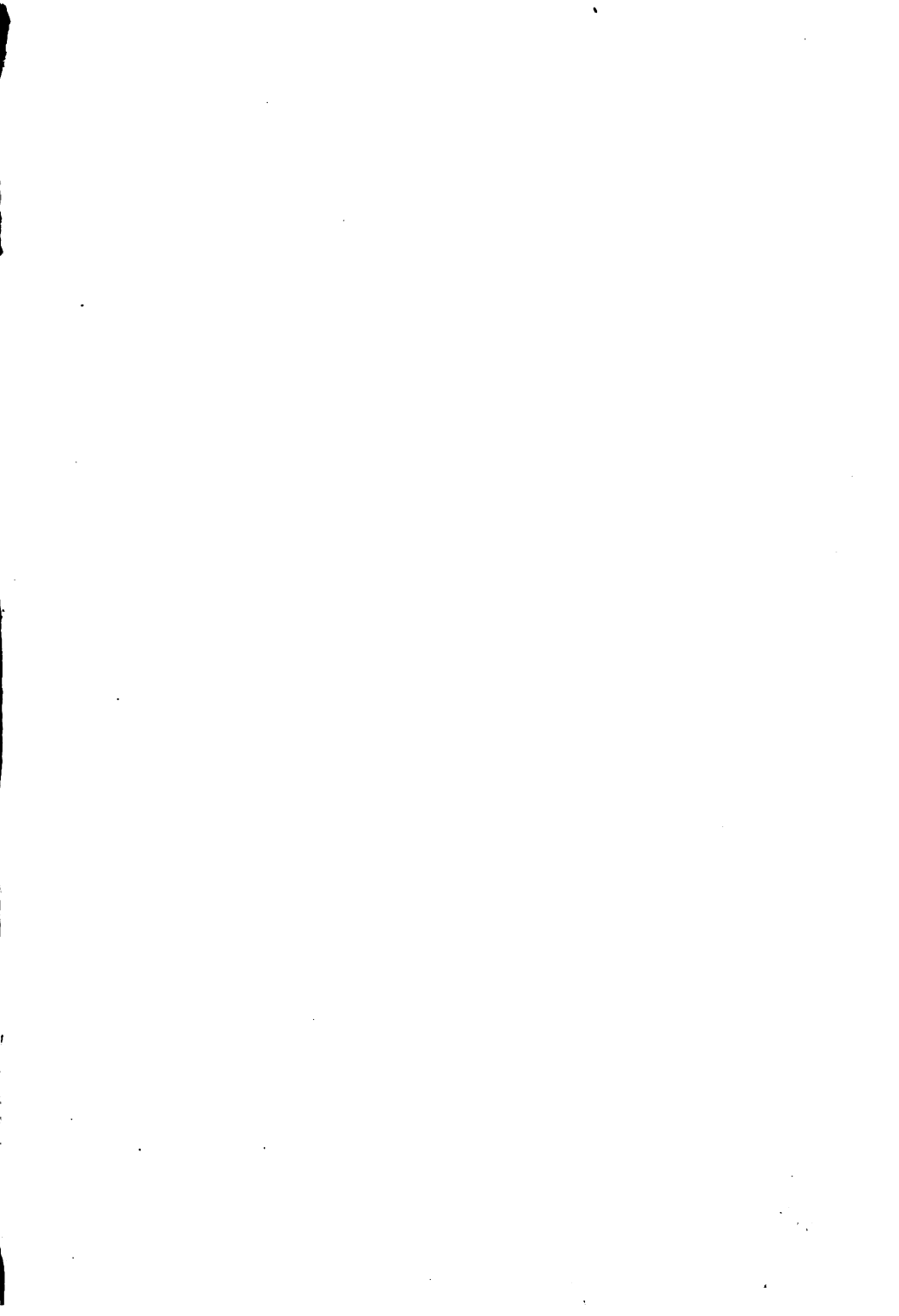
„Имя московскаго профессора сороковыхъ годовъ, Тимоея Николаевича Грановскаго, принадлежитъ въ русскомъ обществѣ къ числу именъ самыхъ общеизвѣстныхъ, произносимыхъ съ невольнымъ почтеніемъ, и называется неизмѣнно однимъ изъ первыхъ, какъ только рѣчь заходитъ о сороковыхъ годахъ.

„Третье изданіе сочиненій Грановскаго, вышедшее въ 1892 г., весьма запоздало послѣ первыхъ двухъ (1856 и 1866 гг.). Съ появленіемъ его и благодаря тому, что печать въ свое время отмѣтила нѣсколько годовщинъ событій жизни Грановскаго, интересъ къ личности этого дѣятеля замѣтно оживился.

„Первая подробная біографія Грановскаго, составленная А. В. Станкевичемъ, напечатана въ 1869 г. При всѣхъ достоинствахъ этой книги, написанной очень тепло и цѣнной, какъ собраніе писемъ Грановскаго, она во многомъ должна быть дополнена, особенно что касается отношеній Грановскаго къ условіямъ и теченіямъ тогдашней общественной жизни. Только, воссоздавъ совокупность внѣшнихъ условій и теченій эпохи, и возможно выяснитъ историческія заслуги всякаго дѣятеля въ желательной полнотѣ. Сводя воедино разрозненные старыя и новыя свѣдѣнія о Грановскомъ и лицахъ, такъ или иначе съ нимъ соприкасавшихся, авторъ и пытался въ предлагаемой книгѣ подвести болѣе или менѣе полный итогъ дѣятельности и времени Грановскаго.

„Авторъ старался избѣжать излишне панегирическаго тона и исключительнаго превознесенія „гуманности“ Гранов-





Изъ „Медвѣжьей охоты“ Н. Некрасова.

(ВМѢСТО ВВЕДЕНІЯ).

. . . Не забудь,
Я думаю, ты истинныхъ свѣтилъ,
Отмѣтившихъ то время роковое:
Бѣлинскій жилъ тогда, Грановскій, Гоголь жилъ,
Еще найдется славныхъ двое-трое—
У нихъ тогда училось все живое...
Бѣлинскій былъ особенно любимъ...
Молясь твоей многострадальной тѣни,
Учитель! передъ именемъ твоимъ
Позволь смиренно преклонить колѣни!

.
Грановскаго я тоже близко зналъ...
Великій умъ! счастливая природа!
Но говорилъ онъ лучше, чѣмъ писалъ.

.
Передъ рядами многихъ поколѣній
Прошелъ твой свѣтлый образъ; чистыхъ впечатлѣній
И добрыхъ знаній много сѣялъ ты,
Другъ Истины, Добра и Красоты!
Пытливъ ты былъ: искусство и природа,
Наука, жизнь—ты все познать желалъ,
И въ новомъ творествѣ ты силы почерпалъ,
И въ геніи угасшаго народа...
И всѣмъ дѣлиться съ нами ты хотѣлъ!
Не диво, что тебя мы горячо любили:
Терпимость и любовь тобой руководили.
Ты настоящее оплакивать умѣлъ
И брата узнавалъ въ рабѣ иноплеменномъ,
Отъ насъ вѣками отдаленномъ!
Готовилъ родинѣ ты честныхъ сыновей,
Провидя лучъ зари за непроглядной далью.
Какъ ты любилъ ее! Какъ ты скорбѣлъ о ней!
Какъ рано умеръ ты, терзаемый печалью!

Когда надъ бѣдной русскою землею
Заря надежды медленно всходила,
Созрѣлъ недугъ, посянннй тоской,
Которая всю жизнь тебя крушила...
Да, славной смертью, смертью роковой
Грановскій умеръ... Кто не издѣвался
Надъ „безпредметною“ тоской?
Но глупый смѣхъ къ чему не придирался!

.
Не понимаемъ мы глубокихъ мукъ,
Которыми болить душа иная,
Внимая въ жизни вѣчно-ложный звукъ
И въ праздности невольной изнывая;
Не понимаемъ мы—и гдѣ же намъ понять?—
Что бѣлый свѣтъ кончается не нами,
Что можно личнымъ горемъ не страдать
И плакать честными слезами.
Что туча каждая, грозящая бѣдой,
Нависшая надъ жизнью народной,
Слѣдъ оставляетъ роковой
Въ душѣ живой и благородной!

Да, были личности!.. Не пропадетъ народъ,
Обрѣтшій ихъ во времена крутыя!
Мудренными путями Богъ ведетъ
Тебя, многострадальная Россія!
Попробуй, усомнись въ твоихъ богатствахъ
Доисторическаго вѣка,
Когда и въ наши дни выносятъ на плечахъ
Все поколѣнье два-три человѣка!

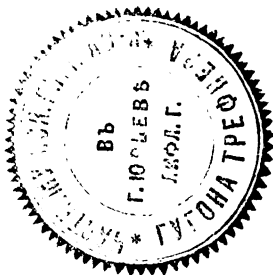
1867 г.

Памяти Грановскаго.

(Изъ стихотворенія, прочитаннаго на могилѣ Грановскаго 4 октября
1895 г. студентомъ Ковалевскимъ).

Минуло сорокъ долгихъ лѣтъ,
Какъ ты ушелъ отъ насъ навѣки,
Но о великомъ человѣкѣ
Живетъ преданье... Многихъ нѣтъ
Твоихъ друзей, но много новыхъ
Ты воспиталъ друзей себѣ,

Какъ ты, на подвигъ твой готовыхъ,
Какъ ты, мужающихъ въ борьбѣ.
И если мы тебя не знали,—
Ты слишкомъ рано кончилъ жить,—
Твои друзья въ часы печали
Учили насъ тебя любить.
На утрѣ новой русской жизни
Ты кончилъ свой тернистый путь,
И не успѣлъ ты отдохнуть
Въ своей избавленной отчизнѣ.
Печальныхъ дней твоихъ закатъ
Совпалъ съ зарей освобожденья,
И лучший въ мѣрѣ другъ и братъ—
Ты кончилъ жизнь съ концомъ гоненья;
И желчь и горечь думъ своихъ
Ты за собой унесъ въ могилу,
И мысль о пользѣ словъ твоихъ
Тебѣ конца не облегчила...



№ 1603

I.

Дѣтство и юность; годы ученья.

Тимоѣй Николаевичъ Грановскій родился въ Орлѣ 9-го марта 1813 г. Биографъ его * сообщаетъ въ подробности свѣдѣнія о ближайшихъ родственникахъ его. Мы узнаемъ, что дѣдъ Грановскаго былъ человѣкъ характера рѣшительнаго и суроваго; собственнымъ трудомъ выбившись изъ бѣдности, онъ увозомъ женился на дочери своего начальника и, идя въ гору, оставилъ отцу Грановскаго имѣніе Погорѣлецъ въ 25 верстахъ отъ Орла. Старикъ кончилъ сумасшествіемъ, которое приняло очень своеобразную окраску: такъ, онъ написалъ очень дѣльный проектъ судебной реформы, пересыпавъ его совѣтами такого-то секретаря высѣчь, такого-то сослать и т. д. Отецъ будущаго профессора, совѣтникъ солянаго управленія, Николай Тимоѣевичъ Грановскій, какъ и дѣдъ, былъ человѣкъ по своему не глухой, но въ противоположность дѣду—совершенно безхарактерный и безпечный и къ тому же игрокъ. Мать Т. Н. Грановскаго, дочь богатаго малороссійскаго помѣщика Черныша, Анна Васильевна была мало образована; да въ то время образованныхъ женщинъ со свѣчей было поискать въ средѣ провинціального дворянства. Во всякомъ случаѣ ея природный умъ, живой общительный характеръ, горячее любящее сердце, имѣли рѣшительное вліяніе на весь складъ характера ея старшаго сына Тимоѣя, какъ самъ онъ впоследствии признавалъ это. Кромѣ него въ семьѣ было двѣ дочери и двое сыновей, одинъ изъ которыхъ умеръ еще въ дѣтствѣ.

* Т. Н. Грановскій и его переписка. Т. I. Биографическій очеркъ А. Станкевича. Изд. второе. Т. II. Переписка Т. Н. Грановскаго. Значительная часть переписки—на французскомъ языкѣ; при цитатахъ мы ограничиваемся переводомъ. Отрывки изъ писемъ Грановскаго, источникъ которыхъ особо не указавъ, цитированы по биографіи, составленной А. Станкевичемъ.

Объясненіе нѣкоторыхъ чертъ Грановскаго ищутъ и въ южномъ его происхожденіи: „сынъ свѣтлаго и вмѣстѣ съ тѣмъ задумчиваго русскаго юга, онъ какъ будто заимствовалъ отъ тамошней природы богатство поэтическихъ тоновъ своего душевнаго настроенія, мягкую ровность характера и ту прозрачную дымку легкой грусти, которая окутывала его даже въ лучшіе минуты его жизни“ *.

Воспитаніе Т. Н. шло кое-какъ. На шестомъ году онъ попалъ вмѣстѣ съ больнымъ дѣдомъ, баловавшимъ его, на Кавказъ и, какъ само собою разумѣется, вывезъ оттуда ребяческія мечты о военной службѣ. Среди крѣпостной прислуги и дѣтей дворовыхъ мальчику пришлось расти, къ счастью, не слишкомъ долго. Ученье свое онъ началъ у разныхъ учителей изъ иностранцевъ, оставшихся въ Россіи послѣ 1812 г. То было буквально то ученіе, о которомъ Пушкинъ говорилъ въ „Онѣгинъ“:

Мы всѣ учились понемногу
Чему-нибудь и какъ-нибудь...

Умѣнье говорить и писать по французски и знакомство съ англійскимъ языкомъ, да охота къ чтенію, которое шло безъ всякаго толку—что ни подвернется подъ руку,—вотъ и все, что Грановскій вынесъ изъ домашняго обученія.

На 13-мъ году онъ былъ отданъ въ московскій пансіонъ Кистера, но даже по нѣмецки не выучился, несмотря на двухлѣтнее пребываніе здѣсь и свои способности. Оно и не удивительно. По разсказу одного товарища Грановскаго по этой школѣ **, пансіонъ для благородныхъ дѣтей мужескаго пола коллежскаго совѣтника доктора Федора Кистера оказывается учебнымъ заведеніемъ достоинства весьма сомнительнаго. Напр., исторію русскую и всемірную и географію преподавалъ профессоръ московскаго университета Н. А. Бекетовъ, но что это было за преподаваніе?! Профессоръ (университеты вообще были въ страшномъ упадкѣ въ первое десятилѣтіе николаевской эпохи) непременно опаздывалъ на урокъ, затѣмъ разспрашивалъ сына частнаго пристава обо всѣхъ городскихъ происшествіяхъ и, только удовлетворивъ своему любопытству, при-

* В. Мякотинъ. Изъ исторіи русскаго общества. Спб. 1902. Стр. 307.

** „Русская Старина“, 1877 г. Воспоминанія В. Селиванова.

нимался за урокъ. Возгласомъ: „шестеро изъ бочки!“—онъ вызывалъ завѣдомыхъ отъявленныхъ лѣнтыевъ, задавалъ имъ вопросы, глядя въ книжку, и ставилъ на колѣни у своей каяедры. Затѣмъ, съ хохотомъ—дергая ихъ за волосы и колота по головамъ указкой, вызывалъ все новыхъ лѣнтыевъ и разставлялъ ихъ тутъ же. Въ такихъ занятіяхъ проходилъ урокъ, послѣ чего Бекетовъ посылалъ неизмѣнно кого-нибудь изъ учениковъ къ Кистеру за двугривеннымъ на извозчика и, задавъ урокъ, т.-е. отворотивъ не глядя полъ-книги, уходилъ напутствуемый единогласнымъ: „прощайте, господинъ профессоръ!“ Понятно, что можно было вынести при такой системѣ преподаванія исторіи. Впрочемъ, ученики читали Карамзина. Въ томъ же родѣ были и другіе учителя.

Единственнымъ живымъ человѣкомъ былъ здѣсь учитель русской словесности Петръ Федоровичъ Калайдовичъ, читавшій ученикамъ стихотворенія русскихъ поэтовъ, классиковъ и романтиковъ, вражда которыхъ занимала въ это время въ обществѣ интересовавшихся литературой. „Изъ класса Калайдовича,—передаетъ тотъ же товарищъ Грановскаго—хотя мы выходили не умнѣе и не много ученѣе, чѣмъ приходили, но за то выходили добрѣе духомъ, проникнутые прелестію поэзіи, съ сознаниемъ человѣческаго достоинства“. Это былъ, повидимому, одинъ изъ первыхъ представителей теперь исчезающаго уже типа учителя русской словесности, разносившаго въ глухіе провинціальныя углы идеи, шевелившіяся въ 40-е годы. Увлеченный Калайдовичемъ сталъ писать здѣсь стихи и Грановскій. Ихъ читали на ученическихъ литературныхъ вечерахъ, устроенныхъ было Кистеромъ, и товарищи находили, что эти стихи не хуже произведеній того любезнаго дамамъ сентиментальнаго Шаликова, котораго усадилъ въ свой „сумасшедшій домъ“ Воейковъ:

Вотъ на розовой цѣпочкѣ
Спичка Шаликовъ въ слезахъ,
Разрумяненный, въ вѣночкѣ,
Въ ярко-бланжевыхъ чулкахъ;
Прижимаетъ вѣникъ страстно,
Кличетъ граціи здѣшнихъ мѣсть
И, мяуча сладострастно,
Размазну безъ масла ѣсть.

Грановскій, по возможности, учился успѣшно и пользовался въ средѣ товарищей не малымъ нравственнымъ авторитетомъ.

Ученьемъ у Кистера кончились заботы отца о воспитаніи сына. Въ родномъ Погорѣльцѣ живой, томимый жаждою какой нибудь дѣятельности мальчикъ рѣшительно не зналъ, что съ собою дѣлать. Разъ отъ скуки онъ самостоятельно прошелъ курсъ геометріи, случайно попавшій подъ руку.

Къ этому времени относится начало горячей дружбы съ сестрами, уже подроставшими, а также платоническая привязанность къ м-лле Герито. Это была молодая учительница сестеръ Грановскаго, француженка, старше его нѣсколькими годами; съ нею онъ велъ довольно дѣятельную переписку. Онъ называетъ себя въ письмахъ *Le pasteur*. дѣлится въ нихъ воспоминаніями о дѣтскихъ мечтахъ, навѣянныхъ между прочимъ Куперомъ и его „Краснымъ корсаромъ“, собирается воевать со всѣми злодѣйствами человѣческаго рода, кается въ разсѣянной жизни (танцы въ Орлѣ до 5 часовъ ночи) и т. п. Вмѣстѣ съ матерью Грановскаго, м-лле Герито, видимо, очень сердечная дѣвушка, оказала на него хорошее женственное вліяніе: „Матушкѣ и вамъ,—говоритъ онъ въ одномъ письмѣ,—я обязалъ очень высокимъ, можетъ быть даже преувеличеннымъ представленіемъ о женщинахъ; по крайней мѣрѣ считаю ихъ безконечно, несравненно выше мужчинъ“.

Случайная встрѣча опять въ Орлѣ, гдѣ Грановскій иногда живалъ съ матерью, съ французомъ Жоньо, была важнымъ событіемъ для его развитія. Жоньо имѣлъ на Т. Н. подобное же вліяніе, какое на Герцена имѣли уроки республиканца Бушо и какое Рудины имѣли позднѣе на юношей Басистовыхъ. Грановскій отзывался впоследствии о Жоньо, какъ о чловѣкѣ пустомъ, но признавалъ, что общія мѣста и громкія фразы, которыя расточалъ этотъ французъ, произвели свое дѣйствіе. Устами фразера высказывались понятія цивилизованной націи, совсѣмъ не похожія на то, что могъ видѣть и слышать мальчикъ, которому шелъ уже шестнадцатый годъ, среди заходистаго дворянства и чшовничества.

Весною 1831 г. Грановскій былъ уже отправленъ въ Петербургъ дѣлать карьеру. Онъ собственно собирался посту-

пить въ военную службу, но по усиленной просьбѣ матери опредѣлился, съ помощью какого-то друга ея, на службу въ департаментъ иностранныхъ дѣлъ. Но въ служебную лямку онъ не могъ втянуться. „Встаю въ 8 часовъ, ни позже, ни раньше,—описываетъ онъ свою службу въ письмѣ къ m-lle Герито:—читаю до 9, въ девять одѣваюсь и иду въ департаментъ, гдѣ ничего не дѣлаю, если не считать занятіемъ кое-какую переписку, переводы и проч. и проч. да разговоры, не всегда поучительные, съ товарищами“. Обязательная праздность въ департаментѣ вызываетъ въ немъ чувство досады и злости. „Впрочемъ,—пишетъ онъ,—приступы злости охватываютъ меня только въ департаментѣ;—по возвращеніи я снова становлюсь провинціальнымъ медвѣдемъ, читаю, пишу, хожу къ друзьямъ-товарищамъ... Завтра собираюсь въ Императорскую Библиотеку“ *.

Столичныя впечатлѣнія, чтеніе, новыя встрѣчи—все это заставило юношу при природныхъ задаткахъ къ умственному развитію, живо почувствовать свое невѣжество, пробудило стремленіе къ наукѣ. Уже 4—5 мѣсяцевъ спустя по приѣздѣ въ столицу, юноша обращается къ родителямъ съ неожиданною для нихъ просьбою позволить поступить въ университетъ. Отецъ, не одобряя намѣреній сына, не сталъ однако противиться и въ іюнѣ Грановскій подалъ прошеніе объ отставкѣ.

Въ это лѣто сильно потрясла юношу смерть горячо любимой матери: онъ забросилъ было свои занятія, отдавшись впервые хандрѣ, которая такъ часто посѣщала его впослѣдствіи. Матеріальное положеніе его въ это время и въ университетскіе годы было очень не блестяще: отецъ часто забывалъ о немъ и не высылалъ денегъ. „Заброшенный сюда, безъ знакомыхъ, почти безъ связей, я долженъ, не имѣя рѣшительно никакихъ средствъ, прокладывать себѣ дорогу и въдобавокъ питаться утѣшительною мыслью, что дома обо мнѣ забыли, какъ будто о гостѣ, который погостилъ и уѣхалъ

* Переписка Т. Грановскаго, стр. 141. Какъ бытовую черту того времени интересно отмѣтить, что къ молодому барчуку приставили крѣпостного слугу, котораго Грановскій, въ концѣ концовъ, отправилъ домой, такъ какъ этотъ „Гришка“, не церемонясь, носилъ барское платье и бѣлье, таскалъ деньги, пьянствовалъ и наконецъ вывелъ Грановскаго изъ терпѣнія.

навсегда“. * Не разъ приходилось голодать, питаться впроголодь чаемъ да картофелемъ, отъ чего замѣтно терпѣло его здоровье, и въ дѣтствѣ далеко не крѣпкое. Грановскій, однако, очень шутливо писалъ объ этомъ своей любимицѣ, старшей сестрѣ, увѣдомляя ее, что подвизается въ истребленіи чая не хуже орловскаго купца.

Постоянная тревога за осиротѣлыхъ сестеръ и брата и разнаго рода семейныя неурядицы сильно мѣшали Грановскому спокойно готовиться въ университетъ. Весною 1832 г. у него показались признаки серьезнаго расстройства легкихъ; вслѣдствіе привычки работать по ночамъ испортилось зрѣніе, но долго не на что было купить очковъ. Какъ бы то ни было, посѣщая университетъ въ качествѣ вольнослушателя съ января 1832 г., въ августѣ Грановскій поступилъ уже студентомъ на юридическій факультетъ. Этотъ, а не иной факультетъ былъ избранъ имъ, вѣроятно, потому, что онъ плохо зналъ древніе языки, которые требовались отъ поступающихъ на факультетъ словесный, а къ занятіямъ математикой онъ расположенія не чувствовалъ.

Два раза ему пришлось бросить занятія для поѣздки на родину. Осенью 1833 г. онъ ѣздилъ домой, чтобъ какъ-нибудь уладить дѣловыя затрудненія по управленію Погорѣльцемъ, затрудненія, виною которыхъ была опять таки безпечность отца. Въ эту поѣздку Грановскій познакомился съ одною подругою сестры, и поддерживалъ нѣжныя отношенія съ нею постоянною перепискою въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Въ слѣдующемъ году, въ октябрѣ, Грановскій снова бросилъ занятія и поскакалъ въ Погорѣлецъ; причиною поѣздки были на этотъ разъ обстоятельства нѣсколько иного характера: Грановскій узналъ, что сестра его выходитъ замужъ, покоряясь желанію отца. Къ неудовольствію послѣдняго, онъ разстроилъ эту свадьбу откровеннымъ объясненіемъ съ женихомъ. Чтобы приготовить брата къ какому-нибудь учебному заведенію, онъ взялъ его къ себѣ въ Петербургъ, мечталъ о поѣздкѣ сестры въ столицу, но это не состоялось.

Эти поѣздки не надолго прервали довольно однообразную студенческую жизнь Грановскаго, о матеріальной сторонѣ ко-

* Ibid., 9.

торой мы уже говорили. Работа по университету совершенно поглощала его, но сама по себѣ видимо мало удовлетворяла. „Работаю, какъ несчастный каторжникъ“, писалъ онъ сестрѣ въ февралѣ 1834 г. Понятіе о хандрѣ, преслѣдовавшей его, когда думалось, что и впереди тотъ же трудъ изъ за куска только хлѣба, могутъ дать отрывки изъ писемъ его къ m-lle Герито. „Надо имѣть мой характеръ,—писалъ онъ ей въ 1833 г.,—чтобы быть въ состояніи бороться, какъ я это дѣлаю, съ тысячею и тысячею неприятностей, лишеній и пр., и скажу вамъ откровенно, что если это продлится еще долго, я застрѣлюсь. Я знаю, что эта фраза покажется вамъ безбожною и Богъ знаетъ чѣмъ, но я пишу вамъ въ спокойномъ состояніи, безъ малѣйшей экзальтаци“. Далѣе онъ доказываетъ, что ничего иного ему нечего съ собою дѣлать. „Я работаю, сколько есть силъ,—писалъ онъ въ другомъ письмѣ,—чтобы со временемъ сдѣлаться писаремъ за 2,000 франковъ въ годъ. Благородная цѣль, не правда ли? Я вижу столько глупыхъ плутовъ, достигшихъ высокаго положенія, что часто у меня является желаніе или сдѣлаться негодяемъ, или застрѣлиться. Я могу отвѣчать за себя только относительно перваго... Одно, что привязываетъ меня къ жизни,—это надежда служить опорой или по крайней мѣрѣ сдѣлать что нибудь для моего семейства; я счумѣю достигнуть этого. Вы найдете эту страницу очень мрачною или очень смѣшною—смѣйтесь, если хотите; но могу васъ увѣрить, что я не выписалъ ее изъ романа,—она принадлежитъ мнѣ“.

Таково бывало настроеніе молодого двадцатилѣтняго студента; въ этомъ было, конечно, много искренняго, но была, можетъ быть, и доля модной тогда, напускной у многихъ, „разочарованности“. Уже въ это время онъ былъ всегда желаннымъ гостемъ въ кругу товарищей и другихъ малочисленныхъ, впрочемъ, знакомыхъ. У него была способность однимъ своимъ присутствіемъ оживлять веселость другихъ, даже и тогда, когда самому бывало не до веселья. Судьба одарила его наружностью не столько красивою, сколько изящною, притягивавшею невольно къ себѣ. „Типъ лица его былъ нѣсколько южный. При продолговатомъ профилѣ онъ имѣлъ черные волосы и такіе же глаза, живо смотрѣвшіе изъ подъ

лустыхъ бровей, которыя почти сходились между собой. Черты лица казались довольно крупными, можетъ быть, потому особенно, что верхняя часть головы развита была у него болѣе, чѣмъ нижняя“.. *

Обратимся теперь къ содержанію занятій Грановскаго во время пребыванія въ университетѣ и посмотримъ, какого рода умственнымъ вліяніямъ подвергался онъ здѣсь.

Тогдашняя университетская наука принесла Грановскому весьма мало пользы. Живо помнившій людей, содѣйствовавшихъ такъ или иначе его умственному или нравственному развитію, скорѣе склонный преувеличивать положительные достоинства даже своихъ личныхъ враговъ, Грановскій почти никогда не упоминалъ именъ юристовъ, занимавшихъ въ его время кафедры петербургскаго университета. „Многихъ тогдашнихъ профессоровъ, отчасти даже знаменитостей,—замѣчаетъ товарищъ Грановскаго по университету, В. В. Григорьевъ,—не сдѣлали бы теперь (1856 г.) учителями въ порядочныхъ гимназіяхъ“ **. О профессорѣ философіи Фишерѣ, любимцѣ студентовъ, Грановскій впоследствии, изучая Гегеля въ Берлинѣ, писалъ: „я не зналъ, что такое философія, пока не пріѣхалъ сюда. Фишеръ читалъ намъ какую-то другую науку, пользы которой я теперь рѣшительно не понимаю“. Профессора относились къ своему дѣлу совершенно официально, читая—лишь бы читать что-нибудь и требуя отъ студентовъ не самостоятельной работы, а заучиванія къ экзаменамъ однихъ и тѣхъ же изъ года въ годъ тетрадокъ и учебниковъ. И Грановскій оставилъ на заднемъ планѣ университетскую науку, усердно принявшись за литературу и исторію.

Изъ числа преподавателей университета надо выдѣлить тогдашняго профессора русской словесности, позднѣе ректора, извѣстнаго П. А. Плетнева, который до нѣкоторой степени могъ содѣйствовать увлеченію Грановскаго литературой. „Для критики въ воспитательномъ, отрицательномъ значеніи слова, —отзывается Тургеневъ о Плетневѣ,—ему не доставало энергии, огня, настойчивости, прямо говоря—мужества. Онъ не

* Кудрявцевъ. „Дѣтство и юность Т. Н. Грановскаго“. „Русск. Вѣст.“ 1858 г. 5.

** „Русская Бесѣда“. 1856 г. III.

былъ рожденъ бойцомъ... Оживленное созерцаніе, участіе искреннее, неизбежная твердость дружескихъ чувствъ и радостное поклоненіе поэтическому—вотъ весь Плетневъ“. Если такой человѣкъ, всецѣло проникнутый аристократическими консервативными понятіями, распространявшимися и на искусство (Плетневъ, какъ и кн. Вяземскій, Жуковскій и др. плохо понимали Гоголя), и не могъ особенно развивающе дѣйствовать на умы студентовъ, то во всякомъ случаѣ могъ возбуждать, шевелить умы своею искреннею любовью къ литературѣ. „Главное,—говоритъ Тургеневъ,—онъ умѣлъ сообщать своимъ слушателямъ тѣ симпатіи, которыми былъ самъ исполненъ, — умѣлъ заинтересовывать ихъ *“. Плетневъ, между прочимъ, занималъ своихъ слушателей литературными упражненіями, и Грановскій въ 1834 г. представлялъ ему тетрадки со своими стихотворными опытами. Онъ переводилъ съ англійскаго стихи поэтовъ такъ называемой Озерной школы, Кольриджа, Соути и др.; глубина и сила мирнаго чувства природы—одна изъ главныхъ отличительныхъ чертъ школы—подходила къ нѣсколько мечтательному настроенію Грановскаго. Литературныя способности студента обратили на себя вниманіе Плетнева, такъ что онъ даже представилъ какъ-то, въ началѣ февраля 1835 г., Грановскаго съ лестнымъ отзывомъ о его способностяхъ Пушкину.

Тургеневъ рассказываетъ о своемъ петербургскомъ знакомствѣ съ Грановскимъ, касаясь при этомъ поэтическихъ опытовъ его. „Я познакомился съ нимъ въ 1835 г. въ С.-Петербургѣ, въ университетѣ, въ которомъ мы оба были студентами, хотя онъ былъ старше меня лѣтами и во время моего поступленія находился уже на послѣднемъ курсѣ. Онъ не занимался исключительно исторіей, онъ даже писалъ тогда стихи — кто ихъ не писалъ въ молодости? — и я смутно помню отрывокъ изъ драмы „Фаустъ“, прочитанный мнѣ имъ въ одинъ темный зимній вечеръ, въ большой и пустой его комнатѣ, за шаткимъ столикомъ, на которомъ вмѣсто всякаго угощенія стоялъ графинъ воды и банка варенья. Въ отрывкѣ этомъ Фаустъ былъ представленъ (со словъ одной старин-

* Тургеневъ. „Литературныя и житейскія воспоминанія“. Собр. соч. 1891 г. т. X.

ной нѣмецкой легенды) высоко поднявшимися на воздухъ, вмѣстѣ съ Мефистофелемъ; обозрѣвая широко раскинувшуюся землю, рѣки, лѣса, поля, жилища людей, Фаустъ произносилъ задумчивый, полный грустнаго созерцанія монологъ, показавшійся мнѣ тогда прекраснымъ... Мефистофель безмолвствовалъ; я, впрочемъ, и теперь не могу себѣ представить, какія бы рѣчи вложилъ Грановскій въ уста бѣсу... Иронія, особенно иронія ѣдкая и безжалостная, была чужда его свѣтлой душѣ... Я впрочемъ въ Петербургѣ видалъ его рѣдко; но каждое свиданіе съ нимъ оставляло во мнѣ глубокое впечатлѣніе. Чуждый педантизма, исполненный плѣнительнаго добродушія, онъ уже тогда внушалъ то невольное уваженіе къ себѣ, которое столь многіе испытали“*.

Изъ русскихъ писателей на Грановскаго больше всего вліянія имѣли Пушкинъ и Н. Полевой со своимъ журналомъ „Московскій Телеграфъ“. Не остались чужды этихъ вліяній и многіе другіе сверстники Грановскаго, такъ что объ этомъ нужно поговорить подробнѣе.

Историческое значеніе дѣятельности Пушкина для 30-хъ гг. давно уже достаточно выяснено, какъ и значеніе дѣятельности Полевого, частью тѣсно связанной съ именемъ Пушкина. Поэтическія произведенія Пушкина довершили формальное развитіе русской литературы и вмѣстѣ съ тѣмъ вывели ее на широкую дорогу общечеловѣческаго европейскаго развитія. Общее содержаніе поэзіи Пушкина, защита достоинства литературы—помимо мнѣній его по частнымъ общественнымъ вопросамъ—ставили его во главѣ умственнаго движенія времени и опредѣляли либо восторженное, либо рѣзко враждебное къ нему отношеніе современниковъ. Не говоря о болѣе или менѣе рѣзкихъ стихахъ, ходившихъ по рукамъ и составившихъ первую славу Пушкину, какъ продолжателю либеральныхъ теченій эпохи Александра I, всѣ произведенія Пушкина такъ или иначе затрогивали вопросы жизни своимъ общимъ содержаніемъ. Реальный характеръ поэзіи Пушкина, реакція ея противъ ложноклассической французской школы, сентиментальности Карамзина и мистическаго романтизма Жуковскаго,—„романтизмъ“ Пушкина, какъ тогда выража-

* „Два слова о Грановскомъ“. Соч. Тург. т. X.

лись,—привлекали къ себѣ сочувствіе всего, что было живого и свѣжаго въ обществѣ. „Пушкинъ былъ въ ту эпоху для меня, какъ и для многихъ моихъ сверстниковъ, чѣмъ-то въ родѣ полубога,—говоритъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ:—мы дѣйствительно поклонялись ему“ *. Грановскій былъ изъ такихъ сверстниковъ Тургенева, страстно любилъ Пушкина и всю жизнь постоянно перечитывалъ его произведенія.

„Пушкинъ былъ главою поэтического движенія,—говоритъ Бѣлинскій **,—но времена перемѣнились: если уже беллетристъ-публицистъ (т. е. Карамзинъ) не могъ быть главою литературной эпохи, то и одинъ поэтъ, какъ бы ни былъ онъ великъ, уже не могъ удовлетворить собою всѣмъ требованіямъ эпохи“. Требованиями этими были стремленія общества къ вопросамъ жизни, къ живой общественной мысли. „Тогда литература стала вопросомъ, съ которымъ незамѣтно слились многіе вопросы о жизни,—говоритъ Бѣлинскій:—вопросъ долженъ былъ родить живые споры, упорныя битвы за мнѣнія, арену которыхъ должна была сдѣлаться журналистика“.

Извѣстно, какъ неодобрительно относился Пушкинъ къ

* Московское юридическое общество, въ адресѣ о-ву любителей Россійской Словесности по случаю пушкинскихъ празднествъ 1899 г., мѣтко опредѣлило общественную роль Пушкина. „Въ исторіи гражданскаго развитія нашего отечества неизгладимыми чертами внесено, какъ среди общества, печально поражающаго чуткую совѣсть великаго народнаго поэта своимъ презрѣніемъ къ мысли и равнодушіемъ ко всякому долгу, справедливости и правдѣ, звучалъ героическій гимнъ, посвященный красотѣ и человѣческому достоинству. Проникнутый съ юности мечтами о просвѣщенной свободѣ и законности, какъ лучшихъ опорахъ государственнаго порядка, не щадилъ поэтъ своихъ гигантскихъ усилій пробудить современную ему толпу отъ позорнаго сна, ударяя съ невѣдомою силою выстрадавшимъ стихомъ по людскимъ сердцамъ, хотя и безъ надежды найти въ нихъ немедленный откликъ своему тяжкому сердечному стону. Но этотъ стонъ былъ стономъ почуявшей свою силу русской личности. Борьба, вынесенная Пушкинымъ, была борьбой личности за независимость и свободное развитіе. Великій поэтъ былъ могучимъ провозвѣстникомъ русскаго возрожденія. Празднуя нынѣ память поэта, мы торжествуемъ вмѣстѣ съ тѣмъ побѣду, одержанную русскою личностью надъ рутинною жизнью и властной опекой“. Настоящій адресъ послужилъ къ закрытію юридическаго общества по распоряженію мин. нар. просв. Н. П. Богольнова. См. Джаншиевъ, „Эпоха великихъ реформъ“, 8-е изд. М. 1900., стр. 559—560.

** Эта и слѣдующія цитаты—изъ статьи о Полевомъ (XII т. соч. Бѣлинскаго, изд. Солдатенкова).

Полевому. Но, тѣмъ не менѣе, имена этихъ двухъ писателей въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ такъ же близки, какъ имена Гоголя и Бѣлинскаго, потому что и Полевой долженъ быть признанъ однимъ изъ первыхъ представителей того общественнаго теченія въ критикѣ, которое занимало такое важное мѣсто у Бѣлинскаго съ его ближайшими преемниками—Вал. Майковымъ и Добролюбовымъ.

Въ вопросѣ о поэзіи Полевой,—указываетъ Бѣлинскій— „находился подъ вліяніемъ Пушкина, какъ живой практики всѣхъ теорій о поэзіи“, и въ этомъ отношеніи былъ лишь истолкователемъ того, что подсказывало поэту непосредственное художественное чувство. Въ это время „всякое независимое, самобытное мнѣніе, всякій свѣжій голосъ, все, что не отзывалось рутинною, преданіемъ, авторитетомъ, общимъ мѣстомъ, ходячею фразою,—все это считалось ересью, дерзостью, чуть не буйствомъ“. Признаніе Пушкина было для литературныхъ старовѣровъ именно такую ересь со стороны Полевого, и шумливая, задорная литературная критика Полевого, часто противорѣчившая сама себѣ, тѣмъ не менѣе, а отчасти и вслѣдствіе этихъ своихъ особенностей, всколыхнула затхлую атмосферу такъ, какъ не могъ бы всколыхнуть ее одинъ Пушкинъ. Романтизмъ, за который ратовалъ Полевой даже тогда, когда слово это начало терять свой смыслъ, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ флагомъ, подъ которымъ для читателей, уже приобрѣтавшихъ въ достаточной мѣрѣ навыкъ читать между строкъ, контрабандою проходили тѣ гуманно-освободительныя общественныя стремленія, которыми отличалась эпоха Александра I и которыя опредѣленнѣе, чѣмъ въ „Телеграфѣ“, сложились въ сороковые годы.

„Московскій Телеграфъ“ былъ явленіемъ необыкновеннымъ во всѣхъ отношеніяхъ,—справедливо говоритъ Бѣлинскій:—„Человѣкъ, почти вовсе неизвѣстный въ литературѣ, нигдѣ не учившійся, купецъ званіемъ, беретъ за изданіе журнала,—и его журналъ, съ первой же книжки, изумляетъ всѣхъ живостью, свѣжестью, новостью, разнообразіемъ, вкусомъ, хорошимъ языкомъ, наконецъ, вѣрностью въ каждой строкѣ однажды принятому и рѣзко выразившемуся направленію. Такой журналъ не могъ бы не быть замѣченнымъ и

въ толпѣ хорошихъ журналовъ, но среди мертвой, вялой, безцвѣтной, жалкой журналистики того времени, онъ былъ изумительнымъ явленіемъ. И съ первой до послѣдней книжки своей издавался онъ, въ теченіе почти десяти лѣтъ, съ тою постоянною заботливостью, съ тѣмъ вниманіемъ, съ тѣмъ неослабѣваемымъ стремленіемъ къ улучшенію, которыхъ источникомъ можетъ быть только призваніе и страсть. Первая мысль, которую тотчасъ же началъ онъ развивать съ энергіей и талантомъ, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости умственного движенія, о необходимости слѣдовать за успѣхами времени, улучшаться, идти впередъ, избѣгать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвѣщенія, образованія, литературы. Эта мысль, теперь общее мѣсто даже для всякаго невѣжды и глушца, тогда была новостью, которую почти всѣ приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее въ общество, сдѣлать ходячею истиной. И это совершилъ Полевой! Боже мой! Какъ взбѣлись на него за эту мысль ученые невѣжды, безталантные литераторы, плохіе журналисты, закоснѣвшіе въ предразсудкахъ старики! И какъ усилилась эта буря негодованія и злобы умною и оригинальною, чуждою предразсудковъ критикою „Московского Телеграфа“, высказывавшаго свои мнѣнія прямо, не смотрѣвшаго ни на какіе авторитеты!“ „Полевой показалъ первый,—говоритъ далѣе Бѣлинскій,—что литература—не игра въ фанты, не дѣтская забава, что исканіе истины есть ея главный предметъ, и что истина—не такая бездѣлица, которою можно было бы жертвовать условнымъ приличіямъ и непріязненнымъ отношеніямъ. Изъявить публично такой образъ мыслей въ то время значило сдѣлать страшную дерзость и выказать себя человѣкомъ „безпокойнымъ“, т.-е. хуже, чѣмъ безнравственнымъ... И потому очень естественно, что этотъ журналъ многимъ казался чудовищнымъ явленіемъ именно потому, что здравый смыслъ, образованный вкусъ и истину ставилъ выше людей и ради ихъ не щадилъ авторскихъ самолюбіи. Теперь съ трудомъ можно повѣрить, чтобы когда нибудь могло быть такимъ образомъ и до такой степени: и это опять заслуга Полевого, и заслуга великая!“

Не упуская ни на минуту своей общественно-просвѣдительной задачи изъ виду, Полевой въ этомъ отношеніи не былъ пристрастенъ даже къ своему кумиру—Пушкину: онъ давалъ замѣтить, что поэтъ плохо понимаетъ значеніе своей дѣятельности, также общественно-просвѣдительной. Понятно, какимъ успѣхомъ могъ пользоваться журналъ на столько строгій по своему направленію, на сколько цѣльный. И при этомъ Полевой, —говорить Бѣлинскій, — „владѣлъ тайной журнальнаго дѣла, былъ одаренъ для него страшною способностью. Онъ постигъ вполне значеніе журнала, какъ зеркала современности, и „современное“ и „кстати“—были въ рукахъ его поистинѣ два волшебные жезла, производившіе чудеса. Пронесется ли слухъ о пріѣздѣ Гумбольдта въ Россію, онъ помѣщаетъ статью о сочиненіяхъ Гумбольдта; умираетъ ли какая-нибудь европейская знаменитость—въ „Телеграфѣ“ тотчасъ является ея біографія, а если это ученый или поэтъ, то критическая оцѣнка его произведеній. Ни одна новость никогда не ускользала отъ дѣятельности этого журнала. И потому, каждая книжка его была животрепещущею новостью, и каждая статья въ ней была на своемъ мѣстѣ, была кстати. Поэтому „Телеграфъ“ совершенно былъ чуждъ недостатка, столь общаго даже хорошимъ журналамъ: въ немъ никогда не было балласту, т.-е. такихъ статей, которыхъ помѣщеніе не оправдывалось бы необходимостью“.

Грановскій всегда съ сочувствіемъ и уваженіемъ вспоминалъ лучшую пору дѣятельности издателя „Телеграфа“. Запрещенный въ 1834 г. за разборъ патріотической драмы Кукольника: „Рука Всевышняго отечество спасла“,—этотъ журналъ былъ Грановскому, помимо общаго своего вліянія, полезенъ указаніями на литературныя явленія, новыя книги и т. д., указаніями всегда осмысленными и своевременными. Вѣроятно, изъ „Телеграфа“ же Грановскій почерпалъ свѣдѣнія о книгахъ по исторіи, къ которой онъ пристрастился на студенческой еще скамьѣ.

Хотя исторія и читалась въ это время на юридическомъ факультетѣ, но врядъ ли заохотила къ ней Грановскаго университетская наука. „Въ наше время, —говоритъ Григорьевъ, — почти всѣ отдѣлы читались такъ несоотвѣтственно самымъ

скромнымъ требованіямъ, что трудно было развернуться особому къ ней расположенію даже въ самыхъ способныхъ къ тому натурахъ“. Вальтеръ Скоттъ, можетъ быть, былъ первымъ толчкомъ къ развитію въ Грановскомъ любви къ исторіи. Т. Н. еще въ дѣтствѣ зачитывался романами шотландскаго писателя. Какой-то родственникъ въ 1833 г., уѣзжая изъ Петербурга, оставилъ ему свою бібліотеку. „Въ числѣ книгъ этихъ находится и весь Вальтеръ Скоттъ, позавидуй!“ — радостно писалъ объ этомъ событіи Грановскій сестрѣ. Вообще Вальтеръ Скоттъ не только, какъ романистъ, пользовался широкою популярностью, но и оказалъ не малую услугу наукѣ, возбуждая во многихъ живую любовь и участіе къ исторической бытовой жизни народовъ. Замѣчательно вліяніе его даже на такихъ ученыхъ, какъ Маколей, Ранке и др. Ничего удивительнаго, если и Грановскій не остался чуждъ этого вліянія въ ту пору, когда ему поддался даже Государь Николай Павловичъ, совѣтовавшій Пушкину, какъ извѣстно, передѣлать „Бориса Годунова“ въ романъ во вкусѣ Вальтеръ Скотта.

Въ „Телеграфѣ“ Полевой ратовалъ за успѣхи новой исторической науки. Еще въ 1829 г. онъ помѣстилъ рядъ статей о Нибурѣ, которому посвятилъ даже нѣсколько простодушно свою „Исторію русскаго народа“, писанную какъ бы въ антитезъ карамзинской „Исторіи государства Россійскаго“. „У насъ,—съ досадой говорилъ Полевой въ своемъ журналѣ,—переводятъ нѣмецкую дрянъ прошлаго вѣка, подъ именемъ исторій, географій, юридическихъ книгъ, и въ голову не придетъ переводчикамъ ни Нибуръ, ни Риттеръ, ни Савиньи“. Гизо, Тьерри, которыми особенно увлекался Полевой, на ряду съ Нибуromъ стали любимымъ чтеніемъ Грановскаго въ университетѣ; Нибуръ также сталъ однимъ изъ любимыхъ его авторовъ, и о Нибурѣ онъ написалъ впоследствии нѣсколько статей. Грановскій познакомился также съ Барантомъ, Вильменомъ, Сисмонди, зачитываясь однако преимущественно Тьерри; сочиненіе послѣдняго „Покореніе Англіи норманнами“ онъ даже началъ переводить по окончаніи университета, но работа осталась неоконченною.

Занятія эти оказались Грановскому очень полезны, — по

окончаніи университета и поступленіи на службу (секретаремъ перваго отдѣленія гидрографическаго департамента при морскомъ министерствѣ): они настолько расширили его свѣдѣнія, что скоро литературная работа (въ энциклопедическомъ словарѣ Плюшара и „Библиотекѣ для чтенія“ Сенковского) стала ему подспорьемъ къ небольшому жалованью.

Въ 1835 г., т.-е. въ годъ окончанія университета, въ „Библиотекѣ для чтенія“ была напечатана первая изъ историческихъ статей Грановскаго: „Судьбы еврейскаго народа“ *. Это—не блестящая никакими особенными достоинствами компиляція по книгамъ Капфига и Демпинга, вышедшимъ тогда; но читается она легко, проникнута гуманнымъ настроеніемъ, и публицистическая манера—можетъ быть слѣдъ вліянія Полевого—чувствуется сильно. Съ общей точки зрѣнія авторъ признаетъ поучительными судьбы евреевъ, „отверженныхъ обществомъ людей, которые всегда составляли въ массѣ европейской людности нравственное пятно и настоящую касту паріевъ“. Однимъ изъ поводовъ къ написанію статьи указано тогдашнее распоряженіе о принятіи евреевъ на военную службу, что названо „торжественнымъ правосудіемъ ихъ долгому несчастію“. „Къ числу самыхъ благодѣтельныхъ слѣдствій возрастающаго просвѣщенія безспорно принадлежитъ практическое приложеніе къ отношеніямъ лицъ и народовъ началъ вѣротерпимости и истинной любви ближняго, составляющихъ отличительный характеръ христіанской религіи. Съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе изглаживаются враждебные предразсудки сектъ и вѣрованій; часъ отъ часу становится тѣснѣе союзъ между членами огромнаго семейства, которое называютъ человечествомъ“. Изложивъ историческія свѣдѣнія о евреяхъ, указывая на исключительную ненависть ихъ къ иноземцамъ и эксплуатацію съ ихъ стороны, а также на преслѣдованія и вражду противъ нихъ со стороны народа и государствъ, Грановскій говоритъ въ концѣ статьи: „Не отъ Мессіи своего, но отъ успѣховъ просвѣщенія, которое смягчаетъ нравы и дѣлаетъ человѣка послушнымъ голосу разума, слѣдовало имъ ожидать своего благополучія“. Указывая съ сочувствіемъ на возникновеніе ново-іудейскихъ сектъ, отрицающихъ талмудъ,

* Сочиненія Грановскаго, М. 1892 г., т. I, стр. 147—182.

Грановскій въ „пустой талмудной мудрости“ справедливо видитъ причину враждебнаго отчужденія евреевъ отъ окружающаго ихъ населенія, и, въ надеждѣ на воздѣйствіе правительства, задача котораго—распространеніе просвѣщенія, онъ заканчиваетъ статью словами: „Нынче отъ нихъ самихъ зависитъ ихъ благоденствіе. Желательно, чтобы они умѣли оцѣнить вполнѣ выгоды новыхъ правъ своихъ“. — Неизвѣстно, насколько самому Грановскому принадлежать всѣ эти публицистическія отступленія: Сенковскій не церемонился со статьями, поступавшими въ его журналъ, и передѣлывалъ ихъ иногда такъ, что онѣ становились неузнаваемы. Близость Грановскаго къ Сенковскому и его „Библиотекъ для чтенія“ была во всякомъ случаѣ недолговѣчна. Совершенно безпринципный „баронъ Брамбеусъ“, конечно, не могъ привлечь къ себѣ искренней молодой натуры.

„Что онъ взялъ со всѣмъ своимъ остроуміемъ, семитическими языками, семью литературами, бойкою памятью, рѣзкимъ изложеніемъ?—писалъ вполсѣдствіи о Сенковскомъ Герценъ:— Сначала ракеты, искры, трескъ, бенгальскій огонь, свистки, шумъ, веселый тонъ, развязный смѣхъ привлекли всѣхъ его журналу; посмотрѣли, посмотрѣли, поохотали и разошлись мало по малу по домамъ. Сенковскій былъ забыть, какъ бываетъ забыть на Оминой недѣлѣ какой нибудь: покрытый блестками акробатъ, занимавшій на святой отъ мала до велика весь городъ... Чего ему недоставало? А вотъ того, что было въ такомъ избыткѣ у Бѣлинскаго, у Грановскаго, того вѣчнаго, тревожащаго демона любви и негодованія, котораго видно въ слезахъ и смѣхѣ. Ему недоставало такого убѣжденія, которое было бы дѣломъ его жизни, картой, на которую все поставлено, страстью, болью. Въ словахъ, идущихъ отъ такого убѣжденія, остается доля магнетическаго демонизма, подъ которымъ работалъ говорившій; оттого рѣчи его беспокоятъ, тревожатъ, будятъ, становятся силой, мощью и двигаютъ иногда цѣлыми поколѣніями“ *. Эта сила нашлась, какъ мы увидимъ, у Грановскаго, когда пришло время.

Кругъ личныхъ знакомствъ Грановскаго въ Петербургѣ за

* „Very Dangerous!!“. Колоколь, 1859. Цитировано по книгѣ В. Богучарскаго, „Изъ прошлаго русскаго общества“. Спб. 1904.

все время пребыванія въ университетѣ не былъ ни особенно обширенъ, ни чѣмъ либо интересенъ. На студенчествѣ отражалась общая вялая умственная жизнь столицы того времени и слабость профессорскаго персонала. „Мы вообще были мало развиты умственно,—разсказываетъ Григорьевъ, съ которымъ до нѣкоторой степени сошелся Грановскій, о себѣ и о товарищахъ,—и ни начитанностью, ни особымъ рвеніемъ къ предметамъ университетскаго преподаванія не отличались“. Газетъ студенты не читали; театра, къ которому Грановскій относился серьезно, подобно московскому кружку Станкевича того времени,—не любили; разговоры, по свидѣтельству того же Григорьева, касались больше явленій фантастическаго міра, духовъ и призраковъ, нежели современной дѣйствительности. Не удивительно, что у Грановскаго, много работавшаго и слѣдившаго за литературой и искусствомъ, не образовалось дружескихъ привязанностей въ этой средѣ, чуждой какихъ бы то ни было живыхъ умственныхъ интересовъ. Лишь по окончаніи университета у него завязываются два знакомства, перешедшія въ дружбу, неизмѣнную до смерти Грановскаго. Черезъ редакцію „Журнала министерства народнаго просвѣщенія“ Грановскій познакомился съ Януаріемъ Михайловичемъ Невѣровымъ, а черезъ „Библиотеку для чтенія“—съ Евгеніемъ Ѳедоровичемъ Коршемъ. Не смотря на разницу вкусовъ и характеровъ, Невѣровъ горячо привязался къ Грановскому, журившему его за кутежи и распущенность. Грановскій убѣдилъ его бросить неудачные беллетристическіе опыты и заняться исторіей. Впослѣдствіи изъ Невѣрова и вышелъ учитель исторіи, занимавшій позднѣе видныя мѣста по министерству народнаго просвѣщенія.

Въ это время упорнаго труда, смѣнявшагося припадками хандры или попытками разгулять ее въ обществѣ, въ жизни Грановскаго произошло рѣшающее событіе. Попечитель московскаго университета, С. Г. Строгановъ, назначенный въ 1835 г. и умѣвшій отыскивать и привлекать талантливыхъ людей, сперва черезъ другихъ, а затѣмъ и лично въ началѣ 1836 г. предложилъ Грановскому ѣхать за границу для окончанія образованія, чтобы затѣмъ занять въ московскомъ университетѣ кафедру всеобщей исторіи: литературныя работы

Грановскаго и кое-какіе сочувственные отзывы обратили на него вниманіе попечителя. Грановскій, со своею всегдашнею потребностью дѣлиться результатами своихъ работъ съ другими—слѣдствіе природной общительности, считалъ профессуру какъ нельзя болѣе подходящимъ для себя дѣломъ и охотно принялъ это предложеніе.

Въ февралѣ 1836 г. онъ для окончательныхъ переговоровъ поѣхалъ въ Москву, а оттуда въ Погорѣлецъ, гдѣ увидѣлся съ невѣстою: „Partez,—сказала она Грановскому (передаетъ А. В. Станкевичъ),—и великодушный ея отвѣтъ съ умиленіемъ вспоминалъ онъ во всю свою жизнь“. Въ началѣ апрѣля онъ былъ снова въ Москвѣ, и къ этому времени относится его первое сближеніе съ Н. В. Станкевичемъ и его кружкомъ. „Благодарю тебя за знакомство съ Т. Н. Грановскимъ,—писалъ Станкевичъ Невѣрову, чрезъ котораго оно и состоялось:—это милый, добрый молодой человекъ, и на немъ нѣтъ печати Петербурга... Мы подружились съ Грановскимъ, какъ люди не дружатся иногда за цѣлую жизнь“. Объ этой дружбѣ ниже намъ придется говорить подробнѣе. Въ это же время онъ познакомился и съ Погодинымъ, и послѣдній писалъ о немъ за границу Шафарику.

Въ началѣ мая Грановскій вернулся въ Петербургъ. Предъ отъѣздомъ онъ послалъ нѣсколько нѣжныхъ писемъ старшей сестрѣ, поручая ея заботамъ меньшую и брата, учившихся на его счетъ въ Москвѣ. Въ половинѣ мая Грановскій сѣлъ на пароходъ, который шелъ въ Любекъ, и поплылъ, по выраженію В. В. Григорьева, „за золотымъ руномъ европейской науки“.

Переѣзды въ новую среду, въ новую обстановку, часто отмѣчаютъ собою періоды жизни человека. Такъ было и съ Грановскимъ: жизнь за границею была особымъ періодомъ, когда окончательно складывались его мировоззрѣніе и характеръ. Многое, что замѣтно было въ Грановскомъ и до отъѣзда за границу, осталось при немъ, какъ постоянныя свойственныя его характеру черты. Безтолковое воспитаніе еще не дало ему ни пониманія окружающаго, ни твердаго активнаго характера. Какъ мы видѣли, случай играетъ въ рассказанный нами періодъ первенствующую почти роль въ жизни

Грановскаго: не столько онъ управляетъ обстоятельствами своей жизни, идя къ какой-либо намѣченной цѣли, сколько имъ управляютъ обстоятельства: случайная встрѣча съ Жюно, случайное чтеніе, случайное поступленіе на службу, случайныя и бессистемныя занятія литературой и исторіей, случайное, наконецъ, знакомство съ Невѣровымъ и затѣмъ со Станкевичемъ. Идеаломъ его долго остается стать „опорою семьи“, что онъ повторяетъ въ письмахъ неоднократно, — идеаль, конечно, не слишкомъ широкій. И вообще-то дѣятельнымъ характерамъ трудно было развиваться при тогдашнихъ условіяхъ, такъ и первая молодость Грановскаго отмѣчена нѣкоторою пассивностью, но живыя нравственныя и умственныя вліянія захватывали его вслѣдствіе природной отзывчивости очень прочно. Онъ могъ даже въ очерченный нами періодъ казаться Невѣрову „идеаломъ нравственной твердости и мужества воли“. Такимъ образомъ въ Грановскомъ подъ различными вліяніями, съ частью которыхъ мы уже познакомились, складывалась индивидуальность, не рѣзко выраженная, но совершенно своеобразная и довольно сложная: воспитанный подъ мягкими женскими вліяніями, „сынъ задумчиваго юга“ онъ навсегда сохранилъ мягкую ровность характера; онъ легко отзывался впослѣдствіи на самыя разнообразныя настроенія ума и чувства, умѣлъ быть по плечу самымъ различнымъ людямъ, не задѣвая ихъ самолюбія ничѣмъ, и въ то же время только немногіе могли сказать, что онъ открывался имъ весь, и всякій чувствовалъ, что въ его натурѣ гармонически сливаются разнообразныя стороны ума и чувства, рѣдко уживающіяся разомъ въ другихъ людяхъ, образуя въ цѣломъ характеръ, привлекательный разносторонностью и стойкостью. Природная общительность, потребность работать съ людьми и на людяхъ совмѣщаются въ Грановскомъ со склонностью къ мечтательности, которая переходитъ легко въ меланхолію и хандру; по своимъ эстетическимъ вкусамъ онъ является преимущественно идеалистомъ-созерцателемъ, и въ цѣломъ — гармоническою художественною натурою, которой, по истинѣ, ничто человѣческое не чуждо...

II.

З а г р а н и ц е й.

Море произвело не малое впечатлѣніе на Грановскаго. „Становишься лучше предъ такимъ зрѣлищемъ, — писалъ онъ сестрѣ. — Въ особенности ночью, при лунномъ свѣтѣ, это поистинѣ божественно: кажется, чувствуешь присутствіе Бога“. Эти торжественныя слова, въ духѣ тогдашняго личнаго настроенія его, вполне гармонируютъ съ тѣми мечтаніями о вселенной, Богѣ, любви, дружбѣ, которымъ предавалась идеалистически настроенная молодежь 30-хъ годовъ. Такъ, въ 1829 г. Огаревъ и Герценъ въ пламенномъ восторгѣ обнимались на Воробьевыхъ горахъ, предъ развертывавшеюся у ихъ ногъ Москвой, и клялись другъ другу въ вѣчной и ненарушимой дружбѣ и любви къ человѣчеству, а чрезъ 10 лѣтъ, при свиданіи, падали ницъ предъ распятіемъ, омывая его слезами. Но Грановскій надолго не способенъ былъ поддаваться мистической экзальтаціи.

Первые дни пребыванія за границей, Грановскій, какъ видно изъ его писемъ, съ живымъ любопытствомъ всматривается во внѣшнюю заграничную жизнь, для чего пробродилъ нѣсколько дней по улицамъ Любека и Гамбурга. Въ началѣ іюня онъ въ Берлинѣ. „Нанялъ себѣ, за 10 талеровъ въ мѣсяцъ, двѣ прекрасныя комнаты съ мебелью, хожу всякій день въ театръ, беру уроки нѣмецкаго языка и читаю Геродота. Здѣсь, право, нельзя не учиться; средствъ столько, что стыдно ими не пользоваться“... Онъ отмѣчаетъ готовность прусскихъ профессоровъ помогать русскимъ студентамъ, объясняя эту готовность, впрочемъ, ихъ корыстными расчетами на вознагражденіе отъ русскаго правительства. Кругъ знакомства его сравнительно тѣсенъ. Товарищи по командировкѣ, воспитанники педагогическаго института филологи, поразили его педантизмомъ: „Семинаристы въ полномъ смыслѣ слова. Одинъ изъ нихъ началъ знакомство со мною вопросомъ: „какъ вы прибыли сюда, морскимъ путемъ, или же по континенту?“ — Частью морскимъ путемъ, частью же по континенту“, отвѣт-

ствовалъ я.—Но юристы очень хороши, лучше нежели я ожидалъ“. Не увлекаясь знакомствами, Грановскій засѣлъ въ совершенномъ уединеніи за изученіе нѣмецкаго языка, такъ что черезъ два мѣсяца сталъ говорить на немъ, какъ на родномъ. „Если Богъ позволитъ мнѣ сдѣлать десятую часть того, что я затѣваю,—писалъ онъ Невѣрову отъ 25 іюля 1836 г. о своихъ планахъ,—то и тогда жизнь моя не будетъ потеряна; я только теперь началъ заниматься наукою, какъ должно, и не могу безъ грусти подумать о томъ времени, которое такъ бесплодно тратилъ въ Петербургѣ. Я долженъ учиться тому, что знаетъ иной ребенокъ. Впрочемъ, я не упалъ духомъ отъ признанія своего невѣжества, бодро взялся за дѣло и надѣюсь, что при будущемъ нашемъ свиданіи ты найдешь во мнѣ большую перемѣну“ *.

Въ зиму 1836—37 г. Грановскій слушалъ историковъ Раумера и Ранке, лекціи Риттера и Савиньи, занимался латинскимъ, а позднѣе и греческимъ языками и т. д. Кругъ его чтенія крайне разнообразенъ: отъ „Жизни Христа“ Штраусса,—пугавшей его „разрушительностью“ своихъ идей, такъ что сначала онъ собирался читать возраженія, а потомъ уже знаменитую книгу, онъ перескакиваетъ къ исторіи Финикіи, отъ Шиллера къ Тациту. Надо было разобраться во всемъ этомъ, и въ разнообразныхъ впечатлѣніяхъ жизни и науки, одно принять, другое отвергнуть, въ общемъ — горячее и свѣтлое время умственной ломки и созрѣванія жизненныхъ идеаловъ. Время было совершенно заполнено, внѣшнее матеріальное положеніе вполне удовлетворительно, почти роскошно по сравненію со студенческою жизнью. Чтобы не развлекаться, онъ работалъ, лишь изрѣдка выдаясь съ немногими заѣзжими русскими. „Жизнь моя такъ однообразна,—писалъ онъ сестрѣ въ октябрѣ 1836 г.,—что для того, чтобы знать, что я дѣлаю въ каждый часъ дня, тебѣ нужно только прочесть писанное мною два мѣсяца тому назадъ о томъ, какъ провожу свое время, и потомъ взглянуть на часы“.

Прогулка и театръ,—какъ и въ Петербургѣ,—единственные развлечения, которыя онъ позволяетъ себѣ. Грановскій

* Отрывки изъ писемъ Грановскаго цитируются въ этой главѣ частью по воспоминаніямъ о немъ Невѣрова. „Русск. Стар.“ 1880 г., апрѣль.

дѣлилъ въ это время со Станкевичемъ и Бѣлинскимъ страстное увлеченіе театромъ. „Любите ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, — писалъ Бѣлинскій незадолго до того (въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“), — т. е. всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ кромѣ блага и истины?“ Почти въ такомъ же увлеченіи Грановскій писалъ сестрѣ: „Спектакль сдѣлался для меня истинною потребностью; есть пьесы благотворныя для меня. Посмотрѣвши ихъ, я возвращаюсь къ себѣ болѣе счастливымъ, лучшимъ и болѣе способнымъ трудиться. Особенно драмы Шиллера производятъ на меня такое дѣйствіе“. Онъ писалъ также Невѣрову: „Право, я иногда бываю совершенно счастливъ въ театрѣ, забываю мелочи этой гадкой жизни, дѣлаюсь лучше и вѣрю въ возможность такихъ характеровъ, какъ Поза“. Указанія эти на Шиллера интересны для характеристики самого Грановскаго: гуманный и возвышенный, хоть и туманный порою, идеализмъ Шиллера какъ нельзя болѣе соотвѣтствовалъ тогдашнему мечтательному романтизму Грановскаго, а также тому вліянію, какое начиналъ на него уже оказывать Станкевичъ.

Съ послѣднимъ Грановскій велъ въ это время переписку черезъ Невѣрова, повѣрялъ ему сомнѣнія въ собственныхъ силахъ и способностяхъ, вызванныя сознаніемъ важности предстоявшей задачи, ожидалъ отъ него совѣтовъ. Совѣты приходили въ духѣ идеалистической философіи Гегеля, страстнымъ адептомъ которой являлся Станкевичъ: „Я хочу полнаго единства въ мірѣ моего знанія, — писалъ онъ, — хочу дать себѣ отчетъ въ каждомъ явленіи, хочу видѣть связь его съ жизнью цѣлаго міра, его необходимость, его роль въ развитіи (единой всеобъемлющей) идеи“. Эту полноту міросозерцанія онъ стремится передать и другу. Восторженно настойчивый, сосредоточенный на одномъ порывѣ мысли, Станкевичъ способенъ былъ поднять на ноги каждаго. „Воля твоя, я не понимаю натуралиста, — говорилъ онъ — который считаетъ ноги у козляковъ, и историка, который, начавъ съ Ромула, въ цѣлую жизнь не дойдетъ до Нумы Помпилія, — не понимаю че-

ловѣка, который знаетъ о существованіи и спорахъ мысли телей и бѣжить ихъ и отдается въ волю своего земного поэтического чувства. Если нельзя ничего знать, стѣдуетъ работать до кроваваго пота, чтобъ узнать хоть это. Тогда въ моемъ отчаяніи, въ моемъ ропотѣ будетъ больше счастья, больше поэзіи, по крайней мѣрѣ, нежели въ этомъ робкомъ отказѣ отъ своего достоинства, отъ своихъ потребностей, силъ. Тогда, можетъ быть, я лучше пойму смиреніе вѣры; тогда я, можетъ быть, безъ удержанія отдамся душѣ своей, въ которой есть же капля любви, и стану жить въ одномъ чувствѣ, ничѣмъ не раздробляемомъ“! (Письмо 14 іюня 1836 г.).

Относительно занятій, въ частности исторію, Станкевичъ писалъ Грановскому: „Оковы спали съ души моей, когда я увидѣлъ, что внѣ одной всеобъемлющей идеи нѣтъ знанія. Другое дѣло прагматическій интересъ къ наукѣ; тогда она—средство, и это занятіе имѣетъ свою прелесть; но для этого надо имѣть страсть, преодолевающую всѣ труды, а къ этакой страсти способны люди односторонніе. Ты не изъ этого рода людей: это можно узнать, взглянувши на тебя. Больше простора душѣ, мой милый Грановскій! Теперь ты занимаешься исторіей: люби же ее какъ поэзію *, прежде нежели ты свяжешь ее съ идеей,—какъ картину разнообразной и причудливой жизни человѣчества, какъ задачу, рѣшеніе которой не въ ней, а въ тебѣ **, и которое вызовется строгимъ мышленіемъ, приведеннымъ въ науку. Поэзія и философія—вотъ душа суцаго“. Станкевичъ прекрасно понялъ Грановскаго и его натуру. Вотъ какъ послѣдній читалъ Тацита: „Какая душа была у этого человѣка. Послѣ Шекспира, мнѣ никто не давалъ такого наслажденія. Я хотѣлъ было дѣлать изъ него выписки, изучать, какъ историка, и не сдѣлалъ ничего, потому что читалъ его, какъ поэта. У него болѣе истинной человѣческой, грустной поэзіи, чѣмъ у всѣхъ земныхъ поэтовъ вмѣстѣ. У него мало любви, но за то какая благородная ненависть, какое прекрасное презрѣніе“ *. При изученіи историческихъ воззрѣній Грановскаго мы увидимъ, что въ нихъ поэзія играла не маловажную роль и онъ не

* Курсивъ нашъ.

** Переписка Грановскаго, 395.

остался чуждъ субъективнаго рѣшенія вопросовъ объ объективномъ процессѣ исторіи.

Въ описываемое время Грановскаго волновали тѣ сомнѣнія, которыхъ не остается чуждъ ни одинъ умъ, на вѣру не принимающій традиціонныхъ представленій о мірѣ. Вообще зима 1836—37 гг. во многихъ отношеніяхъ была переломомъ въ жизни Грановскаго; здѣсь же, можетъ быть, умѣстно упомянуть, что только теперь, весной 1837 г., онъ впервые узналъ женщину, о чемъ въ шутливомъ письмѣ писалъ Невѣрову. — Переломъ возрѣній Грановскаго совершался медленно и тревожно. Личныя и внѣшнія обстоятельства, какъ нарочно, складывались такъ, что осложняли мучительный процессъ перехода отъ дѣтски наивнаго романтическаго міросозерцанія къ новому: дома опять грозила продажа имѣнія и Грановскій тревожился за сестеръ и брата; отецъ опять задержалъ высылку денегъ сыну и т. д. Ему случалось въ стихахъ выражать свои сомнѣнія и нравственную тревогу:

Вопросъ и отвѣтъ.

Зачѣмъ воззвалъ меня изъ праха
И силой мысли одарилъ?
Исполненъ горести и страха,
Блуждаю я среди могилъ;
Вездѣ на ветхое творенье
Легла печать уничтоженья.
Творецъ, Творецъ! Иль разрушенъ
Ты цѣлью жизни положить?
Видалъ ли ты, когда весной
Цвѣтеть лилея молодая?
Придетъ пора—и головой
Она поникнетъ, увядая.
Но влага жизни сѣмена
Живить и грѣетъ подъ землю,
И обновленная весна
Увидитъ новую лилею *.

Тяжело поразило его въ это время извѣстіе о смерти Пушкина. „Вѣсть о тяжкой потерѣ, которую понесла Россія,—писалъ Грановскій Невѣрову,—дошла до насъ нѣсколько

* „Русская Бесѣда“, 1856 г., III.

дней тому назадъ. Я долго ничего не могъ дѣлать отъ тоски. Пушкинъ былъ величайшій поэтъ, лучшее имя въ нашей литературѣ. Онъ, да Державинъ—болѣе у насъ нѣтъ никого. Эти два были гени. Впрочемъ, жалѣть должно о Россіи, а не о Пушкинѣ: для себя онъ довольно сдѣлалъ. Смерть его—поэтический конецъ поэтической жизни. Ему не должно было умереть, какъ умираемъ мы“...

Здоровье Грановскаго, расшатанное петербургскимъ чаемъ съ картофелемъ, весной 1837 г. измѣнило ему. Въ это время онъ настойчиво звалъ къ себѣ Невѣрова, стараясь уговорить его принять денежную помощь. Убѣждая Невѣрова, что ему необходимо пожить въ Берлинѣ для серьезныхъ занятій исторіей, Грановскій писалъ: „Ты не такой лѣнтяй, какъ я, и не станешь терять времени даромъ. Я много его терялъ, теряю и буду терять. Я созданъ мотомъ и равно расточаю деньги, время и здоровье—все, что Богъ даетъ мнѣ на жизненные расходы. Всѣ попытки экономическихъ преобразованій были далеко не удачны и вѣроятно никогда не удадутся“. Грановскому не чужда была склонность къ излишнему самобичеванію. Уговаривая Невѣрова пріѣхать, Грановскій увѣряетъ, что хлопочетъ лишь о себѣ, такъ какъ нездоровъ и нуждается въ нянкѣ: „Извини мнѣ эгоизмъ мой: я болѣе думаю о своей, чѣмъ о твоей пользѣ“. Наконецъ Невѣровъ, получивъ какую-то командировку, въ маѣ пріѣхалъ въ Берлинъ. „Невѣровъ,—говоритъ Григорьевъ,—былъ одною изъ самыхъ чистыхъ и теплыхъ душъ, какія я встрѣчалъ только въ жизни, и при томъ натурой въ высшей степени общительною“. Его пріѣздъ оживилъ Грановскаго. Но лѣтомъ въ Берлинѣ свирѣпствовала холера и не обошла и обоихъ друзей. Едва поправившись, Грановскій снова принялся за работу, къ крайнему негодованію Невѣрова, который писалъ объ этомъ Станкевичу: „Сочинилъ себѣ какое то преглупое правило, что не покоряться должно природѣ, а идти ей наперекорь, и съ этимъ правиломъ не хочеть ни на минуту оставить своего Гегеля и исторію“.

Въ Гегелѣ Грановскій искалъ примиренія и успокоенія отъ тѣхъ сомнѣній, на которыя мы только-что указали. Изучая философію Гегеля, по настоянію Станкевича, для котораго

знакомство съ нею представлялось нравственною обязанностью каждаго человѣка, Грановскій проходилъ ту же суровую школу, что и многіе другіе дѣтели сороковыхъ годовъ. Увлеченіе философіей Гегеля, нынѣ знакомой только спеціалистамъ, представляетъ собою въ исторіи русскаго общественнаго и умственнаго развитія явленіе и трогательное и поучительное. Философія давала сразу ключъ ко всѣмъ тайнамъ мірозданія, къ пониманію всей — и государственной, и общественной, и личной—жизни, все объясняла, всему отводила свое мѣсто. Изъ системы философской она обращалась въ систему религиозную; гегеліанцы наши становились сектаторами, фанатиками, обрѣтшими абсолютную истину, которую оставалось только созерцать, которою можно было упиваться, которая становилась нормою жизни и дѣятельности *. Міровой духъ завершилъ кругъ своего развитія въ гегелевской философіи, достигши самопознанія, — говорили гегеліанцы и серьезно недоумѣвали, въ чемъ же можетъ состоять дальнѣйшее содержаніе всемірной исторіи, разъ міровой процессъ завершенъ. Представляя весь міръ, какъ проявленіе идеи вѣчнаго разума, саморазвивающейся по тройственному діалектическому закону (тезиса, антитезиса и синтезиса), система Гегеля явилась на Западѣ реакціею противъ разсудочнаго скептическаго направленія XVIII вѣка. Идея развитія, высказанная Гегелемъ, была важнымъ шагомъ впередъ. Произвольное содержаніе, вложенное Гегелемъ въ эту идею, уже очень скоро отошло на задній планъ, но получилъ важное значеніе методъ, оставалась вѣра въ безграничную власть человѣческаго разума, невольна воспитываемая системой. Во имя тѣхъ самыхъ философскихъ началъ и тѣми же самыми діалектическими приемами, какими правовѣрная школа Гегеля доказывала полную разумность тогдашней прусской дѣйствительности, съ ея филистер-

* „Мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія“, — говоритъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ и это драгоценнѣйшее свидѣтельство даетъ единственно вѣрный методъ оцѣнки философскихъ увлеченій эпохи Бѣлинскаго... На первый планъ выступила не отвлеченная мысль, а приложеніе, не умозрѣніе, а политика — вопросъ о томъ, какъ надо было на основаніи Гегеля относиться къ тогдашнему строю русской жизни (С. Венгеровъ, Полное собраніе сочиненій Бѣлинскаго, т. III, стр. 557—558).

скими умственными и общественными возрѣніями,—такъ называемая лѣвая школа гегеліанства, съ Фейербахомъ, Бруно Бауэромъ, Марксомъ во главѣ, подвергла эту дѣйствительность беспощадному критическому анализу. И предъ нимъ рушились самыя крѣпкія преданія, защищаемыя правою стороною той же философской школы. При оцѣнкѣ историческаго значенія Гегеля, нельзя выпускать изъ виду и того обстоятельства, что эволюціонная теорія Дарвина врядъ ли достигла бы въ такое быстрое время всеобщаго признанія въ наукѣ, еслибъ умы къ ней не были подготовлены Гегелемъ. Пониманіе историческаго значенія Гегеля было, однако, какъ оно и понятно, почти чуждо русскимъ идеалистамъ 30-хъ гг. Они принимали философію Гегеля какъ вѣрованіе, и долго тяготѣла она, какъ всякая слѣпая вѣра, надъ мыслью ихъ, пока наконецъ возмущенное чувство живой личности, которой не было мѣста въ системѣ, понимаемой такимъ образомъ, не сбрасывало насильственныхъ оковъ. Но послѣ такого головоломнаго переворота, освобожденные мысль и чувство уже не расположены были принимать что бы то ни было на вѣру и бодро, со всею мощью анализа, подходили къ тѣмъ явленіямъ, которыя раньше дерзали лишь созерцать и объяснять, какъ непреложные, не подлежащіе критикѣ факты.

Увлеченію Гегелемъ содѣйствовалъ болѣе всего именно всеобщій характеръ его философіи; не удивительно, что она покорила себѣ молодые умы, только что начинавшіе рваться къ знанію и свободѣ; „миражеобразная истина, скрытая въ колючей скорлупѣ“,—какъ опредѣляетъ философію Гегеля его біографъ Гаймъ,—казалась полною истиной, и въ плѣнъ къ Гегелю радостно шли жаждавшіе свободы. Грановскій не остался чуждъ этого увлеченія. „Есть вопросы, на которые человекъ не можетъ дать удовлетворительнаго отвѣта,—писалъ онъ Григорьеву,—ихъ не рѣшаетъ и Гегель, но все, что теперь доступно знанію человека, и самое знаніе, у него чудесно объяснено“. Мы теперь знаемъ, что Гегель по многимъ пунктамъ знанія, напр., по естествознанію, астрономіи, весьма свободно распоряжался фактами, подтасовывая ихъ и обнаруживая порою круглое невѣжество; но это могли знать только спеціалисты, которые въ то время философскими системами интересовались.

мало. Какъ бы то ни было, кто рѣшался нырнуть въ философію Гегеля, тотъ безъ большого труда могъ подыскать въ ней рѣшеніе своихъ сомнѣній болѣе или менѣе удовлетворительное и соотвѣтствовавшее личнымъ наклонностямъ и вкусамъ адепта.

Что же дала философія Гегеля, какъ источникъ нравственно философской миражеобразной, конечно, истины, Грановскому?

Прежде всего онъ подъ вліяніемъ ея мужественно признаетъ необходимость и законность тѣхъ мучительныхъ для него сомнѣній, о которыхъ мы выше говорили. Въ томъ письмѣ къ Григорьеву, откуда взяты и сейчасъ приведенныя слова Грановскаго, онъ говорить: „...я едва не сошелъ съ ума, видя невозможность добиться дѣльнаго отвѣта; старался подавить въ себѣ всякое размышленіе, думая найти въ совершенномъ отсутствіи мыслей покой, — и въ самомъ дѣлѣ, на нѣсколько времени успокоился. Избави тебя Господь отъ такого покоя: это — смерть души, уничтоженіе нравственное, о которомъ мнѣ страшно вспомнить. Богъ помогъ мнѣ выйти изъ этого состоянія. Я собралъ послѣднія свои силы, рѣшился на послѣднюю свою борьбу и если не одолѣлъ еще врага моего, зато пересталъ его бояться и, что еще важнѣе, началъ вѣрить въ возможность побѣды. Много тяжелыхъ мучительныхъ дней прошло и пройдетъ еще для меня; иногда я опять готовъ предаться отчаянію, но при всемъ томъ я теперь неохотно отказался бы отъ борьбы, которая происходитъ во мнѣ. Признаюсь тебѣ, другъ Григорьевъ, въ этой борьбѣ я вижу законъ моего совершенствованія, оправданіе тѣхъ притязаній, которыя я съ дѣтства предъявиль на лучшія награды и цѣли въ жизни“. Совѣтуя другу „для облегченія сомнѣваться еще больше, не только не прогонять своихъ сомнѣній, но еще вызывать ихъ, короче — подвергнуть все самому скептическому изслѣдованію и начать это изслѣдованіе съ самыхъ сомнѣній“, — Грановскій произноситъ слѣдующія замѣчательныя слова:

„Мы можемъ, мы должны сомнѣваться: это одно изъ прекрасныхъ правъ человѣка; но эти сомнѣнія должны вести къ чему нибудь; мы не должны останавливаться на первыхъ отрицательныхъ отвѣтахъ, а идти далѣе, дѣйствовать всею діа-

лектикою, какою насъ Богъ одарилъ, идти до конца, если не абсолютнаго, то возможнаго для насъ. Это правило для всего человѣчества“.

Это мужественное признаніе законности всѣхъ сомнѣній сразу ставитъ Грановскаго въ немногочисленные ряды тѣхъ людей сороковыхъ годовъ, которые словомъ въ обществѣ и намеками въ печати критически отнеслись къ русской дѣйствительности и подготовили людей и почву для ряда великихъ реформъ шестидесятыхъ годовъ. Но это же письмо характеризуетъ Грановскаго и со стороны пассивности его натуры, робости въ діалектикѣ по отношенію къ нравственно философскому вопросу, о которомъ идетъ рѣчь въ письмѣ. „Возможный“ для Грановскаго „конецъ“ оказывался не далекъ: вкоренившіяся привычки мысли, внушенные еще горячо любимую матерью, окрашивали незамѣтно для него самого всѣ его взгляды, частью сдерживая сомнѣнія, ничѣмъ не разрѣшенные, но просто отодвинутыя въ сторону. Въ письмѣ мы находимъ уже зародыши тѣхъ теоретическихъ разногласій, которыя, какъ увидимъ впоследствии, были причиной охлажденія между Грановскимъ и его ближайшими и искреннѣйшими друзьями. „Миръ Божій хорошъ и разуменъ, — говоритъ онъ, — только на него надо смотрѣть разумными очами, другъ Вася. А у насъ обоихъ часто преглупыя очи. Хаосъ въ насъ, въ нашихъ идеяхъ, въ нашихъ понятіяхъ, а мы приписываемъ его міру. Точно какъ человѣку въ зеленыхъ очкахъ все кажется зеленымъ, хотя этотъ цвѣтъ у него на носу только. *Wer die Welt vernünftig ansieht, den sieht sie auch vernünftig an* * , говоритъ Гегель, и это едва ли не величайшая истина, сказанная имъ. Положимъ даже, что при всѣхъ твоихъ усиліяхъ, ты теперь не пойдешь далѣе отрицательныхъ отвѣтовъ, которые были результатомъ твоихъ первыхъ изслѣдованій. Что же это доказываетъ? Только то, что твоя діалектика еще не укрѣпилась, что ты не умѣешь еще перейти изъ одного опредѣленія въ другое, противоположное. Кто же виноватъ? Работай, воспитывай себя; готовься къ разрѣшенію великихъ вопросовъ. Я дѣлаю то же. Для этого недостаточно читать книги, а надобно

* „Кто разумно смотритъ на міръ, на того и міръ смотритъ разумно“.

почаще бесѣдовать съ собою. Займись, голубчикъ, философией... Это вовсе не пустая мечтательная наука. Она положительнѣе другихъ и даетъ имъ смыслъ. Что ты утратилъ вѣру, въ этомъ я не вижу большой бѣды. Напротивъ, эта вѣра возвратится къ тебѣ, но уже очищенная, вовсе не похожая на ту, которая переходитъ къ намъ отъ отца или дѣда... Право, теперешняя твоя болѣзнь есть переломъ, переходъ къ лучшей, болѣе человѣческой жизни. Переломъ этотъ мучителенъ, знаю, но будущее хорошо“.

Не всѣ могли однако ограничиться такимъ переходомъ „изъ одного опредѣленія въ другое, противоположное“, и удовлетвориться „очищенною вѣрой“, справедливо видя въ ней остатки традиціоннаго міревоззрѣнія, „романтизмъ“. Какъ въ самомъ дѣлѣ быть тому, у кого нѣтъ разумныхъ очей при которыхъ міръ представляется разумнымъ? На нѣтъ и суда нѣтъ. Съ такой точки зрѣнія цитированныя Грановскимъ слова Гегеля говорятъ только, что міръ настолько великъ и разнообразенъ, что всякое субъективное міревоззрѣніе можетъ быть оправдано субъективнымъ подборомъ фактовъ и явленій этого міра.

Какъ бы то ни было, нравственно философскія убѣжденія, „очищенная вѣра“ не дешевою цѣною дались Грановскому, они вошли въ его плоть и кровь, были выстраданы...

Въ концѣ октября 1837 г. прибылъ въ Берлинъ уже не разъ упомянутый, глава московскаго кружка молодыхъ гегелианцевъ, Н. В. Станкевичъ, по выраженію Бѣлинскаго, „одинъ изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благоговѣйные и таинственные слухи о которыхъ переходятъ иногда и въ общество изъ тѣснаго круга близкихъ къ нимъ людей“ *. Въ этомъ тѣсномъ кругу „выработалось уже общее воззрѣніе на Россію, на жизнь, на литературу, на міръ. воззрѣніе большею частью отрицательное, — передаетъ К. Аксаковъ въ воспоминаніяхъ о Станкевичѣ. — Искусственность россійскаго классическаго патриотизма, претензіи, наполнявшія нашу литературу, усилившаяся фабрикація стиховъ, неискренность печатнаго лиризма—все это поро-

* Бѣлинскій, статья о Кольцовѣ, соч. т. XII.

дило справедливое желаніе простоты и искренности, породило сильное нападеніе на всякую фразу и эффектъ; и то и другое высказалось въ кружкѣ Станкевича быть можетъ впервые, какъ миѣніе цѣлаго общества людей“ *. Но вопросы философіи, отвлеченные интересы преобладали здѣсь соотвѣтственно личному характеру Станкевича, болѣзненнаго, пылкаго мечтателя. Философія Гегеля приняла у него форму идеалистическаго романтизма, гдѣ поэзія преобладала надъ логическою мыслью, окрашивая и скрашивая противорѣчія жизни и философіи, учившей примиренію, созерцанію. Станкевичъ, по выраженію Бакунина, былъ „единственный человекъ одно непосредственное присутствіе котораго заставляетъ вѣрить въ идею“ **. Это была „прекрасная душа“, употребляя терминъ, впоследствии ставшій пренебрежительнымъ. Но въ прекрасной душѣ Станкевича не было тѣни сентиментальности, чего-либо преувеличеннаго, и безыскусственность и простота дѣлали его тѣмъ обаятельнѣе для друзей. Съ этимъ то человекомъ долго пришлось жить и Грановскому.

Пріѣздъ Станкевича, какъ писалъ Грановскій сестрѣ, заставилъ бы его забыть неприятности своего существованія, если бы онѣ и существовали. Друзья поселились втроемъ въ одномъ домѣ. „Ты, конечно, можешь себя представить, что намъ некогда скучать,—писалъ Грановскій сестрѣ:—утромъ ученье, потомъ обѣдъ, потомъ что нибудь читаемъ, въ шесть часовъ въ театръ, въ девять возвращаемся домой, болтаемъ и смѣемся, какъ сумасшедшіе, пока Невѣровъ, благоразумнѣйшій изъ насъ троицъ, потому что ему скоро будетъ 26 лѣтъ, не прогонитъ насъ спать. Эта исторія возобновляется каждый день. Только когда не отправляемся въ театръ, читаемъ или одинъ изъ моихъ товарищей занимаетъ насъ музыкой“. Совмѣстныя занятія надъ Гегелемъ еще болѣе сближали Станкевича и Грановскаго, сроднявшихся все болѣе вслѣдствіе многихъ одинаковыхъ склонностей: оба были мечтатели, обоимъ одинаково чужда была какая бы то ни было рѣзкость, односторонность, оскорблявшія ихъ, какъ нѣчто не эстетическое. Станкевичъ ревностно старался развить въ Грановскомъ поз-

* Коллюпановъ, „Біографія А. И. Кошелева“, т. II, стр. 44.

** „Изъ переписки недавнихъ дѣятелей“. „Русск. Мысль“ 1892 г., 9.

тический взглядъ на исторію, какъ на этомъ настаивалъ въ приведенномъ уже нами письмѣ своемъ. Подъ его руководствомъ и благодаря ему, Грановскій, по прекрасному выраженію Герцена: „думалъ исторіей, учился исторіей и исторіей въ послѣдствіи дѣлалъ пропаганду“.

Однако, въ выработкѣ взглядовъ Грановскаго прусскій государственный философъ занималъ мѣсто хотя и первенствующее, благодаря Станкевичу, но не исключительное. Какъ историкъ, Грановскій не могъ пройти мимо Гегеля. Ученіе философа было тѣсно связано съ историческою наукой. Идея развитія въ приложеніи къ историческимъ явленіямъ подчеркивала связь и взаимоотношеніе ихъ, освѣщала ихъ новымъ свѣтомъ. Философію Гегеля въ это время читали въ Берлинѣ Вердеръ и Гансъ. Первый былъ правовѣрнымъ слѣпымъ послѣдователемъ Гегеля. По словамъ Огарева, слушавшаго Вердера въ 1844 г. и вообще ему симпатизировавшаго, онъ „любилъ слѣдить на себѣ, можетъ ли онъ въ какую нибудь минуту своей жизни обойтись безъ логическаго момента—и радъ, что не можетъ. Экое занятіе! Факирство!“—съ негодованіемъ замѣчаетъ Огаревъ *. Многіе изъ московскихъ гегеліанцевъ, ходившіе, по словамъ Герцена, наприм., не просто гулять, но „отдаться пантеистическому чувству сліянія съ космосомъ“, или которые не просто заводили разговоръ со встрѣчнымъ солдатомъ или бабой, но „опредѣляли народную субстанцію въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи“**, — такіе строгіе послѣдователи Гегеля были бы вполне подъ стать Вердеру. Грановскій и лично сошелся съ Вердеромъ***, который все-таки умѣлъ оживлять свои лекціи, часто вступая въ длинныя бесѣды со слушателями объ исторіи, о философіи, объ отношеніи философіи къ жизни и т. д. Вердеръ читалъ логику

* „Переписка недавн. дѣятелей“. Р. М. 1890, IX и слѣд.

** Разказы Герцена объ этомъ увлеченіи гегеліанствомъ русскихъ юношей дополнимъ нѣкоторыми извлеченіями изъ писемъ Грановскаго въ главѣ о московскихъ кружкахъ сороковыхъ годовъ.

*** Лѣтомъ 1853 г. за границею былъ Погодинъ и въ Эмсѣ встрѣтился съ Вердеромъ. „Съ особеннымъ, живымъ участіемъ разспрашивалъ Вердеръ о Грановскомъ и другихъ московскихъ своихъ знакомыхъ. Вердеръ высоко ставилъ учившуюся философію русскую молодежь и говорилъ съ Погодинымъ о „блистательной будущности, которая предстоитъ русскому языку, церкви, исторіи, искусству, праву“. (Барсуковъ, „Жизнь и труды Погодина“, XII, стр. 490).

и знакомилъ слушателей съ общею системою. Гансъ, читавшій философію исторіи, былъ до нѣкоторой степени противовѣсомъ Вердеру. Его лекціи были какъ бы предвѣстникомъ раскола въ гегеліанствѣ. Онъ жила въ Франціи, и въ его изложеніи отражалась живая манера французскихъ профессоровъ. Иллюстрируя теоретическія положенія Гегеля, онъ обращалъ вниманіе слушателей на явленія текущей общественной и политической жизни и на лекціи являлся не съ ветхимъ фоліантомъ въ рукахъ, а часто съ послѣднимъ номеромъ французскаго или англійскаго журнала. Грановскій цѣнилъ эту сторону лекцій Ганса и писалъ позднѣе, что „дѣятельность Ганса такъ же полезна и имѣетъ значеніе, какъ и дѣятельность Савиньи“, хоть его и обвиняютъ въ болтливости, такъ какъ онъ возбуждаетъ въ слушателяхъ многіе вопросы, которые при слишкомъ отвлеченномъ изложеніи остались бы незатронутыми.

Лекціи Савиньи и Риттера также не остались безъ вліянія на складъ историческихъ воззрѣній Грановскаго. Савиньи въ своихъ чтеніяхъ выставлялъ на первый планъ чисто историческое пониманіе государства и права, пониманіе, согласно которому законы являются признаніемъ, выраженіемъ существующихъ уже отношеній, а государство формою, порожденною естественнымъ образомъ внутреннею жизнью народа. Школа Савиньи была по преимуществу школою консервативною, но очевидно, что это не было какимъ то неизбѣжнымъ слѣдствіемъ историческихъ взглядовъ ея, и, какъ ниже увидимъ, Грановскій умѣлъ отнестись къ ней съ точки зрѣнія, устранявшей односторонность: именно, онъ ставилъ вопросъ о той внутренней жизни народа, которая опредѣляетъ общественныя и государственныя формы, и признавалъ эту жизнь не чѣмъ либо разъ на всегда опредѣленнымъ, но думалъ, что она открываетъ широкій просторъ дѣятельности личной. Чтенія Риттера были однимъ изъ основаній, на которыхъ личность въ воззрѣніяхъ Грановскаго стала на подобающее ей мѣсто, тогда какъ Гегель и Савиньи были склонны ее игнорировать. Заслуга Риттера въ созданіи науки географіи состояла въ томъ, что онъ стремился сдѣлать сводъ скопившихся къ этому времени свѣдѣній о разныхъ странахъ, подвергнувъ ихъ обстоятельной критикѣ и разработкѣ при помощи строго

научнаго метода, и въ особенности въ томъ, что онъ старался опредѣлить точнѣе задачи географіи, ея положеніе въ ряду другихъ отраслей знанія, ея философскій духъ. Создатель „землевѣдѣнія“, Риттеръ видѣлъ въ земной поверхности нѣчто живое, въ отдѣльныхъ континентахъ—какъ бы особые организмы съ присущими каждому характерными признаками и качествами, выражающимися въ особенностяхъ очертаній береговъ, рельефа, климата, характера растительности и животной жизни, а равно и культурнаго развитія связанныхъ съ этими естественными условіями породъ человѣчества. То, что Риттеръ поставилъ на видное мѣсто, этотъ послѣдній культурный, человѣческій элементъ, было въ особенности оцѣнено современниками, и въ томъ числѣ Грановскій считалъ особою заслугою Риттера, что онъ постоянно указывалъ на творческую роль человѣка въ приспособленіи вышнихъ природныхъ условій къ его интересамъ и требованіямъ.

Остается упомянуть о томъ, какое впечатлѣніе произвели на Грановскаго Раумеръ и Ранке. Первымъ онъ остался очень недоволенъ. Раумеръ „много знаетъ, но холоденъ и мелоченъ,—писалъ Грановскій въ первую зиму пребыванія въ Берлинѣ Невѣрову, — говорить о пустякахъ, которые всякому извѣстны, и сверхъ того не имѣетъ рѣшительно никакого твердаго мнѣнія отъ желанія быть безпристрастнымъ“. Зато Ранке очаровалъ его своимъ прагматизмомъ, хотя французскіе историки, хорошо знакомые уже Грановскому, могли бы въ этомъ отношеніи занять мѣсто рядомъ съ нѣмецкимъ. „Я ничего подобнаго не читалъ объ этой эпохѣ,—писалъ Грановскій Григорьеву о лекціяхъ Ранке по исторіи французской революціи:—Ни Тьеръ, ни Минье не могутъ сравниться съ Ранке. У него такой простой не натянутый практическій взглядъ на вещи, что послѣ каждой лекціи я дивлюсь, какъ это мнѣ самому не пришло въ голову. Такъ естественно! Ранке безспорно самый гениальный изъ новыхъ нѣмецкихъ историковъ“. „Слава Ранке еще молода,—писалъ онъ Невѣрову:—въ Россіи о немъ не многіе знаютъ, а онъ выше большей части современныхъ историковъ. Не говорю объ его учености,—это вещь не удивительная въ Германіи, но его свѣтлые, живые поэтическіе взгляды на науку очаруютъ тебя. Онъ

понимаетъ исторію. Надобно привыкнутьъ только къ способу его изложенія, потому что онъ читаетъ скоро, отрывисто и, кажется, разсуждаетъ съ самимъ собою, а не думаетъ о своихъ слушателяхъ. Многіе находятъ, что онъ сухъ, оттого что у него нѣтъ привычки забавлять студентовъ анекдотами. Я въ восторгѣ отъ его лекцій“.

Вообще художественный историческій прагматизмъ привлекалъ Грановскаго и впоследствии отличалъ его лекціи. Мы уже отмѣтили одушевленіе, въ какое его привелъ Тацитъ.

Такимъ образомъ, занятія исторіей подъ руководствомъ ученыхъ, чуждыхъ идеологіи Гегеля, предохранили Грановскаго отъ односторонняго безусловнаго увлеченія германскимъ философомъ и особенно такими реакціонными частностями его возрѣній, какъ возвеличеніе прусскаго государства и т. п. Въ возрѣніяхъ на исторію, которыя сложились во время заграничныхъ занятій, не говоря о глубокомъ уваженіи къ европейской наукѣ и мысли, права исторической личности, какъ двигательницы историческаго прогресса, заняли у Грановскаго видное мѣсто; съ внѣшней же стороны для него первенствующее значеніе получилъ художественный прагматическій интересъ исторіи.

По мѣрѣ того, какъ нравственно философскія и научныя возрѣнія Грановскаго отливались въ отмѣченныя нами формы въ зимы 1837—38 г.г. и 1838—39 г.г., онъ оживлялся, дѣлался бодрѣе, чувствуя подъ ногами новую твердую почву. Дружескій кружокъ, къ которому въ зиму 1838 г. присоединился Тургеневъ, горячо слѣдилъ за общественными и въ особенности литературными явленіями европейской жизни; искусство, театръ и музыка были обычнымъ развлеченіемъ и отдыхомъ отъ другихъ болѣе отвлеченныхъ занятій. Грановскій усердно работалъ, чтобы „читать исторію среднихъ вѣковъ на славу“, какъ онъ писалъ Григорьеву. Въ ноябрѣ 1837 г. онъ сообщалъ сестрѣ: „Людямъ, которые пріѣзжаютъ въ Берлинъ, не ища въ немъ ничего, кромѣ удовольствій, этотъ городъ можетъ очень не понравиться. Но кто хочетъ работать и вмѣстѣ наслаждаться жизнью, тотъ найдетъ здѣсь все, что ему нужно. По крайней мѣрѣ я это нашелъ“.

Не чуждаясь уже, какъ при пріѣздѣ въ незнакомый и

чужой городъ, общества, Грановскій въ 1837—38 г.г. завелъ знакомства въ литературныхъ кругахъ и между прочимъ сталъ постояннымъ гостемъ Фроловыхъ, жены и мужа, приѣхавшихъ въ Берлинъ въ концѣ 1837 г.

„День, въ который я познакомился съ этою семьей,— писалъ Грановскій сестрѣ,—считаю я въ числѣ самыхъ счастливыхъ и самыхъ вліятельныхъ дней моей жизни. Не думай, что въ этомъ есть преувеличеніе. Всѣ друзья мои, всѣ тѣ, кого я любилъ, имѣли болѣе или менѣе вліяніе на мой характеръ, но никакое вліяніе не было такъ благотворно для меня, какъ вліяніе Фроловыхъ. Они сообщили мнѣ болѣе вѣры, болѣе довѣренности, даже, можетъ быть, болѣе любви къ моимъ ближнимъ“.

Елизавета Павловна Фролова, урожд. Галахова, напоминала собою тѣхъ женщинъ XVIII столѣтія, которыя соединяли въ своихъ салонахъ цвѣтъ науки, литературы и искусства. Тонкій умъ, постоянный тактъ въ обращеніи съ людьми, умѣнье затрогивать ихъ лучшія струны—все это привлекло къ больной и некрасивой Фроловой весьма многихъ замѣчательныхъ людей. Даже дипломаты добивались въ Берлинѣ чести быть представленными Фроловой. Энциклопедическій характеръ умственныхъ интересовъ былъ основною чертою салона ея; не была здѣсь въ загонѣ и еще бѣдная тогда русская литература.

Здѣсь бывалъ Александръ Гумбольдтъ,

Привѣтливый ко всѣмъ, съ любовью ко всему,

Онъ, авторъ Космоса, самъ—Космосъ по уму,

Бесѣдою своей живой и всесторонней.

Казалось мнѣ: чѣмъ былъ лѣтами онъ преклоннѣй,

Тѣмъ расточительнѣй избытокъ бодрыхъ силъ;

Казалось, высказать себя всего спѣшилъ,

Все сдать, что онъ сберегъ въ хранилицѣ богатомъ,

И весь свой жаръ и блескъ излить передъ закатомъ.

(Стихотвореніе князя Вяземскаго).

Постояннымъ посѣтителемъ вечеровъ Фроловыхъ бывалъ и Варнгагенъ фонъ-Энзе; князь Вяземскій вспоминалъ

Живую мысль его въ живой оправѣ слова,

Любезность, мѣткій взглядъ на лица и дѣла,

Все то, что нажилъ онъ съ морщинами чела,
Все то, что уберегъ средь смуть и тревоженій—
И пѣтъ поэзіи, и свѣжесть впечатлѣній.
За русской мыслью онъ слѣдилъ: ея развитію
Сочувствовать умѣлъ, какъ свѣтлому событію
И вкладу новому въ сокровище временъ:
Онъ въ области ума не зналъ китайскихъ стѣнъ.

Вердеръ, Гансъ, Беттина Арнимъ, знаменитая перепискою въ дѣтствѣ съ Гёте, и другія болѣе или менѣе выдающіяся личности были частыми гостями Фроловой. Невѣровъ называетъ ее „русскою Рахилью“ (Рахиль Варнгагенъ) и, пожалуй, это названіе справедливо. Какъ знаменитая нѣмка обладала рѣдкимъ „артистическимъ талантомъ къ общественной жизни“ и „постоянно стремилась согласить идею съ дѣйствительностью“ (слова Шерра), такъ и Фролова заставляла людей отвлеченной науки и мысли спускаться съ облаковъ на землю, переходить на почву дѣйствительной жизни.

Грановскій, проводившій у Фроловой со Станкевичемъ, Невѣровымъ и Тургеневымъ цѣлые вечера, наиболѣе поддавался обаянію этой женщины. Она сумѣла внушить ему, — рассказываетъ Невѣровъ *, — интересъ не только къ обществу вообще, но даже къ самымъ незамѣчательнымъ личностямъ. Неловкаго теолога, у котораго Грановскій и Невѣровъ учились греческому языку, она заставила развернуться, отучила его отъ странностей, сдѣлала общимъ пріателемъ; привязанность же и благоговѣніе его передъ ней были безграничны. „Она то передала Грановскому эту внимательность и снисхожденіе къ людямъ и умѣрила его наклонность къ насмѣшкѣ. Она заставила Грановскаго вглядываться въ современное общество, сочувствовать его интересамъ, и оживила его взглядъ какъ на минувшую жизнь человѣчества, такъ и на настоящія его стремленія. Бѣольшая часть ночныхъ свиданій напихъ посвящена была этимъ живительнымъ бесѣдамъ. Чужеземная жизнь, чужеземныя постановленія были сравниваемы съ нашими русскими, но здѣсь не было политическихъ сужденій: Фролова не любила тѣхъ мечтательныхъ теорій, которыя навязываютъ людямъ проекты несбыточнаго

* Воспоминанія о Грановскомъ. „Русская Старина“ 1880 г., 4.

благоденствія; нѣтъ, уважая въ каждомъ лицѣ отдѣльно его личность, она и въ государствахъ уважала личность ихъ народовъ и допускала, что какъ каждый индивидуумъ можетъ быть счастливъ по своему, такъ и каждое государство, и что дѣло въ томъ, чтобы понять, чего оно хочетъ, или иначе—какъ думаетъ быть счастливымъ,—словомъ, сочувствіе въ Грановскомъ къ современнымъ интересамъ развито въ немъ Madame Фроловой, даже самая философія, которой Грановскій прдался подъ вліяніемъ Станкевича, чрезъ нее, такъ сказать, практически, переходила изъ отвлеченности въ жизнь“. Грановскому, увлекавшемуся Вердеромъ, такое противодѣйствіе было полезно: Фролова часто нападала и на Станкевича, и на Вердера за ихъ склонность къ абстракціямъ.

Николай Григорьевичъ Фроловъ произвелъ на Грановскаго не меньшее впечатлѣніе, чѣмъ сама Фролова. То былъ одинъ изъ тѣхъ второстепенныхъ тружениковъ литературы и науки, безъ которыхъ онѣ не могутъ развиваться, но которымъ всегда суждено быть „вторымъ номеромъ“, по выраженію тургеневскаго героя въ „Наканунѣ“. Гвардейскій офицеръ, бросившій службу ради науки, Фроловъ долго кидался изъ стороны въ сторону и наконецъ остановился на популяризаціи у насъ идей Гумбольдта и Риттера, сдѣлавъ ее цѣлью всей своей жизни. Его односторонность въ этомъ отношеніи, постоянное преслѣдованіе одной цѣли и подготовка къ ней, позднѣе, даже въ недоумѣніе приводили его друзей. Такъ Сатинъ (членъ кружка Герцена и Огарева) писалъ о Фроловѣ: „Мнѣ кажется, онъ слишкомъ вдался въ вопросъ о самовоспитаніи и отвлекся отъ общихъ интересовъ потому-де, что онъ не чувствуетъ въ себѣ права судить о нихъ. Да вѣдь это вздоръ, Огаревъ! Мы всѣ имѣемъ на это право, мы съ молокомъ всосали въ себя эти интересы, они наши, они интересы каждаго мгновенія нашей души... Ежели мы говоримъ о Богѣ, о безсмертіи души и социальномъ движеніи, то это не для того, чтобы выказать наше личное мнѣніе или силу діалектики, а единственно потому, что эти вопросы касаются самыхъ интимныхъ струнъ нашей человѣчности“ *. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, Фроловъ,

* Письмо изъ „Переписки нед. дѣятелей“ отъ 3 марта 1841 года изъ Парижа Огареву.

вѣроятно, еще далеко былъ отъ такой односторонности. Она была во всякомъ случаѣ въ немъ лишь результатомъ строгихъ нравственныхъ требованій къ себѣ. „Природа не обидѣла его дарами своими,—говорить о Фроловѣ въ теплому некрологѣ, посвященномъ ему, Грановскій:—обстоятельства часто давали ему возможность пользоваться совершеннымъ досугомъ; но онъ носилъ въ душѣ непреклонное, до жестокости доходившее чувство долга. Умирая, онъ имѣлъ право сказать, что сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать въ предѣлахъ отмѣченной ему Провидѣніемъ жизни. Такое сознаніе было для него тѣмъ утѣшительнѣе, что онъ глубоко вѣрилъ въ нравственную силу просвѣщенія, которому такъ честно и безкорыстно служилъ съ ранней молодости своей“ *. Именно нравственная сила этой не блестящей, но все таки далеко недюжинной личности и привлекала Грановскаго, и они навсегда остались въ наилучшихъ дружескихъ отношеніяхъ.

Остановимся еще на одномъ эпизодѣ, передаваемомъ Невѣровымъ и рисующемъ содержаніе умственныхъ интересовъ берлинскаго кружка. Разъ на вечерѣ у Фроловой шла рѣчь о преимуществахъ народнаго представительства въ государствѣ, о всесловномъ участіи народа въ несеніи государственныхъ повинностей и о доступѣ ко всякой государственной дѣятельности, причемъ Станкевичъ, какъ видно, не соглашался съ хозяйкою. „Когда по окончаніи этого вечера,—говорить Невѣровъ,—мы возвратились домой, оставаясь подъ впечатлѣніемъ вечерней бесѣды, и обсуждали поднятый въ ней вопросъ,—Станкевичъ обратился къ намъ съ такимъ замѣчаніемъ: „Предсѣдательница бесѣдъ забываетъ, что масса русскаго народа остается въ крѣпостной зависимости и потому не можетъ пользоваться не только государственными, но и общечеловѣческими правами; нѣтъ никакого сомнѣнія, что рано или поздно правительство сниметъ съ народа это ярмо, но и тогда народъ не сможетъ принять участія въ управленіи общественными дѣлами, потому что для этого требуется извѣстная степень умственнаго развитія, и потому прежде всего надлежитъ желать избавленія народа отъ крѣ-

* Соч. Гран. II, стр. 416.

постной зависимости и распространения въ средѣ его умственнаго развитія. Последняя мѣра сама собою вызоветъ и первую (sic!), а потому, кто любитъ Россію, тотъ прежде всего долженъ желать распространения въ ней образованія“, — и при этомъ Станкевичъ взялъ съ насъ (т. е. съ Невѣрова, Тургенева и Грановскаго) торжественное обѣщаніе, что мы всѣ наши силы и всю нашу дѣятельность посвятимъ этой высокой цѣли“ *.

Этотъ эпизодъ указываетъ, какъ вообще непритязательны были практическія пожеланія людей 30-хъ, да и 40-хъ гг., и вмѣстѣ съ тѣмъ характеризуетъ нѣсколько наивное благодушіе Станкевича: надежда на уничтоженіе крѣпостнаго права вслѣдствіе распространения просвѣщенія въ народѣ была, конечно, мечтою совершенно несбыточною. Преимущественно моральный характеръ возрѣній Станкевича опредѣлялъ и этотъ взглядъ на крѣпостное право. Грановскій не остановился на исключительно моральной точкѣ зрѣнія, какъ не остановился и Бѣлинскій на метафизическихъ теоріяхъ любви и эгоизма, развитыхъ имъ въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ и навѣянныхъ Станкевичемъ же. На ряду съ вопросомъ просвѣщенія, моральнаго совершенствованія, сталъ вопросъ о реформѣ общественныхъ учрежденій, безъ которой моральное совершенствованіе обращается въ фикцію. Относительно Бѣлинскаго это достаточно извѣстно. Что касается Грановскаго, то въ его сочиненіяхъ мы въ свое время укажемъ мѣста, опредѣленно ставящія вопросъ именно такимъ образомъ. Записки Невѣрова свидѣтельствуютъ, какъ близко былъ онъ знакомъ со всѣми закулисными сторонами крѣпостнаго права. Нѣтъ сомнѣнія, что рассказы его о подвигахъ богомольнаго богача Кошкарова и его гаремѣ остались въ памяти Грановскаго и Тургенева, изъ которыхъ послѣдній даже далъ „аннибаловскую клятву“ непримиримой вражды къ крѣпостному праву **. Вліяніе Фроловой, можетъ быть, и направило Грановскаго ко взгляду на реформу общественныхъ учрежденій, какъ на необходимое условіе распространения просвѣщенія, гуманнхъ идей.

* Воспоминанія Невѣрова объ И. С. Тургеневѣ „Русская Старина“, 1888 г., 11, стр. 419.

** „Страница изъ эпохи крѣпостнаго права“, тамъ же стр. 429 и слѣд.

Не ограничиваясь разговорами о Россіи, друзья поддерживали съ нею сношенія. Между прочимъ, въ редакціонной замѣткѣ „Московского Наблюдателя“, составленной Бѣлинскимъ, когда журналъ былъ въ его рукахъ, упоминалось, что нѣкоторые молодые русскіе учёные, живущіе въ Берлинѣ, общались участвовать въ журналѣ корреспонденціями о новостяхъ науки и литературы.

Не лишнимъ будетъ упомянуть еще объ одномъ случаѣ совмѣстной берлинской жизни Грановскаго, Станкевича, Невѣрова и Тургенева. Случай этотъ можетъ служить переходомъ къ описанію путешествія Грановскаго въ Австрію, по поводу котораго онъ высказалъ не мало своихъ тогдашнихъ взглядовъ на славянство. Однажды, въ гостиницѣ Ягора, гдѣ часто сходились друзья, они встрѣтились съ компаніей поляковъ. Кто-то изъ послѣднихъ, съ явнымъ намѣреніемъ сдѣлать непріятность русскимъ, вздумалъ прочесть вслухъ какой то французскій памфлетъ противъ Россіи и кончилъ чтеніе, какъ передаетъ Невѣровъ, „возмутительнымъ тостомъ для русскихъ“. Первымъ вскипѣлъ И. С. Тургеневъ. Грановскій тотчасъ остановилъ его, прося предоставить ему уладить дѣло, и произнесъ примирительную рѣчь, которую закончилъ приблизительно такъ: „Вмѣсто слова ненависти за проклятія, направленные противъ насъ, обратимъ къ нимъ слова любви. Во главѣ славянскаго развитія стала Россія, а не Польша; полякамъ извинительно сожалѣть, что не Польша, но намъ нечего гордиться: надо братски соединить всѣ усилія въ стремленіи къ высокой цѣли, единенію славянъ и первенствующему ихъ развитію на историческомъ поприщѣ“. Поляки и русскіе обнялись.

Весною и лѣтомъ 1838 г.,—слѣд. въ промежутокъ между двумя зимами, къ которымъ относится сдѣланный нами очеркъ умственной атмосферы, гдѣ вращался Грановскій, — онъ ѣздилъ по Германіи, а также побывалъ въ Прагѣ и Вѣнѣ. Кромѣ специальной цѣли, ознакомленія съ нѣкоторыми бібліотеками и архивами, его влекло въ странствованія и стремленіе „sich in die Wirklichkeit zu werfen“—броситься въ дѣйствительность,—какъ онъ писалъ друзьямъ изъ Дрездена, т. е. желаніе, всегда присущее ему, отдаваться впечатлѣніямъ дѣй-

ствительной жизни послѣ отвлеченныхъ теоретическихъ занятій, споровъ и книгъ. Но разлука съ друзьями, положеніе посторонняго наблюдателя и мысленное сравненіе европейскихъ порядковъ съ тѣмъ, что можетъ встрѣтить его на родинѣ,—все это порою повергало его въ хандру, обычную, когда не было около него людей, съ которыми можно бы было дѣлиться и впечатлѣніями, и живыми умственными интересами.

Не касаясь частныхъ путешествія Грановскаго, рассыпанныхъ въ его обстоятельныхъ письмахъ за это время, остановимся на пребываніи его въ Прагѣ и Вѣнѣ.

Въ первомъ городѣ онъ пробылъ три недѣли. Изъ писемъ его можно составить отчетливое представленіе о его мнѣніяхъ по славянскому вопросу. Съ перваго взгляда казалось бы, что эти мнѣнія не далеки отъ мнѣній такъ называемыхъ славянофиловъ. Мысль о первенствующемъ значеніи славянства въ будущемъ, случайно высказанная въ упомянутомъ нами столкновеніи съ поляками, повторяется имъ и здѣсь, но съ оговорками, рѣзко выказывающими въ немъ убѣжденнаго западника. Знакомство съ такими крупными величинами славянскаго ученаго и литературнаго міра, какъ Шафарикъ, Палацкій и другіе, при всемъ уваженіи къ ихъ дѣятельности, не заставило Грановскаго подчиниться ихъ авторитету. По настоянію ихъ, онъ прочиталъ въ Прагѣ книгу поэта панславистскаго возрожденія, Яна Колдара: „О литературной взаимности между различными племенами и нарѣчіями славянскаго народа“. Это произведеніе, выставившее первымъ условіемъ возрожденія славянъ созданіе всеславянской литературы, произвело въ свое время огромное впечатлѣніе и было переведено (съ нѣмецкаго!) на всѣ славянскія нарѣчія. Прочитавъ книгу, Грановскій нашель, что „несмотря на болтовню, которой въ ней много, она содержитъ много истиннаго и важнаго для насъ“. Но все таки онъ находилъ, что многіе изъ ученыхъ славянскаго міра „ужь слишкомъ славяниствуютъ“, хотя и признавалъ, что „это преувеличеніе такъ понятно, такъ необходимо въ людяхъ, которые служатъ избранному дѣлу“,—какъ онъ писалъ о Шафарикѣ Станкевичу. „Къ концу нашего разговора,—передаетъ онъ дальше,—Ша-

фарикъ сказалъ, что ему грустно смотрѣть на теперешнюю Европу, полную безплодныхъ волненій, полуразорванную внутренними раздорами, и что онъ не предвидитъ скораго исхода. — „А развѣ этотъ скорый исходъ такъ необходимъ? что онъ придетъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнй; что за бѣда, если мы его не увидимъ“. — Ja, aber man möchte doch die schöne Zeit selbst erleben“, — былъ отвѣтъ *. И это было сказано такъ просто, такъ чистосердечно, что я вдвое полюбилъ его“. Черта—характеризующая и Грановскаго, въ которомъ также просто и естественно было страстное желаніе лучшаго будущаго для родины. „Но при всемъ моемъ уваженіи къ его огромнымъ свѣдѣніямъ, — говоритъ Грановскій въ другомъ письмѣ (къ Григорьеву), — я не могу согласиться, что славяне не менѣе нѣмцевъ участвовали во всемірной исторіи. Мнѣ кажется, что намъ принадлежитъ будущее, а отъ прошедшаго мы должны отказаться въ пользу другихъ. Мы не въ убыткѣ при этомъ раздѣлѣ. Какъ ни говори, а все таки исторія германцевъ теперь важнѣе славянской, въ связи со всеобщей. Черезъ два-три столѣтія—другое дѣло“. Во всякомъ случаѣ положеніе и интересы славянъ возбуждали въ Грановскомъ полное сочувствіе и онъ даже думалъ одно время писать на эту тему статью, сомнѣваясь только, чтобы она могла появиться въ Россіи. Недовѣріе ко всякому одностороннему увлеченію, оправдываемому лишь источникомъ своимъ, сказывается въ этомъ осторожномъ отношеніи Грановскаго къ панславистскимъ тогдашнимъ мечтаніямъ, недоовѣріе, съ которымъ мы не разъ еще встрѣтимся.

Австрія вообще и Вѣна въ частности, гдѣ въ это время была въ полномъ расцвѣтѣ меттерниховская реакція, произвели гнетущее впечатлѣніе на Грановскаго. Полицейскія строгости, беспощадная цензура, бдительный надзоръ за образованіемъ, которое было отдано въ руки католическаго духовенства, развивали невѣжество и полное равнодушіе общества къ какимъ бы то ни было умственнымъ интересамъ или же ханжество. Литература оскудѣла; для характеристики контраста между Вѣной и столицей далеко не либеральной Прус-

*) Да, но хотѣлось бы и самому пережить это прекрасное время.

сін, контраста, который поразилъ Грановскаго, достаточно сказать, что въ Австріи былъ одинъ только серьезный литературный журналъ: „Wiener Jahrbücher der Litteratur“, и всего въ 40-хъ годахъ насчитывалось 26 періодическихъ изданій, тогда какъ въ Пруссіи ихъ было свыше 400. Вообще, Вѣна — противоположностью между своимъ вѣшнимъ блескомъ и жалкою умственной жизнью общества—могла оправдать въ глазахъ Грановскаго репутацію, выраженную въ стихахъ современнаго поэта:

Schön bist du, doch gefährlich auch
Dem Schüler wie dem Meister;
Entnervend weht dein Sonnenhauch,
Du Capua der Geister.

(Grillparzer, Der Abschied von Wien). *

Въ университетѣ Грановскій нашелъ студентовъ спящими на лекціяхъ. „Больно смотрѣть на старика, который проѣлъ и проспалъ жизнь, — писалъ онъ черезъ нѣсколько дней по прїѣздѣ:—а здѣсь—вы видите цѣлый народъ, 30 милліоновъ человѣкъ, въ такомъ положеніи. Еще хуже: эти несчастные проѣдаютъ не только свою, но и чужую жизнь—жизнь дѣтей и внуковъ. Народъ Бригадиръ. Какъ можно сравнить Россію! У насъ свѣжій, бодрый народъ! Еще въ Прагѣ сказалъ мнѣ одинъ умный человѣкъ: man hat uns sensualisirt; wir sind verloren für höheres Leben **. Здѣсь это видишь собственными глазами. Всѣ другіе интересы, кромѣ матеріальныхъ, исчезли изъ жизни“ ***.

Кончивъ свои дневныя занятія по собиранію матеріаловъ для диссертации объ образованіи и упадкѣ средневѣковыхъ городскихъ общинъ, Грановскій возвращался въ свѣтскомъ вѣнскомъ обществѣ, въ которое проникъ благодаря своимъ берлинскимъ связямъ. Его поражала смѣсь невѣжества и самодовольства, господствовавшая здѣсь, и невольно приходила

* „Прекрасна ты, но и опасна, какъ для ученика, такъ и для учителя; расслабляюще дѣйствуетъ твое солнечное дыханіе, о Капуя умовъ!“ Къ Грильпарцеру у Грановскаго была рекомендательная карточка, но знакомство не состоялось.

** „Насъ сдѣлали чувственными; мы погибли для высшей жизни“.

*** Переписка Гр., стр. 343.

въ голову мысль о Россіи: что, если и тамъ ему придется выносить подобную же пытку? Онъ съ негодованіемъ передавалъ въ письмѣ къ Фролову, какъ на одномъ парадномъ обѣдѣ аристократы, прекрасно говорившіе по французски, оказались въ полномъ недоумѣніи относительно того, когда началась великая французская революція. Особенно возмутили здѣсь Грановскаго рѣзказни какой-то русской аристократки, передаваемая хозяйкою дома, о прекрасномъ житьѣ-бытьѣ русскихъ крестьянъ, вполне довольныхъ своею судьбою. „Я заспорилъ, разгорячился и, кажется, сыгралъ пресмѣшную роль“, — сообщалъ онъ объ этомъ эпизодѣ *. — Какъ все это отражалось на немъ, видно, между прочимъ, изъ сдѣланнаго имъ мимоходомъ въ одномъ письмѣ признанія, что въ Вѣнѣ ему порою бывало совѣстно находить удовольствіе въ театрѣ, гдѣ онъ наслаждался Шекспиромъ: чѣмъ-то дурнымъ представлялось ему развлекаться вымышленною жизнью, когда вокругъ него дѣйствительная жизнь была такъ ничтожна и жалка.

Вообще вѣнскія письма Грановскаго свидѣтельствуютъ, что дѣйствительная жизнь, общественные нравы и отношенія занимали все болѣе видное мѣсто въ его мысляхъ: онъ отрѣшался быстро отъ крайняго увлеченія отвлеченными вопросами исторіи, навѣяннаго было Станкевичемъ. Въ Вѣнѣ онъ работалъ каждый день съ семи часовъ утра до двухъ, продолжалъ изучать славянскіе языки, за которые взялся въ Прагѣ, но охладѣлъ къ нимъ. „Они могутъ быть полезны для филологическихъ изслѣдованій, — писалъ онъ въ Берлинъ въ половинѣ іюня, сообщая друзьямъ о своихъ занятіяхъ, — а слѣдовательно и для исторіи, но я совсѣмъ другого ищу въ этой наукѣ. Меня почти исключительно занимаетъ развитіе политическихъ формъ и учреждений. Это одностороннее направленіе, но я не могу изъ него вырваться“. Отчасти того же направленія онъ держался и при занятіяхъ въ Прагѣ, какъ приходится заключить по одному изъ пражскихъ писемъ. Онъ сообщалъ тогда друзьямъ объ О. М. Бодянскомъ и Иванъшевѣ, готовившихся въ Прагѣ къ каеэдрамъ славянскихъ

* Переписка Гран., стр. 359 и 411.

нарѣчій. Послѣдній увѣрялъ Грановскаго, что древнее славянское право несравненно выше современнаго ему нѣмецкаго, по строгой системѣ и духу свободы, которымъ оно проникнуто. „Въ самомъ дѣлѣ, сколько я теперь знаю,—добавляетъ къ этому Грановскій,—чехи XIII и XIV вѣка были гораздо образованнѣе, въ конституціонномъ смыслѣ, всѣхъ тогдашнихъ нѣмцевъ“. Однако, онъ не могъ найти достаточно матеріала по этому вопросу въ славянской литературѣ. „Мнѣ полезнѣе было бы выучиться по итальянски и испански, — писалъ онъ изъ Вѣны: — я теперь болѣе всего занимаюсь исторіей Испаніи. Чудный народъ! Они понимали конституціонныя формы тогда, когда объ этомъ нигдѣ не имѣли понятія. Въ 1305 году испанскіе кортесы опредѣлили, чтобы во время ихъ засѣданій королевское войско оставляло городъ: иначе голоса не свободны. Такихъ законовъ у нихъ было много. Теперешняя Европа еще борется за то, что у нихъ тогда уже было. Для диссертациі я выбралъ предметъ: объ образованіи и упадкѣ городскихъ общинъ въ среднихъ вѣкахъ. Первыя вольныя общины все-таки въ Испаніи. Жажда труда у меня большая, — добавляетъ онъ: — Сейчас же поѣхалъ бы въ Москву. Въ эту зиму я отдохнулъ, и слава Богу!“ *

Выборъ темы для диссертациі также свидѣтельствуетъ, что реальные общественные интересы занимали все болѣе замѣтное мѣсто и въ историческихъ возрѣніяхъ Грановскаго. Онъ надѣялся, что тема не представитъ цензурныхъ препятствій, и сильно былъ ею заинтересованъ. „Въ цѣлой исторіи среднихъ вѣковъ нѣтъ явленія болѣе важнаго и утѣшительнаго, и горькаго, когда хотите“. Такъ писалъ онъ Фролову.

Въ то же время его болѣе и болѣе занимала мысль о собственномъ общественномъ положеніи въ будущемъ, о предстоящей профессорской дѣятельности. Много работая, онъ все таки порою обвинялъ себя въ лѣности, такъ какъ признавалъ себя плохо подготовленнымъ. „Еслибъ мнѣ надобно было долго здѣсь жить, то на меня нашла бы постоянная грусть,—писалъ онъ друзьямъ;—я уѣхалъ бы въ Москву съ радостью. Мнѣ хочется работать, но такъ, чтобы ре-

* Переписка Гран., 351.

зультатъ моей работы быть въ ту же минуту полезенъ другимъ. Пока я внѣ Россіи, этого сдѣлать нельзя. Мнѣ кажется, что я могу дѣйствовать при настоящихъ моихъ силахъ, и дѣйствовать именно словомъ. Что такое даръ слова? краснорѣчіе? У меня есть оно, потому что у меня есть теплая душа и убѣжденія. Я увѣренъ, что меня будутъ слушать студенты. У меня еще нѣтъ свѣдѣній, нужныхъ для историка въ настоящемъ смыслѣ; я еще не знаю исторіи, но мнѣ кажется, что понимаю и чувствую ее“ *.

Это письмо—до нѣкоторой степени признакъ, что періодъ развитія, совершавшагося въ Грановскомъ за границей, закончился. Подчеркнутыя нами слова характеризуютъ во первыхъ всегдашнюю потребность Т. Н. работать именно съ людьми, на людяхъ. Во вторыхъ, слова Грановскаго о томъ, что у него есть убѣжденія, были вполнѣ справедливымъ сознаниемъ съ его стороны извѣстной зрѣлости своей. Мы въ общихъ чертахъ указали, какъ складывались эти убѣжденія и каково было содержаніе ихъ, когда послѣдовательно говорили о нравственно философскомъ вопросѣ, волновавшемъ Грановскаго, и о значеніи, какое получили въ его взглядахъ сперва вопросъ о творческой роли личности въ жизни человечества и вопросъ моральный, а затѣмъ вопросъ объ общественныхъ отношеніяхъ, въ которыя личность поставлена. Далѣе намъ придется подробнѣе разбирать эти сложившіеся уже теперь взгляды, поскольку они отразились въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Грановскаго.

Въ Вѣнѣ Грановскій, выкупавшись въ Дунаѣ, заболѣлъ опять холерою. Полубольной, онъ черезъ Баварію проѣхалъ въ Мангеймъ и отсюда по Рейну въ Кельнъ, гдѣ встрѣтился со Станкевичемъ. Это путешествіе благотворно подѣйствовало на него и физически и морально: онъ становится гораздо спокойнѣе. Въ половинѣ августа онъ снова былъ уже въ Берлинѣ, и зима 1838—39 г.г. прошла быстро въ томъ же кружкѣ, выше нами описанномъ. Грановскій усиленно работалъ—уже дома, такъ какъ всѣ необходимые курсы выслушалъ въ предыдущіе учебные семестры, и рассчитывалъ во время самого профессорства пополнить пробѣлы своего исто-

* Переписка Гран., 343.

рическаго образованія, явившіеся вслѣдствіе крайне недоста- точной подготовки, данной петербургскимъ университетомъ. Друзья поддерживали его увѣренность въ своихъ силахъ. Все было бы хорошо, еслибы здоровье не грозило измѣнить со- вершенно. Весной 1839 г. врачи опасались даже чахотки, и была рѣчь о запрещеніи больному читать вслухъ, что едва не привело Грановскаго въ полное отчаяніе, такъ какъ за- крыло бы возможность быть профессоромъ. Домашнія дѣла, денежные затрудненія семьи, окончательный разрывъ съ не- вѣстой (Грановскій первый созналъ, что не любитъ ее больше),— все это также не могло особенно благотѣльно дѣйствовать на его нравственное состояніе, а слѣдовательно и на физи- ческое. Наконецъ весною берлинскій кружокъ разсѣялся. Больной Грановскій отправился въ маѣ мѣсяцѣ лѣчиться въ Зальцбургъ. Здѣсь провелъ съ нимъ двѣ недѣли Н. В. Стан- кевичь. Послѣ разлуки съ нимъ (Станкевичь поѣхалъ въ Ита- лію, гдѣ вскорѣ и умеръ отъ чахотки) одиночество, очевидно, слишкомъ ужъ сильно одолѣло Грановскаго. Махнувъ рукою на совѣты врачей, онъ поѣхалъ въ Россію, безъ отдыха про- скакавъ отъ Варшавы до Погорѣльца въ телѣгѣ, и въ началѣ іюля 1839 года былъ уже въ родной семьѣ.

Годы ученья кончились. Относительно ихъ надо прежде всего указать на роль того обстоятельства, что возмужаніе Грановскаго, главное умственное развитіе его — завершилось за границею, слѣдовательно почти совершенно внѣ тѣхъ влія- ній, которыя съ поразительной силою изображены, напр. въ дневникѣ цензора Никитенка. „Сначала мы судорожно рвались на свѣтъ,—записываетъ онъ подъ 15 апр. 1834 г., описывая нравственное состояніе молодежи въ концѣ двадца- тыхъ и въ тридцатыхъ гг.:—но когда увидѣли, что съ нами не шутятъ, что отъ насъ требуютъ безмолвія и бездѣйствія, что талантъ и умъ осуждены въ насъ цѣпенѣть и гноиться на днѣ души, обратившейся для нихъ въ тюрьму; что всякая свѣтлая мысль является преступленіемъ противъ обществен- наго порядка, когда, однимъ словомъ, намъ объявили, что люди образованные считаются въ нашемъ обществѣ паріями; что оно пріемлетъ въ свои нѣдра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственнымъ началомъ,

на основаніи котораго позволено дѣйствовать, — тогда все юное поколѣніе вдругъ нравственно оскудѣло. Всѣ его высокія чувства, всѣ идеи, согрѣвавшія его сердце, воодушевлявшія его къ добру, къ истинѣ, сдѣлались мечтами безъ всякаго практическаго значенія, — а мечтать людямъ умнымъ смѣшно* . Сонная, вялая жизнь петербургскаго студенчества и чиновничества тридцатыхъ годовъ отнюдь не могла бы содѣйствовать развитію въ Грановскомъ склонности къ „мечтамъ“. Только вдали отъ указанныхъ Никитенкомъ ежедневныхъ впечатлѣній и можно было воспитать въ себѣ твердую вѣру въ эти мечты и желаніе, во что бы то ни стало, проводить ихъ въ жизнь. Школой Грановскому была заграница: здѣсь онъ воочию видѣлъ контрастъ между Россіей и Австріей съ одной стороны и Пруссіей съ другой, жилъ интересами интеллигентнаго общества, науки и литературы, привыкъ смотрѣть на свою жизнь какъ на долгъ и задачу, вносить въ жизнь другихъ по мѣрѣ силъ пріобрѣтенныя знанія и гуманно-просвѣтительныя идеи. Это намѣреніе „сѣять разумное, доброе, вѣчное“, притомъ такъ, чтобы результатъ работы былъ немедленно полезенъ другимъ, а на худой конецъ — съ грустной увѣренностью, что не придется самому увидѣть близкаго исхода, — было по тому времени заоблачною мечтой, съ которою дѣйствительность, казалось, не имѣла никакихъ точекъ соприкосновенія. Но отказаться отъ этой мечты Грановскому послѣ заграницы уже не было возможности, не переставши быть самимъ собою. Онъ возвращался на родину уже далеко не прежнимъ податливымъ юношей.

Въ слѣдующихъ главахъ увидимъ въ подробностяхъ, что ждало „мечтателя“ Грановскаго на родинѣ и съ какими подобными ему мечтателями поставила его рядомъ судьба.

* „Записки и дневникъ“ А. В. Никитенка. Спб. 1893, т. I, стр. 327.

III.

Сороковые годы.

Чтобы въ подробностяхъ выяснитъ значеніе Грановскаго въ исторіи развитія русскаго общества и мысли, остановимся прежде всего на характеристикѣ въ существенныхъ чертахъ— времени, среды и умственныхъ теченій, среди которыхъ онъ очутился по возвращеніи изъ за границы. Литература того времени, записки и воспоминанія современниковъ и цѣлыя изслѣдованія, посвященныя этой эпохѣ, даютъ достаточно богатый матеріалъ для такой характеристики.

Основная черта всего тогдашняго русскаго быта — крепостное право; она опредѣляетъ ближайшимъ образомъ всю систему строгой правительственной опеки, проникающей всё безъ исключенія области государственной и общественной жизни: бюрократическій формализмъ господствуетъ и въ законодательствѣ, и въ управленіи, и въ судѣ, подчиняя себѣ, елико возможно, и всё проявленія того, что по самому существу своему регламентаціи не можетъ подлежать,—науку и литературу.

„Время было тогда ужъ очень смирное,—говоритъ Тургеневъ въ своихъ литературныхъ и житейскихъ воспоминаніяхъ о концѣ тридцатыхъ и о сороковыхъ годахъ. — Правительственная сфера, особенно въ Петербургѣ, захватывала и покоряла себѣ все“. О вечерѣ у Плетнева, гдѣ собрались все такіе скромные, почти официальные поэты, какъ Жуковский и князь Вяземскій, онъ же сообщаетъ, что „на всей бесѣдѣ лежалъ отгѣнокъ скромности и смиренія“. Изъ всего того, что подняло голосъ въ обществѣ впоследствии, послѣ 1855 г., „ничего даже не шевелилось, а только бродило глубоко, но смутно въ нѣкоторыхъ молодыхъ умахъ“.

„Литературы,—продолжаетъ Тургеневъ:—въ смыслѣ живого проявленія одной изъ общественныхъ силъ, находящейся въ связи съ другими столь же и болѣе важными проявленіями ихъ,—не было, какъ не было прессы, какъ не было гласности, какъ не было личной свободы; а была словесность и были

такіе словесныхъ дѣлъ мастера, какихъ мы уже потомъ не видали“.

„Подъ вліяніемъ особенныхъ случайностей, особенныхъ обстоятельствъ тогдашней жизни Европы (съ 1830 по 1840 г.), у насъ понемногу сложилось убѣжденіе,—конечно, справедливое, но въ ту эпоху едва ли не рановременное убѣжденіе,—въ томъ, что мы не только великій народъ, но что мы—великое, вполне овладѣвшее собою, незыблемо твердое государство, и что художеству, что поэзіи предстоитъ быть достойными этого величія и этой силы“. Формула, свойственная вообще исключительно бюрократическому взгляду на положеніе общества и государства: „все благополучно“, особенно выразительно была высказана въ это время шефомъ жандармовъ, графомъ Бенкендорфомъ, по поводу философскихъ писемъ Чаадаева: „Le passé de la Russie a été admirable; son présent est plus que magnifique; quant à son avenir, il est au delà de tout ce que l'imagination la plus hardie se peut figurer: voilà, mon cher, le point de vue, sous lequel l'histoire russe doit être conçue et écrite“ *. Такой взглядъ на историческія судьбы Россіи и современное ея состояніе нашель себѣ не мало усердныхъ, иногда не по разуму, защитниковъ въ литературѣ. „Одновременно съ распространеніемъ этого убѣжденія,—говоритъ Тургеневъ,—и, быть можетъ, вызванная имъ, явилась цѣлая фаланга людей безспорно даровитыхъ, но на даровитости которыхъ лежалъ общій отпечатокъ реторики, внѣшности, соответствующій той великой, но чисто внѣшней силѣ, которой они служили отголоскомъ. Люди эти явились и въ поэзіи, и въ живописи, и въ журналистикѣ, и даже на театральной сценѣ“ **.

Теоретическимъ защитникомъ и панегиристомъ системы явился, между прочимъ, журналъ „Москвитянинъ“. Въ первомъ его номерѣ (журналъ сталъ выходить въ 1841 г. подъ редакціей М. П. Погодина) была помѣщена статья друга и това-

* „Прошлое Россіи было достойно удивленія; ея настоящее болѣе нежели великолѣпно: что же касается будущаго ея, то оно выше всего, что только можетъ вообразить себѣ самое смѣлое воображеніе: вотъ съ какой точки зрѣнія, милый мой, надо понимать и писать исторію Россіи“.

** Тургеневъ имѣетъ въ виду, относительно сцены, трагика Василія Каратыгина съ его чисто условными ложно-классическими приѣмами игры.

рища Погодина по университету, проф. С. Шевырева: „Взглядъ русскаго на образование Европы“. Это — наиболѣе полное и ясное выраженіе идей и понятій этой литературной школы со всѣми ея развѣтвленіями. Полное отграниченіе отъ „гниющей“ Европы — первенствующая черта этихъ воззрѣній. По мнѣнію Шевырева, реформація въ Европѣ и французская революція были болѣзнями, окончательно подорвавшими и отравившими всѣ жизненныя силы Запада, которому противостоятъ со своими самобытными вѣчными началами Россія. „Мы думаемъ, что эти болѣзни уже прекратились, — рассуждаетъ Шевыревъ. — Нѣтъ, мы ошибаемся. Болѣзнями порождены вредные соки, которые теперь продолжаютъ дѣйствовать и которые въ свою очередь произвели уже поврежденіе органическое и въ той, и другой странѣ (въ Германіи и во Франціи), признакъ будущаго саморазрушенія. Да, въ нашихъ искреннихъ, дружескихъ, тѣсныхъ сношеніяхъ съ Западомъ мы не примѣчаемъ, что имѣемъ дѣло какъ будто съ человѣкомъ, носящимъ въ себѣ злой, заразительный недугъ, окруженнымъ атмосферою опаснаго дыханія. Мы цѣлуемся съ нимъ, обнимаемся, дѣлимъ трапезу мысли, пьемъ чашу чувства... и не замѣчаемъ скрытаго яда въ безопасномъ общеніи нашемъ, не чуетъ въ потѣхѣ пира будущаго трупа, которымъ онъ уже пахнетъ! Онъ увлекъ насъ роскошью своей образованности... угождаетъ прихотямъ нашей чувственности, расточаетъ передъ нами остроуміе мысли, наслажденія искусства. Мы рады, что попали на пиръ готовый къ такому богатому хозяину... Мы упоены... Но мы не замѣчаемъ, что въ этихъ яствахъ таится сокъ, котораго не вынесетъ свѣжая природа наша... Мы не предвидимъ, что просвѣщенный хозяинъ, обольстивъ насъ всѣми прелестями великолѣпнаго пира, развратитъ умъ и сердце наше; что мы выйдемъ отъ него опьянѣлые не по лѣтамъ, съ тяжкимъ впечатлѣніемъ отъ оргіи, намъ непонятной...“ Три коренныхъ чувства, свойственныхъ истиннымъ русскимъ, выставялись Шевыревымъ, какъ „сѣмя и залогъ нашему будущему развитію“: чувство преданности православію, чувство государственнаго единства Россіи, опредѣляемое гармоніей ея политическаго бытія, „сокровище, вынесенное нами изъ нашей древней жизни, на которое съ особенною

завистью смотритъ Западъ“, и наконецъ сознание нашей народности. „Тремя коренными чувствами крѣпка наша Русь и вѣрно ея будущее,—заключаетъ Шевыревъ:—Мужъ Царскаго Совѣта, которому ввѣрены поколѣнія образующіяся (т. е. министръ народнаго просвѣщенія графъ С. Уваровъ), давно уже выразилъ ихъ глубокою мыслью (т. е. въ извѣстной формулѣ: „православіе, самодержавіе и народность“), и они положены въ основу воспитанія народа“ *.

Петербургскіе „Маякъ“ Бурачка и „Сѣверная Пчела“ Булгарина были защитниками тѣхъ же взглядовъ на Западъ и народность, подъ которой разумѣлся status quo. Относительно двухъ послѣднихъ пунктовъ (о Западѣ и народности) собственно и шла борьба литературныхъ мнѣній сороковыхъ годовъ, не касаясь другихъ сторонъ дѣла по причинамъ совершенно понятнымъ. Названные органы печати отличались отъ „Москвитянина“ лишь бѣльшимъ количествомъ юродивыхъ выходокъ и бѣльшимъ невѣжествомъ. Но всѣ три изданія приходились какъ разъ по плечу массѣ невѣжественной публики даже изъ высшихъ слоевъ. Погодинъ писалъ Шевыреву изъ Петербурга объ успѣхѣ „Москвитянина“: „Такой эффектъ произведенъ въ высшемъ кругу, что чудо: всѣ въ восхищеніи и читаютъ наперерывъ. Графиня Строганова, Вьельгорскій, Протасовъ, Барантъ, Уваровъ... И замѣть, что всѣ эти господа ѣздятъ и трубятъ, и заставляють подписываться... Твоя Европа сводитъ просто съ ума...“ **. Точно также „Сѣверной Пчелой“, „Пчелкой“, какъ нѣжно выражались тогда,—чуть не до самыхъ 60-хъ годовъ совершенно довольствовалась масса петербуржцевъ, заглядывавшихъ въ газеты. Наибольшій успѣхъ въ публикѣ имѣлъ безспорно талантливый, но не имѣвшій никакихъ опредѣленныхъ убѣжденій, Сенковскій со своею „Библиотекою для чтенія“; массѣ общества по плечу были фельетонная болтовня и зубоскальство его подъ псевдонимомъ „барона Брамбеуса“, по плечу были Бенедиктовъ съ напыщенными стихами, Марлинскій и Загоскинъ съ надутыми риторическими романами, не имѣвшими никакихъ соприкосновеній съ дѣйствительностью. Пуш-

* Н. Барсуковъ: „Жизнь и труды Погодина“, т. VI, стр. 14—15.

** Ibidem, стр. 27.

кина, въ пору совершенной зрѣлости его таланта, Гоголя, начинавшаго блестяще свою писательскую карьеру, — дѣнили, сравнительно съ общею массою публики, ничтожныя единицы. Первое изданіе „Героя нашего времени“, напечатанное типографіей Глазунова въ 1840 г., несмотря на хорошіе отзывы Бѣлинскаго въ „Отеч. Запискахъ“, сначала совсѣмъ почти не расходилось; это побудило издателей обратиться къ Ѳ. В. Булгарину и попросить его написать въ „Сѣв. Пчелѣ“ статью объ этомъ произведеніи. Какъ только появилась въ газетѣ болгаринская статья, изданіе раскупили на расхватъ. Въ связи съ такимъ постыднымъ равнодушіемъ массы общества къ лучшимъ литературнымъ силамъ страны, бдительный надзоръ за журналистикой и книжною торговлей произвелъ замѣчательный застой въ количествѣ выходящихъ книгъ. Съ 1833 по 37 годъ было издано 51.828 книгъ; съ 1838 по 42 г. — 44.609, съ 1843 по 47 г. — 45.793. Если разсматривать эту таблицу по родамъ сочиненій, то окажется, что въ теченіе періода времени съ 1833 по 1847 годъ уменьшилось: книгъ для дѣтей, романовъ, стихотвореній, сочиненій по части теоріи словесности и искусствъ, а также философіи (разительно), отечественной исторіи, математики, естественныхъ наукъ (разительно) и медицины; увеличилось же лишь по предмету сельскаго хозяйства и юридическихъ наукъ*.

Жизнь принимала все болѣе придавленный, сѣрый характеръ. Мы цитировали уже изъ дневника Никитенка его слова о мертвящемъ вліяніи системы на нравственное состояніе людей, стремившихся къ жизни болѣе осмысленной; дневникъ этотъ, писанный человѣкомъ мнѣній совсѣмъ не крайнихъ, но дѣлывшимъ науку и литературу и отставившимъ ихъ достоинство, сколько это было возможно въ его положеніи цензора, представляетъ массу любопытнаго матеріала по закулисной исторіи 30-хъ и 40-хъ гг., къ которому и отсылаемъ читателя. „На улицѣ тебѣ попалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча, — рассказываетъ И. Тургеневъ: — генералъ, и даже не началь-

* А. Скабичевскій: „Очерки исторіи русской цензуры“, Спб., 1892 г., стр. 310.

никъ, а такъ просто генераль, оборваль или, что еще хуже, поощрилъ тебя... Бросишь вокругъ себя мысленный взоръ: взяточничество процвѣтаетъ, крѣпостное право стоитъ какъ скала, казарма на первомъ планѣ, суда нѣтъ, носятся слухи о закрытіи университетовъ, вскорѣ потомъ сведенныхъ на трехсотенный комплектъ (послѣ 1848 г.), побѣдки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая то темная туча постоянно виситъ надъ всѣмъ такъ называемымъ ученымъ, литературнымъ вѣдомствомъ, а тутъ еще шипятъ и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общихъ интересовъ, страхъ и приниженность во всѣхъ, хоть рукой махни!“ Такова была оборотная сторона картины: расписывавшія ее, какъ нѣчто „болѣе чѣмъ великолѣпное“ произведенія „ложно величавой“ литературной школы, по совершенно справедливому замѣчанію Тургенева, „проникнутыя самоувѣренностью, доходившею до самохвальства, въ самой сущности не имѣли ничего русскаго; это были какія то пространныя декораціи, хлопотливо и небрежно воздвигнутыя патриотами, незнавшими своей родины. Все это гремѣло, все это считало себя достойнымъ украшеніемъ великаго государства и великаго народа“, всей Россіи, составившей для самодовольныхъ россіянъ „какъ бы шестую часть свѣта“; послѣднее географическое открытіе было сдѣлано извѣстнымъ издателемъ Краевскимъ въ одномъ изъ литературныхъ грѣховъ его молодости *.

Прежде чѣмъ перейти къ характеристикѣ умственныхъ теченій иного характера, чѣмъ „ложно величавая“ школа официальной народности— „православно-русское ученіе“, какъ называетъ его біографъ Погодина, слѣдуетъ указать, какъ относилась система къ литературѣ и наукѣ.

Литература была подчинена, по цензурному вѣдомству, министру народнаго просвѣщенія С. Уварову. Программа: „православіе, самодержавіе, народносте“ была имъ выдвинута еще въ 1832 г. Уваровъ, назначенный въ апрѣль этого года товарищемъ министра народнаго просвѣщенія, былъ командированъ для осмотра московскаго университета, а 4 декабря представилъ государю свой отчетъ, изла-

* Панаевъ: „Литературныя воспоминанія“, Спб., 1888 г., стр. 67.

гавшій задачи высшаго и средняго образованія . и цензуры. Одной изъ труднѣйшихъ задачъ времени Уваровъ считаетъ „образованіе правильное, основательное, необходимое въ нашемъ вѣкѣ, съ глубокимъ убѣжденіемъ и теплою вѣрою въ истинно русскія охранительныя начала Православія, Самодержавія и Народности, составляющія послѣдній якорь нашего спасенія и вѣрнѣйшій залогъ силы и величія нашего отечества“.

„Въ нынѣшнемъ положеніи вещей и умовъ нельзя не умножать, гдѣ только можно, число умственныхъ плотинъ“—вотъ практическій путь утвержденія „истинно русскихъ охранительныхъ началъ“, которымъ и шелъ Уваровъ, пока не былъ вытѣсненъ, какъ скажемъ въ своемъ мѣстѣ, со своего поста еще болѣе „истинно русскимъ“ охранителемъ.

Высоко характерны для Уварова, конечно, его „мысли о крѣпостномъ правѣ“, записанныя Погодинымъ. „Вопросъ о крѣпостномъ правѣ тѣсно связанъ съ вопросомъ о самодержавіи и даже единодержавіи. Это двѣ параллельныя силы, кои развивались вмѣстѣ. У того и другого одно историческое начало; законность ихъ одинакова. Что было у насъ прежде Петра I, то все прошло, кромѣ крѣпостнаго права, которое, слѣдовательно, не можетъ быть тронута безъ всеобщаго потрясенія“, и т. д. Освобожденіе крестьянъ представлялось, поэтому, Уварову возможнымъ лишь въ самомъ отдаленномъ будущемъ: „одно образованіе, — говорилъ онъ, — просвѣщеніе можетъ приготовить ея (т. е. этой мысли) исполненіе наилучшимъ образомъ“ *.

Такъ повторяя излюбленную и ни на чемъ не основанную мысль крѣпостниковъ, что уничтоженіе крѣпостнаго права—угроза самодержавію и требуетъ предварительно просвѣщенія народа, тогда какъ на дѣлѣ крѣпостной порядокъ и заслонялъ дорогу къ просвѣщенію, графъ Уваровъ усердно умножалъ „умственныя плотины“.

Никитенко въ своемъ дневникѣ приводитъ *profession de foi* этого государственнаго челоуѣка, которому былъ въ качествѣ профессора подчиненъ и Грановскій. Позволяемъ себѣ привести цѣликомъ монологъ министра:

* Барсуковъ: „Ж. и труды Погодина“, т. IX, стр. 306.

„Мы, т. е. люди XIX вѣка, въ затруднительномъ положеніи,—говорилъ Уваровъ:—мы живемъ среди бурь и волненій политическихъ. Народы измѣняютъ свой бытъ, обновляются, волнуются, идутъ впередъ. Никто здѣсь не можетъ предписывать своихъ законовъ. Но Россія еще юна, дѣвственна и не должна вкусить, по крайней мѣрѣ теперь еще, сихъ кровавыхъ тревогъ. Надобно продлить ея юность и тѣмъ временемъ воспитать ее. Вотъ моя политическая система. Я знаю, чего хотятъ наши либералы, наши журналисты и ихъ клеветы: Гречъ, Полевой, Сенковскій и пр. Но имъ не удастся бросить своихъ сѣмянъ на ниву, на которой я сѣю и которой я состою стражемъ,—нѣтъ, не удастся. Мое дѣло не только блюсти за просвѣщеніемъ, но и блюсти за духомъ поколѣнія. Если мнѣ удастся отодвинуть Россію на 50 лѣтъ отъ того, что готовятъ ей теоріи, то я исполню мой долгъ и умру спокойно. Вотъ моя теорія; я надѣюсь, что это исполню. Я имѣю на то добрую волю и политическія средства. Я знаю, что противъ меня кричатъ,—я не слушаю этихъ криковъ. Пусть называютъ меня обскурантомъ,—государственный человѣкъ долженъ стоять выше толпы“ *.

Здѣсь любопытно, что Полевой и либералы попали въ одинъ рядъ съ безпринципнымъ Сенковскимъ, съ Гречемъ, закадычнымъ пріятелемъ продажнаго, презираемаго Булгарина. Очевидно, теоріи, противъ которыхъ собирався дѣйствовать Уваровъ, представлялись въ весьма туманномъ освѣщеніи, какъ ему, такъ и другимъ представителямъ тѣхъ же охранительныхъ стремленій. Имъ казалось, что вся литература проникнута этими теоріями; она представлялась подозрительною не потому, чтобъ она проповѣдывала тѣ или иныя „вредныя“ мысли, а просто потому, что въ ней чувствовались какія то идеи, уклонявшіяся отъ регламентаціи, совершенно неуловимыя, разобрать въ которыхъ и отдѣлать пшеницу отъ терній цензора были совершенно неспособны, сколько ни сажали ихъ на гауптвахту. Два-три примѣра, подтверждающихъ такой взглядъ тогдашнихъ правящихъ сферъ на литературу, приведемъ еще.

Журналъ Полевого былъ запрещенъ по поводу реторической и патріотической драмы Кукольника: „Рука Всевышняго отечество

* Никитенко: „Зап. и Днев.“, т. I, стр. 360.

спасла“, — пьесы, очень понравившейся государю. Самъ по себѣ разборъ пьесы, сдѣланный Полевымъ, былъ совершенно неви-
ненъ: Полевой доказывалъ, что событія 1612 г. не драматичны,
а являются лирическимъ порывомъ народной души и, слѣд.,
не могутъ служить темою для драмы, содержаніемъ которой
должна быть, вообще говоря, душевная борьба, а не цѣльное
лирическое настроеніе. Такимъ образомъ эта критическая
статья явилась лишь предлогомъ; пользуясь имъ, Уваровъ,
давно нерасположенный къ „Московскому Телеграфу“, пред-
ставилъ обвинительный актъ противъ журнала. Рядъ цитатъ
долженъ былъ подтверждать „неслыханную дерзость, съ ка-
кою пишутся статьи, въ ономъ помѣщаемыя“, и „революцион-
ное направленіе мыслей“ журнала. Какъ особо вредная мысль,
указаны, напримѣръ, слѣдующія слова: „Возбуждать дѣя-
тельность въ умахъ и будить ихъ отъ этой пошлой расти-
тельной бездѣйственности, которая составляетъ величайшій
недостатокъ большей части русскихъ, — вотъ условія, налагае-
мыя современностью на русскаго журналиста! Отъ исполненія
ихъ зависитъ успѣхъ его предпріятія“. Въ другихъ цитатахъ
совершенно невозможно угадать, что показалось Уварову подо-
зрительнымъ, наприм.: „Когда хотятъ огромнымъ рычагомъ по-
шевелить громаду, тяжелую и твердую въ основаніи, то пре-
жде всего ищутъ точки опоры, въ которой бы можно было
утвердить рычагъ“. Таковы были и всѣ выдержки изъ „Теле-
графа“. Очевидно, журналъ потерпѣлъ крушеніе вообще за
то, что пытался проводить „какія то“ идеи: онѣ вообще были
неумѣстны. Къ нимъ и къ литературѣ относились если не
враждебно, то крайне пренебрежительно. Общеизвѣстна нота-
ція, которую прочиталъ Краевскому за теплый некрологъ Пуш-
кина попечитель Дундуковъ-Корсаковъ. Она такъ прекрасно пе-
редаетъ кровное бюрократическое нерасположеніе тогдашнихъ
оффиціальныхъ сферъ къ свободной дѣятельности писателя,
игнорирующей занумерованныя и прошнурованныя предписа-
нія, что не можемъ не привести этого историческаго монолога.
„Я долженъ вамъ передать, — сказалъ попечитель Краевскому, —
что министръ крайне недоволенъ вами! Къ чему эта публика-
ція о Пушкинѣ? Что это за черная рамка вокругъ извѣстія
о кончинѣ челоуѣка не чиновнаго, не занимавшаго никакого

положенія на государственной службѣ? Ну, да это еще куда бы ни шло! Но что за выраженія? „Солнце поэзи!“ Помилуйте, за что такая честь? „Пушкинъ скончался... въ срединѣ своего великаго поприща!“ . Какое это такое поприще? Сергѣй Семеновичъ (Уваровъ) именно замѣтилъ: развѣ Пушкинъ былъ полководецъ, начальникъ, министръ, государственный мужъ?! Наконецъ, онъ умеръ безъ малаго сорока лѣтъ! Писать стихи не значить еще, какъ выразился Сергѣй Семеновичъ, проходить великое поприще! Министръ поручилъ мнѣ сдѣлать вамъ, Андрей Александровичъ, строгое замѣчаніе и напомнить, что вамъ, какъ чиновнику министерства народнаго просвѣщенія, особенно слѣдовало бы воздержаться отъ такихъ публикацій“. Пушкинъ давно успѣлъ очистить себя отъ репутаціи писателя „опаснаго“, но тѣмъ не менѣе сожалѣніе, выраженное публично, когда распространилась вѣсть о преждевременной кончинѣ его, было признано явленіемъ совершенно неумѣстнымъ, помимо даже личной вражды Уварова къ Пушкину.—То же презрительное отношеніе къ литературѣ, которую держали въ ежевыхъ рукавицахъ, какъ и всѣ проявленія нѣкоторой элементарной самостоятельности въ обществѣ, называется и въ приговорѣ Чаадаеву, объявленному за „философическое письмо“ сумасшедшимъ. Кара, носившая характеръ насмѣшки, была пожалуй рациональна съ точки зрѣнія официальной; мрачное, безнадежное отчаяніе, какимъ проникнута была инкриминированная статья, отчаяніе за прошлое и настоящее Россіи, изолированной отъ Европы во всѣхъ отношеніяхъ, шло черезчуръ въ разрѣзъ съ воззрѣніями, официально признанными за истину. Не желали придавать значенія высказанному Чаадаевымъ, а потому не послѣдовало той кары, какой въ обществѣ всѣ ожидали, а многіе и требовали. — Если упомянуть еще, что услужливый Булгаринъ чуть ли не больше всѣхъ литераторовъ претерпѣлъ взысканій за свои промахи, и что даже „Москвитянинъ“ казался подозрительнымъ при своемъ появленіи за нѣкоторую горячность въ защитѣ „православно-русскаго ученія“, то отношеніе къ литературѣ со стороны официальной будетъ выяснено достаточно ярко. Ее терпѣли, какъ неизбежное зло, сопровождающее извѣстное развитіе самого государства, какъ админи-

стративнаго механизма. Ее карали, когда тотъ или иной писатель уже слишкомъ возвышалъ голосъ, безразлично, былъ ли то хвалебный гимнъ или вопль отчаянiя, или если настойчивое повторенiе одной и той же ноты наконецъ надобдало власти, какъ жужжанiе комара. На литературу смотрѣли съ презрѣнiемъ до того, что даже пресловутый Красовскiй, цензоръ, составившiй себѣ имя въ исторiи русской литературы своими нелѣпыми помарками, могъ въ присутствiи Пушкина и великой княгини Елены Павловны отзываться самымъ пренебрежительнымъ тономъ о русской литературѣ. И камеръ юнкеръ Пушкинъ долженъ былъ проглотить названiе литературы „мерзкою“ и утѣшать себя только тѣмъ, что великая княгиня послѣ отвѣта Красовскаго быстро отвернулась отъ него и заговорила съ Пушкинымъ о его Пугачевѣ *.

Вообще въ официальныхъ сферахъ не допускали мысли, чтобы литература могла стать какою бы то ни было общественно-двигательною силой. Ей даже покровительствовали, если тотъ или иной литераторъ, обратившiй на себя вниманiе публики, успѣвалъ въ то же время угодить, сознательно или бессознательно — безразлично, сильнымъ мiра сего, какъ то было, наприм., съ Гоголемъ. Такое отношенiе господствовало до конца сороковыхъ годовъ и, благодаря ему, несмотря на цензурныя строгости, развитiе общественной мысли въ печати не прекращалось; цензора ловили признаки яacobинства, придирались къ мелочамъ и пропускали свободно многое такое, что ни въ какомъ случаѣ не прошло бы въ пятидесятые годы, когда явилась цѣлая стройная система. Такимъ образомъ, какъ это указано еще Тургеневымъ, „проскочилъ“ Бѣлинскiй, затѣмъ Герценъ, Жоржъ Зандъ и т. д. То тамъ, то здѣсь сквозь кое-какъ наваленныя препятствiя пробивались ручейки самостоятельной живой мысли, жадно встрѣчаемые молодыми силами общества и размывавшiе непоколебимые, казалось, устойчиво официально одобряемыхъ воззрѣнiй.

Положенiе университетской науки также не могло быть въ эту пору заботъ объ „умственныхъ плотинахъ“ сколько нибудь блестящимъ. Состоянiе университетовъ непосредственно

* Скабичевскiй: „Очерки исторiи русск. ценз.“, стр. 243 — 244, 273, 247, 184.—Барсуковъ: „Ж. и труды Погод.“, VI, стр. 44—46.

предъ Уваровымъ характеризуется, быть можетъ, полнѣе всего возможностью такихъ фактовъ, какъ тотъ, что въ 1830—33 г. кафедре философіи харьковскаго университета занималъ по назначенію попечителя... частный приставъ. О скудости профессуры въ петербургскомъ университетѣ во времена Грановскаго мы уже говорили. Попечительная власть, вначалѣ отдаленная и едва замѣтная, мало по малу вторгнулась во внутреннюю жизнь университетовъ, стѣснила дѣятельность коллегій и затронула составъ профессоровъ, такъ что все стало зависѣть отъ личности попечителя или, другимъ словомъ, отъ счастливой случайности.

Университетскій уставъ 1835 г. предоставилъ нѣкоторыя льготы университетамъ, возстановилъ право выбора, право получать изъ заграницы книги безъ цензуры, но власть попечителя входила во все, и нерѣдко судьбы науки и просвѣщенія рѣшались въ канцеляріи попечителя его чиновниками, совершенно чуждыми науки и университетской традиціи. Студенты были подвергнуты бдительному надзору, имъ данъ мундиръ, являются настойчивыя и придирчивыя заботы о нравственномъ и наружномъ воспитаніи взрослыхъ юношей, чтобы они чесались, одѣвались по формѣ, принимали участіе въ вечерахъ въ лучшемъ обществѣ и т. п. Средній профессоръ былъ или исполнительнымъ чиновникомъ, формально читавшимъ старыя тетрадки, или сноровистымъ карьеристомъ, для котораго наука была средствомъ къ чинамъ и инымъ успѣхамъ на поприщѣ службы. По требованію, ясно выраженному Уваровымъ, профессоръ прежде всего долженъ былъ быть „хорошимъ во всѣхъ случаяхъ орудіемъ правительства“. По выраженію Салтыкова о профессорѣ, панегиристѣ кнута, отъ тогдашняго профессора требовалось вовсе не того, чтобы онъ стоялъ со свѣточемъ въ рукахъ, а только, чтобы онъ „подыскалъ обстановку для истины, уже отверженной и официально признанной таковою“. Циркуляръ Уварова 31 дек. 1840 г. преподавалъ прямое указаніе отнюдь не роскошествовать въ распространеніи образованія. „При возрастающемъ повсюду стремленіи къ образованію наступило время пещись о томъ, чтобы чрезмѣрнымъ этимъ стремленіемъ къ высшимъ предметамъ ученія не поколебать нѣкоторымъ образомъ порядокъ

гражданскихъ сословій, возбуждая въ юныхъ умахъ порывъ къ приобрѣтенію роскошныхъ знаній“. И отъ юныхъ умовъ съ особымъ тщаніемъ старались удалить все, что могло имѣть прямое отношеніе къ общественно-политическимъ вопросамъ.

„Науки политическія были признаваемы тогда нашимъ правительствомъ,—говорилъ въ 1863 г. проф. Рѣдкинъ, бросая взглядъ назадъ,—весьма опасными для спокойствія государства (какъ извѣстно, въ 1835 г. этико-политическій факультетъ былъ переименованъ по соображеніямъ не научнымъ, а полицейскимъ, въ юридическій, и философскій—въ историко-филологическій). Употребленіе политическихъ знаній смѣшивали тогда со злоупотребленіемъ по той простой причинѣ, что часто видѣли ихъ злоупотребленіе тамъ, гдѣ было ихъ употребленіе. Всякія политическія разсужденія были нетерпимы не только въ книгахъ и повременныхъ изданіяхъ, но и въ частной семейной жизни. Да и какое въ самомъ дѣлѣ можно было сдѣлать тогда употребленіе изъ своихъ политическихъ знаній, когда въ благоустройствѣ нашего государства не было ни малѣйшаго сомнѣнія, когда все, казалось, было въ совершенномъ порядкѣ; когда извнѣ смотрѣли на насъ со страхомъ, смѣшаннымъ съ благоговѣйнымъ уваженіемъ“... .

„Едва ли,—замѣчаетъ одинъ публицистъ,—въ какой отрасли государственнаго управленія система форменной или официальной лжи была доведена въ николаевское время до такой степени законченности, какъ въ области университетскаго преподаванія и научнаго изслѣдованія, гдѣ свобода и независимость *conditio sine qua non* для плодотворнаго развитія и гдѣ всякая явная или замаскированная попытка къ стѣсненію вносить фальшь въ умственную жизнь и ведетъ неизбежно, хотя и медленно, къ упадку науки, т. е. къ одичанію общества“*.

Счастливымъ исключеніемъ былъ университетъ московскій. Но и просвѣщенный вельможа графъ С. Г. Строгановъ, стоявшій во главѣ округа, всетаки оставался николаевскимъ администраторомъ, „хозяиномъ“ университета, какъ губернаторы были „хозяевами“ губерній, и въ своемъ мѣстѣ мы увидимъ, какъ круто приходилось, между прочимъ, Грановскому и какія

* См. Джаншиевъ: „Эпоха вел. реформъ“, М. 1900. Глава IV и др.

дикія требованія иногда ставились наукѣ, дабы она являлась апологіей и оправданіемъ существующаго порядка вещей.

Въ сущности Грановскій и его единомышленники на кафедрахъ московскаго университета, Рѣдкинъ, Кавелинъ, Кудрявцевъ и проч. были такимъ же недосмотромъ и своего рода ошибкою для той эпохи, какъ Бѣлинскій въ журналахъ и „Ревизоръ“ на сценѣ. Неудивительно, что самостоятельное движеніе русской мысли въ значительной мѣрѣ развивалось внѣ литературы и университетской науки, въ извѣстныхъ „кружкахъ“ сороковыхъ годовъ. Только здѣсь въ дружеской бесѣдѣ и въ осторожной, посылаемой съ оказіей перепискѣ мысль высказывалась сполна, не зная цензурныхъ тисковъ.

Къ характеристикѣ двухъ основныхъ теченій зародившейся въ обществѣ самостоятельной мысли мы теперь и должны перейти.

Оба направленія, получившія названіе западничества и славянофильства, возникли рядомъ съ развитіемъ литературныхъ явленій, которыя въ свою очередь отчасти были почвою и матеріаломъ для развитія идей этихъ направленій. Движеніе литературы въ концѣ 30-хъ и въ началѣ 40-хъ гг. естественно примыкало къ движенію предыдущаго періода, когда, по выраженію Бѣлинскаго, „литература стала вопросомъ, съ которымъ незамѣтно слились многіе вопросы о „жизни“. Вслѣдъ за литературною борьбою за „романтизмъ“ подымается борьба за „натуральную школу“, начатую Гоголемъ. Пренія идутъ сначала на почвѣ исключительно эстетической: самъ Бѣлинскій до сороковыхъ годовъ не заикается объ общественномъ значеніи „Ревизора“ (1836), превознося эту комедію въ извѣстной статьѣ о „Горе отъ ума“, какъ произведеніе, вполне удовлетворяющее требованіямъ, чисто эстетическимъ, внутренняго единства и гармоніи. Однако современники, неизмѣнно наполнявшіе театръ, когда давалась пьеса, то ожесточенно бранившіе ее, то восторженно превозносившіе ее, невольно чувствовали, что комедія, которая попала на сцену лишь благодаря личному заступничеству государя, бьетъ русской жизни не въ бровь, а прямо въ глазъ. Попытка самого автора аллегорически перетолковать пьесу не встрѣтила почти ни въ комъ изъ читателей сочувствія; произведенія Гоголя

производили на нихъ въ своей совокупности впечатлѣнїе, которое можно формулировать его же словами: „Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!“ Слова городничаго: „Чему смѣетесь? Надъ собою смѣйтесь“,—были при первомъ представленіи комедіи, помимо воли автора, гениально обращены М. С. Щепкинымъ къ публикѣ и выражали дѣйствительное положеніе дѣла. Противъ желанія самого автора, аллегорически объясняли и заглавіе самаго обширнаго изъ его произведеній. Герценъ, съ восторгомъ встрѣтившій появленіе 1-й части „Мертвыхъ душъ“, всегда говорилъ, напр., что находить названіе этой поэмы чрезвычайно удачнымъ не только потому, что Чичиковъ скупаетъ мертвыя души, но что и всѣ лица, выступающія на сцену, души мертвыя; одинъ человекъ живой—Чичиковъ, да и тотъ—мошенникъ. „Утѣшеніе въ будущемъ“,—добавлялъ онъ *. Реальная школа, такимъ образомъ, прежде всего выставила на видъ убожество умственное и нравственное царства Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Хлестаковыхъ, Ноздревыхъ, Собакевичей, Чичиковыхъ и т. д.

Преемники Гоголя еще сильнѣе подчеркивали въ своихъ произведеніяхъ эту сторону народившагося реализма, какъ всегда ученики склонны высказывать въ усиленномъ видѣ взгляды учителя. Интересный примѣръ въ этомъ отношеніи представляетъ Тургеневъ въ его поэтическихъ опытахъ сороковыхъ годовъ. Въ „Парашѣ“, которою онъ началъ въ 1843 г. свою писательскую карьеру, есть очень знаменательная строфа, приводившая въ восторгъ Бѣлинскаго. Дѣло идетъ о сатанѣ, хохочущемъ надъ прятничной любовью Парашы и уѣзднаго Гамлетика...

Друзья! я вижу бѣса... На заборъ
Онъ оперся—и смотритъ; за четою
Насмѣшливо слѣдитъ угрюмый взоръ.
И слышно: вдалекѣ, лихой грозой
Растерзанный, печально воетъ боръ...
Моя душа трепещетъ поневолю;
Мнѣ кажется, онъ смотритъ не на нихъ,—
Россія вся раскинулась, какъ поле,
Передъ его глазами въ этотъ мигъ...

* Т. Пассекъ: „Изъ дальнихъ лѣтъ“. Сиб. 1878—89, т. II, 341.

И какъ блестятъ надъ тучами зарницы,
Сверкаютъ злбно яркія зѣнцы;
И страшная улыбка проползла
Медлительно вдоль губъ владыки зла!

У того же Тургенева еще сильнѣе выраженъ (въ „Помѣщикъ“) подчеркнутый въ „Парашѣ“ контрастъ между запросами живой человѣческой мысли и пошлою всероссійскою дѣйствительностью. Въ описаніи кабинета помѣщика, умѣющій быть такимъ нѣжнымъ лирикомъ, Тургеневъ достигаетъ силы щедринскаго сарказма:

Вотъ шкафъ просторный, шишковатый...
На немъ безносый, бородатый
Бѣлѣеть гипсовый мудрецъ.
Увы! безсильно негодуя,
На ликъ задумчивый гляжу я..
Быть можетъ, этотъ истуканъ—
Эсхиль, Сократъ, Аристофанъ...
И передъ нимъ уже седьмое
Колѣно тучныхъ добряковъ
Растетъ и множится въ покоѣ
Среди не чуждыхъ имъ клоновъ.

Такимъ образомъ можно вообще сказать, что натуральная школа въ художественныхъ картинахъ констатировала въ массѣ русскаго общества отсутствіе какихъ бы то ни было умственныхъ запросовъ и интересовъ, необходимость которыхъ была такъ горячо защищаема еще Полевымъ. Ничего нѣтъ удивительнаго, что люди, такъ или иначе ставшіе выше общаго уровня и не принимавшіе даннаго положенія вещей за лучший изъ міровъ, почувствовали глубокую рознь между собою и соннымъ обществомъ. Попытки будить его кончались для многихъ или очень печально, или увѣренностью, что все равно ничего не подѣлаешь. Здѣсь источникъ апатіи и рефлексированности интеллигенціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, но было бы преувеличеніемъ считать эти черты основными. Были и Онѣгины, и Печорины, и Бельтовы, и Тенетниковы, и Рудины, но процессъ возникновенія этихъ типовъ остался недостаточно выясненнымъ. Цѣлый рядъ блестящихъ литературныхъ произведеній, изображавшихъ типы „лишнихъ людей“, создалъ не совсѣмъ вѣрную перспективу

на это время. Мы слишком склонны принимать на вѣру тѣ страстные порывы самообвиненія, самобичеванія, какими разражался, наприм., Лермонтовъ противъ своего поколѣнія:

Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы,
Передъ опасностью позорно малодушны,
И передъ властію презрѣнные рабы.
И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви;
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь горитъ въ крови.

И Лермонтовъ предсказываетъ:

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодovitой,
Ни гениемъ начатаго труда.
И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ.

Эти насмѣшки и оскорбленія чужды историку, задача котораго объяснять передаваемые имъ историческія явленія, а не карать отдѣльныя личности только за то, что имъ въ сознаніи своего безсилія случалось опускать руки. На упреки цѣлому поколѣнію 40-хъ годовъ въ бездѣятельности и на указанія, въ укоръ ему, на Бѣлинскаго и Грановскаго, Герценъ въ послѣдствіи отвѣчалъ: „Если являлись люди съ такой энергіей, что могли писать или читать лекціи... то не ясно ли, что множество людей съ меньшими силами были парализованы и глубоко страдали этимъ“. Это единственно правильный взглядъ на „лишнихъ людей“ той эпохи. Но намъ придется говорить именно о людяхъ, которые въ то тяжелое, характеризованное уже достаточно, время умудрялись не только жить и развиваться, но и дѣлиться своими знаніями и воззрѣніями съ другими, и этимъ если не вѣкамъ, то Россіи бросили не мало плодovitыхъ мыслей, и если не съ гениемъ, то съ умомъ и талантомъ начали трудъ преобразованія общественнаго мнѣнія Россіи, въ шестидесятые годы начавшій переходить въ дѣйствительность изъ области теоретической.

Славянофильство и западничество было проявленіями исканій выхода изъ того положенія, которое болѣе или менѣе ясно было указано натуральною школой. Система съ одной стороны совершенно закрывала дорогу какому бы то ни было энергичному личному почину общественно-полезной дѣятельности до того, что И. С. Аксаковъ, наприм., когда было уже близко окончательное пораженіе Россіи въ Крымскую войну, съ отчаяніемъ восклицалъ, измученный продажностью, взяточничествомъ, наглостью всего административнаго низшаго и средняго, а частью и высшаго военнаго и гражданскаго персонала: „Чего можно ожидать отъ страны, создавшей и выносящей такое общественное устройство, гдѣ надо солгать, чтобы сказать правду, надо поступить незаконно, чтобы поступить справедливо, надо пройти всю процедуру обмановъ и мерзостей, чтобы добиться необходимаго, законнаго!“ *. Съ другой стороны, провозглашая народность, система совершенно игнорировала дѣйствительныя народныя представленія и идеалы, замѣняя ихъ административнымъ усмотрѣніемъ: чудовищныя военныя поселенія, хотя возникшія еще благодаря Аракчееву, тѣмъ не менѣе могутъ служить выразительнымъ примѣромъ такого полного равнодушія къ привычкамъ и потребностямъ народа. Западничество и славянофильство были до нѣкоторой степени реакціей этимъ двумъ сторонамъ николаевской эпохи; другой источникъ этихъ двухъ умственныхъ теченій — философія Гегеля и Шеллинга, которыми увлекались умы, жаждавшіе работы, въ Москвѣ въ тридцатые годы. Московская интеллигенція, удаленная все таки отъ непосредственнаго воздѣйствія бюрократическихъ вліяній, такъ сильныхъ въ Петербургѣ, чувствовала себя свободнѣе, отзывчивѣе была на западно-европейскія теченія мысли. Въ тридцатые годы западничество и славянофильство еще не выяснились. Философія Шеллинга и Гегеля объединяла ихъ до извѣстной степени.

Мы говорили уже объ увлеченіи философіей Гегеля кружка Станкевича, къ которому принадлежали Бѣлинскій, М. Бакунинъ, К. Аксаковъ, В. П. Боткинъ, Невѣровъ, поэтъ Красовъ и др. Тургеневъ въ „Рудинѣ“ изобразилъ этотъ кружокъ

* И. С. Аксаковъ въ его письмахъ, т. III, стр. 207.

яркими красками, при чемъ Рудинъ является въ той роли, какую игралъ въ немъ Бакунинъ (Покорскій изображаетъ Бѣлинскаго). „Философія, искусство, наука, самая жизнь—все это для насъ были одни слова, пожалуй даже понятія, заманчивыя, прекрасныя, но разбросанныя, разъединенныя,—читаемъ въ разсказѣ Лежнева. —Общей связи ихъ, этихъ понятій, общаго закона мірового мы не сознавали, не осязали, хотя смутно толковали о немъ, силились отдать себѣ въ немъ отчетъ... Слушая Рудина, намъ впервые показалось, что мы наконецъ схватили ее, эту общую связь, что поднялась наконецъ завѣса! Положимъ, онъ говорилъ не свое, — что за дѣло! но стройный порядокъ водворился во всемъ, что мы знали, все разбросанное вдругъ соединялось, складывалось, вырастало предъ нами, точно зданіе, все свѣтлѣло, духъ вѣялъ всюду... Ничего не оставалось бессмысленнымъ, случайнымъ: во всемъ высказывалась разумная необходимость и красота, все получало значеніе ясное и въ то же время таинственное, каждое отдѣльное явленіе жизни звучало аккордомъ, и мы сами съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, со сладкимъ сердечнымъ трепетомъ, чувствовали себя какъ бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, призванными къ чему-то великому“... Понятенъ соблазнъ для юношей идеалистовъ такой стройной системы, какую представляла изъ себя философія Гегеля. Мы уже говорили о тѣхъ странностяхъ, до которыхъ доходило увлеченіе ею, т. е. въ особенности въ томъ отношеніи, что абстракціи заслоняли собою дѣйствительную жизнь, такъ что Бѣлинскій въ защитѣ первой половины формулы: „все дѣйствительное—разумно, все разумное—дѣйствительно“ сошелся совершенно съ защитниками официальной народности. Но, повторяемъ, эти односторонности нисколько не ослабляютъ важнаго воспитательнаго значенія для русскихъ людей гегелевской философіи. Къ ней вполнѣ примѣнимы слова Грановскаго о средневѣковой схоластикѣ: „Это имя, означающее собственно науку среднихъ вѣковъ, не пользуется большимъ почетомъ въ наше время. Подъ нимъ привыкли разумѣть пустыя, лишеныя живого содержанія діалектическія формы. Не такова была схоластика въ эпоху своей юности, когда она выступила на поле умственныхъ битвъ, столь же смѣлая и воинствен-

ная, какъ и то общество, среди котораго ей суждено было совершить свое развитіе. Заслуга и достоинство схоластики заключаются именно въ ея молодой отвагѣ. Бѣдная положительнымъ знаніемъ, она была исполнена вѣры въ силы чело-вѣческаго разума и думала, что истину можно взять съ бою, какъ феодальный замокъ. Не было вопроса, предъ которымъ она оробѣла бы, не было задачи, предъ которой она сознала бы свое безсиліе. Она, разумѣется, не рѣшала этихъ вопро-совъ и задачъ, поставленныхъ роковою гранью нашей любо-знательности, но воспитала въ европейской наукѣ благород-ную пытливость и крѣпкую логику, составляющія ея отли-чительныя примѣты и главное условіе ея успѣховъ* *. Грановскій точно имѣлъ въ виду значеніе всеобъемлющей гегелевской діалектики для тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ.

Однако увлеченіе Гегелемъ различно захватывало людей, соотвѣтственно ихъ характеру и склонностямъ и благодаря крайней гибкости метода и содержанія его философіи. Мягкій женственный Станкевичъ, какъ и Грановскій, осторожно относившіеся къ крайнимъ мнѣніямъ, никогда не доходили до тѣхъ выводовъ, какіе съ своей точки зрѣнія совершенно послѣдовательно дѣлали Бакунинъ и Бѣлинскій съ ихъ призна-ніемъ разумности всего существующаго. Различно и осво-бождались отъ гегелианства: Грановскому ограниченіемъ для абстракцій послужила исторія. Бѣлинскій, какъ челоувѣкъ страст-наго чувства столько же, сколько и смѣлаго ума, возму-тился противъ Гегеля во имя правъ единичной личности, за-просы и стремленія которой, казалось, игнорировала его философія, какъ игнорировала ихъ и система официальной народности. Позволимъ себѣ привести многократно цитиро-ванный отрывокъ изъ письма Бѣлинскаго къ Боткину, пись-ма, писаннаго критикомъ приблизительно черезъ годъ послѣ пресловутыхъ его статей о Менцелѣ и Бородинской годовщинѣ; здѣсь ясно сказался поворотъ въ міровоззрѣніи Бѣлинскаго, сразу отдалившій его отъ какого бы то ни было примиренія съ официальной народностью, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ сла-вянофильства, по многимъ пунктамъ сходящагося съ нею. „Ты, я знаю, будешь надо мною смѣяться, — говоритъ Бѣлин-

* Сочин. Гран., т. I, стр. 374.

скій,—но смѣйся, какъ хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности—важнѣ судебъ всего міра! Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремясь къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься падай, — чортъ съ тобою!—таковскій и былъ с. с.... Благодарю покорно, Егоръ Ѳедоровичъ (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всѣмъ подобающимъ вашему филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что еслибы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія, я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр., и пр.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головой. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ братій по крови.... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ конечно не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участію идею дисгармоніи. Впрочемъ, если писать объ этомъ все—и конца не будетъ“ *. Бакунинъ, въ 1840 г. уѣхавшій за границу, какъ человѣкъ болѣе абстрактнаго мышленія, чѣмъ Бѣлинскій, перешелъ къ такъ называемому лѣвому, радикальному гегелианству, которое и защищалъ въ „Анналахъ“ Руге подъ псевдонимомъ Жюля Элизара. К. Аксаковъ перешелъ мало по малу въ славянофильскій лагерь. Во всякомъ случаѣ, въ началѣ сороковыхъ годовъ философія Гегеля была для кружка Станкевича въ значительной мѣрѣ превзойденною ступеню развитія, приближалось время, когда она должна была перестать быть самодовлѣющею цѣлью и обратиться въ скромное средство или совсѣмъ исчезнуть: идеал личности и ея правъ, того элемента, который наложилъ своеобразную печать на развитіе западно-европейскихъ народовъ, получаетъ первенствующее значеніе для большинства кружка, и главнымъ выразителемъ новаго направленія явился Бѣлинскій.

* А. Пыпинъ: „Бѣлинскій, его жизнь и переписка“. Спб., 1876, т. II., стр. 105.

Сближеніе бывшаго кружка Станкевича съ другимъ московскимъ кружкомъ, во главѣ котораго былъ Герцень, въ извѣстной степени опредѣлило болѣе конкретный характеръ новаго направленія: личность разсматривалась уже не какъ изолированное моральное существо (мы указывали на преимущественно моральное направленіе, усвоенное Станкевичемъ), но какъ членъ общества. Кружокъ Герцена и Огарева, къ которому принадлежали еще Сазоновъ, Сатинъ, Кетчеръ, Е. Коршъ, издавна занимался по преимуществу вопросами общественными и еще на университетской скамьѣ былъ знакомъ съ Сень-Симономъ и друг. французскими утопистами социализма. Въ половинѣ 30-хъ годовъ за студенческую исторію, къ которой друзья-неразлучники Огаревъ и Герцень собственно не были причастны, они попали въ опалу: Герцень сначала въ Пермь, а потомъ въ Вятку, откуда былъ переведенъ во Владиміръ, Огаревъ же—въ Пензу.

Исторія ихъ умственнаго развитія до появленія снова въ Москвѣ въ началѣ сороковыхъ годовъ—достаточно выяснена. Сущность этого развитія—переходъ отъ мистическаго крайне идеалистическаго міровозрѣнія къ болѣе реальному. Герцень въ Вяткѣ, занимаясь на службѣ „обязательною праздностью“, въ то же время посвящалъ досуги повѣстямъ, фантазіямъ, стихамъ, гдѣ лирической тонъ, когда дѣло шло о реальныхъ предметахъ, смѣнялся философски-мистическимъ, когда рѣчь касалась явленій научнаго міра. Онъ пытался примирить требованіе свободной критической мысли съ Откровеніемъ, идеализируя Витберга, неудачнаго строителя Храма Христа Спасителя на Воробьевыхъ горахъ; сочинялъ какой то „всемірно-энциклопедическій“ романъ „Тамъ“ и развивалъ туманную моральную философію, въ родѣ той, что Бѣлинскій проповѣдывалъ въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ подъ вліяніемъ Станкевича: „Эгоизмъ—это тяготѣніе, это мракъ; контрактивность—прямое наслѣдіе Люцифера; любовь—это свѣтъ, расширеніе, прямое наслѣдіе Бога“. Любовь по этой теоріи стремится къ Богу, вмѣстѣ съ дружбою, а ненависть—къ аду въ центрѣ земли, и т. д. Огаревъ тоже путался въ отвлеченностяхъ; занимался и поэзіей, и музыкой, и сельскимъ хозяйствомъ, и химіей, и физикой, и медициной; отдаваясь, по

настояніямъ отца, разсѣянной свѣтской жизни, онъ съ горя сочинялъ цѣлую теософическую науку „міровѣдѣнія“, чтобы объять весь міръ знанія, провидѣть начало и результаты идей, а потомъ съ твердостью и силою вступить на поприще практической дѣятельности. Несмотря на всѣ эти отвлеченности, въ стремленіяхъ друзей, постоянно переписывавшихся, чувствуются темы и мотивы ближайшаго будущаго. Герценъ въ своихъ разсказахъ изображаетъ людей, гибнущихъ въ служеніи какой либо великой идеѣ. Огаревъ расточаетъ горячія тирады о необходимости и мудрости резиныаціи, покорности судьбѣ, слѣпой вѣры, отсѣченія своей воли и абсолютнаго смиренія въ виду истинъ, добытыхъ непосредственнымъ религіознымъ чувствомъ, но въ то же время среди непроходимой метафизики высказываетъ такія, наприм., мысли, поразительныя по своей ясности и глубинѣ: „Теперь я наметну только на задачу общественной организаціи,—пишетъ онъ Герцену,—сохранить при высочайшемъ развитіи общестственности полную свободу индивидуальную. Да, это задача для жизни рода человѣческаго—чѣмъ ближе къ разрѣшенію, тѣмъ ближе къ совершенству. Эту задачу пусть разрѣшаетъ человѣчество, какъ скоро сброситъ ветхую епанчу свою. Да, человѣкъ долженъ по своей волѣ двигаться въ кругу братій. До тѣхъ поръ, пока есть преграда развитію моей индивидуальной воли, до тѣхъ поръ у меня нѣтъ братьевъ,—есть враги; до тѣхъ поръ нѣтъ гармоніи и любви, но борьба моего эгоизма съ эгоизмомъ другихъ. Сочетать эгоизмъ съ самопожертвованіемъ—вотъ въ чемъ дѣло; вотъ къ чему должно стремиться общественное устройство“ *.

Развитіе обоихъ друзей не обошлось безъ тѣхъ же особенностей и идеалистическихъ увлеченій, какими отличались Станкевичъ съ друзьями (Грановскій въ томъ числѣ, хотя меньше другихъ); въ частности они крайне преувеличивали простыя человѣческія чувства, любовь къ женщинѣ, дружбу и т. д. Въ началѣ 1838 года Огаревъ и Герценъ оба женились, а 17 марта 1839 г. они встрѣтились во Владимірѣ; встрѣча ихъ такъ характерна, что мы приведемъ нѣсколько

* „Анненковъ и его друзья“, Спб. 1892 г. Статья: „Идеалисты тридцатыхъ годовъ“. Стр. 31, 43, 45.

словъ Герцена изъ письма объ этомъ событіи: „Ну, братъ, ежели бы жизнь моя не имѣла никакой цѣли, кромѣ индивидуальной, знаешь ли, что бы я сдѣлалъ 18 марта? Принялъ бы ложку синильной кислоты... Относительно къ себѣ: „я все земное совершилъ“. Только еще и оставалось мнѣ, послѣ Наташи (жены Герцена), желать, и оно сбылось, и какъ сбылось? Четырехдневное, свѣтлое, ясное, святое свиданіе. Мы инстинктуально всѣ четверо бросились передъ распятіемъ и горячія молитвы лились изъ устъ. Что за дивный, что за высокій Огаревъ!.. Зачѣмъ ты не могъ взглянуть на эту группу, которая обратилась къ небу не съ упрекомъ, не съ просьбой, а съ гимномъ, съ осанной!“ Однако, довольно уже скоро Герценъ отрѣшается отъ метафизики, согласно которой, между прочимъ, приходилось такъ или иначе мириться съ дѣйствительностью. Въ Москвѣ Герцена встрѣтили Бѣлинскій и Бакунинъ, каждый съ томомъ Гегеля въ рукахъ. Они не только были примирены съ дѣйствительностью, но въ этотъ періодъ, убѣдивъ себя въ разумности ея, требовали полного признанія и преклоненія предъ нею. Герценъ погрузился въ Гегеля, враждебно отнесшись къ увлеченію Бѣлинскаго, и вынесъ изъ философіи, примѣнивъ ее къ знакомымъ ему давно общественнымъ явленіямъ, выводы совершенно противоположнаго характера, къ которымъ затѣмъ самостоятельно пришелъ и Бѣлинскій, такъ что они снова могли сблизиться. Новая административная кара, ссылка изъ Петербурга въ Новгородъ за письмо объ убійствѣ будочникомъ прохожаго, о чемъ говорила гласно вся столица, была принята Герценомъ совершенно не такъ, какъ первая; она представилась ему не слѣпымъ случаемъ, а, напротивъ, фактомъ весьма естественнымъ и понятнымъ. Новое отношеніе Герцена къ своему положенію и дѣйствительности было имъ формулировано въ письмѣ Бѣлинскому передъ отъѣздомъ въ Москву въ 1842 г. „Я нахожу одно примиреніе—полнѣйшую вражду. (Кристаллизація—не кристаллизуется, употребленіе—никогда не употребляется)*. Не скажу, чтобы вмѣстѣ съ мечтами отлетѣли и надежды,—о нѣтъ, нѣтъ и тысячу разъ нѣтъ. Напротивъ, въ жизнь мою я не чувствовалъ яснѣ Галилеевскаго—e purse muove“*.

* Фраза изъ минералогіи Ловецкаго, лекціи котораго Герценъ слушалъ въ моск. университетѣ.

Бывшіе кружки Станкевича и Герцена, слившись, образовали ядро московскихъ западниковъ, къ которому присоединились и другіе элементы, главнымъ образомъ профессора московскаго университета. Мы охарактеризовали основныя черты взглядовъ главнѣйшихъ представителей этого направленія. Оно было прежде всего отрицательнымъ: вражда къ крѣпостному праву, къ бюрократической рутинѣ въ административной, судебной и законодательной областяхъ, насколько онѣ могли быть предметомъ обсуждения въ обществѣ, къ подчиненію мысли и печати внѣшнимъ стѣсненіямъ, — вотъ главное содержаніе ихъ проповѣди, на ряду съ постояннымъ указаніемъ на выработанныя Западомъ сокровища науки и литературы.

Все это объединялось представленіемъ о неотъемлемыхъ правахъ и достоинствѣ живой человѣческой личности, и это представленіе стало основною идеей всего западнческаго направленія.

По системѣ Гегеля, между прочимъ, оказывалось, какъ мы объ этомъ уже упоминали, что славянскому міру какъ то нѣтъ подходящаго мѣста въ исторіи человѣчества, которая завершается германскимъ міромъ. Это также было поводомъ къ реакціи противъ Гегеля, но реакціи, направленной въ иную сторону, чѣмъ реакція во имя правъ личности и ея участія въ общественной жизни. Любопытно содержаніе лекціи Никиты Крылова, направленной противъ Гегеля и своеобразно рисующей растерянное положеніе русскихъ, которыхъ не хотѣла знать философія. „Мы, когда были посланы за границу, — рассказываетъ Крыловъ, — были увлечены лекціями Гегеля; въ нихъ въ самомъ дѣлѣ было что то обаятельное для юношей: всякое жизненное явленіе какъ то легко раскрывалось въ процессѣ внутренняго его развитія, и мы, лежа на диванахъ и бросивъ всѣ положительныя практическія занятія, стали мечтать о судьбахъ міра и строить всѣ событія и будущее человѣчества по троичной системѣ“. По ученію профессора Ганса, „Востокъ выразилъ собою первый моментъ въ развитіи: это моментъ неподвижности, покоя; древній античный міръ (греки и римляне) выражали своей исторіей идею безцѣльнаго и безостановочнаго движенія; наконецъ, германскія племена составляютъ

* „Авненковъ и его друзья“, стр. 70, 90.

третій высшій моментъ единства двухъ первыхъ: ихъ движеніе получило опредѣленность и назначеніе; плодомъ ихъ развитія и должно быть жизненное благо человѣка. Послѣ лекціи, мы, русскіе, обратились къ Гансу съ вопросомъ: что же остается на долю славянскимъ племенамъ, столь многочисленнымъ и не лишеннымъ высшихъ даровъ, удѣленныхъ человѣчеству. Тогда онъ съ необыкновенною дерзостью отвѣчалъ намъ, что славянскому міру остается выжидать!“ *

Весьма естественно, что выжидать только что пробудившаяся въ обществѣ мысль была вовсе не расположена. Самые рѣшительные систематики готовы были признать, что Россіи даже нѣтъ самостоятельнаго мѣста въ человѣчествѣ; что она обречена стать только „урокомъ“ для другихъ, сырымъ матеріаломъ будущаго. Наиболѣе полно это настроеніе выразилось въ знаменитомъ „философическомъ письмѣ“ Чаадаева. Вотъ нѣсколько выдержекъ изъ него:

„Посмотрите вокругъ себя. Все какъ будто на ходу. Мы всѣ какъ будто странники. Нѣтъ ни у кого сферы опредѣленнаго существованія... Дома мы будто на постоѣ, въ семьяхъ, какъ чужіе, въ городахъ какъ будто кочуемъ **... Въ самомъ началѣ у насъ дикое варварство, потомъ грубое суевѣріе, затѣмъ жестокое, унижительное владычество завоевателей, владычество, слѣды котораго въ нашемъ образѣ жизни не изгладились совсѣмъ и донинѣ. Вотъ горестная исторія нашей юности... Мы явились въ міръ, какъ незаконно рожденныя дѣти, безъ наслѣдства, безъ связи съ людьми, которые намъ предшествовали... Мы растемъ, но не зрѣемъ; идемъ впередъ, но по какому то косвенному направленію, не ведущему къ цѣли“... Идеи долга, закона, правды, порядка составляютъ атмосферу Запада. „Силлогизмъ Запада намъ неизвѣстенъ. Въ нашихъ лучшихъ головахъ есть что то больше чѣмъ неосно-

* Воспоминанія А. Афанасьева о Московскомъ университетѣ. „Русская Старина“, 1886 г., 8.

** Любопытно сопоставить съ этимъ письмо Гоголя въ его „Перепискѣ съ друзьями“: „точно какъ будто мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родною нашею крышею, но гдѣ то остановились безпріютно на проѣзжей дорогѣ, и дышитъ намъ отъ Россіи не радужнымъ роднымъ пріемомъ братьевъ, но какою то холодною, занесенною вьюгой почтовою станціей, гдѣ видится одинъ ко всему равнодушный станціонный смотритель съ чертвымъ отвѣтомъ: „нѣтъ лошадей“! Отчего это? Кто виноватъ?“ (Второе письмо по поводу „Мертвыхъ Душъ“).

вательность. Лучшія идеи, отъ недостатка связи и послѣдовательности, какъ бесплодные призраки, цѣпенѣють въ нашемъ мозгу... Такія потерявшіяся существа встрѣчаются во всѣхъ странахъ; но у насъ эта черта—общая“. Можно подумать, что „общій законъ человѣчества не для насъ. Отшельники въ мірѣ мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не приобщили ни одной идеи къ массѣ идей человѣчества; ничѣмъ не содѣйствовали совершенствованію человѣческаго разумѣнія, и исказили все, что сообщило намъ это совершенствованіе... Повторю еще: мы жили, мы живемъ, какъ великій урокъ для отдаленныхъ потомствъ, которыя воспользуются имъ непремѣнно, но въ настоящемъ времени, что бы ни говорили, мы составляемъ пробѣлъ въ порядкѣ разумѣнія“.

Горечь чувства, проникающаго эти строки, была глубоко понятна новому поколѣнію, воспитанному на „святыхъ чудесахъ“ Запада, встрѣтившемуся со всѣми темными чертами родного быта, терпѣвшему ихъ частью на себѣ, возмущенному ими за другихъ. Выходъ представлялся естественно въ живомъ приобщеніи къ общечеловѣческой западно европейской культурѣ. Сторонники этого приобщенія, выступившіе наиболѣе рѣшительно, разрывавшіе рѣзко съ официальной и бытовой традиціею, какъ остаткомъ изжитого прошлаго, получили названіе западниковъ.

„Названіе одностороннее, неправильное, потому что указывало на внѣшній признакъ явленія, упуская изъ виду его сущность; названіе несправедливое, потому что заключало въ себѣ укоръ, а укоръ могъ только относиться къ увлеченію, къ злоупотребленію новымъ принципомъ, которые вовсе не вытекали изъ самаго принципа въ самомъ себѣ вѣрнаго,— мѣтко говорить въ біографіи „западника“ С. М. Соловьева проф. Герье:—Западники 30—50-хъ годовъ имѣли право на совершенно иное названіе. Это были русскіе гуманисты. Нѣтъ основанія приурочивать этотъ терминъ исключительно къ эпохѣ ренессанса, къ людямъ, проводившимъ тогда въ европейскомъ обществѣ греко-римскую образованность... Высшій цвѣтъ этой цивилизаціи былъ раскрытъ только въ XVIII в., когда основаніе новой эпохи гуманизма было положено Винкельманомъ. На этомъ гуманизмѣ воспитались классическіе

поэты Германіи: Лессингъ, Гердеръ, Шиллеръ и Гёте, которые внесли гуманическій элементъ въ нѣмецкую литературу и этимъ подняли культуру нѣмецкую, дали ей мировое значеніе. Здѣсь гуманизмъ получилъ иной, болѣе широкій смыслъ, что выразилось уже въ самомъ измѣненіи значенія слова гуманный; классическій гуманизмъ сдѣлался лишь однимъ изъ составныхъ элементовъ европейскаго гуманизма, т. е. гуманнаго общечеловѣческаго начала. Въ этотъ европейскій гуманизмъ стали тогда входить двѣ новыя живительныя струи— идеалистическая философія, которая внесла въ духовный міръ человѣка пониманіе исторіи, идею законнаго мирнаго органическаго развитія, идею прогресса и политическій либерализмъ, которому положилъ прочное основаніе переворотъ 1789 года. Этотъ обогащенный, обогороженный новыми идеями XIX вѣка гуманизмъ, продуктъ европейской общечеловѣческой цивилизаціи,— вотъ что пытались провести въ наше общество русскіе гуманисты, такъ называемые западники сороковыхъ годовъ! Не замѣну національнаго Западнымъ ставили они себѣ цѣлью, а воспитаніе русскаго общества на европейской универсальной культурѣ, чтобы поднять національное развитіе на степень общечеловѣческаго, дать ему мировое значеніе“*.

Не совсѣмъ точно названіе славянофиловъ получили и противники западниковъ, хотя и противопологавшіе міру Запада славянство, но свои идеи мессіанизма прилагавшіе преимущественно къ русскому племени, какъ носителю будущаго спасенія человѣчества.

Не малую роль въ этомъ спорѣ играла Шеллингова теорія народностей, выражающихъ въ своей жизни ту или иную идею, выполняющихъ свою историческую миссію; старались опредѣлить, въ чемъ же специальная идея и миссія русской народности. Около послѣдняго пункта и начали формироваться и складываться идеи, названныя славянофильскими.

Противоположеніе Россіи западной Европѣ дѣлалось прежде всего по вопросу религіозному, и, какъ это ни странно звучитъ, гегелевская формула была опять тутъ какъ тутъ. Хомяковъ рѣшалъ по ней вѣроисповѣдный вопросъ такъ: католицизмъ—

* Цитируемъ по книгѣ А. Н. Пышина: „Исторія русской этнографіи“, т. II, 15—16.

моментъ разсудочнаго единства (тезисъ), протестантство—моментъ отрицательной свободы (антитезисъ), православіе—единство въ свободѣ и свобода въ единствѣ (синтезисъ). Отрицательное отношеніе къ западно европейскимъ умственнымъ теченіямъ, отстаиваніе русской самобытности, „народности“ въ области вѣры, также составило одну изъ первыхъ бросающихся въ глаза чертъ славянофильства. Но не въ нихъ, какъ укажемъ сейчасъ, были сила и значеніе славянофиловъ.

По вопросу о значеніи православія и исключительностью, сильно развившеюся у нихъ, славянофилы сошлись совершенно съ защитниками знакомой уже намъ официальной народности въ лицѣ Погодина и Шевырева. Источникомъ исключительности былъ совершенно естественный патриотическій инстинктъ, порою, къ сожалѣнію, переходившій въ ту слѣдную вѣру въ Россію, какая выражена въ извѣстномъ четверостишіи Тютчева:

Умомъ Россіи не понять,
Аршиномъ общимъ не измѣрить,
У ней особенная стать:
Въ Россію можно только вѣрить.

Но кромѣ этого инстинкта, у славянофиловъ Хомякова, Кирѣевскихъ, К. Аксакова, Ю. Самарина,—было широкое общеевропейское образованіе, была горячая любовь къ народу; у защитниковъ же официальной народности, кромѣ патриотическаго инстинкта, были только другіе инстинкты да угодничество, умѣнье плыть по теченію. Любопытно, что сами славянофилы, или, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ нихъ, порою сознавали ложность своего положенія въ сосѣдствѣ съ Шевыревыми и другими. Такъ, Хомяковъ писалъ Ю. Ѳ. Самарину: „Досадно, когда видишь, что Загоскинъ, хоть онъ и славный человекъ, за насъ, а Грановскій противъ насъ: чувствуешь, что съ нами за одно только инстинктъ, ибо Загоскинъ—выраженіе инстинкта, а умъ и мысль съ нами мириться не хотятъ“ *. Къ „Москвитянину“, въ которомъ имъ приходилось сотрудничать, за неимѣніемъ собственнаго журнала, при появленіи этого органа официальной народности, они отнеслись довольно-таки холодно, на что и жаловались

* „Русскій Архивъ“, 1883 г., 1, стр. 90.

Погодинъ съ Шевыревымъ *. Значительно позднѣе, уже въ 1856 г. И. С. Аксаковъ писалъ брату: „Кромѣ небольшого кружка людей, такъ отдѣльно стоящаго, защитники народности, — или пустые крикуны, или подлецы и льстецы, или плуты, или понимаютъ ее ложно, или вредятъ дѣлу балаганными представленіями и глухими похвалами тому, что не заслуживаетъ похвалы... Будьте, ради Бога, осторожны со словомъ „народность и православіе“. Оно начинаетъ производить на меня то же болѣзненное впечатлѣніе, какъ и „русскій баринъ, русскій мужичокъ“ и т. д. Будьте умѣренны и безпристрастны и не навязывайте насильственныхъ неестественныхъ сочувствій къ тому, чему нельзя сочувствовать, къ до-Петровской Руси, къ обрядовому православію, къ монахамъ, какъ покойный Ив. Вас. (т. е. Кирѣевскій)“ **.

„Встрѣча московскихъ славянофиловъ съ петербургскимъ славянофильствомъ (т. е. съ официальной народностью), — писалъ въ „Быломъ и думахъ“, сходясь съ славянофиломъ Аксаковымъ, западникъ Герценъ, — была для нихъ большимъ несчастіемъ... Общаго между ними ничего не было, кромѣ словъ. Ихъ крайности и нелѣпости были все же безкорыстно нелѣпы“. Но въ сороковые годы едва ли многіе могли видѣть разницу между двумя направленіями, такъ схожими по внѣшности, по подчеркиванію религіозной стороны дѣла, по отношенію къ гнѣющему Западу, къ Москвѣ, „корню, зерну, сѣмени русскаго народа“, какъ ее величаетъ Погодинъ въ первой книжкѣ „Москвитянина“, и въ которую К. Аксаковъ, впервые въ 40-хъ годахъ, звалъ Русь „домой“. Это сходство, тѣмъ болѣе, что и сами славянофилы не всегда старались отграничить себя отъ Шевыревыхъ и Погодиныхъ, давало поводъ къ многочисленнымъ недоразумѣніямъ. И до сихъ поръ раздаются обвиненія славянофиловъ въ крайне реакціонныхъ взглядахъ, основанныя на этой первоначальной близости ихъ и защитниковъ официальной народности. Продолжатели послѣдней, называя себя преемниками славянофиловъ, также даютъ поводъ къ подобнымъ обвиненіямъ: у насъ такъ мало знакомы съ исторіей нашего умственного и

* Тамъ же, стр. 94—95, а также: Барсуковъ, VI, 53—54.

** „И. С. Аксаковъ въ его письмахъ“, т. III, стр. 281.

общественнаго развитія, что рѣдко провѣряютъ права той или другой литературной группы на присвоенную ею себѣ кличку.

Обращаясь къ тому, что отличало славянофиловъ отъ официальной народности, прежде всего надо указать на тѣ общія черты ихъ воззрѣнія, которыя сближали ихъ съ западниками и которыя были причиною крайне подозрительнаго къ нимъ отношенія со стороны полицейской. Прежде всего бросалось въ глаза то же страстное отношеніе къ идеаламъ своимъ, какое отличало и западниковъ, — стремленіе проводить ихъ въ жизнь, выразившееся, между прочимъ, за неимѣніемъ другого, болѣе дѣйствительнаго средства, въ ношеніи бороды и „національнаго“ костюма; но и этого не могла вынести тогдашняя регламентація, и въ концѣ концовъ бороды было велѣно сбрить, хотя носившіе ихъ на службѣ не состояли, а костюмы снять *. Приведенные нами стихи Тургенева можно сопоставить со стихами И. С. Аксакова, гдѣ находимъ тотъ же страстный протестъ противъ тяготѣвшей надъ сонной Русью пошлости, „постыднаго равнодушія къ добру и злу“. Молодой славянофилъ

...къ горячему моленью
Прибѣгнувъ, Бога смѣль просить:
Не дай мнѣ опытомъ и лѣнью
Тревоги сердца заглушить!
Пошли мнѣ силъ и помощь Божью,
Мой духъ усталый воскреси,
Съ житейской мудростью и ложью
Отъ примиренія спаси.
Пошли мнѣ бури и ненастья,
Даруй мучительные дни, —
Но отъ преступнаго безстрастья,
Но отъ покоя сохрани!

По отношенію къ тремъ основнымъ пунктамъ ближайшихъ пожеланій западниковъ, славянофилы вполне соглашались съ противниками: уничтоженіе крѣпостнаго права нашло въ нихъ въ свое время самыхъ искреннихъ и послѣдовательныхъ сторонниковъ; къ судебной реформѣ съ ея, Западомъ выработанными, формами они также отнеслись совершенно сочувственно.

* См. любопытную переписку о бородѣ и костюмѣ старика С. Т. Аксакова и его старшаго сына во II томѣ писемъ И. С. Аксакова, стр. 141—146.

Укажемъ хоть, что въ стихотвореніи Хомякова „къ Россіи“ въ числѣ ея „ужасныхъ грѣховъ“ упоминается, что она

Въ судахъ черна неправдой черной
И игомъ рабства клеймена.

Противники, наконецъ, одинаково чувствовали на себѣ давленіе цензурныхъ условій, и возможно, что иные изъ западниковъ твердили нѣсколько напыщенные, но искренніе стихи К. Аксакова:

Ты чудо изъ Божьихъ чудесъ,
Ты мысли свѣтильникъ и пламя,
Ты лучъ намъ надежды съ небесъ,
Ты намъ челоуѣчество знамя.
Ты гонишь невѣжества ложь,
Ты вѣчною жизнію ново,
Ты къ свѣту, ты къ правдѣ ведешь
Свободное слово!

Однако теоретическія основанія къ такимъ требованіямъ, до извѣстной степени навѣяннымъ просто знакомствомъ съ западно-европейскимъ просвѣщеніемъ, были у славянофиловъ совсѣмъ не тѣ, что у западниковъ. Послѣдніе исходили изъ начала личности и ея правъ. Славянофилы, смѣшивая чисто экономическій индивидуализмъ, принявшій уродливыя формы на Западѣ въ видѣ развитія капитализма и пролетаріата, съ индивидуализмомъ въ широкомъ смыслѣ слова, признавали его, какъ эгоизмъ, основною исключительною чертою западно-европейскаго развитія. Въ Россіи они видѣли проявленіе принципа противоположнаго эгоизму—любви; поддерживаемая и направляемая православіемъ, она нашла себѣ въ исторической жизни Руси осуществленіе въ общинѣ, основной стихіи русскаго народа. Политическому конституціонному либерализму западниковъ противопологался не знающій гарантій утопическій союзъ власти и народа, выражающаго свободно свои взгляды въ земскихъ соборахъ. Славянофильство, такимъ образомъ, смотрѣло на народныя массы не съ одною жалостью, какъ западники, скорбѣвшіе о ихъ придушенности, невѣжествѣ и нищетѣ, но и съ уваженіемъ, какъ къ хранителю началъ высочайшей важности и цѣнности. Петровская реформа внесла, по ихъ мнѣнію, чуждые древней Руси элементы бюрократическіе, подавившіе есте-

ственное развитіе и проявленіе уже осуществленнаго въ жизни народной принципа. Онъ давалъ полный просторъ личной свободѣ и свободѣ духа, любовно охватывая собою всёхъ и все. Такимъ образомъ славянофильство, идеализируя прошлое Россіи, видѣло въ немъ какъ разъ то осуществленіе задачи общественной организаціи, о которомъ мечталъ Огаревъ, т. е. полное примиреніе запросовъ личности съ общественностью, индивидуализма—съ общественною солидарностью.

Теперь давно выяснены преувеличенія и односторонности романтическаго увлеченія славянофиловъ. Изученіе русской исторіи показало, что нѣтъ никакихъ основаній принимать, чтобы принципъ любви былъ дѣйствительно осуществленъ въ московской Руси, бывшіе земскіе соборы потускнѣли, община раскрыла много неприглядныхъ сторонъ... Съ другой стороны, ближайшее знакомство съ теченіями западно-европейской мысли не даетъ права подводить общественное движеніе Запада подъ какой либо исключительный принципъ: гораздо болѣе основаній утверждать, что оно совершается именно въ томъ направленіи, о которомъ говорилъ Огаревъ. Вообще ходъ русской и европейской жизни и историческія изученія не оправдали ни одной односторонности славянофильства. Но односторонности эти имѣли тѣмъ болѣе важное отрицательное значеніе, чѣмъ яростнѣе и упорнѣе защищались: онѣ заставляли западниковъ внимательнѣе относиться къ себѣ, ограничивать и пересматривать свои воззрѣнія и аргументы.

Единственная положительная сторона славянофильства, главная его историческая заслуга—общая постановка вопроса о народности, какъ вопроса о народныхъ массахъ, и въ частности объ общинѣ. Правда, защита „народности“ облекалась иногда въ довольно странныя формы. Патріархальный бытъ народной массы настолько возвеличивался порою, что можно было спросить, для чего же освобождать ее, если и теперь въ ней все благо, все добро *. Тѣмъ не менѣе демократическій характеръ славянофильства

* Въ книгѣ Евг. Соловьева (Андреевича): „Очерки изъ исторіи русской литературы XIX в.“ Спб. 1903.—высказанъ взглядъ на славянофильство, какъ „на смутное стремленіе дворянства сохранить патріархальный бытъ Россіи, только улучшивъ его, очистивъ отъ всей грязи, которую насидѣло на немъ чиновничество, — а вмѣстѣ съ этимъ бытомъ и свое привилегированное положеніе“, стр. 82 и др.

сороковых годовъ и былъ главнымъ правомъ славянофиловъ на вниманіе со стороны общества. Эта историческая заслуга славянофильства давно уже оцѣнена. Въ 1857 г. Чернышевскій высказался въ томъ смыслѣ, что „всѣ теоретическія заблужденія, всѣ фантастическія увлеченія славянофиловъ съ избыткомъ вознаграждаются уже однимъ убѣжденіемъ ихъ, что общинное устройство нашихъ сель должно оставаться неприкосновеннымъ при всѣхъ перемѣнахъ въ экономическихъ отношеніяхъ... И если уже должно дѣлать выборъ, то лучше славянофильство, нежели та умственная дремота, то отрицаніе современныхъ убѣжденій, которое часто прикрывается эгидою вѣрности западной цивилизаціи, причемъ подъ западною цивилизаціей понимаются чаще всего системы, уже отвергнутыя западною наукой, и факты, наиболѣе прискорбные въ западной дѣйствительности, — не говоря уже о замѣненіи общинной поземельной собственности полновластною личною“ *.

Какъ увидимъ ниже, прогрессивная демократическая сторона славянофильства была оцѣнена въ устной бесѣдѣ гораздо раньше, когда оно не могло еще сполна высказаться въ печати, и именно Грановскимъ и Герценомъ. Вотъ почему отчасти мы и нашли необходимымъ такъ подробно говорить о западникахъ и славянофильствѣ.

Общая славянофильская программа: самодержавіе, православіе и народность, — причемъ въ понятіе послѣдней вошли земскій соборъ, полная свобода личности, совѣсти и слова, гласный судъ, судъ присяжныхъ и т. д., — была въ сущности такимъ же предметомъ страстной вѣры, какимъ для другихъ въ тридцатые годы была философія Гегеля. Какъ Бѣлинскій одно время призналъ, поддавшись ей, что дѣйствительность разумна, такъ и славянофилы, насилуя исторію и себя, готовы были признать уже осуществленными свои идеалы въ народной жизни, которую нужно было только освободить отъ бюрократическихъ стѣсненій петербургскаго періода, чтобъ идеалы проявились и обеспечили счастье народа. Разница между славянофилами и гегеліанцами въ ихъ отношеніи къ своимъ системамъ та, что славянофилы такъ и не смогли от-

* „Современникъ“ 1857 г., № 5. „Замѣтки о журналахъ“. — „Замѣтки о современной русской литературѣ“. Изд. М. Н. Чернышевскаго. Спб. 1894 г. Стр. 245—246.

дѣлаться отъ сковывавшаго мысль вліянія своей утопіи. Скрывая, защищая и оправдывая явленія русской исторіи и жизни, несомнѣнно варварскія и нелѣпыя, они сдѣлали для своего времени гораздо меньше, чѣмъ могли бы, еслибъ обратили больше вниманія на здоровое и крѣпкое ядро своихъ возрѣній, а не растрачивали бы силъ на богословскія тонкости, на выходки, ставившія ихъ рядомъ съ защитниками официальной народности, и т. д. Такимъ образомъ, заслуги славянофильства преимущественно отрицательнаго характера. Имѣя это въ виду, можно признать справедливымъ приговоръ Герцена, произнесенный имъ въ 1861 г. въ „Быломъ и думахъ“:

„Кирѣевскіе, Хомяковъ и Аксаковъ сдѣлали свое дѣло: долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себѣ съ полнымъ сознаниемъ, что они сдѣлали то, что хотѣли сдѣлать, и если они не могли остановить фельдъ-егерской тройки, посланной Петромъ, въ которой сидитъ Биронъ и колотить ямщика, чтобы тотъ скакалъ по нивамъ и давилъ людей,—то они остановили увлеченное общественное мнѣніе и заставили призадуматься всѣхъ серьезныхъ людей.—Съ нихъ начинается переломъ русской мысли. И когда мы это говоримъ, кажется, насъ нельзя заподозрить въ пристрастіи.—Да, мы были противниками ихъ, но очень странными. У насъ была одна любовь, но не одинакая. — У нихъ и у насъ запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы за пророчество,—чувство безграничной, охватывающей все существованіе любви къ русскому народу, русскому быту, къ русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ или какъ двуглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны въ то время, какъ сердце билось одно. Они всю любовь, всю нѣжность перенесли на угнетенную мать. У насъ, воспитанныхъ внѣ дома, эта связь ослабла. Мы были на рукахъ французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству въ чертахъ, да потому, что ея пѣсни были намъ роднѣе водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ея была слишкомъ тѣсна. Въ ея комнатѣ было намъ душно; все почернѣлыя лица изъ за серебряныхъ окладовъ, все попы съ

причетомъ, пугавшіе несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ея вѣчный плачь объ утраченномъ счастіи раздиралъ наше сердце; мы знали, что у нея нѣтъ свѣтлыхъ воспоминаній,—мы знали и другое, что ея счастье впереди, что подъ ея сердцемъ бьется зародышъ,—это нашъ меньшій братъ, которому мы безъ чечевицы уступимъ старшинство.

Такова была наша семейная разладаца лѣтъ пятнадцать тому назадъ (пис. въ нач. 1861 г.). Много воды утекло съ тѣхъ поръ, и мы встрѣтили гарный духъ, остановившій нашъ бѣгъ, и они вмѣсто міра мощей, натолкнулись на живые русскіе вопросы.

„Считается намъ странно, патентовъ на пониманіе нѣтъ; время, исторія, опытъ сблизили насъ не потому, чтобъ они насъ перетянули къ себѣ, или мы ихъ, а потому, что и они и мы ближе къ истинному воззрѣнію теперь (начало 1861 г.), чѣмъ были тогда, когда безпощадно терзали другъ друга въ журнальныхъ статьяхъ, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомнѣвались въ ихъ горячей любви къ Россіи или они въ нашей.

„На этой вѣрѣ другъ въ друга, на этой общей любви имѣемъ право и мы поклониться ихъ гробамъ и бросить горсть земли на ихъ покойниковъ, съ святымъ желаніемъ, чтобъ на могилахъ ихъ, на могилахъ нашихъ — расцвѣла сильно и широко молодая Русь“.

Такой взглядъ, заявленный почти полвѣка назадъ, нынѣ можетъ считаться окончательно установившимся. „Старый терминъ этотъ (западники и славянофилы) уже изветшалъ и обносился,—говорить, наприм., проф. Алексѣй Веселовскій.—Время и опытъ требуютъ пересмотра и дополненія обиходнаго понятія. Крайности и односторонности старыхъ споровъ обозначились. Изъ рядовъ тѣхъ людей, которыхъ въ прежнее время обзывали западниками, т. е. отступниками отъ всего родного, вышли и выходятъ въ наше время ревностные изобразители и изслѣдователи, дѣятели и заступники, посвящавшіе свои силы народу; на смѣну мистическаго благоговѣнія, связаннаго съ незнаніемъ, они поставили близкое знакомство, матеріальное, бытовое и идейное, съ народностью; экономисты, земскіе статистики, этнографы, знатоки народныхъ юридическихъ обычаевъ и религіозныхъ ученій, собиратели и объяснители

народной поэзіи выставлены были въ большинствѣ случаевъ западнойскою группою. Культурное движеніе современнаго западнаго славянства, подчасъ являющееся живымъ укоромъ для нашей неповоротливости, вызываетъ въ „западникѣ“ нашихъ дней сочувствіе, не справляющееся съ тѣмъ, что это должно бы составлять принадлежность тѣхъ, чье иноземное прозвище обязывало именно ихъ быть „любителями всего славянскаго“. Не записываясь въ тотъ же цехъ, историкъ нерѣдко посвящаетъ свои силы, всю свою жизнь изученію русской старины, но не для того, чтобы въ романтическомъ духѣ изобразить ее золотымъ вѣкомъ, а съ цѣлью установить отъ правную точку русской національной эволюціи „... Обѣимъ враждовавшимъ сторонамъ давно пора „перейти отъ непримиримыхъ преній въ ту высшую область мысли, гдѣ противорѣчія и притязанія разрѣшаются равноправностью и солидарностью. Европеизмъ, народолубіе, славяновѣдѣніе уже могутъ сливаться въ наше время подъ условіемъ осуществленія высшихъ общечеловѣческихъ культурныхъ требованій, оставляя по ту сторону обскурантизмъ и косность. Надъ старыми партійными распрями, надъ расовыми счетами, надъ самонадѣянными грезами отдѣльныхъ племенъ, что именно имъ принадлежитъ блестящая роль избранниковъ, встаетъ заря общечеловѣческаго единства, примиреннаго съ племенною самостоятельностью“*.

Грановскій въ исторіи русскаго просвѣщенія занимаетъ почетное мѣсто и потому, между прочимъ, что явился однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ провозвѣстниковъ именно этой зари общечеловѣческаго единства, что онъ, по выраженію проф. Герье, „былъ главнымъ и самымъ блестящимъ представителемъ русскаго гуманизма въ то время“.

IV

Грановскій, какъ историкъ.

Сочиненія Грановскаго. Третье дополненное изд., 2 тома. Москва, 1892 г.

Историческія воззрѣнія Грановскаго ближайшимъ образомъ опредѣлили положеніе, занятое имъ въ борьбѣ литературно-

* А. Веселовскій: „Западное вліяніе въ новой русской литературѣ.“ М. 1896 г., 254—256.

общественныхъ миѣній сороковыхъ годовъ. Характеристика этихъ воззрѣній поэтому необходима прежде всего для того, чтобы отчетливо понять значеніе его дѣятельности въ развитіи нашего общественнаго самосознанія. Но и помимо такого чисто-историческаго интереса они не лишены поучительности и для нашихъ дней. Далекое еще не все, что занимало и увлекало людей сороковыхъ годовъ, проникло въ общее сознаніе, далеко не все стало ходячею монетою. Да и никогда не лишнее вспомнить инья „забытыя слова“, которыя одушевляли нашихъ предшественниковъ.

Грановскій написалъ очень немного. Къ нему буквально примѣнимы его собственныя слова объ историкѣ Нибурѣ. „Жизнь въ кругу людей, которые были въ состояніи понимать его, поддерживая внутреннюю дѣятельность..., иногда отвлекала его отъ литературной производительности. Высказанная и уясненная въ разговорѣ мысль теряла для него прелесть новизны. Онъ переставалъ считать ее своею собственностью и былъ доволенъ тѣмъ, что изустно передалъ ее другимъ, способнымъ ею воспользоваться“ (Соч. Гр. т. II, 40). За то, принимаясь за литературную обработку какой либо темы, Грановскій считалъ долгомъ исполнить трудъ какъ можно тщательнѣе. Ненужнаго балласта, повтореній одной и той же мысли нельзя найти въ его законченныхъ статьяхъ; по строгости формы и языка, это классическія произведенія. Врагъ литературнаго неряшества, онъ придавалъ значеніе каждому слову. Мимоходомъ, но сознательно брошенныя имъ указанія, въ той или другой статьѣ самостоятельно не развитыя, но повторяющіяся въ различныхъ статьяхъ, дадутъ намъ не мало цѣннаго матеріала для характеристики его воззрѣній. Симпатичный обликъ какого нибудь человѣка слагается не изъ чего либо рѣзко опредѣленнаго: игра фizioноміи, тонкіе оттѣнки рѣчи, то, что въ физикѣ называется свѣтотѣнями, играютъ здѣсь главную роль. Такъ и при ознакомленіи со взглядами Грановскаго, на ряду съ прямыми заявленіями его исторической profession de foi, надо обратить особое вниманіе на мелкія черточки, штрихи, на намеки или на то, что могло казаться современникамъ намеками. Тогда только образъ Грановскаго можетъ предстать передъ нами во всей цѣльности и

изящности своей. Да въ этихъ тамъ и сямъ разсѣянныхъ намекахъ и отгѣнкахъ мысли и кроется значительная доля огромнаго вліянія Грановскаго на слушателей. Вліяніе всѣхъ выдающихся дѣятелей не исчерпывается тѣмъ, что они непосредственно вносятъ въ умственный и нравственный капиталъ своего времени. Опять говоря словами Грановскаго о людяхъ, подобныхъ Нибуру, „недоказанныя ими предположенія, ихъ бѣглыя намеки составляютъ обильное наслѣдіе для послѣдующихъ поколѣній и опредѣляютъ надолго въ ту или другую сторону дѣятельность этихъ поколѣній“. Мы можемъ только догадываться, сколько такихъ намековъ, часто совершенно безсознательно, ронялъ Грановскій въ своихъ лекціяхъ и частной бесѣдѣ.

Общественно-воспитательная миссія, исполненная Грановскимъ—„пропаганда исторіей“, по выраженію Герцена,—конечно, въ тѣснѣйшей связи со всѣмъ его историческимъ міровоззрѣніемъ. За послѣдніе годы нѣсколько специалистовъ по исторіи обстоятельно разбирали систему историческихъ воззрѣній Грановскаго, привлекая къ изученію не только собраніе его сочиненій, переписку и біографію, но и малоизвѣстныя студенческія записи его лекцій, остающіяся до сихъ поръ въ рукописяхъ.

Общая оцѣнка историческаго міросозерцанія Грановскаго, съ точки зрѣнія отношеній его къ теоретическимъ вопросамъ науки, сдѣлана частью проф. П. Виноградовымъ, въ особенности же проф. Н. Карѣвымъ *. „Въ жизни нашихъ университетовъ,—говоритъ послѣдній,—Грановскій былъ первымъ профессоромъ исторіи, который, поставивъ на своемъ знамени идею науки, желалъ, чтобъ эта наука находилась въ живомъ общеніи съ другими отраслями человѣческаго знанія, и, внося въ нее общія философскія идеи, выработанныя передовыми умами своего времени, стремился къ тому, чтобы наука эта оказывала вліяніе на жизнь, была воспитательницею и руководительницею не только одной учащейся молодежи, но и всего нашего общества. Онъ былъ первый на кафедрѣ всеобщей исторіи, который отрѣшался отъ взгляда на этотъ предметъ, какъ на механическое соединеніе частныхъ исторій отдѣльныхъ

* Публичная лекція проф. П. Г. Виноградова. „Русская Мысль“ 1898 г., апрѣль.—Н. Карѣвъ: „Историческое міросозерцаніе Грановскаго“. Рѣчь на актѣ С. Петербургскаго университета. Спб. 1896.

странъ и народовъ, для того, чтобы возвыситься до всемірно-исторической точки зрѣнія, до представленія исторіи человѣчества, въ нѣдрахъ коего совершается единый по своему существу и по своей цѣли процессъ духовнаго и общественнаго развитія. Грановскій же, наконецъ, начинаетъ у насъ рядъ русскихъ ученыхъ, которые стали самостоятельно заниматься исторіей европейскаго Запада, въ чемъ, можно сказать, выразилась впервые зрѣлость нашей научной мысли и наше право на умственную самостоятельность въ сферѣ всеобщей исторіи *.

Помимо общей характеристики, пытались дать очеркъ постепеннаго хода видоизмѣненій во взглядахъ Грановскаго, соотвѣтственно новымъ историческимъ теченіямъ и даннымъ, за которыми чрезвычайно внимательно слѣдилъ Грановскій. Г. Мякотинъ даетъ такую схему развитія взглядовъ Грановскаго**:

Идеалистическое пониманіе исторіи, какъ процесса развитія всемірнаго духа, процесса, совершающагося исключительно по законамъ, вытекающимъ изъ сущности послѣдняго, и представленіе этого процесса въ видѣ смѣны противорѣчивыхъ и затѣмъ примиряющихся въ высшемъ синтезѣ идей, воплощающихся въ отдѣльныхъ народахъ съ ихъ національнымъ духомъ, — глубоко вошли въ сознаніе Грановскаго и составили основной фонъ его историческихъ воззрѣній. Вліяніе нѣмецкихъ историковъ и философовъ не заглушило, однако, окончательно болѣе раннихъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ изученія французскихъ историческихъ писателей. Постепенно Грановскій вводилъ въ пониманіе историческаго процесса, какъ фаталистически необходимаго развитія проявленій всемірнаго и народнаго духа, новые элементы. вмѣсто „оправданія“ исторіи выдвигается объясненіе ея, не исключающее возможности параллельной нравственной оцѣнки ея фактовъ; является протестъ противъ неподвижнаго консерватизма, основаннаго на безграничномъ уваженіи къ результатамъ исторіи, какъ плодамъ общенароднаго духа; вводится понятіе о свободной отъ роковыхъ опредѣленій личности, противопологающей себя массѣ,

* Назван. рѣчь Н. Карѣва, стр. 2. Характеризуя историко-философскіе взгляды Грановскаго, г. Карѣвъ неоднократно цитируетъ набросокъ введенія, повидимому, въ первый университетскій курсъ. (Сборникъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ университета св. Владиміра. 1895).

** В. А. Мякотинъ: „Изъ исторіи русскаго общества“. Спб., 1902.

и далѣ въ кругъ историческаго изученія вводятся географическія, естественно-историческія, этнографическія данныя, является рѣчь о созданіи новаго метода, который долженъ возникнуть изъ внимательнаго изученія фактовъ міра духовнаго и природы въ ихъ взаимодействіи, дабы возможно было достигъ до яснаго знанія законовъ, опредѣляющихъ движеніе историческихъ событій. Такъ вырабатывались взгляды Грановскаго, переходившаго отъ нѣмецкой идеалистической философіи къ новой реальной наукѣ обществовѣдѣнія.

Средневѣковая исторія, наиболѣе обычная и любимая тема университетскихъ лекцій Грановскаго, послужила, въ записи ихъ студентами 1845 — 46 г., основаніемъ для подробнаго анализа воззрѣній Грановскаго г. П. Милюкову*. Этотъ анализъ приводитъ г. Милюкова къ выводу, что въ основѣ воззрѣній Грановскаго лежатъ гегеліанскіе взгляды въ большей степени, чѣмъ это предполагаютъ, судя по отзывамъ его самого о современныхъ ему теченіяхъ исторической мысли. Для Грановскаго система Гегеля была не очередной европейской новинкой, для которой слѣдовало взять долю истины и отбросить долю ошибки. Она была для него первымъ сильнымъ впечатлѣніемъ, которымъ встрѣтила его Европа; и это впечатлѣніе легло для него въ основу всѣхъ собственныхъ построеній его мысли. Отголоски вліянія Гегеля г. Милюковъ видитъ и въ такихъ сторонахъ взглядовъ Грановскаго, источникомъ которыхъ другіе изслѣдователи считали другія болѣе новыя вліянія; именно ясныя слѣды гегеліанства г. Милюковъ видитъ въ возраженіяхъ Грановскаго противъ историческаго фатализма, противъ отрицанія роли личности и великихъ людей въ исторіи, противъ насильственнаго схематизированія историческихъ фактовъ. „Когда, напр., Грановскій говоритъ, что массы „коснѣютъ подъ тяжестью историческихъ и естественныхъ опредѣленій, отъ которыхъ освобождается мыслью только отдѣльная личность“, и „что въ этомъ разложеніи массъ мыслью заключается процессъ исторіи“, то онъ не только не отказывается этимъ отъ Гегеля и не устанавливаетъ никакихъ новыхъ принциповъ ученія о личности, а, напротивъ,

* П. Милюковъ: „Изъ исторіи русскої интеллигенціи“. Спб. 1902. Университетскій курсъ Грановскаго.

буквально повторяет Гегеля. Ставши на эту точку зрѣнія, мы не будемъ искать противорѣчій и въ другихъ взглядахъ Грановскаго, повидимому, несомнѣстимыхъ, напр., въ его понятіи о „законѣ“, который является у него и „нравственнымъ“ — въ смыслѣ „конечной цѣли человечества“, и научнымъ—въ смыслѣ „общихъ правилъ“ „для однообразно повторяющихся случаевъ“. Закономѣрность всемірно-историческаго процесса, въ смыслѣ Гегеля, совпадала со стремленіемъ человечества къ достиженію высшей нравственной цѣли: вотъ почему у Грановскаго, какъ и у Гегеля, „истинное“ и „нравственное“ сливаются вмѣстѣ“. Выборъ содержанія для историческаго изученія и изложенія цѣликомъ вытекалъ изъ этой связи идей—и Грановскій относительно выбора фактовъ самъ указывалъ, что „въ историческомъ разсказѣ первое мѣсто должны занимать „великіе люди, цвѣтъ народа, котораго духъ въ нихъ является въ наибольшей красотѣ; между событіями— великіе перевороты, которыми начинаются новые круги развитія *; между положеніями — тѣ, въ которыхъ развитіе достигаетъ полноты; наконецъ, между формами—великія общества, въ которыхъ народная жизнь просторнѣе движется и чище выражается: церковь и государство“. Сравнивая эту программу съ изложеннымъ нами курсомъ лекцій, мы не можемъ не придти къ заключенію, что исполненіе, насколько это, конечно, зависѣло отъ доброй воли Грановскаго, совершенно соотвѣтствовало программѣ“.

Далѣе г. Милюковъ соглашается, что одной системой нельзя вполне охарактеризовать научную и преподавательскую фізіономію Грановскаго. „Раньше, чѣмъ начала дѣйствовать на него западная философія и наука, личность Грановскаго уже совершенно сложилась; и самая западная наука могла подѣйствовать на него въ той мѣрѣ, въ какой это соотвѣтствовало общему настроенію Грановскаго. Темпераментъ и общій складъ убѣжденій—таковы тѣ черты, которыя дѣлали поклонника Гегеля живымъ человѣкомъ на кафедрѣ“. Совѣтъ Станкевича: „люби исторію, какъ поэзію и т. д.“, по мнѣнію г. Милюкова скорѣе можно принять за утвержденіе того, что было въ дѣйствительности и что навсегда осталось у Грановскаго. Поэтическое чувство подсказало ему форму изло-

* См. прим. 1 на стр. 98.

женія історіи, художественный розказъ. „Ему трудно было представить себѣ, чтобы „философія історіи“ могла быть чѣмъ нибудь отдѣльнымъ отъ изложенія всеобщей історіи въ фактической связи. Только въ такой связи Грановскій рассчитывалъ удержатъ въ изложеніи то „чувство жизни“, „чувство дѣйствительности“, безъ котораго для него не могло существовать пониманія історіи“.

„Въ теченіе своей профессорской дѣятельности Грановскій успѣлъ переработать массу новаго матеріала. Конечно, это должно было внести значительныя измѣненія и въ содержаніе его воззрѣній. Мы видѣли однако, что за десять лѣтъ до смерти первыя впечатлѣнія все еще остаются у него наиболѣе сильными: нѣмецкія изслѣдованія, на которыхъ онъ выучился понимать історію, продолжаютъ имѣть перевѣсъ надъ французскими и общая концепція остается гегеліанской. Правда, въ послѣдніе годы жизни основныя воззрѣнія Грановскаго какъ будто начали подаваться предъ новыми вѣяніями времени... Едва ли, конечно, Грановскій измѣнилъ бы кореннымъ образомъ свои воззрѣнія, если бы даже жизнь дала ему достаточный срокъ для этого“.

Какъ бы то ни было, намъ кажется, что мы имѣемъ право дать общую характеристику взглядовъ Грановскаго, сводя во едино тамъ и сямъ разбросанныя черты, черточки и намеки, помня, что все это было объединено въ его личности силою нравственныхъ убѣжденій, полнотою гармонической его натуры, и вліяло на слушателей и современниковъ, какъ нѣчто единое и цѣльное.

Стройная теорія Гегеля съ ея идеей діалектическаго развитія историческихъ явленій первоначально и дала Грановскому твердую основу для убѣжденія во всеобщей закономерности історіи. „Историки XVIII столѣтія, — говоритъ Грановскій, — любили объяснять великія событія мелкими причинами. Въ такихъ сближеніяхъ высказывалось не одно остроуміе писателей, но задушевная мысль вѣка, не вѣрившаго въ органическую жизнь человѣчества, подчинявшаго его судьбу своеправному вліянію личной воли и личныхъ страстей. Исходя изъ этого начала, не трудно было прийти къ убѣженію, что въ історіи, преданной господству случая, нѣтъ ничего несбы-

точного, что для цѣлыхъ народовъ возможны *salti mortali*— скачки изъ одного порядка вещей въ другой, отдѣленный отъ него длиннымъ рядомъ ступеней развитія. Наше время перестало вѣрить въ безмысленное владычество случая. Новая наука, философія исторіи, поставила на его мѣсто законъ, или лучше, необходимость. вмѣстѣ со случаемъ утратила большую часть своего значенія въ исторіи отдѣльная личность. Наука предоставила ей только честь или позоръ быть орудіемъ стоящихъ на очереди къ исполненію историческихъ идей. Разсматриваемыя съ этой точки зрѣнія, событія получили иной, болѣе строгій и величавый характеръ: они явились не результатомъ человѣческаго произвола, а неизбѣжнымъ роковымъ выводомъ прошедшаго, началомъ, напередъ опредѣляющимъ будущее“ . (II, 275). Въ этомъ опредѣленіи будущаго важную роль играютъ внѣшнія условія существованія народа, вліянія климатическія и географическія, вліянія расы, всѣ тѣ явленія, которыя изучаются естественными науками, географіей и антропологіей по преимуществу. Грановскій рѣшительно высказывается за необходимость для науки исторіи развиваться именно въ этомъ направленіи, идти по пути, намѣченному предположеніями Нибура, Амедея Тьерри, Риттера. Въ своей рѣчи „о современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи“ онъ приводитъ сочувственно рядъ цитатъ изъ Бэра о ходѣ всемірной исторіи, опредѣляемомъ физическими условіями странъ. Находимъ здѣсь (до появленія книги Бокля) такія слова: „Уступки, сдѣланныя историками новымъ требованіямъ, были большею частью внѣшнія. Дальнѣйшее упорство, впрочемъ, невозможно, и исторія, по необходимости, должна выступить изъ круга наукъ філолого-юридическихъ, въ которомъ она такъ долго была заключена, на обширное поприще естественныхъ наукъ“ (I, стр. 12). Переводъ статьи Эдвардса, „о фізіологическихъ признакахъ человѣческихъ породъ“, тщательно сдѣланный Грановскимъ, достаточно указываетъ, какое значеніе для исторіи онъ придавалъ антропологіи. Во введеніи въ учебникъ всеобщей исторіи читаемъ о значеніи землевѣдѣнія: „Первоначальная дѣятельность, и слѣдовательно, судьба cadaго народа опредѣляется совокупностью природныхъ условій его родины. Въ климатѣ, формахъ почвы и

произведеніяхъ данной страны долженъ историкъ искать ключа къ характеру народа, въ ней живущаго. Человѣкъ относится къ природѣ, какъ воспитанникъ къ воспитательницѣ“. (II, стр. 453).

Но тутъ же Грановскій оговаривается и продолжаетъ такъ: „но отношеніе это не остается однообразнымъ и видоизмѣняется съ успѣхами просвѣщенія. Развитіе духа превращаетъ ребенка въ мужа, сообщаетъ воспитаннику права господина надъ прежнею воспитательницею, но вліяніе послѣдней продолжаетъ существовать. Какъ ни сглаживаетъ европейская образованность частныя различія, подводя ихъ подъ одинъ общій уровень, она не въ силахъ стереть главныхъ природою поставленныхъ рубежей. Югъ и сѣверъ, горы и равнины, близость или отдаленность моря и вообще водныхъ сообщеній остаются, несмотря на всѣ усилія человѣка, опредѣляющими дѣятелями его исторіи. Итальянскій бытъ такъ же невозможенъ подъ небомъ Скандинавіи, какъ невозможенъ для населенія обширныхъ равнинъ Россіи образъ жизни англичанина, находящагося въ постоянномъ сношеніи съ моремъ. Чѣмъ менѣе образованъ народъ, тѣмъ въ большей зависимости онъ находится отъ внѣшнихъ вліяній, глубоко проникающихъ въ его духовную жизнь. Религіозныя вѣрованія языческихъ племенъ носятъ на себѣ ясный отпечатокъ природы, среди которой они возникли. То же самое можно сказать о памятникахъ искусства и т. д.“ (II, 453).

Вышесдѣланная оговорка указываетъ уже, что Грановскій отнюдь не считаетъ зависимость исторической жизни народа отъ природныхъ условій совершенно безусловною. Жизнь народа не представляется ему чѣмъ то фаталистически predeterminedъ, втиснутымъ въ неподвижныя рамки. Она даетъ широкій просторъ творческой дѣятельности человѣка, его индивидуальнымъ усиліямъ. Центръ тяжести вопроса о сущности историческаго процесса переносится такимъ образомъ на личность, индивидуальность.

Грановскій одинаково отрицательно относится и къ фаталистическому пониманію исторіи, и къ чисто логическому построенію законовъ ея философій. Онъ не любилъ „рѣзать по живому“, какъ самъ выражался, но не могъ до нѣкоторой степени не поддаться Гегелю. „Быть можетъ, ни одна

наука не подвергается въ такой степени вліянію господствующихъ философскихъ системъ, какъ исторія“, — говоритъ онъ (I, 19), и самъ служитъ тому примѣромъ. Философія Гегеля утвердила его въ мысли, что „великія событія, какъ бы они ни были далеки отъ насъ, продолжаютъ совершаться въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи, т. е. въ своихъ результатахъ, и никакъ не должны быть разсматриваемы, какъ нѣчто замкнутое и вполне оконченное“ (I, 20). „Но, признавая вполне тѣсную связь и даже нѣкоторую зависимость исторіи отъ философіи, мы должны отстаивать ее противъ произвольнаго построенія фактовъ, которые такъ часто позволяютъ себѣ философы“ (II, 460). Задача всеобщей исторіи — установить и открыть законы и способы этого развитія событій въ ихъ результатахъ, и это развитіе въ сущности та же самая причинная зависимость явленій, детерминизмъ, какъ говоримъ мы теперь, „законъ или, лучше сказать, необходимость“, — какъ выражается Грановскій.

Къ этому детерминизму или предполагаемому закону нельзя, однако, относиться, какъ къ фатализму, — нѣсколько разъ подчеркиваетъ Грановскій. „Смутно понятая философская мысль о господствующей въ ходѣ историческихъ событій необходимости или законности приняла подъ перомъ нѣкоторыхъ, впрочемъ, весьма даровитыхъ писателей характеръ фатализма. Во Франціи образовалась цѣлая школа съ этимъ направленіемъ, котораго вліяніе обозначено печальными слѣдами не только въ наукѣ, но и въ жизни (?). Школа историческаго фатализма снимаетъ съ человѣка нравственную отвѣтственность за его поступки, обращая его въ слѣпое, почти безсознательное орудіе роковыхъ предопредѣленій *. Властителемъ судебъ народныхъ явился снова античный *fatum*, отрѣщенный отъ своего трагическаго величія, низведенный на сте-

* Всегдашнее отвращеніе живой природы Грановскаго къ подобнымъ логическимъ построеніямъ и отвлеченнымъ представленіямъ выразилось въ слѣдующихъ его образныхъ словахъ: „Идеи не суть индійскія боже-ства, которыхъ возятъ въ торжественныхъ процессіяхъ и которыя даютъ поклонниковъ своихъ, суевѣрно бросающихся подъ ихъ колесницы“, — вотъ слова, по воспоминаніямъ С. М. Соловьева, раздавшіяся въ аудиторіяхъ московскаго университета съ появленіемъ въ нихъ Грановскаго. (Рѣчь въ память Грановскаго).

чень неизбежнаго политическаго развитія. Въ противоположность древнимъ трагикамъ, которые возлагали на чело своихъ обреченныхъ гибели героевъ вѣнецъ духовной побѣды надъ неотразимымъ въ мірѣ внѣшнихъ явленій рокомъ, историки, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, видятъ въ успѣхѣхъ конечное оправданіе, въ неудачѣ — приговоръ всякаго историческаго подвига“. Возставая во имя правъ и запросовъ нравственныхъ противъ такого увлеченія, Грановскій добавляетъ: „Смѣемъ сказать, что такое воззрѣніе на исторію послужитъ будущимъ поколѣніямъ горькою уликой противъ усталаго и утратившаго вѣру въ достоинство человѣческой природы общества, среди котораго оно возникло (I, 20—21).

Мы касаемся здѣсь существеннѣйшаго пункта воззрѣній Грановскаго не только чисто историческихъ, но и нравственно-философскихъ. И потому приходится не скупиться на цитаты. Итакъ, историческій процессъ, выясняемый всеобщю исторіей, есть детерминизмъ, нисколько не сковывающій личность. „У исторіи двѣ стороны: въ одной является намъ свободное творчество духа человѣческаго, въ другой — независимыя отъ него, данныя природою, условія его дѣятельности. Новый методъ долженъ возникнуть изъ внимательнаго изученія фактовъ міра духовнаго и природы въ ихъ взаимодействіи. Только такимъ образомъ можно достигнуть до прочныхъ основныхъ началъ, т. е. до яснаго знанія законовъ, опредѣляющихъ движеніе историческихъ событій“ (I, 22—23).

Но Грановскій не удержался на той точкѣ зрѣнія, какую мы имѣли бы право приписать ему, еслибы судили только по приведеннымъ нами цитатамъ. Сознаніе всеобщаго детерминизма, „закона, или лучше — необходимости“ явленій исторической жизни народовъ нисколько, конечно, не можетъ мѣшать дѣятелю. Являясь результатомъ цѣпи причинъ и слѣдствій, онъ и самъ въ свою очередь является источникомъ новыхъ слѣдствій. На такой точкѣ зрѣнія стоялъ и Герценъ; у Грановскаго же она незамѣтно сливается съ другою. „Законъ, или лучше — необходимость“ превращается въ нѣчто другое, именно въ цѣль историческаго движенія; „необходимость“ явленій, съ которою никто не споритъ, переходитъ по гегеліански въ „нравственный законъ“, постепенно осущест-

ствляемый человѣчествомъ. Идея историческаго непрерывнаго прогресса, историческій оптимизмъ сталъ у Грановскаго на мѣсто простаго, нисколько не громкаго детерминизма.

„Благоговѣнно созерцаетъ историкъ ряды стройно развивающихся по указанію божественнаго перста явленій, въ которыхъ случаю предоставлена роль слѣпонаго исполнителя. Польза исторіи является намъ уже не въ видѣ возможности прилагать къ измѣнившейся современности примѣры прошедшаго, а въ цѣльномъ и живомъ пониманіи прошедшаго. Такое пониманіе, основанное на долгой бесѣдѣ съ минувшими вѣками и народами, приводитъ насъ къ сознанію, что надъ всѣми открытыми наукою законами историческаго развитія царить одинъ верховный, т. е. нравственный законъ, въ осуществленіи котораго состоитъ конечная цѣль человѣчества на землѣ. Высшая польза исторіи заключается слѣдовательно въ томъ, что сообщаетъ намъ разумное убѣжденіе въ неминуемомъ торжествѣ добра надъ зломъ. Поддерживаемый этимъ убѣжденіемъ человѣкъ пріобрѣтаетъ новыя силы для борьбы съ искушеніями жизни, для исполненія назначеннаго ему Провидѣніемъ скромнаго долга или великаго призванія. Теплымъ участіемъ въ прошедшихъ и будущихъ судьбахъ человѣчества мы расширяемъ объемъ нашего личнаго существованія и дѣлаемся нѣкоторымъ образомъ причастными всѣмъ уже совершеннымъ или еще имѣющимъ совершиться подвигамъ добра и просвѣщенія“ (II, 461). Здѣсь ясна тѣсная связь между историческимъ оптимизмомъ Грановскаго и его нравственно-философскими воззрѣніями, которыми, очевидно, и былъ укрѣпленъ этотъ оптимизмъ, навѣянный французскими историками, поддерживаемый вліяніемъ Станкевича. Въ менѣе обнаженной формѣ тотъ же оптимизмъ высказанъ въ статьѣ о книгѣ Шмидта, но здѣсь слова Грановскаго носятъ явно нетерпѣливый полемическій характеръ. „Прогрессивное движеніе человѣчества перестало быть вопросомъ для большинства мыслящихъ людей нашего вѣка, но излучистый ходъ этого движенія, его внѣшняя неправильность вызываетъ со стороны его упрямыхъ отрицателей нѣкоторыя возраженія, не лишеныя правдоподобія. Ихъ теорія опирается преимущественно на двойственномъ характерѣ прогресса, который,

если его разсматривать только съ одной стороны, всегда является порчею чего нибудь существующаго, извѣстнаго, въ пользу еще не существующаго, не вызваннаго къ жизни. Такое постепенное искаженіе формы, осужденной на смерть, можетъ продолжаться долго и быть тѣмъ оскорбительнѣе, чѣмъ прекраснѣе она была въ пору своей зрѣлости, чѣмъ неопредѣленнѣе выступаютъ наружу очертанія новой, не сложившейся формы. Но ссылка на это явленіе, много разъ повторившееся въ судьбѣ цѣлаго человѣчества и каждаго отдѣльнаго историческаго народа, обнаруживаетъ въ защитникахъ теоріи попятнаго движенія односторонность взгляда или, что часто бываетъ, недобросовѣстную, добровольную слѣпоту“ (II, 254).

Нельзя не признать, что вѣра въ „божественную связь, охватывающую всю жизнь человѣчества“ (I, 338), иногда заставляла Грановскаго прикрывать, конечно, бѣзсознательно поэтическими образами то, что не поддавалось объясненію съ точки зрѣнія оптимизма. Въ этомъ пунктѣ можетъ быть сильнѣе всего сказалось вліяніе Станкевича: напомнимъ читателю приведенное нами письмо его объ изученіи исторіи, душа которой— поэзія и философія. При этомъ Грановскій самъ невольно поддавался извѣстной произвольности въ построеніи, противъ чего обыкновенно такъ возставалъ. Укажемъ, напр., на характеристику Тимура; о роли его въ гипотетическомъ движеніи добра къ торжеству надъ зломъ Грановскій можетъ сказать только: „Проходятъ вѣка, а онъ остается кровавою и скорбною загадкой, и мы не знаемъ, зачѣмъ приходилъ онъ, зачѣмъ возмутилъ народы“ (I, 338). Въ этомъ отношеніи, по собственному признанію историка, исторія Востока представляетъ особья трудности. Грановскій былъ настолько добросовѣстенъ, что не подгонялъ ее подъ свою теорію; но не могъ не обратиться къ поэзіи и допустилъ, что исторія Востока „подчинена другимъ законамъ“. „Тамъ народы коснѣютъ въ продолженіе вѣковъ въ непробудномъ снѣ. Имъ видятся странныя грезы, которыя они переносятъ не только въ свою поэзію, но и въ свою исторію“ (I, 339). Это смѣло и красиво, но дѣла все таки не объясняетъ.

Здѣсь умѣстно сказать, что Герценъ очень рано подмѣтилъ

этотъ совершенно ненаучный пріемъ Грановскаго. По поводу одной изъ лекцій перваго публичнаго курса Грановскаго, Герценъ записалъ: „Есть нѣкоторыя неясности, отъ которыхъ люди отдѣляются словами, которымъ придаютъ какое то странное по содержанію значеніе, или себя увѣряютъ, что вопросъ уясненъ, а онъ только переведенъ на другой языкъ. Читая Гегеля и находясь все еще подъ его самодержавною властью, я самъ во многихъ случаяхъ разрѣшалъ логическими штуками или логической поэзіей не такъ-то легко разрѣшимое. Съ такими вещами я встрѣтился и у Грановскаго; онъ, не имѣя твердости сдѣлаться свирѣпымъ имманентомъ (какъ выражается Хомяковъ) и удерживая своего рода идеализмъ, необходимо наталкивается на антиномію, которую приходится разрѣшать поэзіей, антропоморфизмомъ всеобщаго и т. д.“*.

Какъ въ нравственно-философской, такъ и въ исторической части своего міросозерцанія Грановскій, такимъ образомъ, твердо держался гегелевскаго „*Wer die Welt vernünftig ansieht, den sieht sie auch vernünftig an*“ и не могъ согласиться съ Герценомъ, что ни природа, ни исторія никуда не идутъ, а готовы идти всюду, куда имъ укажутъ, если ничто не мѣшаетъ. Существенная разница между воззрѣніями друзей на исторію была та, что Герценъ совершенно не допускалъ безсознательности прогресса, которую отчасти допускалъ Грановскій. Авторъ „писемъ объ изученіи природы“ признавалъ прогрессъ лишь какъ сознательный результатъ дѣятельности ряда людей и поколѣній, направленной на осуществленіе чисто человѣческихъ представленій о добрѣ и злѣ, и выставлялъ на первый планъ человѣческую личность, управляющую ходомъ событій сообразно своимъ собственнымъ человѣческимъ цѣлямъ. Грановскій подчинялъ эту личность божественному закону, который она невольно осуществляетъ**. Тѣмъ не менѣе общія представленія Герцена о добрѣ и злѣ и представленія Грановскаго, для которыхъ онъ подыскивалъ внѣ природы находящееся основаніе,

* „Дневникъ“, 28 ноября 1843 г.

** Г. Скабичевскій, въ статьѣ: „Три человѣка 40-хъ годовъ“ (Соч. Скаб., т. I) обстоятельно разбирающій непоследовательность и противорѣчія во взглядахъ Грановскаго, справедливо отмѣчаетъ, что „только среди общества политически зрѣлаго талантъ и убѣжденія Грановскаго могли бы вполне выработаться и окрѣпнуть“. (Стр. 523—524).

въ существѣ своемъ совершенно сходились; такимъ образомъ оба центръ тяжести своихъ воззрѣній переносили на личность, совершенно такъ же, какъ Бѣлинскій и весь кругъ западниковъ.

Въ предыдущей главѣ мы показали преобладающее значеніе индивидуализма въ воззрѣніяхъ западниковъ и историческое значеніе этого индивидуализма, какъ реакціи противъ крайне развитой регламентаціи всѣхъ сторонъ русской жизни, такъ что закрыта была почти всякая возможность общественно полезной личной инициативы. Грановскій не менѣе другихъ западниковъ способствовалъ уясненію въ общественномъ сознаніи творческой роли личности въ общественной и исторической жизни. Поэтому еще немного остановимся на взглядахъ Грановскаго на этотъ вопросъ.

Мы уже упоминали, что онъ отрицательно относится къ историческому фатализму, обнаженному сухому детерминизму, отодвигающему личность на задній планъ. „Мы не станемъ отрицать достоинствъ новаго воззрѣнія, конечно болѣе разумнаго, чѣмъ предшествовавшее ему,—говоритъ онъ (немедленно послѣ цитированныхъ на стр. 101—102 словъ),—но не можемъ не замѣтить, что оно также сухо и односторонне. Жизнь человѣчества подчинена тѣмъ же законамъ, какимъ подчинена жизнь всей природы, но законъ не одинаково осуществляется въ этихъ двухъ сферахъ. Явленія природы совершаются гораздо однообразнѣе и правильнѣе, чѣмъ явленія исторіи. Растеніе цвѣтеть и даетъ плодъ въ данную, намъ заранѣе извѣстную пору, животное не можетъ ни растянуть, ни сократить возрастовъ своей жизни. Такого правильнаго опредѣленнаго развитія нѣтъ въ исторіи. Ей данъ законъ, котораго исполненіе неизбежно, но срокъ исполненія не сказанъ—десять лѣтъ или десять вѣковъ, все равно. Законъ стоитъ, какъ цѣль, къ которой неудержимо идетъ человѣчество; но ему нѣтъ дѣла до того, какою дорогою оно идетъ и много ли потратитъ времени на пути. Здѣсь то вступаетъ во всѣ права свои отдѣльная личность. Здѣсь лицо выступаетъ не какъ орудіе, а самостоятельно поборникомъ или противникомъ историческаго закона и принимаетъ на себя по праву отвѣтственность за цѣлые ряды имъ вызванныхъ или задержанныхъ событій. Вотъ почему его характеръ, страсти, внутреннее развитіе становятся для мыслящаго историка важнымъ

и глубоко занимательнымъ предметомъ изученія. Къ сожалѣнію, историки нашего времени слишкомъ мало обращаютъ вниманія на психологическій элементъ въ своей наукѣ“. (II, 276—277).

Употребляя старинное сравненіе, можно сказать, что Грановскій предоставлялъ личности свободу быть акушеромъ наступающаго времени, сокращать муки родовъ. „Народъ есть нѣчто собирательное, — говоритъ онъ.—Его собирательная мысль, его собирательная воля должны, для обнаруженія себя, претвориться въ мысль и волю одного, одареннаго особенно чуткимъ нравственнымъ слухомъ, особенно зоркимъ умственнымъ взглядомъ лица. Такія лица облачаютъ въ живое слово то, что до нихъ таилось въ народной думѣ, и обращаютъ въ видимый подвигъ неясныя стремленія и желанія своихъ соотечественниковъ или современниковъ“ (I, 338).

Всякій историческій дѣятель при этомъ приходитъ въ соприкосновеніе съ окружающими его народными массами, подобно тому, какъ все человѣчество живетъ въ постоянномъ столкновеніи и борьбѣ съ природою, часть которой оно составляетъ. „Старая распря человѣка съ природою почти кончена: природа уступаетъ ему свои тайны и свои силы. Понятна вся важность этой побѣды. Ея слѣдствія должны обнаружиться не въ одномъ обогащеніи науки или внѣшнемъ благосостояніи народовъ, а въ болѣе ясномъ взглядѣ на самую жизнь. Но нравственныя потребности человѣка еще не удовлетворены такимъ торжествомъ. Природа—противникъ ему не равносильный: ея сопротивленіе страдательное. Она есть только подножіе исторіи, въ сферѣ которой совершается главный подвигъ человѣка, гдѣ онъ самъ является зодчимъ и матеріаломъ. Въ пѣсняхъ скандинавской Эдды сохранился глубокій миѳъ о Торѣ и Бальдерѣ. Торъ—олицетвореніе природы, самый сильный изъ боговъ, но онъ безсмысленно добродушенъ и безсмысленно жестокъ; его сила служить другимъ, а не ему. Иное значеніе дано Бальдеру, представителю нравственной, т. е. исторической жизни. Онъ носитъ названіе бога крови и слезъ; но онъ разуменъ и прекрасенъ: около него вращается судьба скандинавскихъ боговъ. Его гибель влечетъ за собою ихъ паденіе. Такъ опредѣлилъ поэтический смыслъ древнихъ поколѣній

вопросъ, занимающій мыслителей XIX вѣка“ (II, 210—211).

Нѣсколько далѣе въ той же статьѣ Грановскій прямо уподобляетъ народныя массы Тору. „Многочисленная партія,— писалъ Грановскій, намекая на славянофиловъ,—подняла въ наше время знамя народныхъ преданій и величаетъ ихъ выраженіемъ общаго непогрѣшимаго разума. Такое уваженіе къ массѣ неубыточно. Массы, какъ природа или какъ скандинавскій Торъ, бессмысленно жестоки или бессмысленно добродушны. Онѣ коснѣютъ подъ тяжестью историческихъ и естественныхъ опредѣленій, отъ которыхъ освобождается мыслию только отдѣльная личность. Въ этомъ разложеніи массъ мыслию заключается процессъ исторіи. Ея задача—нравственная, просвѣщенная, независимая отъ роковыхъ опредѣленій личность и сообразное требованіямъ такой личности общество“ * (II, 220). Непрерывенъ этотъ процессъ работы надъ массами мысли, т. е. философіи, науки, искусства. „Отрицая настоящее, философія оправдываетъ наступающее время, хотя она не сознаетъ его, и рано или поздно разлагаетъ его такъ же, какъ разложила его предшественниковъ“ (II, 253).

Вопросъ о роли личности въ исторіи—тотъ же все еще не сданный въ архивъ вопросъ о великихъ людяхъ, о генияхъ, въ широкихъ размѣрахъ исполняющихъ то, что средніе люди могутъ дѣлать лишь въ болѣе или менѣе узкомъ кругу себѣ подобныхъ. „Какое призваніе въ исторіи людей, означенныхъ именемъ великихъ?—спрашивалъ Грановскій въ началѣ послѣдняго своего курса публичныхъ лекцій („Четыре историческія характеристики“).—Вопросъ этотъ не лишень нѣкоторой современности. Еще недавно поднимались голоса, отрицавшіе необходимость великихъ людей въ исторіи, утверждавшіе, что роль ихъ кончена, что народы сами безъ ихъ посредства могутъ исполнить свое историческое назначеніе. Все равно сказать бы, что одна изъ силъ, дѣйствующихъ въ природѣ, утратила свое значеніе, что одинъ изъ органовъ человѣческаго тѣла теперь сталъ ненуженъ. Такое воззрѣніе на исторію возможно только при самомъ легкомъ и поверх-

* Курсивъ нашъ.

ностномъ на нее взглядъ“ (I, 337). Если задача исторіи для Грановскаго, какъ мы только что видѣли, — „нравственная, просвѣщенная личность“ и „сообразное требованіямъ такой личности общество“, то становится понятенъ и выборъ большинства темъ его мастерскихъ характеристикъ, дошедшихъ до насъ, становится понятно, почему онъ съ особенною любовью останавливается на нѣкоторыхъ крупныхъ историческихъ дѣятеляхъ.

Самый судъ надъ событіями и дѣятелями ставится Грановскимъ въ зависимость отъ нравственного суда надъ матеріальными и социальными условіями и привычками, которыя господствуютъ въ обществѣ и поддерживаются тѣми, кто могъ бы мощно вліять на нихъ. „Не числомъ погибшихъ опредѣляется значеніе дѣла, положившаго темную печать на цѣлый отдѣлъ жизни и на самый характеръ французскаго народа, — говоритъ онъ о Варѣоломеевской ночи. — Говорятъ, что народный организмъ подвергается болѣзнямъ, требующимъ иногда страшныхъ кровавыхъ лѣкарствъ. Есть школа, которая возвела это мнѣніе въ историческую аксіому. Основываясь на опытахъ исторіи, мы думаемъ иначе. Такія лѣкарства, какъ Варѣоломеевская ночь, изгоняя одинъ недугъ, зарождаютъ нѣсколько другихъ, болѣе опасныхъ. Они вызываютъ вопросъ: заслуживаетъ ли спасенія организмъ, нуждающійся въ такихъ средствахъ для дальнѣйшаго существованія? Государство теряетъ свой нравственный характеръ, употребляя подобныя средства, и позоритъ самую цѣль, къ достиженію которой стремится. Въ 1572 году французское правительство показало народу примѣръ самоуправства и убило надолго въ немъ чувство права. Политическое преступленіе 24-го августа оправдало множество частныхъ, потому что частная нравственность всегда въ зависимости отъ общественной“ (II, 383). „Исторія испанской инквизиціи можетъ служить доказательствомъ того страшнаго вліянія, какое дурныя государственныя учрежденія имѣютъ на судьбу и характеръ цѣлыхъ народовъ“ (II, 384). Точно также причину упадка, вырожденія и гибели жителей Океаніи Грановскій видитъ „въ самомъ общественномъ порядкѣ Океаніи“ (II, 407). Соответственно этому признанію такой тѣсной зависимости

частной личности отъ общества, Грановскій особую важность придаетъ въ исторіи дѣятельности тѣхъ лицъ, кто такъ или иначе мощно воздѣйствовалъ на общественныя условія, на общественную нравственность. На послѣднія должно быть направлено все вниманіе общественнаго дѣятеля, какъ бы ни былъ узокъ кругъ его. „Просвѣщенная личность“ и общество „сообразное требованіямъ ея“ стоятъ одинаково на первомъ планѣ міровоззрѣній Грановскаго: это тѣ плодотворныя идеи, которыя онъ могъ имѣть въ виду, когда говорилъ объ отрицательномъ значеніи жизни Тимура и Чингис-хана. „Все, что въ состояніи сдѣлать одна сила, было сдѣлано Чингисомъ и Тимуромъ. Поэтому подвигъ ихъ былъ болѣе разрушительный, нежели творческій. Вышняя сила принадлежитъ къ числу великихъ дѣятелей всеобщей исторіи, но дѣятельность ея ограничивается исполненіемъ. Тамъ, гдѣ она не соединена съ плодотворными идеями, ея произведенія непрочно и бесполезны“ (I, 348). Тимуръ и Карлы IX съ одной стороны, Александры, Альфреды и Карлы Великіе съ другой—существенно разнятся другъ отъ друга не матеріальною силой, но тѣмъ, на что направляютъ ее, на разрушеніе ли, или на созданіе плодотворныхъ для общественнаго развитія и просвѣщенія условій. На тѣхъ дѣятеляхъ, кто этою вышнею силой не обладаетъ, на дѣятеляхъ науки, искусства и т. п. лежитъ долгъ выясненія этихъ условій и просвѣщенія личности.

Замѣтимъ мимоходомъ, что указанная нами черта воззрѣній Грановскаго, т. е. пониманіе тѣсной зависимости личной нравственности отъ нравственности общественной, въ сороковые годы имѣла особо важное значеніе. Когда Грановскому случалось подчеркивать эту зависимость, въ умѣ его слушателей невольно возникала мысль о крѣпостномъ правѣ, или лучше—безправіи, общественномъ учрежденіи, заграждавшемъ путь къ сколько нибудь замѣтному прогрессу въ нравахъ и понятіяхъ общества. Понятно, какъ встрѣчали лучшіе изъ современниковъ и учениковъ Грановскаго его указанія въ этомъ смыслѣ во время, наприм., появленія „Переписки съ друзьями“, молчаливо признававшей крѣпостное право неизблемымъ устоемъ русской жизни. *Delenda est Carthago*—

невольно напоминалъ учитель жадно слушавшимъ его ученикамъ. Напомнимъ еще, что исключительно моральная точка зрѣнія на личность и общество была въ то время вообще довольно сильна. Станкевичъ и Бѣлинскій (въ первый фазисъ своего развитія) стояли именно на ней. Рудинъ, какъ онъ изображенъ у Тургенева, также является выше своей среды, какъ человѣкъ, умомъ понявшій необходимость нравственнаго совершенствованія индивидуальнаго, и любопытно, что его рѣчи буквально почти совпадаютъ со словами Огарева, которыхъ находимъ въ недавно опубликованной „перепискѣ недавнихъ дѣятелей“. „Себялюбіе—самоубійство, говоритъ Рудинъ:—себялюбивый человѣкъ засыхаетъ словно одинокое бесплодное дерево; но самолюбіе, какъ дѣятельное стремленіе къ совершенству, есть источникъ всего великаго... Да! человѣку надо надломить упорный эгоизмъ своей личности, чтобы дать право ей себя высказывать!“—„Надо свергнуть съ себя иго собственной дрянности,—пишетъ въ 1843 г. Огаревъ.—Отъ личности не отдѣлаешься. Но чтобы нельзя было отдѣлаться отъ дрянного, von dem Uebel,—никакъ не могу вѣрить! Неужели личность только потому и личность, что человѣкъ имѣетъ такіе то пороки, недостатки и т. д.? Дрянное точно такъ же обще всѣмъ людямъ, какъ и хорошее. Лицо равно можетъ проявить на свой особый ладъ и дрянное и хорошее. Неужели нѣтъ въ человѣкѣ довольно силы духа, чтобы отвязаться отъ перваго? Быть не можетъ. Задатокъ этой силы данъ каждому. Только стоитъ хотѣть употребить въ дѣло эту силу“.—Славянофильство со своей проповѣдью любви, уже будто бы осуществленной въ народной жизни, тоже было близко къ этой исключительно моральной точкѣ зрѣнія. Поэтому важно было указывать на зависимость личной нравственности отъ общественныхъ отношеній.

Если отдѣльная единичная личность сама факторъ прогресса, то такимъ факторомъ, конечно, можетъ быть и историкъ. Замѣчательно, что Грановскій, говоря о задачахъ и методѣ своей науки, почти вездѣ говоритъ не столько о ней, сколько объ историкѣ. Задача послѣдняго въ концѣ концовъ та же, что задача и цѣль историческаго процесса: личность

и сообразное ея требованіямъ общество; осуществленіемъ нравственнаго закона со стороны историка будетъ исповѣданіе, защита и развитіе общественно-плодотворныхъ идей, и тогда историкъ, на ряду съ другими, становится дѣятелемъ, разлагающимъ массы мыслью, своимъ устнымъ и печатнымъ словомъ. Въ сущности Грановскій невольно рисовалъ свой идеаль историка съ самого себя, и потому то характеристика историческихъ его воззрѣній обращается въ значительной мѣрѣ въ его личную характеристику.

Чтобы создать что либо прочное, служа своему призванію, нужна прежде всего вѣра въ это призваніе, необходимо глубокое нравственное убѣжденіе, что призваніе это дѣйствительно нужно и полезно людямъ. Ученому нужна вѣра въ науку, и Грановскому, конечно, не занимать было стать такой вѣры въ значеніе исторіи, въ то, что она способна дать своимъ adeptамъ надежную руководящую нить для жизни. Онъ, по прекрасному выраженію Герцена, „думалъ исторіей, учился исторіей, и исторіей въ послѣдствіи дѣлалъ пропаганду“. И ту же вѣру онъ умѣлъ передавать и ученикамъ своимъ, наприм., Кудрявцеву, въ послѣдствіи раздѣлявшему съ нимъ и вліяніе на молодежь, и привязанность ея.

Первый элементъ такой вѣры въ исторію — твердая увѣренность въ просвѣтляющемъ дѣйстви ея на сознаніе. Разбивая традиціонныя представленія, господствующія въ инертныхъ массахъ, чуждыхъ живымъ умственнымъ интересамъ, безпристрастная исторія очищаетъ почву для насажденія болѣе плодотворныхъ воззрѣній на жизнь и общественныя отношенія. Грановскому пришлось не мало настаивать на этой сторонѣ изученія исторіи. Какъ въ молодости, онъ говорилъ: „мы можемъ, мы должны сомнѣваться — это одно изъ прекрасныхъ правъ человѣка“, такъ въ послѣдствіи, въ борьбѣ со славянофильствомъ и официальной народностью, ему приходилось подвергать сомнѣнію, разбирать тѣ или другія историческія воззрѣнія, основанныя на недоразумѣніяхъ, либо на пріятныхъ и лестныхъ патріотическому самолюбію традиціяхъ. Это не разъ ставило его даже во враждебныя отношенія къ защитникамъ подобныхъ взглядовъ, какъ ни остороженъ и мягокъ онъ былъ въ полемическихъ столкновеніяхъ.

Въ этомъ отношеніи интересна магистерская диссертация Грановскаго. Нужны нѣкоторыя усилія, чтобы понять, почему она могла вызвать столько толковъ, ожесточенныхъ нападковъ и восторженныхъ похвалъ, какъ увидимъ это далѣе. Содержаніе ея—спеціальнѣйшая изъ спеціальныхъ темъ. Грановскій остановился на сказаніи о славянскомъ городѣ Винетѣ, „сѣверной Венеціи“, будто бы поглощенной моремъ. Разбирая свѣдѣнія объ этомъ городѣ, Грановскій приходитъ къ заключенію, что никогда такого города не существовало, а просто ученые, смѣшавъ норманское поселеніе Іомсбургъ со славянскимъ городомъ Волиномъ и пользуясь народными преданіями, отдались полету своей смѣлой фантазіи и сочинили красивый мифъ. Казалось бы, какое дѣло русскому обществу до мелкой подробности исторіи XI вѣка, — подробности, на ходъ всемірной исторіи никакого вліянія не имѣвшей? Но сказаніе о славномъ славянскомъ городѣ казалось инымъ очень лестнымъ.

Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже
Насъ возвышающій обманъ,

твердила на разные лады часть русской науки и литературы. Вновь еще были голоса, говорившіе, что „возвышающіе обманы“ вродѣ „все благополучно“—обманами такъ и остаются. Грановскій въ своей диссертации давалъ примѣръ уничтоженія „возвышающаго обмана“. Какъ ни мелочень былъ послѣдній, но подобное обращеніе съ нимъ представлялось едва ли не опаснымъ прецедентомъ, и въ такомъ соображеніи пугливыхъ защитниковъ официальной народности вѣроятно и слѣдуетъ искать главной причины переполоха. На это намекаетъ замѣчаніе въ концѣ диссертации: „Найдутся и кромѣ Дамеровскихъ рыбаковъ люди, которые еще не отступятся отъ Винеты, которымъ предъ лицомъ сухой критикою добытой истины станетъ жаль изящнаго вымысла; но противъ ихъ возраженій наукъ говорить нечего“ (I, 224).

Цѣлый рядъ указаній на исторію, какъ на разрушительницу фантастическихъ представленій о жизни того или другого народа, разсѣянъ въ статьяхъ Грановскаго. Онъ готовъ идти за исторіей въ этомъ направленіи, къ чему бы она ни приводила. Говоря о важности для науки исторіи антропо-

логическихъ изслѣдованій, онъ заявляетъ: „Каковъ бы ни былъ окончательный выводъ этихъ изслѣдованій, имѣющихъ быть можетъ обнаружить историческое безсиліе цѣлыхъ породъ, не призванныхъ къ благороднѣйшимъ формамъ гражданской жизни, онъ принесетъ несомнѣнную пользу наукъ“ (I, 12). Быть можетъ, здѣсь слышенъ отголосокъ пессимистическаго взгляда Чаадаева на весь русскій народъ...

Какъ въ магистерской диссертациі Грановскій разбиралъ „изящный вымыселъ“ ученыхъ, такъ въ статьѣ о Сидѣ онъ пытается возстановить истинный образъ кастильскаго рыцаря, далеко не такой симпатичный и поэтический, какимъ знаетъ его народная поэзія и мнимая наука, склонная поддаваться все тому же „возвышающему обману“. Эти вылазки Грановскаго противъ мнимой науки, принимающей на вѣру не достаточно обслѣдованные факты, создающей легенды ради тѣхъ или иныхъ симпатій, а то и просто изъ служительскихъ соображеній,—не могутъ быть оставлены безъ вниманія. Въ тезисы магистерской диссертациі у него внесены, между прочимъ, такой: „6. Такъ называемыя преданія не всегда образуются въ народѣ, но часто переходятъ къ нему изъ книгъ“ (I, 426). Въ рецензій на книгу Мишеля о „проклятыхъ породахъ“ онъ указываетъ, что преданіе о происхожденіи каготовъ отъ Гіезія, прокаженнаго раба Елисеева, могло перейти въ народъ только отъ ученыхъ враговъ каготовъ, и это и даетъ ему поводъ обрушиться на многочисленную партію, которая „подняла въ наше время знамя народныхъ преданій и величаетъ ихъ выраженіемъ общаго непогрѣшимаго разума... Не прибѣгая къ мистическимъ толкованіямъ, пущеннымъ въ ходъ нѣмецкими романтиками и принятымъ на слово многими у насъ въ Россіи, мы знаемъ, какъ образуются народныя преданія, и понимаемъ ихъ значеніе“ (II, 220). Подобнымъ же образомъ онъ указываетъ въ статьѣ о книгѣ Грота на то, что „люди, недовольные настоящимъ, часто обращаются къ прошедшему и передаютъ его сообразно со своими надеждами и требованіями. Въ прошедшемъ ищутъ они формы для будущаго. Такого рода антикварныя построенія общественныхъ отношеній едва ли когда имѣли успѣхъ, но они не мало содѣйствовали порчѣ исторіи, какъ науки“ (II, 113).

Чистота, достоинство и неподкупность ея были дороги Грановскому, и для характеристики его вѣры въ нее лучше всего привести его слова, дышація всею силою страстнаго убѣжденія: „развѣ то, что намъ непонятно сегодня, должно остаться непонятнымъ и завтрашнему дню? Развѣ каждое новое событіе не проливаетъ свѣта на событія, повидимому давно уже совершившіяся и замкнутыя? Смысль отдѣльныхъ явленій иногда раскрывается только по прошествіи вѣковъ и даже тысячелѣтій. Наука въ такихъ случаяхъ не въ состояніи опередить самой жизни и должна терпѣливо ждать новыхъ фактовъ, безъ которыхъ былъ бы не полонъ кругъ извѣстнаго развитія. Историческое значеніе Сократа оцѣнено должнымъ образомъ только въ XIX столѣтіи, на разстояніи двадцати двухъ вѣковъ отъ приговора, произнесеннаго надъ нимъ аѣинскимъ народомъ“ (I, 338).

Вся характеристика Бэкона написана Грановскимъ съ цѣлю показать значеніе „науки, отрѣшенной отъ всякаго другого интереса“. Очевидно, что при взглядѣ на науку съ такой стороны элементомъ, увлекающимъ слушателя и читателя, является увлеченіе самого лектора или писателя, безкорыстное и благородное, своимъ предметомъ, какъ средствомъ удовлетворенія безкорыстной умственной потребности знать и понимать окружающее человѣка. Такого увлеченія всегда было много въ Грановскомъ. Но, само собою разумѣется, что не только эта сторона дѣйствовала на слушателей Грановскаго: въ его лекціяхъ и статьяхъ умѣнье шевелить и возбуждать игру ума, если можно такъ выразиться, было гармонически слито съ рѣдкою способностью затрогивать сердечныя струны: живое чувство одухотворяло холодную работу ума, предварительное изученіе предмета, въ глаза не бросавшееся, но тщательное и глубокое. Чуткое, отзывчивое сердце всегда необходимо для того, чтобы дѣятель слова могъ вліять на учениковъ своихъ въ томъ или другомъ направленіи, потому что вліяніе одного человѣка на другого вообще прочно лишь въ томъ случаѣ, если оно обнимаетъ и умъ, и чувство. Таково было вліяніе Грановскаго.

Естественно, что голая повѣствовательная манера изложенія исторіи, передача однихъ фактовъ представлялась ему

совершенно неумѣстной (I, 21). Отъ собственной личности невозможно отдѣлаться; предвзятые взгляды — не сознанные только — непременно скажутся въ выборѣ и группировкѣ матеріала и безпристрастіе историка, интересующагося одними фактами, окажется совершенно мнимымъ. Для историка гораздо рациональнѣе признать свою личность, сознавать, что онъ подходит къ исторіи, какъ человѣкъ, имѣющій тѣ или иные умственные и нравственные запросы. Чѣмъ выше послѣдніе, тѣмъ выше будетъ и вліяніе, какое можетъ имѣть его изученіе на тѣхъ, кому онъ будетъ излагать результаты этого изученія. — Для грековъ и римлянъ исторія была болѣе искусствомъ, чѣмъ наукою. „Такое воззрѣніе естественнымъ образомъ вытекало изъ цѣлаго порядка вещей и основныхъ началъ античной образованности. Задача греческаго историка заключалась преимущественно въ возбужденіи въ читателяхъ нравственнаго чувства или эстетическаго наслажденія. Съ этой цѣлью соединялась нерѣдко другая, болѣе положительная. Политическіе опыты прошедшихъ поколѣній должны были служить примѣромъ и урокомъ для будущихъ. „Я буду удовлетворенъ, — говоритъ Фукидидъ, — если трудъ мой окажется полезнымъ тому, кто ищетъ достовѣрныхъ свѣдѣній о прошедшемъ, а равно и о томъ, что по ходу дѣлъ человѣческихъ можетъ повториться снова“. Это практическое направленіе выразилось еще съ большею силою въ произведеніяхъ римскихъ историковъ; но въ лучшія времена римской литературы оно всегда соединялось съ нравственно-эстетическими цѣлями. Тѣсная связь исторіи съ жизнію, черпавшей изъ нея многостороннее назиданіе, сообщала нашей наукѣ важность, которой она, при всѣхъ сдѣланныхъ ею съ тѣхъ поръ успѣхахъ, не имѣетъ въ настоящее время. Назвавъ ее наставницею жизни, Цицеронъ выразилъ господствовавшее у древнихъ воззрѣніе“ (I, 5). Для современнаго историка немислимо такое черезчуръ прямолинейное отношеніе къ дѣлу. Но все-таки, — говоритъ Грановскій, — „современный намъ историкъ не можетъ отказаться отъ законной потребности нравственнаго вліянія на своихъ слушателей“ (I, 23). Это нравственное вліяніе не такъ уловимо, менѣе можетъ быть втиснуто въ опредѣленные рамки, но оно не можетъ не существовать.

„Теплымъ участіемъ въ прошедшихъ и будущихъ судьбахъ человѣчества мы расширяемъ объемъ нашего личнаго существованія и дѣлаемся нѣкоторымъ образомъ причастными всѣмъ уже совершеннымъ или еще имѣющимъ совершиться подвигамъ добра и просвѣщенія“ (II, 461). Долгъ историка умѣть передавать слушателямъ это участіе. Въ рѣчи о преподаваніи всеобщей исторіи Грановскій цитируетъ съ особеннымъ сочувствіемъ слова американца Эмерсона, имѣющія тотъ же смыслъ. „Исторія не долго будетъ безплодною книгой. Она воплотится въ каждомъ разумномъ и правдивомъ человѣкѣ... Надобно, чтобъ исторія слилась съ біографіей самого читателя, превратилась въ его личное воспоминаніе“ (I, 25). Такимъ личнымъ воспоминаніемъ она, конечно, можетъ стать только въ томъ случаѣ, если самъ историкъ можетъ и умѣетъ всею душой переноситься въ изучаемый періодъ, отыскивать въ немъ то общечеловѣческое, что обще всѣмъ историческимъ періодамъ, тѣ же человѣческіе интересы и стремленія. Историкъ прежде всего человѣкъ и ничто человѣческое не должно быть ему чуждо. „Тотъ не историкъ, кто не способенъ перенести въ прошедшее живого чувства любви къ ближнему и узнать брата въ отдѣленномъ отъ него вѣками иноплеменникѣ. Тотъ не историкъ, кто не сѣумѣлъ прочесть въ изучаемыхъ имъ лѣтописяхъ и грамотахъ начертанныя въ нихъ яркими буквами истины: въ самыхъ позорныхъ періодахъ жизни человѣчества есть искупительныя, видимыя намъ на разстояніи столѣтій стороны, и на днѣ самаго грѣшнаго предъ судомъ современниковъ сердца таится какое нибудь одно лучшее и чистое чувство“ (I, 26). Грановскій называетъ позорнымъ и недостойнымъ историка „то безпристрастіе, въ которомъ видно только отсутствіе участія къ предмету разсказа“ (I, 27).

Историкъ, ставящій одною изъ цѣлей своихъ нравственное вліяніе на современниковъ, легко можетъ впасть въ крайность, обратиться въ оратора, раздающаго приговоры историческимъ дѣятелямъ, какъ подсудимымъ. Теплое участіе къ людямъ, когда-то волновавшимся вопросами тѣми же, что и современники, предохранило Грановскаго отъ такой крайности. Нравственный судъ историка-гуманиста по мягкости и

осторожности своей является совершенною противоположностью придиричивому и формальному суду историка-оратора. „Благо тому, — говорит Грановскій, — кто явнымъ дѣломъ или невѣдомымъ духовнымъ участіемъ содѣйствовалъ осуществленію историческаго закона. Въ наслажденіи подвигомъ онъ обрѣлъ себѣ высшую награду, какую даетъ жизнь. Но совершенное имъ не всегда по достоинству оцѣнено современниками, и имя его можетъ не дойти до потомства. Въ славѣ — болѣе случайнаго, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Въ исправленіи такихъ несправедливостей исторіи заключается одна изъ самыхъ благородныхъ обязанностей историка. Онъ долженъ поставить на видъ забытыя заслуги, уличать незаконныя притязанія. Это нравственная въ высшемъ значеніи слова юридическая часть его труда. Нужно ли доказывать ея важность? Исторія можетъ быть равнодушна къ орудіямъ, которыми она дѣйствуетъ, но человѣкъ не имѣетъ права на такое безстрастіе. Съ его стороны оно было бы грѣхомъ, признакомъ умственнаго или душевнаго безсилія. Мы не можемъ устранить случая изъ отдѣльной и общей жизни, но нельзя допустить его тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ оцѣнкѣ людей, на которыхъ лежитъ великая отвѣтственность исторической роли. Приговоръ долженъ быть основанъ на вѣрномъ, честномъ изученіи дѣла. Онъ произносится не съ цѣлью тревожить могильный сонъ подсудимаго, а для того, чтобъ укрѣпить подверженное безчисленнымъ искушеніямъ нравственное чувство живыхъ, усилить ихъ шаткую вѣру въ добро и истину. Да будетъ же воздано каждому по заслугамъ: признательность разнороднымъ труженикамъ, въ потѣ лица работавшимъ на человѣчество, удовлетворившимъ какому нибудь изъ его требованій; строгое осужденіе людямъ, обманувшимъ современниковъ счастливою отвагой или геніальнымъ эгоизмомъ. Въ возможности такого суда есть нѣчто глубоко утѣшительное для человѣка. Мысль о немъ даетъ усталой душѣ новыя силы для спора съ жизнію“ (I, 240—241).

Можно не раздѣлять того оптимизма, какимъ дышать эти строки, какъ и всего оптимизма историческихъ воззрѣній Грановскаго, но нельзя не признать, что нравственный судъ его, какъ историка, былъ и остороженъ, и безпристрастенъ,

какъ идеаль суда, гдѣ должны царить правда и милость. „На великихъ и на малыхъ, незамѣтныхъ простому глазу, дѣятеляхъ исторіи лежитъ общее всѣмъ людямъ призваніе трудиться въ потѣ лица. Но они несутъ отвѣтственность только за чистоту намѣреній и усердіе исполненія, а не за далекія послѣдствія совершеннаго ими труда. Онъ ложится въ исторію, какъ таинственное сѣмя. Восходъ, богатство и время жатвы принадлежать Богу“ (I, 389). Такимъ образомъ Грановскій служивалъ предѣлы нравственнаго суда надъ историческими дѣятелями; объясненіе ихъ дѣятельности и картина ея никогда не заслонялись ораторскимъ элементомъ. Грановскій былъ слишкомъ художникомъ въ душѣ, чтобы допустить это. Да и самая нечистота цѣлей и помысловъ великихъ историческихъ дѣятелей огорчаетъ его до глубины души совершенно такъ же, какъ рѣзкій диссонансъ терзаетъ ухо чуткаго музыканта или ненужное пятно на картинѣ глазъ художника. „Тому, кто дорожитъ достоинствомъ человѣческой природы и вѣруеть въ благородное назначеніе нашего рода на землѣ,—говоритъ онъ о Бэконѣ,—нельзя безъ глубокой скорби читать страницы, содержащія въ себѣ печальную повѣсть о гражданской дѣятельности одного изъ величайшихъ мужей всеобщей исторіи“ (I, 399). „А между тѣмъ,—говоритъ онъ далѣе,—Бэкона нельзя назвать положительно дурнымъ, тѣмъ меньше жестокимъ или злымъ человѣкомъ. Онъ былъ только суетенъ и малодушенъ. Подобно многимъ, онъ ставилъ внѣшнія блага, украшающія жизнь, выше самой жизни. Быть можетъ, онъ нашелъ бы въ высокому умѣ своемъ силу, нужную для того, чтобы умереть съ достоинствомъ; но жить въ бѣдности и незвѣстности былъ онъ не въ состояніи“ (I, 400).

Терпимость и осторожность въ нравственномъ судѣ надъ дѣятелями исторіи, какъ и въ этомъ случаѣ, особенно сказывается у Грановскаго въ пристрастіи къ такъ называемымъ „переходнымъ эпохамъ“. Въ сущности всякое время въ жизни человѣчества можетъ быть названо переходнымъ. Къ сожалѣнію, не сохранилась лекція, прочитанная Грановскимъ въ селѣ Порѣчьи у графа Уварова въ 1849 г., и имѣвшая предметомъ именно „переходныя эпохи“, такъ что приходится довольствоваться случайными указаніями на нихъ въ статьяхъ

Грановскаго. Подъ переходными періодами онъ разумѣть эпохи, когда особенно рѣзко прясвляется борьба смѣняющихъ другъ друга міровоззрѣній, господствующихъ идей, которыя выражаютъ ту или другую сторону истины, осуществляющейся въ общемъ историческомъ процессѣ. Наиболѣе характерное мѣсто въ этомъ отношеніи мы находимъ въ статьѣ о Людовикѣ IX.

„Разсматривая съ вершины настоящаго погребальное шествіе народовъ къ великому кладбищу исторіи, нельзя не замѣтить на вождяхъ этого шествія двухъ особенно рѣзкихъ типовъ, которые встрѣчаются преимущественно на распутьяхъ народной жизни, въ такъ называемыя переходныя эпохи. Одни отмѣчены печатью гордой и самонадѣянной силы. Эти люди идутъ смѣло впередъ, не спотыкаясь на развалины прошедшаго. Природа одаряетъ ихъ особенно чуткимъ слухомъ и зоркимъ глазомъ, но нерѣдко отказываетъ имъ въ любви и поэзіи. Сердце ихъ не отзывается на грустные звуки былого. Зато за ними право побѣды, право историческаго успѣха. Больше право на личное сочувствіе историка имѣютъ другіе дѣятели, въ лицѣ которыхъ воплощается вся красота и все достоинство отходящаго времени. Они его лучшіе представители и доблестные защитники... Но ни тѣмъ, ни другимъ, ни поборникамъ старыхъ, ни водворителямъ новыхъ началъ, не дано совершить ихъ подвига во всей его чистотѣ и задуманной опредѣленности. Изъ ихъ совокупной дѣятельности Провидѣніе слагаетъ нежданный и невѣдомый имъ выводъ“.

Такой чисто гегеліанскій взглядъ на смѣну противоположныхъ идей и вѣяній соотвѣтствовалъ и личной склонности Грановскаго, какъ художника-созерцателя, который могъ бы часто повторять вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ въ первое время его дѣятельности: „все благо, все добро“. Образцомъ истиннаго воззрѣнія на людей, призванныхъ дѣйствовать въ смутныя переходныя эпохи, Грановскій считаетъ слѣдующій взглядъ Нибура на смуты, предшествовавшія изгнанію 30 тиранновъ и восстановленію аеинской независимости: „Эти событія представляютъ намъ поучительное доказательство того, что не должно судить о нравственномъ достоинствѣ человѣка по

цвѣту политической партіи, къ которой онъ принадлежалъ, и что нельзя сказать: такой-то принадлежить къ такой-то партіи, слѣдовательно онъ дурной человѣкъ, или наоборотъ—хорошій. Подобныя сужденія составляются безъ труда, но въ нихъ нѣтъ истины; исторія учитъ насъ другому, лучшему: часто подъ знаменами самаго благороднаго дѣла стоятъ самые порочные люди и, наоборотъ, въ рядахъ дурной партіи мы нерѣдко встрѣчаемъ благороднѣйшихъ людей, воображающихъ, что они дѣлаютъ добро, тогда какъ поступки ихъ вредны и неразумны, потому что они ошиблись въ цѣли или недальновидны“ (II, 89). Таково же было отношеніе Грановскаго и къ современникамъ, и къ историческимъ дѣтелямъ. Лично онъ соединилъ въ себѣ черты и того и другого типа: онъ явился связующимъ звеномъ между благодушнымъ идеализмомъ Станкевича и положительнымъ трезвымъ міросозерцаніемъ Бѣлинскаго и Герцена, какъ объ этомъ скажемъ еще ниже. Теперь же замѣтимъ, что выборъ темъ и историческихъ личностей, на которыхъ съ особою любовью останавливался Грановскій, вполне соответствуетъ такой чертѣ его личности. Представители отживающей эпохи или люди, соединяющіе въ себѣ важнѣйшія стороны находящихся въ борьбѣ другъ съ другомъ вѣяній—Людовикъ IX, рыцарь Баярдъ, Александръ Македонскій, Сугерій, Бэконъ, Генрихъ VIII, Нибуръ—преобладаютъ численно надъ представителями цѣльнаго побѣдоносно выступающаго міровоззрѣнія или слѣпой матеріальной силы: Тимуръ, Петръ Рамусъ, да еще два-три человѣка изъ людей этого типа только и привлекли мимоходомъ вниманіе Грановскаго. Онъ глубоко сочувствуетъ Демосѣену, который „принадлежалъ къ числу тѣхъ трагическихъ одиноко стоящихъ въ исторіи личностей, въ которыхъ горячая любовь къ прошедшему соединяется съ яснымъ сознаніемъ невозможности призвать его снова къ бытію“ (I, 355). И въ то же время онъ не симпатизируетъ, какъ человѣку, Катону: „Лишенная всякой поэзіи, личность стараго цензора не въ правѣ на то сочувствіе, какое внушаетъ Сципійонъ; уваженіе къ нему Нибура едва ли не чрезмѣрно, но его нельзя не признать,—оговаривается онъ,—однимъ изъ самыхъ вели-

кихъ людей республики и самыхъ замѣчательныхъ представителей древняго римскаго характера“.

Вѣра въ науку свою, широкая гуманность сами по себѣ могутъ быть названы лишь душою историческаго изученія; чтобы стать нравственно и общественно-двигательнымъ факторомъ, историческое изученіе должно еще облечься плотью и кровью. Широкое всестороннее научное образованіе и даетъ опредѣленное значеніе и смыслъ вѣрѣ въ науку и гуманности, иначе онѣ обращаются въ пустыя елейныя слова, безъ всякаго содержанія. Мы уже знаемъ отчасти, какъ понималъ ихъ Грановскій: онѣ сводились на защиту свободной критической дѣятельности мысли, на защиту правъ личности и на требованіе общественнаго устройства, сообразнаго этимъ правамъ. Широкое образованіе и методъ аналогій даютъ историку, по мысли Грановскаго, возможность послѣдовательно защищать и проводить въ жизнь эти начала.

„Историкъ не обязанъ—да и не можетъ—быть всезнающимъ полигисторомъ. Такое требованіе отъ него было бы безразсудно, потому что оно неисполнимо, но онѣ обязанъ составить себѣ ясное понятіе о значеніи каждой науки въ общей системѣ человѣческихъ знаній и долженъ быть въ состояніи объяснить своимъ читателямъ или слушателямъ вліяніе отдѣльныхъ наукъ на извѣстные періоды исторіи. Можно ли, напримѣръ, представить удовлетворительную картину аѳинской жизни, не коснувшись вопросовъ, которыхъ разрѣшеніе принадлежитъ собственно теоріи искусства или философіи вообще? Или есть ли возможность изложить надлежащимъ образомъ событія трехъ послѣднихъ вѣковъ, не освѣщая ихъ свѣтомъ политической экономіи?“ * (II, 453). Историкъ, такимъ образомъ, долженъ быть au courant всѣхъ умственныхъ теченій своей

* Въ рѣчи объ историческомъ міросозерцаніи Грановскаго г. Карѣвъ говоритъ, что Грановскій упускалъ изъ виду политическую экономію. Указывая только-что процитированное мѣсто, А. Станкевичъ въ рецензіи на рѣчь г. Карѣва („Русск. Вѣдом.“ 1896 г., № 104) замѣчаетъ также: „Грановскій не указывалъ другимъ обязанностей историка, не признаваемыхъ имъ для себя. Въ библиотекѣ Грановскаго было не мало сочиненій изъ области политической экономіи. Студентамъ и слушателямъ, чтеніемъ которыхъ руководилъ Грановскій, онъ указывалъ и книги экономистовъ. Когда появилась политическая экономія Д. С. Милля, онъ рекомендовалъ имъ ея чтеніе, упоминая, что въ этой книгѣ они найдутъ болѣе вниманія

эпохи, и тѣмъ энциклопедичнѣ должны быть его познанія по его спеціальности. „Вообще надобно замѣтить, что глубокое и подробное изслѣдованіе исторіи и учреждений одного народа, какъ бы ни маловажно было его политическое значеніе, служить лучшимъ проводникомъ и комментариемъ къ исторіи другихъ, даже болѣе значительныхъ народовъ“ (II, 10). Дѣло въ томъ, что „весьма немногія событія отмѣчены характеромъ совершенно новыхъ, небывалыхъ явленій; для большей части существуютъ поучительныя историческія аналогіи. Въ способности схватывать эти аналогіи, не останавливаясь на одномъ формальномъ сходствѣ, въ умѣннѣ узнавать подъ измѣнчивою оболочкой текущихъ происшествій сглаженные черты прошедшаго заключается по нашему мнѣнію, высшій признакъ живого историческаго чувства, которое въ свою очередь есть высшій плодъ науки“ (II, 268).

Исканіе историческихъ аналогій не было у Грановскаго чѣмъ либо случайнымъ; мотивированное по Нибуру и внушенное имъ, оно поддерживалось всѣмъ кругомъ идей, которыя занимали его дружескій кружокъ. Газета для Грановскаго была историческимъ документомъ не менѣе цѣннымъ, чѣмъ любая лѣтопись: въ немъ всегда сильно было живое чувство дѣйствительности, и, благодаря ему, онъ никогда не терялся въ абстракціяхъ. Помимо біографическихъ свѣдѣній, сочиненія его достаточно характеризуютъ интересъ его ко всѣмъ вопросамъ современности; этотъ интересъ сказывается болѣе всего въ содержаніи проводимыхъ имъ историческихъ аналогій. Очень характерно слѣдующее замѣчаніе Грановскаго въ статѣ о Бэконѣ: „На двадцатомъ году Бэконъ написалъ небольшое сочиненіе о современномъ ему состояніи Европы. Гордые славою великаго соотечественника своего, англичане высоко ставятъ этотъ начальный опытъ его умственныхъ силъ. Признаемся, книга Бэкона произвела на насъ тяжелое впечатлѣніе.

къ социальнымъ вопросамъ, чѣмъ въ другихъ руководствахъ. Сказанное нами могутъ подтвердить бывшіе слушатели Грановскаго. Первая часть политической экономіи Рощера появилась въ 1854 г., за годъ до смерти Грановскаго, но уже была среди его книгъ, и онъ говоритъ о ней, какъ о новомъ и важномъ явленіи въ наукѣ“. Г. Станкевичъ указываетъ также на вѣроятную ошибочность предположенія г. Карѣва, что Грановскій не былъ знакомъ съ позитивною философіей. Контомъ чрезвычайно интересовались нѣкоторые члены московскаго кружка.

Ранній холодъ мысли, умѣвшей сохранить совершенное спокойствіе среди взволнованнаго до глубины своей общества, эта независимая и равнодушная оцѣнка партій, которыя съ такимъ жаромъ спорили о самыхъ важныхъ для человѣка вопросахъ, неприятно поражаютъ читателя, которому извѣстны лѣта автора. Бэконъ смотрѣлъ на Европу какъ посторонній свидѣтель, а не какъ участникъ въ ея радостяхъ и страданіяхъ“ (I, 395).

Грановскій менѣе всего былъ способенъ къ роли такого „посторонняго свидѣтеля“, но далеко не всегда могъ онъ высказываться съ достаточною полнотою по поводу указываемыхъ имъ аналогій. Относительно русской дѣйствительности можно найти лишь отдаленные намеки,—болѣе ясна рѣчь только о славянофилахъ. Приведенный нами взглядъ Бенкендорфа на то, какъ надо понимать и писать русскую исторію, достаточно объясняетъ, что Грановскому трудно было касаться современной жизни. Да и въ европейской исторіи многое было для него совершенно закрыто. Не говоря о такихъ запретныхъ эпохахъ, какъ французская революція, онъ не могъ, напримѣръ, касаться иныхъ вопросовъ византійской исторіи, которой придавалъ не малое значеніе для пониманія многихъ сторонъ русской исторіи. Въ статьѣ о Латинской имперіи находимъ любопытную фразу, въ которой Грановскій ставитъ очень важный вопросъ, но отвѣчать на него какъ будто чувствуетъ себя не въ состояніи въ силу совершенно постороннихъ соображеній: „Нельзя не задуматься при вопросѣ, — говоритъ онъ, — отчего великія творенія древней Греціи, бывшія въ продолженіе многихъ вѣковъ предметомъ постояннаго изученія въ Константинополѣ, родныя тамошнимъ читателямъ по языку, на которомъ они написаны, обнаружили такъ мало вліянія на византійскую литературу, между тѣмъ какъ одно ихъ прикосновеніе къ другой, болѣе свѣжей почвѣ вызвало движеніе, имѣвшее результатомъ всестороннее обновленіе умственной жизни на Западѣ“ (II, 122). Но какъ бы ни былъ стѣсненъ Грановскій, отклики на живые вопросы современной жизни достаточно ясно звучатъ въ его статьяхъ и въ особенности въ аналогіяхъ. „Исторія, по самому содержанію своему, должна болѣе другихъ наукъ принимать въ себя современныя

идеи. Мы не можемъ смотрѣть на прошедшее иначе, какъ съ точки зрѣнія настоящаго. Въ судьбѣ отцовъ мы ищемъ преимущественно объясненія собственной. Каждое поколѣніе приступаетъ къ исторіи со своими вопросами; въ разнообразіи историческихъ школъ и направленій высказываются задушевные мысли и заботы вѣка“ (II, 211). Въ другомъ мѣстѣ Грановскій говоритъ, что современность отзывается въ исторической литературѣ, въ связи ея съ общимъ направленіемъ, „быть можетъ звучнѣе, чѣмъ въ поэзіи“ (II, 256). Это совершенно примѣнимо къ нему самому, какъ къ историку, и потому мы считаемъ нужнымъ остановиться на содержаніи наиболѣе крупныхъ аналогій, проводимыхъ Грановскимъ.

Онѣ естественно распадаются на двѣ группы.

Къ первой группѣ аналогій, хотя и не высказанныхъ словами, но совершенно ощутительныхъ, можно отнести историческія явленія въ родѣ Китая, Океаніи и т. п. Въ этихъ явленіяхъ нѣтъ прямыхъ и рѣзкихъ совпаденій съ современною русской или западноевропейскою дѣйствительностью, но они очевидно представлялись Грановскому естественнымъ, хоть и уродливымъ, развитіемъ нѣкоторыхъ чертъ, не чуждыхъ русской жизни и даже грозившихъ усиливаться безъ конца. Картина вырожденія жителей Океаніи и разложенія ея общественнаго и нравственнаго быта представлялась Грановскому грознымъ *menemto*, какъ результатъ отчужденія цѣлой расы отъ другихъ народовъ. Общественный порядокъ Океаніи былъ предоставленъ самому себѣ, и даже чудныя богатства природы и даровитость жителей не пошли имъ на пользу: они не устояли предъ болѣе бодрыми европейцами, закаленными въ борьбѣ за существованіе. Если вспомнить, что лекція объ Океаніи (т. II) была читана въ дружескомъ кругу въ 1852 г., въ самый разгаръ реакціи, чуравшейся всего европейскаго, то совершенно понятно будетъ, почему Грановскій остановился на такой темѣ, для историка нѣсколько неожиданной; помимо этнографическаго интереса, — мы знаемъ уже, какое важное значеніе придавалъ Грановскій этнографіи, какъ одному изъ матеріаловъ всеобщей исторіи, — эта тема могла привлечь его вниманіе именно вслѣдствіе подобія между причиною разложенія Океаніи и тогдашнимъ положеніемъ Россіи. Даже въ

учебникъ всеобщей исторіи, которымъ Грановскій былъ занятъ въ это же время, находимъ примѣръ подобной же ясно чувствуемой аналогіи. Это — примѣръ Китая, доказывающій, что „историческое значеніе государствъ опредѣляется не столько цифрами населенія и квадратныхъ миль, сколько духовными силами народа“ (II, 469). Китайъ былъ давно въ кругу Грановскаго нарицательнымъ именемъ порядка, къ которому шла официальная народность, порою рука объ руку со славянофилами, со своею проповѣдью о гнѣнии Запада. „Незнакомые съ просвѣщеніемъ другихъ народовъ, исполненные раболѣпнаго уваженія къ старинѣ, китайскіе ученые посвящаютъ цѣлую жизнь на усвоеніе себѣ огромнаго выработаннаго прежде матеріала и не выходятъ изъ тѣснаго круга исключительно національныхъ идей... Патріархальныя формы не соотвѣтствуютъ болѣе характеру многочисленнаго испорченнаго народа и выражаются только внѣшнимъ образомъ въ лицемѣрномъ соблюденіи древнихъ обрядовъ и обычаевъ. Разнообразныя религіозныя вѣрованія, господствующія въ Китаѣ, не въ состояніи поддержать упадающей нравственности народа, у котораго до сихъ поръ почти не просыпалась жажда высшей духовной истины“ (II, 470). Неожиданная энергія языка въ этихъ словахъ, послѣ бѣглаго, дѣловитаго и объективнаго очерка исторіи Китая, явно указываетъ, что писатель вступилъ здѣсь въ область давно занимавшихъ его наболѣвшихъ вопросовъ объ исторической судьбѣ народовъ, насильственно замыкающихся въ узкіе предѣлы исключительной національности.

„Переходныя“ эпохи, какъ мы уже знаемъ, особенно занимали Грановскаго. Онѣ же дали ему матеріалъ для самыхъ блестящихъ, художественно, съ тактомъ проведенныхъ аналогій, особенно между культурнымъ кризисомъ Римской имперіи и современнымъ состояніемъ Европы. Рецензія на книгу Шмидта: „О свободѣ исповѣданій и мысли въ первое столѣтіе имперіи и христіанства.“ — одна изъ наиболѣе удачныхъ статей Грановскаго вообще и по умѣлому освѣщенію и группировкѣ матеріала для доказательства указанной аналогіи въ частности.

„Въ цѣлой исторіи человѣчества, — говоритъ Грановскій, — едва ли найдется отдѣлъ въ такой степени поучительный и

вызывающей къ раздумью, какъ послѣднія столѣтія римскаго міра. Республиканскія формы пали, но заступившая ихъ мѣсто монархія должна была бороться со всѣми живыми силами общества. Ей были равно враждебны его воспоминанія и его надежды. Религіозныя вѣрованія народовъ разрушены наукою, но наука въ свою очередь отвѣчаетъ горестнымъ признаніемъ собственнаго безсилія на жаркія требованія умовъ, измученныхъ сомнѣніемъ и отрицаніемъ. Повсемѣстно распространенная образованность перестала быть благомъ. Формы ея изящны, но содержаніе испорчено. Явились неслыханные чудовищные виды порока и въ связи съ ними цѣлое литературное направленіе. Безумный систематическій развратъ маркиза де-Сада—явленіе не новое въ исторіи. А между тѣмъ это разрушавшееся, больное общество, относительно внѣшнихъ средствъ развитія, не многимъ уступало нашему“ (II, 240).

Это различіе между внѣшними средствами развитія, культурными формами и удобствами жизни въ извѣстную эпоху и между внутреннимъ содержаніемъ—живо занимало Грановскаго. Онъ говоритъ то о противоположности внѣшней образованности и внутренней, то о просвѣщеніи истинномъ и ложномъ. Но неопредѣленность терминологіи не затемняетъ мысли весьма серьезной, для того времени далеко не избитой и понынѣ еще не общепризнанной у насъ. Сама по себѣ образованность, какъ сумма извѣстныхъ знаній, обращающихся въ обществѣ, и какъ сумма внѣшнихъ культурныхъ удобствъ жизни, нисколько не гарантируетъ ни прочности и устойчивости общества, ни даже его благосостоянія, если она не распространена сколько нибудь равномерно; или, говоря языкомъ политической экономіи, накопленіе въ государствѣ богатства не предполагаетъ еще процвѣтанія самого государства,—должно быть обезпечено еще разумное распредѣленіе богатства. Внѣшняя образованность была и въ Византіи, и въ Римѣ. Въ Византіи „она служила большею частью для достиженія внѣшнихъ цѣлей и была могущественнымъ рычагомъ въ рукахъ умнаго правительства, имѣвшаго дѣло съ полудикими врагами“ (II, 123), пока не рухнула она и сама, благодаря схоластическому направленію, принятому религіей, и равнодушію къ ней народныхъ массъ и общества. Въ Римѣ

передовые умы, обманутые высокимъ уровнемъ культуры, не замѣчали перелома въ жизни Римской имперіи. Объ этомъ говорятъ всѣ письма ихъ, ихъ отзывы о своемъ вѣкѣ: „васъ поразить увѣренность, съ какою они ставятъ его относительно умственного развитія выше всѣхъ предыдущихъ. Ихъ вводило въ заблужденіе внѣшнее распространеніе просвѣщенія, масса идей, находившихся въ общественномъ оборотѣ, наконецъ количество произведеній, ежедневно поступавшихъ на литературный рынокъ“ (II, 258). Въ статьѣ Грановскаго о рыцарѣ Баярдѣ, помѣщенной въ сборникъ для юношества, „Библиотека для воспитанія“, находимъ нѣсколько словъ, совершенно ясно формулирующихъ взглядъ его на значеніе одной внѣшней культурности въ государствѣ, не распространенной на народныя массы. Разсказывая, что въ 1494 г. итальянцы вездѣ легко уступали нашествію французовъ, Грановскій говоритъ: „Въ простотѣ и невѣжествѣ своемъ, они (французы) приписывали эту слабость духа той блестящей образованности, которою дѣйствительно тогдашніе итальянцы отличались передъ всѣми другими народами. Но настоящая образованность не ослабляетъ мужества; напротивъ того, она его укрѣпляетъ и направляетъ къ цѣлямъ разумнымъ и достойнымъ. Есть другая образованность, ложная и вредная, которая нѣжитъ и балуетъ умъ, отучая его отъ строгихъ общепользныхъ помысловъ. Такая образованность, конечно, можетъ развить въ человѣкѣ прекрасную способность наслаждаться картинами, музыкою, стихами, но наслажденіе будетъ бесплодно; оно будетъ похоже на наслажденіе лакомки. Человѣкъ, который ради картинъ или книгъ въ состояніи забыть о другихъ людяхъ и не думать объ ихъ участи, не многимъ лучше безнравственнаго ребенка, который ѣстъ тайкомъ сладкій кусокъ, когда мать и отецъ его умираютъ съ голоду (II, 363—364). Нѣсколько учительскій тонъ этой тирады, объясняемый мѣстомъ напечатанія статьи, не можетъ конечно заслонить ея глубокаго смысла.

Вопросъ социальный тѣсно связанъ съ вопросомъ неравномѣрнаго распредѣленія культуры, и понятно, что у Грановскаго находимъ цѣлый рядъ параллелей между современными ему западноевропейскими событіями и социальными контра-

стами и между тѣмъ, что мы видимъ въ исторіи Греціи и Рима. „Настоящее положеніе и будущность бѣдныхъ классовъ обращаютъ на себя преимущественно вниманіе государственныхъ людей и мыслителей Западной Европы, гдѣ пролетаріатъ дѣйствительно получилъ огромное значеніе. Но защитники старины, которые въ этомъ явленіи видятъ нѣчто доселѣ небывалое, исключительно нашему времени принадлежащее и его обвиняющее, находятся въ странномъ, быть можетъ, добровольномъ заблужденіи“ (II, 222). Аграрную исторію Рима Грановскій сопоставляетъ съ аграрною агитаціей въ Соединенныхъ Штатахъ. Въ рѣчи, сказанной при основаніи аграрной лиги въ Нью-Йоркѣ въ 1844 г., „слышится отголосокъ римскихъ трибуновъ. Имя Гракховъ явилось на знамени новой партіи: „The spirit of the Gracchi is rekindled in the West“ *,—говорятъ члены аграрнаго союза.—Черезъ двѣ тысячи лѣтъ, за предѣлами древняго міра, поднялись вопросы, надъ рѣшеніемъ которыхъ потратили столько силъ Фламиніи, Сципіоны, Катонъ и Гракхи“ (II, 238). Полное сочувствіе Грановскаго проектамъ поземельной реформы чувствуется во всей статьѣ, изъ которой взяты эти цитаты, и здѣсь находимъ, между прочимъ, такую фразу: „Исслѣдованія Нибура объ общественномъ полѣ доказали впервые, что аграрные законы не имѣли цѣлью наглаго нарушенія права собственности“ (II, 237). Въ этихъ словахъ, быть можетъ, откликъ на протесты во имя права собственности противъ освобожденія крестьянъ съ обязательнымъ выкупомъ земли, о чемъ шли уже глухіе толки въ это время.

Исторія же дала Грановскому основаніе и аргументы для его взглядовъ на воспитаніе. Но объ этомъ мы будемъ говорить подробнѣе ниже. Теперь же скажемъ нѣсколько словъ объ отношеніи его къ славянофильству.

Думаемъ, что, говоря о взглядахъ Грановскаго на роль личности въ исторіи, мы этимъ самымъ достаточно показали, что отношеніе его къ славянофильству не могло быть инымъ, какъ рѣшительно отрицательнымъ. Не въ томъ дѣло, что Грановскій учился за границей, а въ томъ, что ученіе и развитіе его шли подъ тѣми вліяніями, которыя имѣли въ

* „Духъ Гракховъ воскресъ на Западѣ“.

виду прежде всего и болѣе всего человѣческую личность, ея нравственное достоинство, запросы и стремленія. Эти вліянія рѣшительно были противоположны славянофильскимъ представленіямъ о народѣ, какъ носителѣ уже обрѣтенной имъ правды; она выразилась-де въ его преданіяхъ, предъ которыми остается только преклоняться отдѣльной личности. Въ стихотвореніи „Гуманисту“ К. Аксаковъ такъ выразилъ этотъ взглядъ:

Пойми себя въ народѣ! Не сжимаешь.
Какъ океанъ, твоей свободы онъ:
Тебѣ онъ только мѣсто назначаетъ,
Ты общему въ немъ живо покоренъ.
А безъ того—ты эгоистъ безъ силы,
И жизнь твоя прекрасная пуста,
Страданья вялы и оружья гнилы,
Порывъ бесплоденъ и ложна мечта.
Съ народомъ лишь взойдетъ свобода зрѣло,
Могуществовъ народа только кликъ,
Принадлежитъ народу только дѣло,
И путь его державенъ и великъ.

Мы цитировали уже слова Грановскаго, направленные противъ славянофиловъ, гдѣ онъ рѣшительно высказываетъ мнѣніе, что вся сущность историческаго процесса—„разложеніе массъ мыслию“ (II, 220). Скептицизмъ Грановскаго, не могъ точно также мириться съ тѣми мистическими представленіями о народности, которыя закрывали собою зерно истины въ славянофильскихъ теоріяхъ. Научно добросовѣстный, онъ далѣе съ недоумѣніемъ относился къ явнымъ натяжкамъ въ идеализаціи славянофилами московской Руси. „У каждаго народа,—говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ,—слышится по временамъ жалоба на порчу собственной національности, на преобладаніе чужеземныхъ началъ. Такъ жаловался Римъ на Грецію, нѣмцы на Италію и Францію, Франція на Англію. Многимъ ли понятенъ смыслъ этой жалобы?“ (II, 36). Это сказано по поводу введенія Нибура въ „Исторію Рима“; въ этомъ введеніи Нибуръ выяснялъ связь между классической древностью и развитіемъ германскаго міра и указывалъ естественно на крайнюю односторонность вражды нѣмецкихъ романтиковъ къ этой древности. И Грановскій совершенно

последовательно возставалъ противъ нападковъ славянофиловъ на весь Западъ,—нападковъ совершенно по образцу нѣмецкихъ романтиковъ. Странны были Грановскому и тѣ ультрапатріотическія выходки, которыми славянофилы, и въ особенности Хомяковъ, такъ приближались къ официальной народности. Полемика Грановскаго съ Хомяковымъ, завязавшаяся изъ за мелочной подробности исторіи Бургундовъ V вѣка (помѣщена эта полемика во второмъ томѣ сочин. Гран.), даетъ примѣръ и сдержанной полной достоинства полемики, и матеріаль для сравненія нѣкоторыхъ взглядовъ Грановскаго и Хомякова. Последній отличался между прочимъ тѣмъ, что въ стихахъ и прозѣ превозносилъ русскій народъ, въ то же время особенно разнося лукавый Западъ. Образцомъ могутъ служить хоть стихи по адресу коварнаго Альбіона, которому предсказывалось за его пороки:

Громъ въ рукахъ твоихъ остынетъ,
Перестанетъ мечъ сверкать,
И сыновъ твоихъ покинетъ
Мысли ясной благодать...
И другой странѣ смиренной,
Полной вѣры и чудесъ,
Богъ отдастъ судьбу вселенной,
Громъ земли и гласъ небесъ...

По поводу подобныхъ совсѣмъ не смиренныхъ притязаній и огульнаго осужденія цѣлыхъ народовъ Грановскій писалъ: „Трудно понять такое озлобленіе противъ цѣлыхъ племенъ. Найдется ли хоть одинъ народъ, который въ продолженіе своего историческаго существованія былъ постоянно нравственъ или пороченъ? У каждаго есть свой характеръ, своя духовная особенность, которая никогда не стирается; но развратъ народный есть всегда слѣдствіе данныхъ временемъ обстоятельствъ, преходящихъ вліяній, и потому самъ бываетъ преходящимъ явленіемъ, не болѣе“ (II, 328). Свой взглядъ на различныя народности, совершенно противоположный узкому славянофильскому, Грановскій, между прочимъ, высказываетъ въ недоконченномъ учебникѣ всеобщей исторіи: „Допустивъ родство, существующее между обитателями земного шара, мы должны необходимо принять и истекающую изъ этого родства равную способность всѣхъ породъ къ со-

вершенствованію и развитію“ (II, 462). Въ частности, по отношенію къ Россіи, вмѣсто картинной роли рѣшительницы судебъ вселенной, громовержицы и вѣщательницы небесныхъ вельній, Грановскій отводилъ ей менѣе громкую, но болѣе благодарную миссію—цивилизовать дикія племена, населяющія ее. „Нашему отечеству предстоитъ облагородить и употребить въ пользу человѣчества силы, которыя до сихъ поръ дѣйствовали только разрушительно“ (I, 350). Мы упоминали уже о враждѣ Грановскаго къ „антикварнымъ построеніямъ исторіи“, портящимъ ее, какъ науку. Славянофилы не только грѣшили такимъ характеромъ своихъ работъ, но вдобавокъ толковали объ особенной русской наукѣ, имѣющей освѣтить историческія событія особымъ свѣтомъ. Грановскій допускалъ, что русскіе ученые могутъ съ полнымъ правомъ самостоятельно изслѣдовать, освѣщать съ новой точки зрѣнія тѣ или иныя событія всеобщей исторіи. Такъ, онъ находилъ, что исторія Византіи по нѣкоторымъ пунктамъ, важнымъ по отношенію ихъ къ Россіи, недостаточно разъяснена, и полагалъ, „что успѣшное рѣшеніе такой задачи возможно въ настоящее время только русскимъ или вообще славянскимъ ученымъ. Они ближе къ ней потому, что она связана съ исторіей ихъ собственнаго племени и требуетъ знаній въ тѣхъ областяхъ церковной исторіи и филологіи, которыя менѣе другихъ доступны западнымъ ученымъ. Можно прибавить, что на насъ лежитъ нѣкотораго рода обязанность оцѣнить явленіе, которому мы такъ многимъ обязаны“ (II, 123). Очевидно, что тутъ и мѣста нѣтъ предположенію, что у русскихъ ученыхъ могутъ быть какіе то особые, исключительно имъ, въ силу ихъ національности, свойственные методы изслѣдованія, которые только и составляютъ науку. Въ полемикѣ съ Хомяковымъ Грановскій съ полною серьезностію протестовалъ противъ подобныхъ притязаній. „Можно позволить себѣ надежду, что въ будущей наукѣ, которую намъ обѣщаетъ г. Хомяковъ, критика будетъ говорить съ бѣльшимъ смиреніемъ и меньшею заносчивостію. Гордость—порокъ западный“ (II, 325)... „Обѣщанія ея (т. е. новой „русской“ науки) мы слышали давно, такъ давно, что они перестали для насъ быть надеждами и превратились въ во-

споминанія. Гдѣ-жь исполненіе? Гдѣ великіе, на почвѣ исключительной національности совершенные, труды, предъ которыми могли бы сознать свое заблужденіе люди, также глубоко любящіе Россію и, слѣдовательно, дорожащіе самостоятельностью русской мысли, но не ставящіе ее во враждебную противоположность съ общечеловѣческой и не приписывающіе ей особенныхъ законовъ развитія?“ (II, 329).

Всѣ сдѣланныя нами указанія, кажется, съ достаточною ясностью подтверждаютъ, что Грановскій былъ совершенно послѣдовательнымъ и убѣжденнымъ противникомъ славянофильской доктрины *. Онъ расходился съ нею въ основныхъ взглядахъ на историческій процессъ, расходился и со всѣми частными односторонностями и увлеченіями славянофиловъ, такъ или иначе связанными съ главнѣйшими разногласіями. Ниже мы увидимъ, какъ Грановскій въ жизни относился къ славянофиламъ и чѣмъ обязано было ему западничество. А теперь мы можемъ резюмировать содержаніе историческихъ воззрѣній Грановскаго, тѣсно связанныхъ съ историческимъ значеніемъ всей его дѣятельности, и затѣмъ перейдемъ къ бѣглому характеристикѣ его литературной манеры.

Главный элементъ историческихъ воззрѣній Грановскаго— вѣра въ прогрессъ, не фаталистическій, но дающій широкій просторъ индивидуальнымъ усиліямъ: сущность историческаго процесса разложеніе массъ личною индивидуальною мыслью. Воззрѣнія Грановскаго, такимъ образомъ, можно назвать индивидуализмомъ въ широкомъ смыслѣ слова: личность разсматривается не какъ отвлеченное понятіе, но какъ конкретное существо, поставленное въ тѣ или другія общественныя отношенія; она имѣетъ свои обязанности и права, опредѣляемые этими отношеніями; но эти отношенія во всякомъ случаѣ должны имѣть въ виду благо личности, удовлетворять ея требованіямъ. Изученіе исторіи даетъ опору и для теку-

* Настаивать на этомъ приходится потому, что такіе изслѣдователи, какъ г. Барсуковъ, въ своей біографіи Погодина (т. VIII, стр. 372—373), рѣшаются утверждать, будто Грановскій отказывался отъ западничества и примыкалъ къ „православно-русскому“ воззрѣнію. По поводу перваго изданія нашей книги въ „Моск. Вѣд.“ появилась статья съ курьезною попыткою доказать „благонамѣренность“ политическихъ и религіозныхъ взглядовъ Грановскаго, убѣжденнаго либерала-деиста („М. В. 1896, №№ 351 и 352, статья Е. Коломенскаго: „Имѣютъ ли право „либералы“ считать Грановскаго вполнѣ своимъ?“).

щей общественной дѣятельности въ томъ же направленіи: съ одной стороны оно укрѣпляетъ вѣру въ конечное торжество добра; съ другой, оно—ключъ къ сокровищницѣ историческаго опыта; послѣдній будетъ получать тѣмъ больше значенія и вліянія, чѣмъ болѣе будетъ распространяться образованіе, какъ внѣшнія культурныя формы общежитія, и просвѣщеніе, влагающее живое содержаніе въ эти формы. Исторія, такимъ образомъ, ничего общаго не имѣетъ съ цеховою ученостью, исключительною, не желающею знать требованій жизни. Идеаль историка—всесторонне образованный, живой, гуманный человѣкъ и гражданинъ, не только передающій рядъ болѣе или менѣе любопытныхъ „исторій“, но и воспитывающій слушателей проповѣдникъ живой дѣятельности, терпимости и гуманности, не расплывающійся—повторяемъ еще разъ—въ болѣе или менѣе возвышенныхъ фразахъ объ истинѣ, добрѣ и красотѣ, но влагающій въ свою проповѣдь совершенно опредѣленныя начала.

Такой идеаль историка былъ созданъ Грановскимъ, очевидно, по собственному образу и подобию. Широка и разносторонность постановки имъ историческаго изученія, въ то время, какъ люди, по его выраженію, хлопотали „цѣлую жизнь о томъ, какъ бы узнать, кто такой былъ Рюрикъ—Вагръ, Варягъ или Чухонецъ“,*—была важною заслугою для науки, привлекала къ ней новыя живыя силы. „Онъ хотѣлъ полнаго человѣка и искалъ его во всей литературѣ, прошлой и современной,—писалъ Кудрявцевъ:—поэтическіе памятники разныхъ временъ и народовъ были постояннымъ и любимымъ предметомъ его изученія. Онъ часто переходилъ къ нимъ отъ собственно историческихъ занятій, глубоко понимая связь ихъ съ самою жизнью; онъ имѣлъ обычай доспрашиваться у нихъ многого, недосказаннаго исторіею... По той же самой причинѣ всегда привлекала его къ себѣ современная литература вообще. Она служила ему указателемъ другихъ болѣе внутреннихъ сторонъ жизни, которыя большею частью остаются недоступны для наблюденій историка... Никогда, впрочемъ, совершенно не удовлетворяло его знакомство съ современностью чрезъ призму поэтическихъ произведеній: онъ хотѣлъ полнѣйшаго и болѣе положительнаго. Объ руку

* Переписка Гр., стр. 341.

съ изученіемъ идеальной стороны жизни шло у него знакомство съ дѣйствительнымъ бытомъ и состояніемъ общества. Онъ почерпалъ его обыкновенно изъ европейскихъ путешествій по всѣмъ странамъ стараго и новаго міра... Чего недоставало большимъ описаніямъ путешествій по разнымъ частямъ свѣта, или въ чемъ они отстали отъ современности, того искалъ онъ въ періодическихъ изданіяхъ. Впечатлѣнія его были такъ живы, что многіе его рассказы, заимствованные имъ у европейскихъ путешественниковъ, можно было принимать за истину непосредственнаго наблюденія. Его много занимали физическія особенности края и нравы его жителей, но болѣе всего ихъ политическій и общественный бытъ вмѣстѣ съ предлагаемыми средствами для его усовершенствованія“ *.

Мы не станемъ вдаваться въ критику оптимизма Грановскаго. Укажемъ только еще разъ, что въ общихъ своихъ воззрѣніяхъ на роль, значеніе и права личности въ жизни и исторіи онъ совершенно сходился со своими друзьями и былъ западникомъ вполне послѣдовательнымъ и несомнѣннымъ. То, что для своихъ западныхъ представленій онъ подыскивалъ идеалистическую санкцію, не имѣло сколько нибудь замѣтнаго значенія. Зато содержаніе этихъ воззрѣній, въ критикѣ и публицистикѣ развиваемыхъ въ тоже время Бѣлинскимъ и Герценомъ, имѣло по своей новизнѣ и значительности тѣмъ большее значеніе и тѣмъ легче распространялось и усваивалось, что Грановскій обладалъ рѣдкимъ литературнымъ и ораторскимъ талантомъ художественнаго изложенія.

„Грановскій не былъ ученымъ въ узкомъ значеніи этого слова,—говоритъ о немъ Кавелинъ:—онъ писалъ и говорилъ для того, чтобы понимали то, что онъ пишетъ и говоритъ; чтобы быть ученымъ въ самомъ присяжномъ смыслѣ этого слова, ему не доставало не знаній, не начитанности, не критическаго взгляда, не обобщающихъ идей—всѣмъ этимъ онъ былъ богатъ, какъ нельзя болѣе; но ему не доставало аффектаціи, чопорности, презрѣнія ко всякому не зависѣвшему отъ него мнѣнію, однимъ словомъ, всего того, что такъ часто одними выдается, а другими принимается за ученость“.

* Воспоминанія о Грановскомъ. Соч. Кудр. II, 545—546.

„Грановскій служилъ не личной своей ученой славѣ, а обществу. Этимъ объясняется весь характеръ его дѣятельности,—говорилъ о немъ челоуѣкъ другого поколѣнія:—Онъ былъ однимъ изъ сильнѣйшихъ посредниковъ между наукою и нашимъ обществомъ; очень немногія лица въ нашей исторіи имѣли такое могущественное вліяніе на пробужденіе у насъ сочувствія къ высшимъ челоуѣческимъ интересамъ; наконецъ, для очень многихъ людей, которые, отчасти благодаря его вліянію, приобрѣли право на признательность общества, онъ былъ авторитетомъ добра и истины... Не знаемъ, сознавалъ ли онъ, на какую высоту становится, какую блестящую славу снискиваетъ, отказываясь отъ своей личной ученой славы. По всей вѣроятности, онъ и не думалъ объ этомъ: онъ былъ челоуѣкъ простой и скромный, не мечтавшій о себѣ, не знавшій самолюбія; надобно даже предполагать, что онъ и не приносилъ тяжелой для гордости жертвы, отказываясь отъ легко исполнимаго при его силахъ стремленія занять почетное мѣсто въ наукѣ капитальными трудами“. (Чернышевскій).

„Въ историкѣ,—говорить гдѣ-то Тэнъ,—есть критикъ, который повѣряетъ факты, ученый, который собираетъ ихъ, философъ, который ихъ поясняетъ; но всѣ они должны быть скрыты за художникомъ, который повѣствуетъ. Они должны только подсказывать ему всѣ его слова, но не говорить сами. Исторія не должна сохранять слѣдовъ ни препирательствъ критики, ни компиляцій ученаго, ни отвлеченностей философа. Отвлеченности, компиляціи, препирательства должны слиться въ одно произведеніе искусства подъ наитіемъ художественнаго воображенія, подобно тому, какъ въ формѣ итальянскаго скульптора серебро, олово, мѣдь и драгоценныя сосуды расплавились, чтобы превратиться въ статую божества... Слѣдовательно, для того, чтобы быть историкомъ, надо быть великимъ писателемъ“.

Примѣняя это опредѣленіе къ Грановскому, приходится сказать прежде всего, что слабѣ всего въ немъ былъ критикъ. Способность къ мелочному анализу отступала на задній планъ предъ способностью къ синтезу; въ магистерскую диссертацию, гдѣ онъ анализировалъ историческія сказанія о Винетѣ, онъ—точно самъ не утерпѣлъ—вставилъ живопис-

ную сагу о набѣгахъ норманновъ. Достаточно цѣльное философское міровоззрѣніе давало ему возможность всегда свободно ориентироваться въ массѣ фактовъ, бывшихъ въ его распоряженіи и не подавлявшихъ его собою (въ этомъ послѣднемъ отношеніи вышеприведенныя слова Кавелина и Чернышевскаго, что Грановскій не былъ „ученымъ“, нуждаются, конечно, въ ограниченіи). „Онъ любилъ,—говорить о Грановскомъ Кудрявцевъ,—слѣдить за человѣкомъ на всѣхъ ступеняхъ его развитія, безъ различія мѣста и времени... Гдѣ только находилось какое нибудь людское общество, тамъ непременно хотѣла присутствовать и неутомимая мысль нашего ученаго. Всемирно-историческій интересъ ко всему человѣческому заставлялъ его слѣдить также за всѣмъ тѣмъ, что дѣлалось и происходило вокругъ него. Современныя общественныя явленія не имѣли между нами болѣе воспріимчиваго органа для себя“.

Въ исторической литературѣ, по словамъ Кудрявцева, онъ дивилъ ближайшихъ учениковъ неистощимостью своихъ знаній. „Въ простой бесѣдѣ съ глазу на глазъ,—разсказываетъ Кудрявцевъ,—открывалось все необыкновенное богатство его литературнаго образованія въ самомъ обширномъ смыслѣ слова. Говоря о другомъ, надобно было бы употребить слово „эрудиція“, но къ нему это выраженіе не идетъ. Собранный имъ посредствомъ чтенія и занятій многихъ лѣтъ литературный запасъ вовсе не походилъ у него на тяжелую ученую арматуру... Въ своихъ урокахъ и историческихъ сочиненіяхъ онъ прямо давалъ готовый результатъ своего обширнаго знакомства съ литературою предмета, не наполняя ихъ множествомъ литературныхъ именъ и заглавій. Внѣшній аппаратъ науки и ея содержаніе сливались у него въ одно цѣлое; мысль его свободно располагала всѣмъ научнымъ матеріаломъ. Словомъ, онъ владѣлъ тайною живого знанія. Кто стоялъ отъ него дальше, тотъ могъ, пожалуй, и не считать его ученымъ; кто же входилъ съ нимъ въ ближайшія сношенія по предметамъ науки, тотъ не могъ довольно надивиться неистощимости его знаній... Относительно литературы предмета, съ нимъ почти равно могли совѣтоваться ученики и товарищи. Не было въ ней довольно темнаго уголка, въ

который бы онъ не успѣлъ заглянуть. Историческія литературы Германіи, Франціи, Англіи были, казалось, въ полномъ его распоряженіи. Какъ бы усиленно ни спѣшили за нимъ, онъ былъ всегда впереди. Въ области науки, которой преимущественно посвящалъ онъ свои занятія, немного находилось новыхъ наблюдений и открытій, которыя были бы для него совершенною нечаянностью. Сколько разъ на извѣщеніе въ этомъ родѣ отвѣчалъ онъ намъ ссылкой на книгу, предложившую первый путь вновь сдѣланному открытію! Повѣрку всегда можно было сдѣлать по его же указанію на полкахъ его библіотеки. Также мало доставалось кому застать неготовымъ его сужденіе. Вѣрный тактъ и твердо установленный образъ мыслей, особенно въ послѣдніе годы жизни, замѣняли ему во многихъ случаяхъ необходимую подготовку* . Въ дополненіе къ этому передаютъ, наприим., что когда Ешевскій, послѣ продолжительныхъ уже специальныхъ занятій по вопросу, выбранному имъ для диссертации, заговорилъ объ этомъ съ Грановскимъ, то послѣдній поразилъ Ешевскаго своимъ знакомствомъ съ вопросомъ и его литературой, своими замѣчаніями о Сидоніи Аполлинаріи. Даже А. Аванасьевъ, крайне нерасположенный къ Грановскому, въ напечатанной части воспоминаній обвиняющій его въ страшной лѣни и неусидчивости и въ томъ, что онъ тратитъ все свое время на попойки, развѣзды и болтовню, допускаетъ, что онъ „много читаетъ“**.

Запаса историческихъ и общественныхъ свѣдѣній было у Грановскаго, такимъ образомъ, всегда достаточно. Но художникъ-поэтъ рѣшительно преобладалъ въ Грановскомъ. Не многіе писатели могутъ равняться съ нимъ въ умѣннѣи образами представлять отвлеченную мысль, въ способности немногими чертами и подробностями возсоздавать цѣлую картину историческаго событія или портретъ исторической личности.

Беремъ наудачу нѣсколько примѣровъ, сравненій и картинъ изъ разныхъ статей Грановскаго. „Къ высокимъ башнямъ господскаго замка робко жмутся бѣдныя, ждущія отъ него защиты и покровительства, хижины виллановъ“ (I, 373).

* Кудрявцевъ, Сочиненія, т. II. Воспоминанія о Грановскомъ, стр. 544—547.

** А. Аванасьевъ: „Московскій университетъ 1843—49 гг.“. „Русск. Стар.“ 1886 г. августъ.

Бѣдная положительнымъ знаніемъ, схоластика „была исполнена вѣры въ силы человѣческаго разума и думала, что истину можно взять съ бою, какъ феодальный замокъ“ (I, 374). Двойственность англиканской церкви, въ которой католицизмъ лишь на половину замѣненъ протестантизмомъ, Грановскій сравниваетъ съ полуготическимъ, полуновымъ зданіемъ. „Свое нравный зодчій не позаботился о единствѣ своего зданія. Зато католицизмъ, какъ привидѣніе, бродитъ въ ущѣлѣвшихъ остаткахъ храма, нѣкогда ему одному посвященнаго“ (II, 268). Или вотъ краткая, но яркая и образная характеристика римскихъ *delatores*, съ подобіями которыхъ приходилось имѣть дѣло и самому Грановскому. Часто среди интеллигентнаго общества Рима „являлись страшныя лица съ циническою улыбкой на губахъ, съ выраженіемъ ненависти и презрѣнія во взорѣ,—тѣ знаменитые обвинители (*delatores*), которыхъ краснорѣчіе стоило жизни лучшимъ гражданамъ Рима. Большею частью это были люди знаменитаго рода, съ замѣчательными талантами, знакомые со всѣми направленіями современной науки и жизни. Они совершали свое дѣло всенародно. Въ полномъ присутствіи сената они произносили великолѣпныя обвинительныя рѣчи, которыхъ обыкновенною темой было неуваженіе къ религіи, оскорбленіе нравственности, отсутствіе патриотизма, и потомъ возвращались снова къ привычкамъ образованнаго, аристократическаго общества: бесѣдовали о поэзіи и философіи, посѣщали публичныя чтенія и разыгрывали роль меценатовъ относительно бѣдныхъ писателей“ (II, 258—259). Эти примѣры одни до нѣкоторой степени могутъ обрисовать „живописующій“ характеръ таланта Грановскаго, такъ опредѣленный Соловьевымъ (Рѣчь на актѣ 1856 г. въ память Грановскаго).

Ученики Грановскаго говорятъ, что въ особенности онъ умѣлъ увлекать слушателей своимъ „яснымъ, образнымъ, антично изящнымъ изложеніемъ“ „въ быстрыхъ художественныхъ очеркахъ цѣлыхъ эпохъ и народовъ“*. „Проходя въ быстромъ очеркѣ темныя и бесплодныя эпохи въ исторіи, умѣлъ онъ сосредоточивать свое вниманіе на лучшихъ пред-

* К. Вестужевъ-Рюминъ: „Биографіи и характеристики“. Спб. 1882, стр. 291.

ставителяхъ духа времени въ каждомъ историческомъ періодѣ, и какими вѣрными полными жизненной силы чертами изображали ихъ предъ внимательною аудиторіею. Когда дѣло шло о великихъ историческихъ дѣятеляхъ, казалось, не медленное слово ученаго, а вѣрный рѣзецъ художника проводилъ ихъ отчетливо-ясные очерки. Оттого глубоко западали они въ воображеніе и не изглаживались послѣдующими разнообразными впечатлѣніями школы и жизни. Оттого, по выходѣ изъ школы, у многихъ рвалась крѣпкая сѣть логически-выведенныхъ понятій, а начертанные имъ образы всецѣло оставались въ мысли* *. Къ сожалѣнію, въ литературномъ наслѣдствѣ Грановскаго сравнительно не много такихъ общихъ очерковъ, но и того, что дошло до насъ, достаточно, чтобы понять, почему могли называть Грановскаго Пушкинымъ исторіи **. Простота и безыскусственность языка, умѣнье избѣгать длинныхъ періодовъ, со стилистической стороны дѣйствительно сближаютъ Грановскаго съ Пушкинымъ, которымъ онъ, какъ мы уже знаемъ, такъ увлекался. Ихъ сближаетъ и умѣнье достигать художественныхъ эффектовъ средствами самыми простыми. Очерки эпохъ даны, между прочимъ, въ „четыре-хъ характеристикахъ“, о которыхъ говорили, что онѣ слишкомъ изящны для ученыхъ рѣчей. Эти очерки являются фономъ картины, на которой рисуется во весь ростъ та или другая историческая личность; и въ характеристикахъ особенно замѣчательно именно это умѣнье сохранить гармонию между временемъ и средою съ одной стороны и изображаемою личностію съ другой; личность не заслонена мертвыми декораціями, а сливается съ ними въ одно живое цѣлое. Если обратимся, напр., къ первой изъ характеристикъ, къ Тимуру, то прежде всего находимъ общій очеркъ смутной исторіи Востока, гдѣ „народы коснѣютъ въ продолженіе вѣковъ въ непробудномъ снѣ“, и въ немъ „имъ видятся странныя грезы, которыя они переносятъ не только въ свою поэзію, но и въ свою исторію“. Въ мірѣ этихъ странныхъ грезъ является загадочная суровая фигура Желѣзнаго Хромца, „ненасытнаго, вѣчно стремяща-

* Кудрявцевъ, соч. II, 543—544.

** Затрудняемся сказать, кому первому принадлежитъ это необычайно удачное сравненіе: оно такъ вошло сразу въ общій оборотъ, что личность автора затерялась.

гося и ничего не достигающаго“. Своеобразно заканчивается краткое описаніе столкновенія Тимура и Баязида — нѣсколькими словами, передающими о встрѣчѣ ихъ послѣ пораженія Баязида. „Есть какое то мрачное и поэтическое величіе въ разсказѣ о свиданіи Тимура съ Баязидомъ. Тимуръ принялъ его, сидя на коврѣ. „Великъ Господь,—сказалъ онъ,—даровавшій полміра мнѣ, хромцу, и полміра тебѣ, больному; ты видишь, какъ мало въ глазахъ Господа земное величіе“. Вся бесѣда ихъ была проникнута скорбью. Тимуръ не ругался надъ падшимъ врагомъ; слова его исполнены грустнаго сочувствія къ судьбѣ побѣжденнаго“. Трудно болѣе просто нарисовать болѣе задушевную художественную картину. Образъ Тимура, „вѣявшаго вѣтромъ разрушенія на враговъ“, рисуется какъ бы подавленнымъ стихійною непонятною разрушительною силой, воплотившейся въ немъ. И „вѣтеръ разрушенія повѣялъ на собственное дѣло и родъ его“; нѣсколькими штрихами Грановскій рисуется ужасъ заустѣнія мѣстъ въ Азіи, гдѣ пронесся этотъ вихрь. И центральное и самое сильное мѣсто этой картины—простыя, нисколько сами по себѣ не выразительныя слова: „Здѣсь прошли монголы“. Секретъ достиженія поразительныхъ живописныхъ эффектовъ у Грановскаго въ томъ, какъ это видно и изъ приведенныхъ нами примѣровъ, что онъ выставляетъ на первый планъ не тѣ или иные виѣшніе признаки предмета разсказа, но то впечатлѣніе, какое предметъ производитъ на него. Въ этомъ вообще тайна живописанія словомъ, какъ объяснено еще Лессингомъ, и Грановскій владелъ ею въ совершенствѣ. И здѣсь же ключъ обаянія его на слушателей. Впечатлѣніе на нихъ бывало тѣмъ сильнѣе, чѣмъ значительнѣе было впечатлѣніе, производимое на самого лектора тѣмъ или другимъ явленіемъ исторіи, а тонкой воспримчивости не занимать было стать Грановскому; личныя его свойства во вліяніи на слушателей играли существеннѣйшую роль, такимъ образомъ, вслѣдствіе самой манеры его изложенія, самаго отношенія къ предмету разсказа.

Это же отчасти объясняетъ, почему Грановскій писалъ такъ мало: систематическій упорный письменный трудъ не всегда идетъ при одномъ и томъ же настроеніи; Грановскій старался писать въ свѣтлую минуту вдохновенія, когда особенно обострена

воспримчивость и впечатлѣнія особенно живы. А такое вдохновеніе приходило къ нему при кабинетной работѣ гораздо рѣже, чѣмъ среди сочувственнаго вниманія чуткихъ слушателей. „Я вообще не умѣю и не желаю писать длинныхъ статей,—говорить онъ въ одномъ письмѣ. — Если не умѣешь сказать въ немногихъ словахъ того, чѣмъ полно сердце, то многорѣчіемъ только разведешь водою собственное чувство. Вотъ моя литературная теорія“. Здѣсь Грановскій самъ говоритъ о чувствѣ, которое стремится передать слушателямъ; не столько о добрыхъ чувствахъ или порывахъ къ свѣту и истинѣ можетъ идти здѣсь рѣчь, сколько о чувствѣ художественномъ, артистическомъ воспріятіи историческихъ явленій. Художественная объективность Грановскаго также сближаетъ его съ Пушкинымъ, и какъ на поклоненіи Пушкину, какъ поэту, сходились люди самыхъ разнообразныхъ взглядовъ и убѣжденій, такъ Грановскій соединялъ около себя иногда ожесточенныхъ противниковъ. Одни соглашались съ содержаніемъ его историческихъ воззрѣній, симпатизировали его убѣжденіямъ, другіе были готовы оспаривать ихъ во всякое время, но тѣ и другіе одинаково были чаруемы, когда Грановскій-художникъ заслонялъ, Грановскаго-ученаго и публициста, какъ было почти всегда и тѣмъ сильнѣе проникали въ слушателей воззрѣнія Грановскаго, чѣмъ изящнѣе была форма ихъ и чѣмъ меньше они выдвигались впередъ. И до сихъ поръ лучшія статьи и рецензіи не утратили той свѣжести, которая заставляла читателей усиленно раскупать номера журналовъ, гдѣ изрѣдка появлялось имя Грановскаго. Наибольшая долговѣчность, конечно, суждена тѣмъ статьямъ, которыя съ одной стороны дали Грановскому возможность развернуть живописующій талантъ свой, съ другой—развить тѣ задушевные, вошедшія въ его плоть и кровь, идеи, которыя мы старались освѣтить и изложить въ настоящей главѣ. Таковы „Четыре характеристики“, статьи объ исторической литературѣ во Франціи и Англии въ 1847 году, статьи о Нибурѣ и др. Въ двухъ томахъ его сочиненій найдется не мало страницъ, которыя отводятъ Грановскому, какъ писателю, почетное мѣсто въ рядахъ русской литературы и которыя, какъ классическія, должны бы стать предметомъ такого же изученія еще со школьной

скамьи, какъ произведенія Пушкина, Гоголя, Лермонтова и другихъ *.

V.

Грановскій въ университетѣ.

Что же представлялъ изъ себя въ это время Московскій университетъ? О положеніи университетской науки вообще въ этотъ періодъ мы уже говорили въ III-й главѣ. Болѣе детальный очеркъ студенческихъ нравовъ и коллегіи профессоровъ необходимъ для пониманія выдающагося, совершенно исключительнаго положенія, которое занялъ въ университетѣ Грановскій.

Попечителемъ съ 1835 по 1848 г. былъ графъ С. Г. Строгановъ. То былъ прежде всего гуманный и просвѣщенный вельможа. Если ему случалось поступать самовластно, то интересы университета все таки были для него всегда на первомъ планѣ. Быстро онъ счумѣлъ такъ поставить университетъ, что и по сю пору время его попечительства — едва ли не самая блестящая эпоха въ жизни этого высшаго учебнаго заведенія. Почти на всѣхъ факультетахъ первенствовали отысканные имъ профессора, учившіеся за границей; блестящій профессорскій персоналъ дѣлалъ университетъ средоточіемъ умственной жизни всей столицы. Къ студентамъ Строгановъ относился съ неизмѣннымъ участіемъ, вѣжливостью образованнаго человѣка, никогда не доводя до крайности общаго тогдашняго формализма, и это особенно цѣнили въ немъ.

Инспекторомъ студентовъ былъ ихъ гроза и любимецъ Платонъ Степановичъ Нахимовъ, братъ синопскаго Нахимова. По воспоминаніямъ студентовъ, этотъ ворчунъ и добрякъ, прозвищемъ Флаконъ Стаканычъ (за нѣкоторое пристрастіе къ рому), представлялъ изъ себя нѣчто вродѣ лермонтовскаго Максима

* Характеристика Людовика IX внесена въ хрестоматію Галахова. Разказы о Карлѣ Великомъ можно найти у Поливанова и др.

Максими́ча. Масса анекдотовъ, иногда чрезвычайно забавныхъ, ходила о немъ. Рассказывали, напр., какъ онъ честнымъ словомъ пригрозилъ исключить какого-то студента, если еще разъ увидитъ его неостриженнымъ, и какъ онъ удиралъ отъ этого студента, чтобы не быть поставленнымъ въ необходимость исполнить обѣщаніе. Университетскій священникъ, проф. богословія, Терновскій какъ то не допустилъ до причастія двухъ студентовъ. Инспекторъ горячо вступился за грѣшниковъ. Долго отговаривался Терновскій, наконецъ сказалъ: „не могу... Иисусъ Христосъ говорить...“ и уже былъ наготовѣ текстъ, какъ Нахимовъ нетерпѣливо и почти съ отчаяніемъ прервалъ его: „Что Иисусъ Христосъ! что графъ то скажетъ?!“ Этотъ аргументъ подѣйствовалъ. — Лучшая похвала и гр. Строганову, и Нахимову (они вмѣстѣ и покинули университетъ) та, что никто не помнитъ, чтобы при нихъ былъ исключенъ какой студентъ или попалъ въ солдаты, что случалось позже *.

Студенческіе нравы носили на себѣ съ одной стороны отпечатокъ всеобщей грубости, обусловленной крѣпостнымъ правомъ. Что видѣла студенческая молодежь въ семьяхъ? „Отецъ бралъ взятки съ живого и мертваго. Для семейства это не было тайною; напротивъ, взяточникъ хвасталъ своими подвигами за самоваромъ, за попойками; получивъ хорошій кушъ, онъ давалъ денегъ на платье, дѣтямъ на жуировку... Другіе видѣли въ дѣтствѣ всѣ ужасы помѣщичьяго права, не только наказаніе, но битые холоповъ изъ одного удовольствія бить; видѣли, какъ помѣщики могли брать въ любовницы любую женщину, а въ случаѣ нужды отдавать мужа въ солдаты или ссылатъ на поселеніе; видѣли не только взятки, но и всякую неправду судей по движенію страсти или въ угоду сильныхъ, или просто пріятелей; видѣли, словомъ, противорѣчіе между общественнымъ бытомъ и тѣмъ, чему ихъ учили въ классахъ катихизиса или философіи...“ (Воспом. кн. Одоевскаго). Грановскій вслѣдствіе этого съ грустью сознавалъ иногда: „между ними есть отличные люди въ полномъ смыслѣ слова и величайшіе негодяи. Иначе и быть не можетъ при пестромъ образованіи нашихъ студен-

* А. Аванасевъ. „Русск. Стар.“ 1886 г., 8.

товъ“ (1840 г., переп. Гран., 402—3). Были еще живы преданія недавняго прошлаго, когда студенты являлись на лекціи въ неопрятныхъ и не совсѣмъ цѣлыхъ костюмахъ, приносили съ собою закуску и водку, нерѣдко школьничали и буйнили, показывая свою удалъ. Въ устахъ многихъ профессоровъ угрозы не только исключеніемъ изъ университета, но и отдачей въ солдаты, были довольно обыкновеннымъ средствомъ для возстановленія нарушенной чѣмъ либо дисциплины.

Съ другой стороны, университетъ въ сороковые годы во всемъ былъ контрастомъ всероссійскому царству пошлости, которое изобразила натуральная школа. „Я помню на университетской скамьѣ ту осмысленную и культурную эпоху, какъ она насъ охватывала и напутствовала въ жизни,—разсказываетъ одинъ изъ современниковъ.—Искреннее уваженіе къ наукѣ господствовало тогда въ стѣнахъ „alma mater“, оставшейся незабвенною до гробовой доски; среди разгула, въ которомъ бушевалъ избытокъ юношескихъ силъ, не требовавшійся ни на какое другое дѣло, въ дымной „Британіи“ безъ умолку раздавался оживленный и серьезный споръ о философскихъ вопросахъ и о крупныхъ литературныхъ и научныхъ явленіяхъ“. „Британія“,—разсказываетъ онъ же,—была своеобразное и не лишенное значенія учрежденіе сороковыхъ годовъ. Это былъ довольно грязный трактиръ, прямо противъ манежа, гдѣ теперь меблированныя комнаты. Въ „Британіи“ въ каждой комнатѣ висѣло росписаніе университетскихъ лекцій; полковые знали характеристику каждаго профессора и по своему толковали о писателяхъ. Во время лекцій тянулась безъ перерыва цѣпь студентовъ, возвращавшихся изъ „Британіи“ въ университетъ или обратно направлявшихся туда; каждый вечеръ далеко за полночь въ „Британіи“ собирались сотни студентовъ. Это была настоящая, ежедневная учено-литературная сходка, на которой, впрочемъ, рѣшались студентами и всѣ до нихъ касающіяся университетскія дѣла. Платонъ Степановичъ официально признавалъ „Британію“ за *status in statu*: онъ посылалъ туда письменныя объявленія о вызовѣ кого либо изъ студентовъ, и отъ казенно-коштнаго студента, оканчивавшаго курсъ и получавшаго при выходѣ опредѣленную сумму на экипировку, требовалъ квитанціи

въ уплатѣ счета въ „Британію“, безъ чего деньги не выдавались. Но никогда ни одинъ субъ-инспекторъ не появлялся въ „Британію“. Какъ то разъ студентъ, сръзавшійся на экзаменѣ и просившій Платона Степаныча уговорить профессора прибавить баллъ, тоже по обычаю увѣрялъ Платона Степаныча, что онъ „все знаетъ“ и только случайно смѣшался и не отвѣтилъ. „Нѣтъ ты ничего не знаешь“,—отвѣчала съ добродушною улыбкой Платонъ Степанычъ.—„Почему же, Платонъ Степановичъ, вы это думаете?“—„Очень ужъ часто ты черезъ проливъ-то плаваешь“. Проливомъ Платонъ Степановичъ называлъ улицу, отдѣлявшую „Британію“ отъ университета. Несмотря на то Платонъ Степановичъ просьбу студента исполнилъ *.

Составъ профессоровъ представлялъ собою почти такое же смѣшеніе, какъ нравы студенчества, то погружавшагося, въ науку или философскіе и эстетическіе споры, то кутившаго и храбро сражавшагося съ полиціей, на что власти смотрѣли сквозь пальцы, лишь бы эти столкновенія свидѣтельствовали объ удали „буршей“, а не объ ихъ „образѣ мыслей“. Профессора разбились какъ бы на двѣ партіи—„старыхъ“ и „молодыхъ“; большинство послѣднихъ получило образованіе за границею, но къ нимъ примыкали и старые годами, тогда какъ къ „старикамъ“ принадлежали и болѣе молодые по лѣтамъ.

Относительно „стариковъ“ можно сказать, что они напоминали порою то уже анекдотическое время Московскаго университета, когда проф. философіи такъ опредѣлялъ скептицизмъ: „мужикъ ведетъ по дорогѣ поросенка, а прохожій, встрѣтивъ его, говорить: полно, такъ ли, не поросенокъ ли ведетъ мужика?—вотъ скептицизмъ“; или проф. зоологіи, перемѣшавъ свои тетрадки, читалъ о зайцѣ, что у него есть грива и когти, а слѣдующую лекцію начиналъ заявленіемъ, что прочитанное на прошлой—надо относить ко льву **. И. И. Давыдовъ и упомянутый уже Терновскій болѣе всего приближались къ этимъ антикамъ. Математикъ, физикъ, философъ, историкъ, словесникъ, Давыдовъ отказался мало по

* „Біографія Кошелева“, II, стр. 57—58. См. также воспоминанія Колюпанова, „Русское Обозр.“ 1895 г., 1—5.

** Воспоминанія А. Аванасьева.

малу отъ всѣхъ идеалистическихъ увлеченій своей молодости. Критикъ, объявлявшій Гоголя на своихъ лекціяхъ писателемъ высоко-безнравственнымъ и неприличнымъ, онъ съ враждою относился къ философскому направленію молодыхъ ученыхъ и являлся на каедрѣ крайнимъ выразителемъ официальной народности, утверждая, наприм., въ „Москвитянинѣ“ въ pendant къ Шевыреву: „въ настоящее время германская современная философія невозможна у насъ по противорѣчію ея нашей народной жизни — религіозной, гражданской и умственной... Святая вѣра наша, мудрые законы, изъ исторической жизни нашей развившіеся въ органическую систему, прекрасный языкъ, дивная исторія славы нашей — вотъ изъ чего должна развиваться наша философія“ *. Въ довершеніе Давыдовъ отличался льстивостью и низкопоклонствомъ, ставившими его въ рядъ профессоровъ, полагающихъ, что почтеніе къ людямъ слѣдуетъ соразмѣрять количествомъ получаемаго ими оклада; одинъ изъ далеко не совсѣмъ неправдоподобныхъ анекдотовъ о немъ передаетъ, будто это свѣтило науки окрестилъ своего сына Сергіемъ и увѣрялъ четырехъ высокопоставленныхъ Сергіевъ (гр. Уварова, гр. Строганова, кн. Голицына и кн. Гагарина), каждому поодионочкѣ, что сдѣлалъ это именно въ честь его **. Другимъ столпомъ стариковъ былъ Терновскій — „грубый, самолюбивый и вполнѣ проникнутый семинарскимъ духомъ пошъ“, — аттестуетъ его Аванасьевъ, далеко не расположенный къ „молодымъ“. Любопытно, какъ онъ объяснялъ нѣкоторые догматы религіи: — „сіе, — говорилъ онъ, — можно доказать изъ разума; но разумъ человѣческій весьма часто погрѣшаетъ, онъ не совершенъ, слабъ и потемняется мірскими суетами и соблазнами, а посему отмечаемъ сей нечистый источникъ. Во-вторыхъ, изъ откровенія“... и т. д. Какъ смотрѣли въ обществѣ на Давыдова и Терновскаго даже такіе люди, какъ славянофилы, вторившіе имъ во многомъ, видно изъ того, что Хомякова однажды огорчилъ похвальный отзывъ ихъ о его статьѣ ***.

* „Ж. и тр. Погодина“, VI, 17.

** Галаховъ: „Сороковые годы“. „Историческій Вѣст.“ 1892 г., 1 и 2.

*** „Ж. и тр. Погодина“, VII, 420.

Два друга, Шевыревъ и Погодинъ, профессора-журналисты, играли также дѣятельную роль среди стариковъ. Профессоръ словесности Шевыревъ привлекалъ сперва студентовъ своимъ цвѣтистымъ краснорѣчіемъ, но скоро—особенно послѣ статей Бѣлинскаго, разъяснившего пустоту этого краснорѣчія,—онъ упалъ въ глазахъ слушателей; многіе ходили посмотрѣть и посмѣяться, какъ чувствительный профессоръ умиляется, вздыхаетъ, закатываетъ глаза,—словомъ, разыгрываетъ свои лекціи, уснащенные анекдотами во вкусѣ разказа-пародіи, будто итальянскія ящерицы помавали головками въ тактъ стихамъ Данта, которые онъ читалъ вслухъ. Извѣстная Е. Ростопчина усадила Шевырева въ свой московскій „Сумасшедшій домъ“, написанный въ подражаніе болѣе извѣстному Воейковскому, и характеристика ея врядъ ли преувеличена:

Вотъ уста, что намъ точили
Медь съ елеемъ пополамъ,
Вотъ тѣ руцы, что кадили
Безразборно всѣмъ властямъ...
Вотъ профессоръ сладкогласный,
Что такъ горько быть гонимъ
Молодежью, столь пристрастной
Къ людямъ, къ мнѣніямъ инымъ.
Очистительною жертвой
Духу вѣка принесенъ,—
Видитъ онъ: теперь ужъ мертво
Все, что чтить, что славилъ онъ ...*
И враги ему студенты,—
И за то онъ имъ постылъ,
Что любить кресты и ленты,
Что метафоры любить.

Погодинъ, какъ профессоръ, былъ противоположною Шевыреву; онъ не расплывался въ метафорахъ, а бросалъ краткія „карноухія, обгрызенныя“ фразы, надъ которыми остроумно смѣялся Герценъ въ пародіи „Путевыя замѣтки г. Ведрина“. К. Бестужевъ-Рюминъ, слушатель Погодина, относящійся къ нему, какъ къ изслѣдователю, съ полнымъ уваженіемъ, справедливо указываетъ, что Погодинъ былъ на ка-

* Писано въ 1858 году.

одрѣ защитникомъ „инстинктивныхъ воззрѣній“, какія давались тогдашнею, общественною и умственною жизнью, крайне скудною *. Русская исторія, по скольку она не разбивалась на отдѣльныя изслѣдованія, замѣчанія и лекціи о частныхъ фактахъ, стала у Погодина предметомъ благоговѣйнаго и какого то квасного наивнаго обожествленія. Этотъ „историческій мистицизмъ“, нынѣ считаемый приличнымъ только въ грубоватыхъ издѣліяхъ „для народнаго чтенія“ и начальнаго обученія, живо обрисованъ у П. Милюкова **. „Исторіей всякаго народа руководитъ Провидѣніе, но русскою въ особенности. Какъ велики въ самомъ дѣлѣ отличающія ее „достоинства“. „Ни одна исторія не заключаетъ въ себѣ столько чудеснаго“. Скольку случайныхъ событій „долженствовали въ ней быть непремѣнно, чтобы російская исторія получила тотъ видъ и характеръ, какой она имѣетъ“. „А какъ велика Россія! Скольку въ ней населенія! Какъ она разноплеменна! Скольку въ ней природныхъ богатствъ! Наконецъ, „что есть невозможнаго для русскаго государства?“ „Одно слово, и цѣлая имперія не существуетъ, одно слово—стерта съ лица земли другая!“ и т. д. Наконецъ, по выраженію Соловьева, Погодинъ возвелъ російскую исторію въ санъ „охранительницы и блюстительницы общественнаго спокойствія“. Но въ защитѣ официальной народности, которая и была выраженіемъ косной общественной мысли, этотъ „умный и плутоватый мужикъ“, какъ мѣтко называетъ его Никитенко, обладалъ по крайней мѣрѣ здравымъ смысломъ, иной разъ сдерживалъ черезчуръ обскурантныя выходки. Шевырева и умѣлъ ладить съ людьми. Впрочемъ, профессоромъ Погодинъ былъ только до 1844 года.

Не говоря уже объ этихъ представителяхъ общественнаго застоя, приходится указать, что въ атмосферѣ ихъ и съ молодыми профессорами, побывавшими за границую, случались метаморфозы. Такъ, профессоръ С. Баршевъ, криминалистъ, ученикъ Савиньи и Риттера, „изъ соображеній челоувѣолюбія“, защищалъ съ кафедры розгу и плеть, подобно своему

* „Биографіи и характеристики“, стр. 242.

** П. Милюковъ, „Главныя теченія русск. истор. мысли“, т. I. Москва, 1898, стр. 365 и слѣд.

брату Якову, петербургскому профессору, осмѣянному Щедринымъ *. Онъ вернулся изъ за границы въ 1834 г. вмѣстѣ съ Рѣдкинымъ, Невוליнымъ, Калмыковымъ, Никитою Крыловымъ и друг., и горделиво заявлялъ о себѣ: „русская криминалистика представляетъ собою пустынное поле, на которомъ выросли два роскошныхъ цвѣтка: я и мой братъ Яковъ (петербургскій профессор)“. Онъ беззащитно проповѣдовалъ: „Безъ преувеличенія можно утверждать, что еслибы, по примѣру французскаго законодательства, тѣлесныя наказанія были замѣнены и въ другихъ государствахъ лишеніемъ свободы, то большая часть низшаго класса народа едва ли бы была довольна этимъ замѣномъ“. „Лица же, принадлежащія къ высшимъ сословіямъ, должны быть освобождены отъ

* „Когда я былъ въ школь,—пишетъ Салтыковъ,—то въ нашемъ уголовномъ законодательствѣ (до 1845 г.) еще весьма часто упоминалось слово „кнутъ“... Профессоръ уголовного права такъ или иначе долженъ былъ встрѣтиться съ нимъ на кафедрѣ. И что же?—выискался профессоръ, который не только не проглотилъ этого слова, не только не подавился имъ въ виду десятковъ юношей, внимавшихъ ему, не только не выразился хоть такъ, что какъ дескать ни печально такое орудіе, но при извѣстныхъ формахъ общечитія представляется затруднительнымъ обойти его,—а прямо и внятно повѣствоваль, что кнутъ есть одна изъ формъ, въ которыхъ идея правды и справедливости находятъ себѣ наиболѣе приличное осуществленіе. Мало того, онъ утверждалъ, что самая злая воля преступника требуетъ себѣ воздаянія именно въ видѣ кнута и что не будь этого воздаянія, она могла бы счесть себя неудовлетворенною. Но прошло немного времени, курсъ уголовщины не былъ еще законченъ, какъ вдругъ, передъ самыми экзаменами, кнутъ отрѣшили и замѣнили трехвостною плетью, съ соответствующимъ убоженіемъ съ точки зрѣнія числа ударовъ. Я помню, что насъ, молодыхъ школяровъ, чрезвычайно интересовало, какъ то вывернется старый буквоедъ изъ этой неожиданности. Пролетѣ ли онъ слезу на могилѣ кнута или воткнетъ осиновый колъ. Оказалось, что онъ воткнулъ осиновый колъ. Цѣлую лекцію сквернословилъ онъ передъ нами, какъ скорбѣла высшая идея правды и справедливости, когда она осуществлялась въ формѣ кнута, и какъ ликуетъ она теперь, когда, съ изволенія высшаго начальства, ей предоставлено осуществляться въ формѣ трехвостной плети съ соответствующимъ убоженіемъ! Онъ говорилъ—и его не тошнило, а мы слушали, и насъ тоже не тошнило! Я не знаю, какъ потомъ справился этотъ профессоръ, когда тѣлесныя наказанія были совсѣмъ устранены изъ уголовного кодекса, но думаю, что онъ и тутъ вышелъ сухъ изъ воды (быть можетъ ловкій старикъ внутренно посмѣивался, что, какъ, молъ, ни вертись, а тумакъ и митрогнозія все таки остаются въ прежней силѣ). Кто же, однако, броситъ въ него камень за выказанную имъ научную сноровистость? Развѣ отъ него требовалось, чтобъ онъ стоялъ на дорогѣ со свѣточемъ въ рукахъ? Нѣтъ, отъ него требовалось одно: чтобъ онъ подыскалъ обстановку для истины, уже отвержденной и официально признанной таковою, и потомъ, за эту послугу, чтобъ получалъ присвоенное по штатамъ содержаніе“. („За рубезомъ“, глава II).

тѣлесныхъ наказаній“. И свой гимнъ—разомъ всѣмъ властямъ земнымъ—почтенный представитель европейской науки пересыпалъ анекдотами вродѣ того, который неизмѣнно приводился имъ, когда шла рѣчь объ уликахъ: „Напримѣръ, коли въ подворотню вечерней порой, въ глухомъ переулкѣ, лѣзеть мужиченко въ дырявомъ зипунишкѣ,—какъ думаешь, зачѣмъ онъ туда лѣзетъ?—ясное дѣло, что мужиченко затѣялъ украсть бѣлье, развѣшенное на дворѣ для сушки. Ну, а коли въ ту же самую подворотню, такую же вечернею порой, полѣзетъ генераль со звѣздою и въ лентѣ черезъ плечо? Заподозришь ли сего генерала въ покушеніи на кражу вышеозначеннаго бѣлья, развѣшеннаго для сушки?—Отнюдь нѣтъ, а очевидно, что у его превосходительства завелися здѣсь любовныя пашни“ *.

Европейская наука была въ это время, какъ мы уже знаемъ, подъ рѣшительнымъ вліяніемъ гегелевской философіи. „Діалектическимъ построеніемъ,—говоритъ въ „Быломъ и думахъ“ Герценъ,—пробовали тогда рѣшить историческіе вопросы современности; это было невозможно, но привело факты къ болѣе свѣтлomu сознанию. Наши профессора привезли съ собою эти завѣтныя мечты, горячую вѣру въ науку и людей; они сохранили весь пылъ юности, и кафедры для нихъ были свѣтлыми наоями, съ которыхъ они были призваны благовѣстити истину; они являлись въ аудиторію не цеховыми учеными, а миссіонерами человѣческой религіи“. Замѣчательнѣйшими изъ нихъ были П. Г. Рѣдкинъ, Никита Крыловъ, Д. Л. Крюковъ. Рѣдкинъ, гегеліанецъ, своими лекціями энциклопедіи законовѣднія увлекалъ слушателей до того, что среди нихъ проявлялся настоящій культъ Рѣдкина, какъ то было съ К. Д. Кавелинымъ. „Несмотря на явную искусственность и однообразіе системы,—вспоминаетъ Аванасьевъ,—лекціи Рѣдкина намъ, первокурсникамъ, явившимся изъ гимназіи и изъ родительскихъ домовъ съ малоразвитыми головами, оказали въ своемъ родѣ пользу... Лекціи Рѣдкина о разныхъ формахъ правленія, о значеніи и формахъ конституціоннаго устройства были и живы, и либеральны. Этимъ послѣднимъ качествомъ (либерализмомъ) отличались, впрочемъ, всѣ его лекціи, и это то особенно располагало насъ въ его

* Словарь Венгерова, т. II.

пользу“, хоть онъ и былъ формалистъ большой руки въ ежедневныхъ сношеніяхъ со студентами. Н. И. Крыловъ, читавшій римское право и умѣвшій оживлять этотъ „сухой“ предметъ, многими, — передаетъ тотъ же слушатель, — „по справедливости признавался за лучшаго профессора; онъ мастерски умѣлъ выяснять смыслъ юридическихъ понятій... Мы любили слушать его лекціи и онѣ были весьма полезны для развитія нашего мышленія“. Новы еще и неслыханны были для того времени требованія съ его стороны для юриста широкаго энциклопедическаго образованія и умственнаго развитія. Не меньшею симпатіей пользовался и рано умершій Д. Крюковъ, предшественникъ Грановскаго по кафедрѣ средней исторіи, читавшій потомъ древнюю. Онъ даже соперничалъ съ Грановскимъ по популярности. „Незабвенный для своихъ слушателей, онъ едва извѣстенъ публикѣ, — вспоминаетъ о немъ его ученикъ: — два-три его печатныя сочиненія не могутъ дать полнаго понятія о Крюковѣ, хотя и свидѣтельствуютъ о его высокихъ дарованіяхъ. Самая наружность Крюкова была необыкновенна и прекрасна: огромное, высокое чело, почти все обнаженное, свидѣтельствовало о необыкновенной силѣ его способностей, а молодое, почти юношеское лицо, эти тонкія, женственно-нѣжныя уста и очаровательная улыбка съ перваго же раза симпатически дѣйствовали на слушателя. Вся фигура его носила на себѣ печать какого то особаго изящества. Когда онъ всходилъ на кафедру, глаза всѣхъ невольно останавливались на его прекрасной фізіономіи. Лекціи свои (римская литература и древности) онъ читалъ по тетрадкѣ, — языкомъ, занимавшимъ средину между литературнымъ и разговорнымъ. Голосъ его былъ громкій и пріятный, произношеніе изящное и щеголеватое“ *.

Одни и тѣ же стремленія соединяли молодыхъ профессоровъ противъ затаеннаго нерасположенія стариковъ къ нимъ; глухая вражда и борьба была между обѣими сторонами и закончилась въ глазахъ общества побѣдою молодыхъ. Нѣтъ надобности разбираться въ мелочныхъ столкновеніяхъ и интригахъ, которыя испортили не мало крови и Грановскому, когда онъ примкнулъ, конечно къ молодымъ профессорамъ.

* „Русское Обозр.“ 1893 г., февраль.

„Между нашими старыми профессорами, — жаловался онъ въ самомъ началѣ своей профессуры, — есть такіе, которые считаютъ своею обязанностью вредить всякому молодому человеку, начинающему поприще, не домогаясь ихъ покровительства или, по крайней мѣрѣ, ихъ дружбы. А какъ я не нуждаюсь ни въ томъ, ни въ другомъ, то долженъ быть всегда насторожѣ, иначе я во всякую минуту могу навлечь на себя непріятности. Кромѣ того, есть много другихъ неудобствъ въ нашемъ положеніи“... * Все это, конечно, заставляло ихъ тѣмъ сильнѣе сближаться другъ съ другомъ. Изъ профессорскаго кружка, Грановскій ближе всего сошелся съ Крюковымъ и Рѣдкинымъ. Послѣдній давалъ Грановскому совѣты по службѣ, безъ которыхъ, признавался Грановскій, у него было бы еще болѣе враговъ, чѣмъ сколько онъ ихъ имѣлъ уже. „Съ этими двумя я дружень; съ прочими хорошъ, — писалъ онъ Станкевичу 26-го ноября 1839 г. — Изъ стариковъ мнѣ болѣе всего понравились Каченовскій и Перевощиковъ **, которые въ свою очередь хороши ко мнѣ... Съ Давыдовымъ, Погодинымъ и проч. на тонкой галантерейности“. Упоминаемый здѣсь Каченовскій, извѣстный въ русской исторіографіи, какъ глава скептической школы и какъ издатель „Вѣстника Европы“, пользовался лично уваженіемъ Грановскаго, но какъ профессоръ исторіи онъ былъ въ то время уже едва ли полезенъ. Онъ до того состарѣлся, по разсказу Ю. О. Самарина, что „не былъ въ состояніи прочесть о чемъ бы то ни было лекціи для слушателей своихъ; онъ читалъ про себя, надъ развернутою книгой, горячо спорилъ съ авторомъ ея, бранилъ его, одобрялъ, улыбался ему,

* Переписка Гр., 182.

** Ректоръ, проф. астрономіи и математики; онъ цѣнилъ литературу и ея дѣятелей. Между прочимъ, ему принадлежитъ мѣткое прозвище „птичьимъ“ вычурнаго ломанаго языка, которымъ писали молодые литераторы-гегелианцы. Въ этомъ же письмѣ Грановскій разсказываетъ о чудаконатомъ Перевощиковѣ забавный анекдотъ. Страстный поклонникъ Шекспира, знавшій его въ подлинникъ и наизусть по русскимъ переводамъ, на представленіи „Гамлета“ (очевидно съ Мочаловымъ въ главной роли), Перевощиковъ неистовыми аплодисментами обезпокоилъ въ сосѣдней ложѣ какихъ то аристократическихъ дамъ, одна изъ которыхъ сказала довольно громко: „est-il fou, cet homme?“ — „Сама глупая-съ баба-съ; ничего-съ не понимаетъ; бездушница-съ“, — отвѣчала онъ весьма спокойно. „Да-съ, благородный-съ товарищъ“, — говорилъ Перевощиковъ о Грановскомъ.

но о чемъ трактовала книга, что правилось или не правилось профессору,—все это для насъ оставалось тайною“. Что касается Погодина, представлявшаго какую-то странную амальгаму низкопоклонства и самостоятельности, мелочности и благородства, то „тонкая галантерейность“ смѣнилась болѣе простыми отношеніями. Въ біографіи Погодина, составляемой г. Барсуковымъ, упоминается, что Грановскій позднѣе выражалъ передъ нимъ свое горе по поводу кончины Станкевича.—Какъ бы то ни было, положеніе молодыхъ профессоръ вообще и Грановскаго въ частности весьма часто было въ университетѣ довольно щекотливо. „Пользуясь отсутствіемъ графа (Строганова),—въ 1840 г. пишетъ Грановскій,—мнѣ надѣлали пропасть гадостей: недоплатили за нѣсколько мѣсяцевъ жалованья, не позволяютъ держать экзамена на доктора и проч. Между тѣмъ, я заваленъ университетскою работою... Утѣшительно было встрѣтить участіе въ студентахъ: они просили меня „беречь себя для нихъ“. Съ Давыдовымъ у меня довольно явный разладъ... Меня или выгонять, или я настою на своемъ... Боюсь одного — не выдержать. Въ минуту досады скажу глупое слово и — прощай мои надежды!“ *

„Молодая партія“ неволью держалась вмѣстѣ, и, если не хотѣла съ волками по-волчьи выть, должна была искать себѣ поддержки въ обществѣ, создавать ее.

Однако внѣ профессорскаго круга была масса общества, „къ добру и злу постыдно-равнодушная“. Первое впечатлѣніе, какое оно произвело на Грановскаго, когда онъ немного осмотрѣлся въ Москвѣ, было, конечно, не очень благопріятно. И хотя его тщеславію и могло бы польстить то обстоятельство, что о немъ въ столицѣ скоро стали говорить какъ о многообъщающемъ преподавателѣ, это мало утѣшало его. Черезъ четыре мѣсяца послѣ начала своего профессорства Грановскій писалъ Фроловымъ (1 января 1840 г.): „Въ здѣшнемъ хорошемъ обществѣ теперь мода на ученость, дамы говорятъ объ исторіи и философіи съ цитатами, а такъ какъ я слышу очень ученымъ человѣкомъ, то и получаю часть приглашеній, за которыя благодарю, оправдываясь занятіями.

* Переписка Гран., 379—381.

Недавно мнѣ предложили читать курсъ исторіи для дамъ. Я отказался такъ, что впередъ не предлагать. У меня нѣтъ вовсе охоты разгонять скуку и забавлять праздность этого народа“. „Окружающее меня здѣсь не радостно. Въ университетѣ у насъ есть движеніе, жизнь, но въ этой жизни есть что-то искусственное. Студенты занимаются хорошо, пока не кончили курса; по выходѣ изъ университета, лучшіе изъ нихъ, тѣ, которые подавали наиболѣе надеждъ, пошлѣютъ и теряютъ участіе къ наукѣ и ко всему, что выходитъ изъ круга, такъ называемыхъ, положительныхъ интересовъ. Ихъ губятъ матеріализмъ и безнравственное равнодушіе нашего общества. Вотъ почему университетская жизнь кажется мнѣ искусственною, оторванною отъ остального русскаго быта“. „Общество, — пишетъ Грановскій, — скучаетъ отчаянно, потому что въ немъ отсутствуетъ всякое умственное движеніе, всякій живой интересъ, и всѣми силами старается скрыть эту скуку. Право, не понимаю, какъ эти люди не пропадаютъ съ тоски“. (Переписка, 187. 24 сентября 1840 г.).

Желаніе приблизить науку къ жизни было общее и Грановскому, и его товарищамъ-друзьямъ. Не удивительно, что въ университетѣ со стороны студентовъ они стали предметомъ горячихъ симпатій: очень ужъ непривлекательны были даже для невзыскательнаго еще вкуса тогдашней русской молодежи и эти Давыдовы, и Шевыревы съ Баршевыми, и такія развалины, какъ Каченовскій; слишкомъ ужъ великъ былъ контрастъ между ними и порывистымъ молодымъ увлеченіемъ ученыхъ, сообщавшихъ послѣднее слово западно-европейской науки со страстною вѣрой въ него, въ его просвѣтительное вліяніе. Не удивительно, что выдвинулся и Грановскій. Мы знакомы уже съ содержаніемъ его историческихъ воззрѣній, которыя тѣсно слиты были со всѣмъ его міросозерцаніемъ. Во всѣхъ отношеніяхъ оно рѣзко расходилось съ рутинною официальною народностью, пышно заявлявшею о себѣ съ нѣсколькихъ кафедръ. Въ сдержанной, спокойной рѣчи Грановскаго слышалось нѣчто для молодежи новое и живое. Только что пробуждавшіеся умы съ жадностью были готовы прилѣпиться всею душой къ новымъ идеаламъ, которые обѣщали въ прекрасномъ будущемъ что-то совсѣмъ необычное, нисколько не похожее

на тогдашнюю жизнь; а она не выдерживала—въ глазахъ желавшихъ видѣть—самой снисходительной критики...

Совершенно исключительный ораторскій художественный талантъ Грановскаго выдвинулъ его на первый планъ изъ среды молодыхъ профессоровъ.

„Чуждый односторонности и исключительности, Грановскій былъ не столько ученымъ и педагогомъ, сколько художникомъ на кафедрѣ. Дѣйствіе его на слушателей и окружающихъ объясняется не строгой послѣдовательностью ученой аргументаціи, а тайною непосредственной убѣдительности самого изящнаго, глубоко-прочувствованнаго изложенія“ *.

Говоря о художественной манерѣ изложенія Грановскаго, насколько она отразилась въ его статьяхъ, мы сказали, что основная особенность ея, объясняющая живописность ея,—та, что Грановскій рисуетъ не столько самый предметъ, сколько впечатлѣніе, производимое имъ, т. е. онъ дѣйствуетъ не исключительно на умъ, но старается вызвать въ читателѣ,—или слушателѣ, все равно,—тѣ же эмоціи, какія испытывалъ самъ. Рѣдкая способность передавать эти эмоціи немедленно—даже взоромъ, переливами голоса—главный элементъ ораторскаго успѣха Грановскаго: продуманныя убѣжденія и способность переживать эмоціи, самыя разнообразныя и тонкія, имѣли для литературнаго успѣха то же значеніе, что и для ораторскаго. „Что такое даръ слова? Краснорѣчіе?—писалъ Грановскій:—у меня есть оно, потому что у меня есть теплая душа и убѣжденія“. Въ сущности подъ „теплою душой“ только и можно разумѣть развитую способность къ воспринятію и передачѣ разнообразныхъ эмоцій. Различіе между ораторами при этомъ то же, что между актерами, изъ которыхъ одни играютъ, говоря театральнымъ жаргономъ, „нутромъ“, тогда какъ другіе берутъ „выучкою“; первые дѣйствительно переживаютъ изображаемыя ими эмоціи, вторые передаютъ лишь внѣшніе признаки ихъ. Грановскаго приходится сравнить съ первою категоріей актеровъ. Обаяніе его зависѣло отъ того, что онъ жилъ на кафедрѣ, а не читалъ лекціи, — жилъ въ томъ же смыслѣ слова, какой прилагается къ игрѣ актера.

* К. Д. Кавелинъ. „Вѣстн. Евр.“ 1866, IV, лит. хрон. рецензія на второе изданіе соч. Грановскаго.

Въ одномъ изъ писемъ онъ говоритъ о нервномъ изнеможеніи, какое чувствуетъ послѣ лекцій*.

Сравненіе Грановскаго съ актеромъ, играющимъ преимущественно подъ наплывомъ вдохновенія, находитъ себѣ косвенное подтвержденіе въ той параллели, которую проводилъ С. М. Соловьевъ между Грановскимъ и Крюковымъ. Эта параллель чрезвычайно похожа на ту, какую не разъ проводили между Мочаловымъ и Каратыгинымъ, причемъ Грановскаго надо сравнивать съ Мочаловымъ, а Крюкова—съ Каратыгинымъ. „Между талантомъ Крюкова и талантомъ Грановскаго такая же большая разница, какъ и между ихъ наружностью: Крюковъ имѣлъ чисто великороссійскую фізіономію, круглое, полное лицо, бѣлый цвѣтъ кожи, свѣтлорусые волосы, свѣтлокаріе глаза; талантъ его болѣе поражалъ съ виѣшной стороны, поражалъ музыкальностью голоса, изящною обработкой рѣчи; къ нему какъ нельзя болѣе шло прилагательное *elegantissimus*, какъ мы, студенты, его величали; но при этой эlegantности, въ щегольствѣ, въ немъ самомъ, въ его рѣчи, чтеніяхъ было что то холодное; его рѣчь производила впечатлѣніе, какое производитъ художественное изваяніе. Грановскій имѣлъ малороссійскую южную фізіономію; необыкновенная красота его производила сильное впечатлѣніе не на однихъ женщинъ, но и на мужчинъ. Грановскій своей наружностью всего лучше доказываетъ, что красота есть завидный даръ, много помогающій человѣку въ жизни. Онъ имѣлъ смуглую кожу, длинные черные волосы, черные, огненные, глубоко смотрящіе глаза. Онъ не могъ, подобно Крюкову, похвастать виѣшной изящностью своей рѣчи: онъ говорилъ очень тихо, требовалъ напряженнаго вниманія, заикался, глоталъ слова; но виѣшніе недостатки исчезали передъ внутренними достоинствами рѣчи, передъ внутреннею силой и теплотой, которыя давали жизнь историческимъ лицамъ и событіямъ и приковывали вниманіе слушателей къ этимъ живымъ, превосходно очерченнымъ лицамъ и событіямъ. Если изложеніе Крюкова производило впечатлѣніе, которое производятъ изящныя изваянія, то изложеніе Грановскаго можно сравнить съ изящною картиной, которая дышетъ тепломъ, гдѣ всѣ фігуры ярко расцвѣчены, дышатъ,

* Переписка Гран., 367.

дѣйствуютъ передъ вами. И въ общественной жизни между этими двумя людьми замѣчалось то же различіе: оба были благородные люди, превосходные товарищи; но Крюковъ могъ внушать къ себѣ только большое уваженіе, не внушая сильной сердечной привязанности, ибо въ немъ было что то холодное, сдерживающее; въ Грановскомъ же была неотразимая притягательная сила, которая собирала около него многочисленную семью молодыхъ и немолодыхъ людей, но что всего важнѣе — людей порядочныхъ, ибо съ увѣренностью можно сказать, что тотъ, кто былъ врагомъ Грановскаго, любилъ отзываться о немъ дурно, былъ человекъ дурной“ *.

На кафедрѣ Грановскій никогда не читалъ по запискамъ, но всегда импровизировалъ; вдохновеніе неизмѣнно приходило къ нему, когда его окружала густая толпа студентовъ. По возвращеніи изъ за границы онъ началъ лекціи по средней исторіи 12-го сентября 1839 г. Дебютъ его не былъ удаченъ. „На первой лекціи, — рассказываетъ онъ Станкевичу, — я посрамился наигнуснѣйшимъ образомъ. А дѣло происходило вотъ какъ: отведенъ былъ для дебюта большой залъ, гдѣ бывають акты. Залъ этотъ ужасно дурно устроенъ: въ немъ исчезаетъ голосъ И. И. Давыдова; что же должно быть съ моимъ? Я пришелъ въ университетъ очень смѣло, пріѣхалъ Голохвастовъ и мы отправились. Вхожу, — вижу, сидятъ болѣе 200 студентовъ (у меня постоянныхъ слушателей 210) и много иныхъ особъ. Струсилъ до крайности, въ глазахъ потемнѣло и не могу найти кафедръ. Безъ шутокъ. Голохвастовъ тщетно дѣлалъ благородные жесты правою рукою — не тутъ то было. Пропали проклятыя ступени на кафедрѣ. Хоть убей не вижу. Наконецъ, Крыловъ сжалился и далъ мнѣ толчка сзади, такъ что я съ закрытыми глазами вскочилъ на мѣсто. Публика должно быть улыбалась. Мысль, что, открывъ глаза, я встрѣчу эту улыбку, заставила меня читать слѣпо, т. е. я скороговоркою и почти шепотомъ пробормоталъ, что могъ припомнить изъ написаннаго (написана была пошлость), черезъ четверть часа раскланялся и

* Лекція П. Г. Виноградова о Грановскомъ. „Р. М.“ 1893, апрѣль. — „Рус. Вѣст.“ 1896 г., февраль. Записки С. Соловьева

ушелъ. Мнѣ дали другую аудиторію. На слѣдующей лекціи я уже былъ спокоенъ, теперь свыкъ совершенно“.

Очень скоро онъ приобрѣлъ полное сочувствіе слушателей, заставилъ ихъ забыть такіе недостатки, какъ слабый голосъ, нѣкоторую шепелявость и робость, охватывавшую его, когда онъ входилъ на кафедру. „Мнѣ весело, признаюсь, братъ,—писалъ онъ Станкевичу,—смотрѣть на студентовъ, сидящихъ на ступеняхъ моей кафедры или на стульяхъ кругомъ, чтобы лучше слышать и записывать“. Въ одномъ письмѣ онъ такъ шутливо рассказываетъ о своихъ успѣхахъ: „Я сдѣлался наглымъ почти настолько, насколько былъ тогда робокъ. Я рассказываю съ величайшимъ спокойствіемъ все, что мнѣ приходитъ въ голову; я порочу людей, которые были во сто разъ лучше меня,—словомъ, даю понять моимъ слушателямъ, что всѣ ученые, древніе и новые, знали очень мало, за исключеніемъ, можетъ быть, одного, котораго я не желаю называть изъ скромности. Все это я говорю, не краснѣя. Это—лучшій способъ составить себѣ репутацію въ этомъ мірѣ. Но не шутя, любезная кузина, я удивляюсь самъ смѣлости, приобрѣтенной мною въ такое короткое время“* (28 сент. 1839).

Тѣсная дружеская связь установилась между профессоромъ и студентами въ первый же годъ чтеній. Окончивъ весною 1840 г. свой первый курсъ, Грановскій обратился къ студентамъ, чтобы сказать нѣсколько заранѣе приготовленныхъ заключительныхъ словъ, но въ невольномъ волненіи могъ только поблагодарить за вниманіе, поклонился и вышелъ изъ аудиторіи. Студенты тоже были растроганы у многихъ были слезы на глазахъ, иные приходили благодарить Грановскаго за наслажденіе, доставленное имъ его курсомъ; приглашали его на студенческой обѣдъ, но Грановскій уклонился во избѣжаніе столкновеній съ начальствомъ.

Лучшимъ выраженіемъ ихъ признательности была, конечно, всегда полная аудиторія, благоговѣйное молчаніе, царившее на его лекціяхъ, когда тихимъ голосомъ, въ сдержанномъ волненіи, онъ „живописалъ“ цѣлыя эпохи, портреты историческихъ дѣятелей. Случалось въ такія минуты, что

* Переписка Гран., стр. 365—366, 180.

слушатели забывали перья и карандаши и лишь слушали, вмѣсто того, чтобы записывать. И вообще слушателю, записывающему слово въ слово чтеніе преподавателя, — какъ объ этомъ согласно говорятъ воспоминанія о Грановскомъ, — казалось послѣ, когда онъ перечитывалъ записанное, что что то пропущено, что то исчезло: общее впечатлѣніе, тонъ, самый изящный образъ лектора оставались неуловимы, какъ неуловима вдохновенная игра гениальнаго актера. Но тѣ положительныя идеалы жизни и дѣятельности, которые звучали въ рѣчи Грановскаго, звучали явственно и понятно, и тѣмъ сильнѣе дѣйствовали на умы слушателей, чѣмъ болѣе они были увлечены художественною формою его рѣчи, чѣмъ сильнѣе было затронуто ихъ нравственное чувство, затронуто не отвлеченными разсужденіями о нравственности или моральными поученіями, но живымъ участіемъ самого лектора къ дѣйствительной жизни и къ живымъ людямъ.

„У всѣхъ насъ въ свѣжей памяти увлекательная и въ то же время исполненная достоинства рѣчь профессора, въ которой онъ передавалъ намъ свои историческіе уроки, — вспоминалъ впослѣдствіи Кудрявцевъ: — въ ней заключалась тайна перваго очарованія для молодыхъ его слушателей. Онъ умѣлъ говорить ея лучшимъ, благороднѣйшимъ человѣческимъ чувствомъ; онъ дѣйствовалъ на свою аудиторію симпатически. Громкимъ и пышнымъ фразамъ не находилось мѣста въ его рѣчи; не пренебрегая живописнымъ выраженіемъ, онъ любилъ преимущественно вѣрное и мѣткое слово. И оно удавалось ему какъ нельзя болѣе. Всѣ ученики его согласны въ томъ, что фраза его отличалась удивительною законченностью и легко укладывалась въ памяти, не нуждаясь въ повтореніи. Но тайна производимаго имъ дѣйствія заключалась не въ одной художественности рѣчи: всякій, слышавшій его на кафедрѣ, выносилъ съ собою какое то новое возбужденіе къ лучшему, всякій располагался къ добру съ большею душевною силою. Въ отвѣтъ на его рѣчь отзывались въ душѣ каждаго самыя чистыя инстинкты человѣческой природы, и это было не только дѣйствіе его изящнаго слова, но и того глубокаго сочувствія, котораго самъ онъ исполненъ былъ ко всѣмъ великимъ явленіямъ исторической жизни.

Рѣдкій историческій урокъ не переходилъ у него въ живое созерцаніе минувшихъ дѣлъ и событій. Ихъ поэзія всегда находила въ немъ готовый органъ себѣ. При великомъ историческомъ имени воодушевленіемъ загорались глаза его, и въ самомъ его голосѣ, тихомъ и въ тоже время необыкновенно благозвучномъ, всегда находились струны, которыя мгновенно передавали другимъ каждое движеніе его благородной души. Обаяніе было тѣмъ выше и полнѣе, что дѣйствовало не на одну только умственную сторону слушателя, но на все его нравственное существо. Кто не вовсе лишень былъ воспріимчивости, тотъ не могъ противиться обаятельному дѣйствию симпатической рѣчи профессора“ *.

Считаемъ нужнымъ въ особенности указать на послѣднюю черту чтеній Грановскаго. Его лекціи имѣли извѣстное воспитательное значеніе какъ по содержанію его идеаловъ, указанному нами въ предыдущей главѣ, такъ и по тому, что онъ всегда подчеркивалъ тѣсную связь, какая должна быть между наукой и жизнью, и участіе къ жизни пробуждалъ личнымъ своимъ участіемъ къ ней, тѣмъ свойствомъ, которое можно назвать гуманностью не въ расплывчатомъ только туманномъ значеніи этого слова. Одинъ изъ своихъ курсовъ онъ закончилъ слѣдующими обращенными къ студентамъ словами: „Не для однихъ разговоровъ въ гостиныхъ, можетъ быть умныхъ, но бесполезныхъ, предназначаетесь вы, а для того, чтобы быть полезными гражданами и дѣятельными членами общества. Возбужденіе къ практической дѣятельности— вотъ назначеніе исторіи. Она избавитъ насъ отъ пристрастія къ прошедшему, отъ надеждъ на будущее. Позвольте мнѣ пожелать, чтобы вы избрали на всю жизнь девизомъ слова Ульриха фонъ-Гуттена: „наука пробуждается, умъ свободенъ, весело жить“,— весело не во имя тѣхъ удовольствій, которыя доставляетъ жизнь, а во имя науки и труда“ **. „При просмотрѣ отрывочныхъ студенческихъ записей,—указываетъ проф. Виноградовъ,—особенно поражаетъ простота плана, отсутствіе изысканныхъ эффектовъ, обстоятельность и добросовѣстность, съ какою лекторъ касается всего существеннаго.

* П. Н. Кудрявцевъ „Воспом. о Т. Н. Г.“ Соч., т II, стр. 542.

** „Русское Обозрѣніе“, 1893 г., февраль, стр. 731.

Не видно никакого желанія прикрасить предметъ для аудиторіи. Нѣтъ намековъ, эпохи взяты обыкновенно отдаленныя отъ дѣйствительности. Авторъ, впрочемъ, нисколько не скрываетъ своихъ симпатій. Рыцарство и рыцарская честь, конечно, получаютъ прочувствованную оцѣнку въ словахъ человѣка, который самъ былъ рыцаремъ въ лучшемъ смыслѣ слова. Низшіе классы, обремененные трудомъ и заклеянные презрѣніемъ „лучшихъ людей“, вездѣ вызываютъ глубокое состраданіе. „Въ XII столѣтіи монахи монастыря св. Германа вытребовали позволеніе своимъ крѣпостнымъ людямъ выходить на поединокъ съ людьми какого бы то ни было сословія. Въ первый разъ рабъ, несчастный рабъ, былъ поставленъ наравнѣ съ другими“ *. Эти примѣры достаточно уясняютъ, почему такъ высоко ставили Грановскаго его ученики: онъ былъ учителемъ и науки, и жизни. Если читатель ясно сопоставитъ въ воображеніи официальную народность Шевыревыхъ и Давыдовыхъ, всю русскую неприглядную дѣйствительность—съ тѣмъ, что высказывалъ прямо и косвенно Грановскій въ формѣ необычайно художественной и увлекательной, то не покажутся преувеличенными тѣ восторженные отзывы о Грановскомъ, какіе оставлены его учениками и друзьями. Не всегда безопасны были тѣ симпатіи, которыя открыто высказывалъ Грановскій. Благодушный цензоръ Никитенко вымаралъ изъ книги Сперанскаго „Правила высшаго краснорѣчія“ повсюду самое слово „рабъ“, несмотря на чисто академическій характеръ разсужденій Сперанскаго **. Въ рѣчи въ государственномъ совѣтѣ 30 марта 1842 г. государь, предъ изданіемъ закона объ обязанныхъ крестьянахъ, произнесъ: „время, когда можно будетъ приступить къ освобожденію крестьянъ, еще весьма далеко, и въ настоящую минуту всякій помыселъ о семъ былъ бы лишь преступнымъ посягательствомъ на общественное спокойствіе и благо государства“ ***. Указывать при такихъ обстоятельствахъ на жалкую судьбу раба, несчастнаго раба, требовало нѣкотораго

* „Р. М.“ 1893 г., кн. IV. Въ статьѣ объ университетскомъ курсѣ Грановскаго г. Милуковъ также отмѣчаетъ, какъ подчеркивалъ Грановскій, когда рѣчь шла о крѣпостномъ правѣ, свое отвращеніе къ этому институту

** „Сперанскій подъ цензурой 40-хъ гг.“ „Р. Стар.“ 1891 г., 1.

*** В. И. Семевскій: „Крестьянскій вопросъ“, II, 7.

мужества. Но Грановскій такъ просто и кротко высказывалъ свои взгляды, не видя въ нихъ ни особой своей заслуги, не считая нужнымъ скрывать ихъ, что обезоруживалъ порою самыхъ ярыхъ обскурантовъ. По прекрасному выраженію Герцена, какъ передъ благодушными проповѣдниками реформациі смущались суровые судьи инквизиціи, такъ примирительная улыбка Грановскаго смущала всѣхъ его противниковъ, кто сохранилъ въ душѣ искру совѣсти и пониманія.

Ту же простоту и задушевность Грановскій вносилъ и въ личныя сношенія со студентами. „Будь личность Грановскаго болѣе своеобразна, болѣе рѣзко выражена,—говорить Тургеневъ,—молодые его ученики не такъ бы довѣрчиво къ нему обращались. Грановскій былъ доступенъ во всякое время, не отталкивалъ никогда никого. Проникнутый весь наукой, посвятивъ себя всего дѣлу просвѣщенія и образованія, онъ считалъ себя самого какъ бы общественнымъ достояніемъ, какъ бы принадлежностью всякаго, кто хотѣлъ образоваться и просвѣтиться... Къ нему, какъ къ роднику близъ дороги, всякій подходилъ свободно и черпалъ живительную влагу изученія *. Благодаря болѣе всего Грановскому, въ его ученикахъ, занявшихъ впослѣдствіи университетскія кафедры, воспиталась та прекрасная традиція, которую такъ характеризовалъ Кавелинъ: „Я и товарищи мои по Москвѣ и Петербургу—мы смотрѣли на свои обязанности такъ: если въ кассѣ театра есть билетъ, кассиръ обязанъ всякому, по требованію, выдать; такъ же обязанъ профессоръ университета дать помощь студенту, если къ тому имѣетъ какую-либо возможность“ **.

Грановскій и къ постороннимъ относился почти такъ же. Мать, не знающая, что дѣлать со своимъ сыномъ, какъ его воспитывать, учить, обращалась къ Грановскому, и онъ дѣлалъ все съ своей стоны возможное. Учитель, ищущій мѣста, литераторъ, ученый—всѣ одинаково запросто обращались къ нему. „Литераторы разныхъ направленій являлись къ нему предлагать чтеніе своихъ произведеній: если они не надѣялись заслужить полнаго его одобренія, то льсти-

* „Два слова о Грановскомъ“.

** „Историч. Вѣстн.“, 1885, 8.

лись уже его благосклоннымъ вниманіемъ. И они большею частью не ошибались въ расчетѣ; только совѣршенная бездарность истощала мѣру его благосклонности и дѣлала его крайне нетерпѣливымъ. Но трудъ и усердіе къ дѣлу имѣли въ немъ самаго постояннаго и заботливаго „доброжелателя“ (Кудр. II, 549). На него просто начинали смотрѣть какъ на какого-то всеобщаго ходатая. Случалось, что на него претендовали за то, что онъ, разрываясь между лекціями, приготовленіемъ къ нимъ, литературною работою и обществомъ друзей, безъ котораго не могъ существовать скольконибудь долго, или въ припадкахъ вдругъ наплывавшей на него хандры—забывалъ свои обѣщанія. Этою преувеличенною требовательностью къ Грановскому со стороны общества только и можно объяснить такой одинокій рѣзкій отзывъ, какъ увѣренія А. Аванасьева, будто Грановскій за все брался и ничего не исполнялъ.

При внимательности его къ постороннимъ, тѣмъ понятнѣе его участіе къ студентамъ. Даже во время болѣзни двери его для студентовъ были всегда настежь: научный совѣтъ, книги его, простое участіе и помощь въ частныхъ дѣлахъ всегда были къ ихъ услугамъ. Въ пользу нуждавшихся студентовъ онъ организовалъ въ обширномъ кругу своихъ друзей правильные сборы, насколько объ этомъ можно судить по письму Огарева, который спрашивалъ у Грановскаго, сколько съ него слѣдуетъ въ ихъ пользу *. Очарованные его лекціями, студенты льнули къ нему. Для нихъ квартира его никогда не затворялась. Его остроты и живость только очень робкихъ и неразвитыхъ могли запугать и оттолкнуть, и всѣ одинаково тяготѣли къ нему, какъ всякая молодежь тяготѣетъ къ людямъ отзывчивымъ, умственно и нравственно стоящимъ выше обыкновеннаго уровня. Одного такого непосредственнаго воспитывающаго вліянія въ ту смутную эпоху было бы достаточно для признанія за Грановскимъ не малой исторической заслуги.

Приведемъ кое что изъ воспоминаній объ отношеніяхъ Грановскаго и его слушателей и учениковъ.

„Кто лучше его умѣлъ дать совѣтъ или ободрить начинающаго,—вспоминаетъ о Грановскомъ его ученикъ: — Въ

* Сборникъ „Помощь голодающимъ“. М. 1892. Стр. 525.

немъ всякій изъ насъ находилъ безпристрастнаго, хотя и снисходительнаго судью и цѣнителя; въ вѣрномъ его сужденіи могли мы познать мѣру своихъ силъ и настоящее призваніе каждаго; въ широкомъ его возрѣніи на жизнь и исторію находили мы смягченіе слишкомъ односторонняго или рѣзкаго направленія, въ его сочувствіи—вѣчное побужденіе къ знанію и труду... Не изсякнетъ любовь къ мысли и рвеніе къ труду въ томъ, кто живо запечатлѣлъ въ себѣ образъ благороднаго наставника, во всей его поэтической прелести, во всей его нравственной красотѣ*.

„Превосходство нравственное и умственное, соединенныя въ одномъ лицѣ, естественно внушаютъ вмѣстѣ съ глубокимъ уваженіемъ и нѣкоторое чувство робости, — писалъ Кудряцевъ.— Таково въ особенности бываетъ первое дѣйствіе высокихъ умственныхъ качествъ на умы юные, неопытные... Многіе изъ насъ испытали это чувство на себѣ въ своихъ личныхъ отношеніяхъ къ покойному Грановскому; но оно держалось недолго. Оно оказывалось особенно неумѣстно въ его ближайшемъ присутствіи — такъ много было одобрительнаго въ его взглядѣ на васъ, такъ много дружелюбнаго въ его обращеніи съ вами. Если вы приносили съ собою хоть искру любви къ наукѣ, хотя робкое желаніе войти къ ея высокіе интересы, вы уже приобрѣли себѣ право на его доброе расположеніе. Вамъ стоило только заикнуться предъ нимъ о желаніи имѣть лучшія ученныя пособія, какъ онъ уже готовъ былъ служить вамъ средствами своей библіотеки. По его книгамъ, какъ и изъ его уроковъ, учились многія поколѣнія. Въ своемъ кабинетѣ онъ былъ какъ то особенно простъ и исполненъ снисходительнаго вниманія къ вопросамъ и недоумѣніямъ, часто довольно наивнымъ, любознательной юности. Простоту своего обращенія онъ доводилъ до такой степени, что именно въ его присутствіи забывалось чувство умственнаго его превосходства. Съ двухъ-трехъ разъ онъ умѣлъ внушить столько нравственнаго довѣрія къ себѣ, что самая неопытная мысль высказывалась предъ нимъ безъ всякаго внутренняго принужденія. Передъ его дружески-благосклоннымъ взглядомъ и ободрительнымъ выраженіемъ какъ будто исчезало различіе возрастовъ,

* Б. Чичеринъ: Вступленіе къ книгѣ „Областныя учрежденія Россіи въ XVII в.“ М. 1856 г.

ума, знанія, и окружающіе его молодые слушатели, несмотря на их незрѣлость, казались сверстниками его—если не по уму, то по чувству“*.

Даже послѣдовательные противники Грановскаго изъ славнофиловъ и близкихъ имъ людей, не исключая Шевырева, не могли не оцѣнить подымающаго облагораживающаго вліянія Грановскаго съ этой стороны**. И потому закончимъ нашу главу отзывомъ одного изъ этихъ противниковъ, который совершенно отрицательно относился къ содержанію идеаловъ Грановскаго, именно К. Аксакова.

„Въ лекціяхъ своихъ передавалъ Грановскій жизнь того или другого времени, со всей ея невидимой обстановкою, съ ея воздухомъ, такъ сказать,—передавалъ художественно: путь, которымъ всего удобнѣе познается юношами истина.—Достоинство его лекцій можетъ засвидѣтельствовать Москва, слышавшая два его курса***. Конечно, не пропали эти живыя впечатлѣнія, которыя выносили слушатели изъ его аудиторіи... Онъ воспитывалъ своихъ слушателей; онъ подымалъ ихъ надъ обыденной жизнью въ высшія сферы духа; онъ будилъ въ нихъ благородныя движенія и чувства; онъ образовывалъ и устремлялъ ихъ силы: это великое дѣло, огромное значеніе. И вотъ почему эта всеобщая любовь къ Грановскому, и вотъ почему она понятна и законна. Говорятъ: онъ ничего не написалъ, ничего не сдѣлалъ; онъ точно мало писалъ, но онъ много сдѣлалъ. Онъ могъ въ отвѣтъ на такой упрекъ указать (какъ сдѣлалъ нѣкогда Мерзляковъ) на студентовъ и сказать: вотъ мои лекціи! Но не на однихъ студентовъ могъ указать Грановскій,—онъ могъ указать на общество, внимавшее полной одушевленія и изящества, возвышенной, увлекательной его рѣчи, и теперь благодарно произносящее имя Грановскаго“****.

* Кудрявцевъ. Сочиненія, II, 548—549.

** „Біографія Кошелева“, II, стр. 264.

*** Собственно три, но послѣдній, прочитанный въ 1851 г., состоялъ только изъ четырехъ лекцій, именно—„Четыре характеристики“ въ I т. соч.

**** „Молва“, 1857 г., 1.

VI.

Грановскій въ интимной жизни.

Возвращаемся къ нити нашего разсказа и прежде всего остановимся на личной жизни Грановскаго за время отъ возвращенія его въ Россію изъ за границы до его перваго публичнаго курса.

Сама по себѣ интимная жизнь Грановскаго не представляетъ ничего выдающагося въ смыслѣ сильныхъ потрясеній или исключительныхъ драматическихъ эффектовъ; наружно все здѣсь очень обыкновенно, такъ жили и живутъ сотни и тысячи простыхъ смертныхъ. Лишь ближе входя въ атмосферу этой жизни, начинаешь понимать, почему такое чарующее впечатлѣніе производила она на тѣхъ, кто близко соприкасался съ нею. Та рыцарственность, которая такъ увлекала слушателей Грановскаго, переходила здѣсь непосредственно въ жизнь, налагая особый отпечатокъ на обычныя житейскія отношенія, — отпечатокъ, выгодно отличавшій ихъ отъ общераспространеннаго типа этихъ мелочей жизни.

Съ мѣсяцъ времени, по возвращеніи на родину, Грановскій провелъ въ деревнѣ отца, но нисколько не отдохнулъ послѣ своего бѣгства изъ за границы: разстройство дѣлъ отца, неопредѣленное положеніе всей семьи, наконецъ тягостная развязка стараго романа — все это не мало мучило его.

Первая любовь Грановскаго, пріятельница его сестеръ, по разсказу его біографа, — „была дѣвушка очень пріятной наружности, сосредоточеннаго нрава и одаренная замѣтнымъ умомъ“. Повидимому, чувство ея было глубже, чѣмъ чувство молодого студента, поглощеннаго мечтами о дѣятельности. Не всегда деликатное вмѣшательство родныхъ ея, то видѣвшихъ въ Грановскомъ выгодную партію, то не одобрявшихъ ихъ сближенія, вмѣшательство одной общей знакомой, чрезъ которую шла переписка и которая по какимъ то расчетамъ ссорила влюбленныхъ, — все это повело къ охлажденію со стороны Грановскаго. Впослѣдствіи онъ съ чувствомъ благодарности вспоминалъ, что его невѣста, когда онъ еще считалъ

себя съ нею связаннымъ, не воспротивилась его отъѣзду за границу, и послѣ окончательнаго разрыва съ глубокимъ уваженіемъ и неизмѣннымъ участіемъ относилась къ ней, вынеся изъ романа болѣе строгое и серьезное отношеніе къ женскому чувству.

Полубольной, въ концѣ августа 1839 г., онъ поспѣшилъ для занятія каяедры въ Москву, но и среди занятій, новыхъ знакомствъ—онъ не забывалъ ни на минуту семьи. „Домашнія обстоятельства, — пишетъ онъ, напр., Фроловымъ, — въ очень непріятномъ положеніи: состояніе разстроено и разстраивается болѣе съ каждымъ днемъ, молодость бѣдныхъ сестеръ моихъ гибнетъ въ полномъ смыслѣ слова. У меня сжимается сердце при мысли объ ихъ участи былой и, быть можетъ, будущей. Мнѣ ничего нельзя сдѣлать“. Онъ поддерживалъ съ ними дѣятельную переписку, освѣдомлялся обо всѣхъ ихъ нуждахъ, присылалъ книги, глубоко сожалѣя о томъ, что не можетъ уговорить упрямаго старика перебраться въ Москву. Мы не многое знаемъ о сестрахъ Грановскаго. Но по письмамъ брата ихъ можно думать, что это по истинѣ были тѣ чистыя дѣвушки дворянскихъ гнѣздъ, свѣтлые образы которыхъ донынѣ чаруютъ насъ въ повѣстяхъ и романахъ Тургенева. „Въ этомъ подломъ и грязномъ Орлѣ сестры мои оставили о себѣ поэтическое, чистое воспоминаніе“, — писалъ Грановскій (29 іюня 1844 г.). „Славная была порода Грановскихъ!“ — вырывается у него много позднѣе послѣ встрѣчи съ однимъ офицеромъ, съ любовью вспоминавшимъ его покойнаго брата (24 мая 1848 г.).

Между тѣмъ отъ Тургенева пришло ошеломляющее извѣстіе: „Насъ постигло великое несчастіе, Грановскій, — писалъ Тургеневъ; — Едва могу я собраться съ силами писать. Мы потеряли человѣка, котораго мы любили, въ кого мы вѣрили, кто былъ нашею гордостью и надеждою... 24 іюня въ Нови скончался Станкевичъ“. — „Я не заболѣлъ, я даже не заплакалъ, — писалъ сестрамъ Грановскій подъ впечатлѣніемъ этого письма, — но сердце сжалось какъ послѣ смерти матушки. Вы знаете наши отношенія. Онъ былъ больше чѣмъ братомъ для меня. Десять братьевъ не замѣнили бы мнѣ Станкевича. Хожу на экзамены, выдаю много народу и съ виду совершенно

покоень. Не знаю почему это. Хотѣлось бы плакать: невозможно... Половина, лучшая, благороднѣйшая часть моего собственнаго я сошла въ могилу"... Тѣми же выраженіями скорби проникнуто письмо къ Невѣрову: „Онъ унесъ съ собою что то необходимое для моей жизни. Никому на свѣтѣ не былъ я такъ обязанъ: его вліяніе на меня было безконечно и благотворно. Этого, можетъ быть, кромѣ меня никто не знаетъ. Страшно подумать о его смерти. Душа отказывается вѣрить“ *. Мы знаемъ, чѣмъ былъ Станкевичъ для Грановскаго въ отношеніи его нравственнаго и умственнаго развитія, и не удивительно, что эта кончина поразила Грановскаго не менѣе, чѣмъ другихъ друзей Станкевича — Бѣлинскаго, Тургенева и т. д. Почти черезъ годъ, вспоминая о Станкевичѣ въ письмѣ къ сестрамъ, Грановскій писалъ: „Смерть его надломилъ что то въ душѣ моей. Полное счастье невозможно болѣе для меня,—въ сердце моемъ навсегда останется пустота и печаль. Зачѣмъ Господь взялъ его, оставивъ меня на землѣ? Не лучше ли онъ меня въ тысячу разъ, не достойнѣе ли и не способнѣе ли быть счастливымъ. Мнѣ передали его послѣднія слова обо мнѣ: онъ сказалъ, что я ему дороже братьевъ и родныхъ. Нѣкогда мы свидимся и я поблагодарю его“. Цѣлыхъ три года спустя по поводу статьи о Станкевичѣ, которую собирался печатать Фроловъ, Грановскій ему писалъ: „Будетъ время, когда Станкевичу воздвигнется другой памятникъ—изъ нашихъ дѣлъ, нашей жизни, проникнутой памятью его словъ и помысловъ. Всѣ мы обязаны ему полнотою нашей жизни, я—болѣе всѣхъ“. Уничтожаясь самъ въ восторженномъ воспоминаніи о другѣ, онъ продолжаетъ: „Если мнѣ суждено совершить что нибудь въ жизни,—это будетъ дѣломъ Станкевича, который вызвалъ меня изъ ничтожества... Кто зналъ близко Станкевича, для тѣхъ онъ не умеръ. Я во всемъ чувствую его присутствіе: великое поэтическое произведеніе, теплый лунный вечеръ, чистая минута душевной жизни — вездѣ является онъ и объясняетъ мнѣ смыслъ всего. Иногда мнѣ, право, слышится его голосъ“.— Вскорѣ за Станкевичемъ скончался и другой лучшій берлин-

* Первое собраніе писемъ Тургенева, Спб. 1884 г., стр. 1. Переписка Т. Грановскаго, 101, 404.

скій другъ Грановскаго, Е. П. Фролова, которой также онъ былъ столькимъ обязанъ. „Все лучшее, все, что было украшеніемъ лучшихъ дней моей и, вѣроятно, твоей жизни, покидаетъ насъ,—писалъ Грановскій Невѣрову объ этой новой утратѣ:—Полтора года тому назадъ мы всѣ были вмѣстѣ, и никто не думалъ о смерти, и всѣ мы строили планы для будущаго. Грустно подумать о будущемъ теперь... Въ послѣднемъ ея письмѣ лежало нѣсколько листковъ изъ ея букета. Они стали мнѣ очень дороги“ (8 октября 1840 г.).

Душевную пустоту, результатъ этихъ двухъ потерь, не заполняла одна работа. Грановскій, чтобъ отдѣлаться какъ нибудь отъ грызшей его тоски, начиналъ вести свѣтскую разсѣянную жизнь, не ограничиваясь ученымъ и литературнымъ кружкомъ. Но въ обществѣ самомъ оживленномъ, гдѣ нибудь на балу, онъ иногда представлялъ очень странную фигуру, производя впечатлѣніе чего то чуждаго и неумѣстнаго выраженіемъ глубокой печали, вдругъ ложившейся на его лицо. „Меня увлекаетъ и бросаетъ въ этотъ уносящій меня вихрь пустота,—писалъ онъ сестрамъ въ началѣ 1841 года,—которую нахожу всякій разъ, какъ возвращаюсь къ себѣ, недостаткомъ живой привязанности, которая такъ нужна мнѣ. Если бы со мною была сестра или такой другъ, какого я лишился, я былъ бы доволенъ своей жизнью и не просилъ бы ничего у Бога. Есть люди, которые называютъ себя моими друзьями, съ которыми я съ удовольствіемъ вижусь, но сердце мое не открывается вполнѣ въ ихъ присутствіи“. Случайное знакомство въ одной изъ свѣтскихъ гостиныхъ съ молоденькою сестрою проф. Мюльгаузена, Елизаветою Богдановной Мюльгаузенъ, при такомъ настроеніи Грановскаго, имѣло для него рѣшительныя послѣдствія. Въ дѣвушкѣ, ничѣмъ не блиставшей въ обществѣ, онъ нашелъ столько ума, теплаго чувства, сочувствія своимъ интересамъ и своему горю, что, неожиданно для самого себя, горячо полюбилъ ее. Въ письмахъ его къ сестрамъ отразилось возникновеніе и развитіе этой привязанности, колебанія и волненіе его, когда отецъ, у котораго онъ просилъ согласія на женитьбу, почему то долго не отвѣчалъ на письмо сына. „Я не женюсь безъ его согласія,—писалъ Грановскій сестрамъ.—Браки безъ согласія родителей приносятъ несчастье“.

Такимъ образомъ, просьба о согласіи была не только дѣломъ вѣжливости,—въ ней отразились остатки традиціонныхъ представлений, жившіе въ уважаемомъ и самостоятельномъ профессорѣ университета... Какъ бы то ни было, привязанность Грановскаго была не мимолетнымъ увлеченіемъ. „Я довольно ухаживалъ за женщинами,—писалъ онъ:—къ инымъ изъ нихъ я чувствовалъ привязанность, но это вторая и послѣдняя любовь моя“... Поэтичны и трогательны отрывки изъ писемъ Грановскаго къ его невѣстѣ и о ней, помѣщенные въ книгѣ А. Станкевича. Они проникнуты колоритомъ нѣжной грусти, совершенно соответствующей мечтательной созерцательности характера Грановскаго; французскій сглаженный языкъ писемъ еще болѣе смягчаетъ тонъ ихъ. Ей онъ повѣряетъ въ письмахъ свои сомнѣнія и надежды. „Станкевичъ былъ безконечно выше меня, и вотъ онъ умираетъ совсѣмъ юнымъ, никогда не испытавъ счастья, можетъ быть даже никогда не призывая его въ своихъ желаніяхъ, что еще печальнѣе,—а я пережилъ его, и счастье дается мнѣ! Понимаешь ли что нибудь въ этомъ?“

„Cela me fait de la peine, que d'autres hommes ont dit, et mille fois mieux, ce que je te dis là, à d'autres femmes, — пишетъ онъ о выраженіяхъ своей любви къ невѣстѣ:—Le véritable amour s'exprime de la même manière; d'autres ont aussi aimé véritablement, mais il y a en moi, à part d'amour, une reconnaissance infinie pour ce que je te dois, cher ange. C'est une reconnaissance dont je ne pourrai jamais m'acquitter, c'est une dette éternelle, que je payerai toujours sans pouvoir jamais être quitte, même si tu ne m'aimais plus. Tu m'a donné plus que je n'ai demandé au Ciel. Tu peux me le reprendre, quand il te plaira et je t'aimerai toujours. C'est justement cette reconnaissance qui me garantit la durée de mon amour pour toi; ce n'est pas une de ces passions fortes, mais passagères, que cette affection que je te porte. Il y a dedans—respect, amour, dévouement, adoration (passe moi le mot qui est devenu banal — tellement on en a abusé) et que sais-je, moi“. Вотъ какъ смотрѣлъ онъ на причины счастья и несчастья въ бракѣ: „Отчего столько союзовъ,—спрашиваетъ онъ,—заключенныхъ вслѣдствіе искренней любви двухъ сторонъ, становится источникомъ несчастья для мужчины и жен-

щины послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ или нѣсколькихъ лѣтъ счастья? Это печальная мысль; въ ней есть даже что то грозное. И однако же нѣтъ ничего справедливѣе. Обыкновенно любовь уступаетъ мѣсто какому то равнодушію, а остатокъ взаимной привязанности держится и обезпечивается только долготѣтнею привычкою быть вмѣстѣ. Кромѣ того, общіе матеріальные интересы всегда связываютъ мужа съ женой за недостаткомъ болѣе благородной, но уже исчезнувшей связи. Я желалъ бы лучше въ эту же минуту лишиться тебя, чѣмъ дожить до этого предѣла пошлости въ бракѣ. Если бы связи, теперь насъ соединяющія, должны были замѣниться связями эгоизма и привычки — это было бы смертію для меня. И однако же таковъ подводный камень, о который разбиваются 99 изъ 100 браковъ, заключенныхъ по взаимной склонности... Эти мысли, неотступно преслѣдовавшія меня, сильно тревожили меня за наше будущее. Но теперь я покоенъ на этотъ счетъ: любовь можетъ изсякнуть только въ сердцѣ, чуждомъ всякаго другого серьезнаго и благороднаго интереса; но когда мужчинѣ предстоитъ исполненіе прекраснаго призванія, когда онъ и избранная имъ женщина — существа нравственныя и думающія о своемъ нравственномъ усовершенствованіи, любовь длится столько же, сколько жизнь. Благодаря тебѣ, я возвращаюсь къ религіознымъ чувствамъ, внушеннымъ мнѣ моею матерью, но ослабленнымъ во мнѣ печально проведенной жизнью“.

Намъ придется еще коснуться этого послѣдняго признанія Грановскаго о вліяніи, какое имѣла на него жена относительно религіозныхъ взглядовъ. Во всякомъ случаѣ надежды Грановскаго на счастливую семейную жизнь вполнѣ оправдались; она дала ему все, что можетъ дать такому человѣку, которому „предстоитъ исполненіе прекраснаго призванія“; въ женѣ Грановскій нашелъ лучшаго друга, помощника и утѣшителя во всѣхъ житейскихъ невзгодахъ. Любовь къ ней скрашивала и освѣщала всю его жизнь, его идеалы и дѣятельность. „Моя любовь къ тебѣ, — писалъ онъ, — составляетъ, можетъ быть, лучшую, чистѣйшую часть меня самого, и однако же я сильно люблю моихъ сестеръ—и еще Россію“ *.

* Письма Грановскаго къ женѣ были переданы его біографу при

Однако, любовь не въ силахъ была совершенно подавить припадковъ, почти болѣзненныхъ, неопредѣленной мечтательной грусти романтика — *humeur poigé* — которая, подъ вліаніемъ виѣшнихъ тягостныхъ впечатлѣній, нерѣдко переходила въ жестокую хандру, отравляющую существованіе. Вѣроятно, причиною этой *humeur poigé* было нѣкоторое нервное разстройство, можетъ быть унаслѣдованное отъ сумасшедшаго дѣда. Но въ этой полуболѣзненной склонности слышно нѣчто напоминающее Рудина. „Природа вложила въ меня зародышъ постоянныхъ безпокойствъ и волненій,—признавался онъ невѣстѣ въ письмѣ изъ деревни въ іюнѣ 1841 г.—Мое кажущееся спокойствіе происходитъ большею частью только отъ усталости, это родъ нравственной апатіи, или, пожалуй, оно только кажущееся, какъ я сказалъ. У меня всегда есть какая нибудь мысль, неотступно тревожащая меня. Прежде такъ бывало со мною еще сильнѣе. Но ты дашь мнѣ миръ, мой добрый ангелъ“. Тогда же онъ пишетъ В. П. Боткину: „Я думалъ, что счастье отучитъ меня отъ глупой привычки сверлить себя (по выраженію Станкевича) и подсматривать, что тамъ внутри дѣлается. Но я остался вѣренъ этой привычкѣ. Зато какъ я высмотрѣлъ себя! Кажется, нѣтъ ни одного закоулка въ сердцѣ моемъ, въ которомъ бы я не побывалъ и не посмотрѣлъ, какъ тамъ все обстоитъ. Разумѣется, что эта работа теперь стала пріятнѣе и виды лучше. Но сколько грусти примѣшивается къ моему счастью! Въ самыя лучшія мгновенія меня охватываетъ чувство странной тоски и невольно приходятъ въ голову стихи Гете, не помню изъ какой пьесы:

Besser durch Leiden
Will ich mich schlagen,
Als so viel Freuden
Des Lebens ertragen.

письмѣ, въ которомъ, между прочимъ, читаемъ: „Счастье наше было такъ велико и свято, что говорить о немъ казалось какимъ то святотатствомъ“. „То, что давалъ онъ мнѣ, никто не могъ видѣть. Какъ высоко, какъ идеально понимать онъ бракъ, какъ никогда до конца своей жизни онъ ни разу не отступилъ на дѣлѣ отъ этихъ убѣжденій,—этого почти никто не знаетъ... Пусть узнаютъ его и съ этой стороны: она какъ бы довершаетъ его великолѣпный образъ“. (Переписка Грановскаго, стр. 217).

„Можетъ быть, это отъ того, что я еще не привыкъ къ счастью. За будущее свое я не боюсь, я не понимаю для себя возможности быть несчастнымъ съ нею. При ней я даже не рефлектирую. Въ ней есть что-то успокоивающее меня“. Фраза изъ другого письма Грановскаго къ невѣстѣ освѣщаетъ неожиданно причину *humeur noire*. „Потребность дѣятельности, труда порою очень сильна во мнѣ; она-то — отчасти причина безпокойства, присущаго моему характеру“. Рудины оказывались „лишними“ потому, что не умѣли и не могли приспособить себя къ средѣ, но потребность дѣятельности въ нихъ все таки не была уничтожена средою, и силы бесплодно уходили на „сверленіе“, на „Grübeleien“. Такъ было и съ Грановскимъ отчасти: мы увидимъ, какъ часто въ силу внѣшнихъ причинъ оставались безплодны его стремленія къ работѣ, которая поглотила бы его цѣликомъ.

Свадьба состоялась 15 октября 1841 г. Но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ безмятежное мирное настроеніе Грановскаго было снова нарушено. Умирала отъ чахотки старшая любимая его сестра; лѣтомъ 1842 года она скончалась на рукахъ брата. Въ томъ же году умерла и вторая сестра его, а въ слѣдующемъ — братъ. „Помириться съ мыслию о ихъ кончинѣ; привыкнуть къ этой мысли мнѣ невозможно, — писалъ Грановскій женѣ изъ Погорѣльца, куда пріѣхалъ навѣстить осиротѣлаго отца и гдѣ тяжелая тоска давила его. — Они были такъ нужны для меня... Въ одномъ я похожъ на Жака въ романѣ George Sand. Я никогда не утѣшаюсь въ моихъ душевныхъ утратахъ. Я беру съ собою всякое горе на цѣлую жизнь. Станкевичъ, сестры — они для меня ежедневно умираютъ снова. Но въ этомъ нѣтъ того, что Герценъ называетъ моимъ романтизмомъ. Это — постоянное, глубокое настроеніе души моей“ *. Въ одномъ изъ писемъ онъ примѣняетъ къ себѣ извѣстное двустипіе:

„И какъ вино, печаль минувшихъ дней
„Въ моей душѣ чѣмъ старѣй, тѣмъ сильнѣй“.

Это настроеніе налагало особый отпечатокъ на личность Грановскаго; по всей вѣроятности, это было нѣчто врождѣ

* Переписка Гран., 260—261.

того неотразимо привлекательнаго оттѣнка грусти, который былъ свойственъ, напримѣръ, личности англійскаго поэта Шелли и обаятельно дѣйствовалъ на друзей его, какъ объ этомъ согласно говорятъ воспоминанія ихъ. Эта тонкая трудно опредѣлимая черта характера вообще свойственна натурамъ болѣе пассивнымъ, чѣмъ активнымъ, болѣе созерцательнымъ, по преимуществу натурамъ художественнымъ, проникнутымъ пантеистической любовью ко всему существу. Совершенно исключительная впечатлительность, мягкость и привязчивость къ людямъ, которыя рельефно рисуются вышеприведенными отрывками изъ писемъ Грановскаго, — также отличительныя черты подобныхъ натуръ. Ихъ *humeur poire* — результатъ несоотвѣтствія между живущими въ ихъ душѣ стремленіями и болѣе или менѣе сознанными идеалами съ одной стороны и внѣшнею обстановкой съ другой. У Грановскаго поэтическое художественное созерцаніе историческихъ эпохъ и явленій разрѣшилось романтическимъ грустнымъ сочувствіемъ прошедшему. Въ личной же и общественной жизни Грановскаго созерцательное отношеніе его къ ней сказывалось въ томъ, что онъ невольно стремился, при столкновеніи противоположныхъ взглядовъ, стать на такую высоту, съ которой исчезаетъ значеніе противоположностей. Какъ истый художникъ, онъ умѣлъ любить живыхъ людей больше, чѣмъ ихъ отвлеченныя возрѣнія, подобно тому, какъ можно наслаждаться картинами самаго различнаго содержанія. Въ этой чертѣ широкой терпимости къ людямъ Грановскій сходилса съ Герце-номъ, расходясь съ Бѣлинскимъ.

Огромный художественный талантъ Грановскаго, обаяніе, производимое его личностью независимо отъ его западническихъ убѣжденій — вотъ что привлекало къ нему одинаково всѣхъ его современниковъ. Грановскій былъ — въ полномъ и лучшемъ значеніи этого слова — артистическою натурой по преимуществу. Условія времени, среда близкихъ людей, весь ходъ развитія Грановскаго сдѣлали изъ него вмѣстѣ съ тѣмъ человекъ, которому предстояла видная общественная дѣятельность; въ немъ были пробуждены и развиты стремленія къ живому общественному труду, но время не благоприятствовало такому труду, и Грановскій порою невольно чувство-

валъ себя въ положеніи „лишняго человѣка“, и все таки работалъ, какъ могъ и какъ умѣлъ.

Особенности художественной личности Грановскаго, его мягкость и терпимость въ личныхъ сношеніяхъ породили не мало недоразумѣній; приписывали мнимой неопредѣленности общественныхъ взглядовъ Грановскаго то, что къ нему съ симпатіей относились люди самыхъ разнообразныхъ убѣжденій; обвиняли его въ тайномъ пристрастіи къ славянофильству; съ другой стороны, неумѣренно-восторженно превозносили его, какъ проповѣдника какихъ-то безусловныхъ началъ гуманности, такъ что за словами о добрѣ, истинѣ, красотѣ, нравственности, гуманности и о симпатичномъ человѣкѣ исчезало отчетливое пониманіе дѣйствительныхъ заслугъ Грановскаго. Посмотримъ же ближе, чѣмъ былъ Грановскій—общественный дѣятель въ его связяхъ и отношеніяхъ съ другими людьми сороковыхъ годовъ.

VII.

Грановскій въ кружкахъ сороковыхъ годовъ.

Мы уже цитировали жалобы Грановскаго на скудость умственныхъ интересовъ въ московскомъ обществѣ. Умственная жизнь интеллигентныхъ кружковъ была здѣсь оазисомъ, который казался тѣмъ болѣе пышнымъ и цвѣтущимъ, чѣмъ сѣрѣе была общая жизнь. „Никогда, ни прежде, ни послѣ,—говоритъ современникъ и участникъ этой жизни, Кавелинъ,—не было у насъ сосредоточено въ одномъ пунктѣ столько образованности, ума, талантовъ, знаній. Москва была въ сороковыхъ годахъ центромъ умственнаго движенія въ Россіи, къ которому, прямо или косвенно, примыкало почти все замѣчательное въ ней въ умственномъ и нравственномъ мірѣ. Здѣсь запасались и вырабатывались тѣ нравственныя силы, которыя пошли въ дѣло при начавшемся, послѣ крымской войны, обновленіи нашего внутренняго быта и строя“... „Кто не

участвовалъ самъ въ московскихъ кружкахъ того времени, тотъ не можетъ составить себѣ и понятія о томъ, какъ въ нихъ жилось хорошо, несмотря на печальную обстановку извнѣ. Въ этихъ кружкахъ жизнь была полнымъ, радостнымъ ключемъ“ *.

Изученіе жизни этихъ кружковъ подтверждаетъ эти восторженные отзывы. Настроенія рѣдкой красоты, глубоко безкорыстныя стремленія къ истинѣ и справедливости, жажда осуществить въ жизни только что сознанные прекрасные идеалы, глубокая душевная боль отъ сознанія пропасти между ними и жизнью, героическія усилія начать творческую работу для заполнения этой пропасти—вотъ что раскрываетъ намъ изученіе жизни идеалистовъ сороковыхъ годовъ за временною формою ихъ увлеченій и полузабытыми интересами тогдашней исторической минуты.

Грановскій въ Москвѣ съ самаго начала попалъ въ бывшій кружокъ Станкевича, гдѣ въ полномъ разгарѣ было еще поклоненіе Гегелю. Мы уже упоминали о разказахъ Герцена про это принимавшее забавныя формы увлеченіе.

Отъ всякаго, приходившаго въ соприкосновеніе съ кружкомъ, члены его „требовали безусловнаго принятія феноменологии и логики Гегеля и при томъ по ихъ толкованію. Толковали же о нихъ безпрестанно: нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ гегелевской логики, въ его эстетикѣ, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи „перехватывающаго духа“, принимали же за обиды мнѣнія объ „абсолютной личности“ и объ ея „по себѣ бытіи“. Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ, въ нѣсколько дней. Это увлеченіе гегелианствомъ порою доходило у членовъ кружка до наивно-трогательныхъ проявленій. Молодые люди такъ преисполнились ученіемъ берлинскаго философа, что у

* К. Д. Кавелинъ. „Вѣст. Евр.“ 1866 г. IV.—Сочиненія, т. III, стр. 1122.

нихъ отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности, сдѣлалось школьное, книжное; это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которымъ такъ гениально смѣялся Гете въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все въ самомъ дѣлѣ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной, алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своеобразная наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступающая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народности въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ „гемюту“ или къ „трагическому въ сердцѣ“. Приведемъ еще забавные примѣры неожиданнаго появленія при самыхъ обыденныхъ случаяхъ философскихъ категорій и выпрежняго полета мысли, сообщаемые Грановскимъ. И. П. Галаховъ (братъ Фроловой) рассказывалъ ему, что горько плакалъ цѣлый вечеръ—оттого, что послѣ обѣда съѣлъ полбанки варенья. „Унизилъ, дескать, обжорствомъ благородство человѣческой природы. Въ утѣшеніе я сказалъ ему, что на прошлой недѣлѣ я съѣлъ одинъ б банокъ, присланныхъ мнѣ тетками“. На одномъ „*bal masqué et ragé au profit des pauvres*“ философія Гегеля сопровождала дружескую пирушку. Кромѣ Грановскаго и Боткина собрались Рѣдкинъ, Крюковъ, Крыловъ, Гофманъ (лекторъ греческаго языка)—„все молодое поколѣніе университетское. Подумали и рѣшились поужинать. Началось тостомъ за *reines Sein*, провозглашеннымъ Крюковымъ. Прошли всѣ категоріи: я удралъ, когда еще стояли въ сферѣ *Wesen*, но Боткинъ — *der hat es bis zu der Idee gebracht*“ *. Приходилось иногда считаться и съ менѣе невинными примѣненіями гегелевской діалектики. Еще въ Вѣнѣ Грановскому пришлось воевать съ однимъ соотечественникомъ,

* Т. е. „дошелъ до идеи“. Переписка Гран., 379—380.

который, начиная свою рѣчь не иначе, какъ фразой, „мы гегеліанцы“, — однажды сталъ доказывать у Шафарика, что рабство есть необходимость, потому что есть „Begriff der Slaverei“ *. Болѣе было обосновано, но не менѣе требовало борьбы и „примиреніе съ дѣйствительностью“, въ то время девизъ кружка, и Грановскому принадлежитъ видная роль въ отрезвленіи нашихъ гегеліанцевъ.

Въ бывшій кружокъ Станкевича Грановскій привезъ живые рассказы очевидца о главѣ кружка, и былъ уже по этому одному встрѣченъ съ необыкновенною симпатіей. Станкевичъ въ письмѣ къ Бѣлинскому, характеризуя Грановскаго, выражалъ опасеніе, что они не сойдутся другъ съ другомъ. „Портретъ Грановскаго вѣренъ, какъ нельзя больше, ты великій живописецъ! — отвѣчалъ Бѣлинскій. — Но опасеніе, что мы не сойдемся, которое невольно высказывается въ твоихъ словахъ, оказалось совершенно ложнымъ: мы сошлись, какъ нельзя лучше и ближе, и безъ всякихъ прекраснодушныхъ восторговъ и натяжекъ, а совершенно свободно. Грановскій есть первый и единственный человѣкъ, котораго я полюбилъ отъ всей души, несмотря на то, что сферы нашей дѣйствительности, наши убѣжденія (самыя кровныя) — діаметрально противоположны, такъ что бѣлое для него — черно для меня, и наоборотъ... Да, это одинъ изъ тѣхъ людей, съ которыми мнѣ всегда и тепло, и свѣтло, и которые никогда не могутъ прійти ко мнѣ не во время, но всегда — дорогіе гости. Но, — Боже мой! можно ли быть противоположнѣе въ своихъ убѣжденіяхъ, какъ мы и онъ?! Что за сужденія объ искусствѣ, что за вкусъ — верхъ идиотства!“ Главный поводъ такого отзыва — Шиллеръ, котораго Бѣлинскій въ этомъ періодѣ своего развитія — ультраконсервативномъ — ненавидѣлъ за его „прекраснодушную“ войну съ дѣйствительностью, особенно въ „Разбойникахъ“, „Фіеско“, „Донъ-Карлосъ“. А мы уже видѣли, какъ относился къ Шиллеру Грановскій, съ какимъ увлеченіемъ смотрѣлъ за границей его драмы. „Мы сошлись, какъ старые пріатели **“, — съ своей стороны сообщаетъ Грановскій

* Переписка Гран., 335.

** Теплую симпатію къ Бѣлинскому Грановскій хранилъ еще за границей. Въ Вѣнѣ у него была горячая стычка со Строевымъ (С. М.), другомъ Бо-

Станкевичу.— Убѣжденія наши рѣшительно противоположны, но это не мѣшаетъ мнѣ любить его за то, что въ немъ есть. Однимъ словомъ, въ жизни, въ частныхъ сношеніяхъ его нельзя не любить, даже предостереженія твои были напрасны: моя откровенность, шипѣніе и т. д. не оскорбляли его. Но въ литературѣ онъ Богъ знаетъ что дѣлаетъ“. Грановскому приходилось защищать критика отъ упрека въ подлости, и его мучило, что и студенты „и лучшіе—стали считать его подлецомъ въ родѣ Булгарина“.

Само собою разумѣется, что столкновеніе между Грановскимъ и Бѣлинскимъ, съ его признаніемъ разумности всего дѣйствительнаго, не могло ограничиться сферой отвлеченныхъ вопросовъ философіи и искусства. Мы уже знаемъ, какъ интересовался въ это время Грановскій именно общественными вопросами, занимался особенно ими въ своихъ историческихъ изученіяхъ. Не удивительно, что онъ энергично—насколько это было возможно при его мягкости—возсталъ противъ Бѣлинскаго и Бакунина. Послѣдній собственно и увлекъ Бѣлинскаго на путь признанія дѣйствительности, и Грановскій прекрасно разгадалъ холодное головное увлеченіе Бакунина, который вскорѣ и самъ возсталъ противъ имъ навѣянныхъ статей о „Менцелѣ“ и „Бородинской годовщинѣ“. Бакунинъ вообще произвелъ на Грановскаго сильное впечатлѣніе только своимъ умомъ и спекулятивными способностями. „Въ наукѣ онъ можетъ совершить великое. Но въ сферѣ дѣятельной жизни онъ никуда не годится. Для него нѣтъ субъектовъ, а все объекты,“. — „Пока его не знаешь вблизи, съ нимъ пріятно и даже полезно говорить, — но при болѣе короткомъ знакомствѣ съ нимъ становится тяжело—unheimlich какъ то“. Лѣтомъ 1840 г. Бакунинъ уѣхалъ изъ Россіи и отношенія его съ Грановскимъ прекратились навсегда. *

дьянскаго, изъ за Бѣлинскаго; по поводу перехода къ послѣднему „Московского Наблюдателя“, „гнусная выходка Строева и бессмысленное эхо его, Бодянскаго, взбѣсили меня. По обыкновенію я перешелъ въ крайности, расхвалилъ Бѣлинскаго до небесъ и кончилъ личностями. По крайней мѣрѣ, Бѣлинскій благородный человекъ, если Вы отрицаете у него все прочее, это одно дѣлаетъ его рѣдкимъ явленіемъ въ русской журналистикѣ“. Переписка Грановскаго, 341.

* И Бакунинъ также никогда не чувствовалъ симпатіи къ Грановскому. По поводу выхода въ свѣтъ біографіи, составленной А. Станкевичемъ, Бакунинъ писалъ: „Въ немъ не было ни одной капли реальной Дидеротов-

Бѣлинскій осенью 1839 года переселился въ Петербургъ, разставшись довольно холодно и съ Грановскимъ, и съ Герценомъ. Послѣдній только что возвратился изъ ссылки во Владиміръ и нѣкоторое время жилъ въ Москвѣ, причемъ свелъ первое знакомство и съ Грановскимъ. Но уже очень скоро въ Бѣлинскомъ началась та реакція, сущность которой нами указана ранѣе. Замѣчательно, что въ письмахъ къ друзьямъ въ Москву онъ почти постоянно вспоминаетъ о Грановскомъ, какъ только рѣчь коснется перемѣны прежнихъ ультраконсервативныхъ убѣжденій.

„Скажи Грановскому,—пишетъ Бѣлинскій Боткину уже въ концѣ 1839 г.,—что чѣмъ больше живу и думаю, тѣмъ больше, кровнѣе люблю Русь, но начинаю сознавать, что это съ ея субстанціальной стороны, но ея опредѣленіе *, ея дѣйствительность настоящая начинаютъ приводить меня въ отчаяніе,—грязно, мерзко, возмутительно, не человѣчески,—я понимаю Фроловыхъ“... **, т. е. людей, покинувшихъ Россію. Замѣчательно, что эта же мысль объ эмиграціи мелькаетъ и у Герцена и Огарева (въ ихъ перепискѣ) лѣтъ за 10 до того, какъ первый изъ нихъ привелъ ее въ исполненіе.—Въ письмѣ

ской и Дантоновской, реально-человѣколюбивой крови. Онъ жилъ и умеръ въ доктринахъ и въ сентиментально-гуманической фикціи. Онъ любилъ гуманность, но не живыхъ людей. Какъ всѣ доктринеры и идеалисты, онъ, самъ того не сознавая, презиралъ, во имя націи и во имя изящной гуманности, глупую, ненаучную и неизящную толпу, черный людъ. Поэтому онъ долженъ былъ быть отъявленнымъ врагомъ социализма и вѣрующимъ въ жизнь другую, въ которой, вѣроятно, онъ думалъ, толпа будетъ имѣть случай поумнѣть и умыться. Я прочелъ нѣсколько писемъ его къ сестрамъ, къ кузинамъ,—что за прекрасноедушіе, какое отвратительное хлопотанье о себѣ, о своей позѣ въ исполненіи de sa mission, что за несносное изящное саморисованіе въ идеалъ, какъ предъ зеркаломъ,—что за отвратительное самолюбивое кокетство. И все это на французскомъ діалектѣ—признакъ лжи. Вѣчныя хлопоты о себѣ, о своемъ счастьи, о своемъ несчастіи, о своей красотѣ, о своемъ достоинствѣ, о своемъ положеніи и о своемъ призваніи. Когда же ему было думать о живомъ, страждущемъ, поправномъ человѣчествѣ... Передъ гигантомъ Станкевичемъ, Грановскій былъ изящный маленький человѣкъ, не болѣе. Я всегда чувствовалъ его тѣсоту и никогда не чувствовалъ къ нему симпатіи. Письма его на счетъ Герцена столь же глупы, сколько отвратительны. Похороните его, друзья (т. е. Герценъ и Огаревъ); онъ васъ не стоитъ. Будетъ одною пустою тѣнью—въ памяти менѣе“. (Барсуковъ: „Ж. и тр. Погод.“ XV, 212—213). Пристрастный, грубо ошибочный отзывъ, противъ котораго читатель найдетъ возраженія въ фактахъ, въ X главѣ, когда будетъ рѣчь объ отхожденіи Грановскаго къ „черному люду“.

* Т. е. внѣшнія, частныя выраженія ея сущности.

** Пыпинъ: „Бѣлинскій“, II, стр. 9, и далѣе стр. 31, 63, 229.

отъ 14-го марта 1840 г. Бѣлинскій опять вспоминаетъ о Грановскомъ. Онъ жалуется, что, несмотря на дружную работу съ друзьями въ преобразованныхъ „Отечественныхъ Запискахъ“, гдѣ явились и характеръ, и единство, и мысль, и одушевленіе,—дѣло нейдетъ вслѣдствіе равнодушія публики, довольной Гречемъ и Булгаринымъ. „Я связанъ съ російскою публикой страшными узами, какъ съ постылою женой... О, я теперь лучше бы сошелся съ Грановскимъ, лучше бы понялъ и оцѣнилъ эту чистую, благородную душу, эту здоровую и нормальную натуру, для которой слово и дѣло — одно и то же“,—для которой слово было дѣломъ,—скажемъ мы теперь. Въ концѣ 1840 г. Бѣлинскій уже сѣтуетъ на Грановскаго за то, что тотъ не пишетъ ни ему, ни для „Отеч. Зап.“. „А я, право, такъ люблю его,—говоритъ онъ,—такъ часто думаю о немъ, особенно въ послѣднее время, когда я въ нѣкоторыхъ пунктахъ нашихъ московскихъ съ нимъ споровъ такъ измѣнился, что, при свиданіи, ему нужно будетъ не подстрекать, а останавливать меня“. Наконецъ, 1 марта 1841 г., Бѣлинскій спрашиваетъ Боткина: „Что Грановскій?—Кстати, увѣдомъ меня, что онъ—сердится на меня за что или просто не любитъ? Я о немъ и разспрашиваю, и пишу, и поклоны посылаю; а отъ него себѣ не вижу ни отвѣта, ни привѣта. Скажи всю правду,—я въ обморокъ не упаду... хотя, говорю искренно,—люблю и уважаю этого человѣка и дорожу его о себѣ мнѣніемъ“...

Грановскій съ своей стороны живо интересовался всѣмъ умственнымъ строемъ Бѣлинскаго и его жизнью. Въ Берлинѣ въ концѣ 1841 г., начались лекціи Шеллинга, который теперь явился ожесточеннымъ противникомъ Гегеля; такъ называемая вторая Шеллингова философія, или философія откровенія, была подъ покровительствомъ прусскаго правительства, такъ какъ молодые или лѣвые гегеліанцы дѣлали изъ философіи прежняго прусскаго государственнаго мыслителя, Гегеля, выводы совсѣмъ даже непріятные для властей. Философіей откровенія, между прочимъ, сильно увлекся Катковъ, сблизившійся по возвращеніи изъ за границы въ 1843 г. уже съ Шевыревымъ и Погодинымъ. Грановскій, подобно Бѣлинскому, не питалъ сочувствія къ новому ученію Шеллинга. и пи-

саль, между прочимъ, другу: „Что ты, мой милый Виссаріонъ? Какъ живешь? Что читаешь? Смотри, братъ, не поддайся берлинской философіи, которую собирается привезти къ намъ Катковъ... Почти во всемъ я съ тобою согласенъ. До смерти хочется, чтобы ты побольше читалъ: это бы освѣжало тебя. Читай французскихъ историковъ и достань себѣ *Encyclopédie Nouvelle*; она познакомитъ тебя съ Пьеромъ Леру. Одинъ изъ самыхъ умныхъ и благородныхъ людей въ Европѣ. Читай, Виссаріонъ, а не то черезъ годъ тебѣ трудно будетъ писать“*.

Лѣтомъ 1843 г. Бѣлинскій пріѣзжалъ въ Москву, вмѣстѣ съ Грановскимъ гостилъ у Герцена въ его подмосковномъ имѣніи, и это окончательно закрѣпило дружескія отношенія этихъ трехъ самыхъ видныхъ дѣятелей сороковыхъ годовъ. Крайности сходятся, говоритъ старинная русская поговорка, — такъ влекло и Бѣлинскаго и Грановскаго другъ къ другу. Между ними „была великая дружба, — пишетъ близко знавшій обоихъ Кавелинъ, — но я думаю, что непосредственной симпатіи между ними не было, да и не могло быть. Это были двѣ природы совершенно противоположныя. Грановскій былъ натура въ высшей степени художественная, гармоническая, нѣжная, сосредоточенная. Мысль всегда представлялась ему въ художественномъ образѣ, и въ немъ онъ передавалъ свои мысли и взгляды. Это не была маска, за которою онъ прятался, а свойство его природы. Всякая рѣзкость была ему неприятна, всякая односторонность его шокировала. Многіе считали его за это дипломатомъ, чуть-чуть не двоедушнымъ и хитрымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ слабымъ, безхарактернымъ. Но такія сужденія не шли въ глубь этой природы, удивительно изящной и рѣзко отличавшей его отъ диковатой русской и въ особенности московской среды. Представьте же себѣ рядомъ съ Грановскимъ Бѣлинскаго, страстнаго, нервнаго, вѣчно переходившаго изъ одной крайности въ другую, необузданнаго и гораздо менѣе образованнаго. Онъ не могъ не смущать иногда

* Пыпинъ: „Бѣлинскій“, II, 151.—Переписка Грановскаго, 439. Первая большая часть письма посвящена защитѣ жирондистовъ. Французскую революцію, запретную для каведры и журналовъ, изучали внимательно въ кружкахъ. Грановскій является въ письмѣ горячимъ защитникомъ жирондистовъ, какъ представителей соціальнаго взгляда на задачи революціи.

Грановскаго своими выходками, точно также какъ и самъ, вѣроятно, бѣсился и выходилъ изъ себя отъ сосредоточенной умѣренности и идеальности Грановскаго. Грановскій къ тому же былъ плохой философъ, плохой діалектикъ и часто былъ побиваемъ въ отвлеченныхъ спорахъ, даже когда былъ правъ. О Бѣлинскомъ Грановскій говорилъ всегда съ большимъ увлеченіемъ, съ большою любовью, но прибавлялъ, что онъ страшно увлекается и впадаетъ въ крайности. Еслибъ эти натуры не сплочали въ тѣснѣйшій союзъ внѣшнія обстоятельства, благородство общихъ стремленій, личная безукоризненность, а также гнетъ мысли, науки, литературы, — Бѣлинскій и Грановскій навѣрно бы разошлись, какъ Грановскій впоследствии разошелся съ Герценомъ“*.

Грановскій близко сошелся и съ близкимъ другомъ Бѣлинскаго, Вас. Пет. Боткинѣмъ. Авторъ до сихъ поръ читающихъ съ интересомъ писемъ объ Испаніи, Боткинъ былъ тонкимъ цѣнителемъ и знатокомъ искусства. Въ то время, какъ вопросы искусства и философіи прикрывали вопросы жизни, онъ былъ замѣтнымъ членомъ кружка западниковъ, и Грановскій могъ сблизиться съ нимъ на почвѣ вопросовъ объ искусствѣ, хотъ и стоявшихъ лично для Грановскаго на второмъ планѣ, но всетаки всегда живо его занимавшихъ. „Изъ всего разсѣявшагося кружка Николаева только Боткинъ близокъ ко мнѣ: добрый, умный и благородный человекъ, мученикъ прехотей Бакунина и проч. Катковъ человекъ съ дарованіями, но сухой и самолюбивый до крайности“ (19 іюля 1894 г., переп. Гр., 403). Съ Катковымъ Грановскій и позднѣе никогда не сходилъ. Упомянуть еще слѣдуетъ о переводчикѣ Шекспира, Н. Х. Кетчерѣ, о Е. Ѳ. Коршѣ, бібліотекарѣ университета (съ нимъ Грановскій былъ знакомъ еще въ Петербургѣ), и нѣсколько остановиться на дружбѣ Грановскаго съ Огаревымъ.

Они познакомились въ зиму 1839—40 гг., и каждую недѣлю Грановскій слушалъ въ домѣ Огаревыхъ музыку въ исполненіи лучшихъ московскихъ артистовъ. „Онъ—тихій, скромный, *sittlicher* ** человекъ; она—умная, свѣтская, въ хорошемъ смыслѣ,

* Пыпинъ: „Бѣлинскій“, II, стр. 230.—Сочиненія К. Д. Кавелина, т. III, стр. 1097.

** Въ смыслѣ: нравственно-отзывчивый.

и любезная женщина“,—такъ писалъ Грановскій объ Огаревѣ и его женѣ, Марьѣ Львовнѣ, между которыми въ то время не пробѣжала еще черная кошка. Жизненнымъ дѣломъ Огарева, говорилъ Герценъ, было созданіе той личности, какую онъ представлялъ изъ себя. Воспитанный баричемъ, лишенный какой бы то ни было силы воли, человѣкъ, бросавшійся отъ религіи къ метафизикѣ, къ сельскому хозяйству, отъ музыки и стиховъ—къ исторіи и естественнымъ наукамъ, онъ жилъ, не думая о завтрашнемъ днѣ: бросалъ деньги на кутежи, отдавалъ все состояніе крестьянамъ и первой женѣ, съ которой разошелся, и часто не въ силахъ былъ ничѣмъ помочь горячо любимому имъ Бѣлинскому. Но онъ соединялъ въ себѣ всѣ недостатки барской бездѣтельной природы, выгнанной на дрожжахъ крѣпостного права, съ достоинствами широко-просвѣщеннаго, отзывчиваго человѣка; онъ умѣлъ, какъ и Грановскій, совершенно простодушно и естественно привлекать къ себѣ людей, до того, что въ семьѣ Герценовъ и потомъ Тучковыхъ образовался какой-то культъ Огарева. Въ своемъ умственномъ развитіи онъ шелъ вслѣдъ за Герценомъ, но ничѣмъ самостоятельнымъ, кромѣ ряда меланхолически-созерцательныхъ стихотвореній,—незаслуженно позабытыхъ нынѣ,—не заявилъ себя. Зато чарующе умѣлъ онъ, подобно Грановскому, дѣйствовать на людей своей личностью. Сознаніе безцѣльно растроченной жизни положило на него печать тихой меланхолии, нѣжнаго участія къ людямъ. Мѣсто страстныхъ порывовъ къ истинѣ, которую еще недавно думали взять съ бою, съ помощью гегелевской діалектики, въ Огаревѣ постепенно заняла „какая-то печальная вдумчивость въ явленія жизни и ожиданіе поученій и откровеній только отъ страдающихъ умовъ, отъ болѣющихъ сердецъ, въ присутствіи которыхъ онъ всегда и оживлялся. Онъ сдѣлался по плечу каждому человѣку, какъ самому простому, такъ и самому развитому, потому что одинаково вѣрно понималъ ихъ духовныя нужды и входилъ въ цѣпь ихъ мыслей и представленій“ *. Къ нему прекрасно идутъ стихи Некрасова, какъ и къ Грановскому:

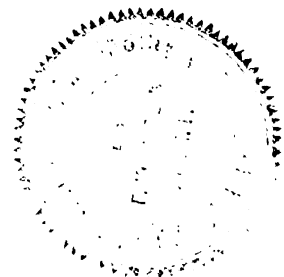
* „Анненковъ и его друзья“, I, стр. 102.

Воплощенной укоризною,
Свѣтель мыслью, сердцемъ чисть,
Ты стоялъ передь отчаяною,
Либераль-идеалисть.

Грановскій и Огаревъ были родственныя природы и сопоставленіе ихъ другъ съ другомъ проливаетъ свѣтъ на характеръ того и другого. Ихъ тянуло невольню другъ къ другу. Грановскій, уже болѣе законченный человѣкъ, чѣмъ Огаревъ, въ началѣ ихъ знакомства, натолкнулъ его на занятія исторіей. „Грановскій, съ которымъ я сближаюсь,—писалъ Огаревъ Герцену изъ Москвы въ 1840 г.,—посоветовалъ приняться за исторію; я схватился за эту мысль и принялся за средніе вѣка, къ которымъ имѣлъ и имѣю особую нѣжность“ *.

Чѣмъ Огаревъ былъ для Грановскаго въ свою очередь, видно изъ стихотворнаго посланія Огарева, которое писано въ Римѣ 18 (6) іюня 1843 г. Приводимъ изъ этого посланія, писаннаго въ отвѣтъ на неизвѣстное намъ письмо Грановскаго, нѣсколько строфъ, въ которыхъ исповѣдь переплелась съ товарищеской шуткою:

Твое печальное посланье
И принялъ къ сердцу и опять
Въ святую даль воспоминанья
Я взоромъ началъ проникать,—
И стало грустно! Сквозь тумана
Безмолвно прошлое встаетъ;
Больнѣй и глубже сердце жжетъ
Незаживаемая рана....
Ужель и вправду намъ осталось
Одно лишь только, чтобъ душа
Im Allgemeinen затерялась
Для жизни личной не дыша?...
Не можетъ быть,—мы юны вѣчно,
И о быломъ твоя тоска
Не есть нисколько знакъ предтечный
Увядающей жизни старика.
Нѣтъ! скорбь надъ тяжкою утратой,
О прошломъ чувствѣ, прежнихъ дняхъ,—
Она любовь у насъ въ душахъ
Къ тому, что въ жизни было свято.
Когда же значила любовь
Не юность сердца? Изъ страданій
Для насъ спокойно встанетъ вновь
Чреда надеждъ и упованій!



Далѣе Огаревъ прекрасно характеризуетъ причину ихъ взаимной привязанности:

* „Изъ переписки недавнихъ дѣятелей“. „Русск. Мысль“, 1889 г., апрѣль, стр. 11.

Душевный миръ и сердца муки
Въ твоей душѣ нашли себѣ
Такъ странно-родственные звуки,
Какъ будто свыше намъ одна
Обоимъ жизнь была дана.

Мы одинаково здоровы
И одинаково больны,
И оба жребіемъ суровымъ
Одной хандрой надѣлены.
Я радостно въ твоемъ посланьи
Прочелъ, что говорить со мной
Ты можешь только, да съ женой
О тайномъ внутреннемъ страданьи.
Одно, что я въ себѣ цѣню,
Основу дружбы нашей вижу
(Хоть слабость глупую мою
Всегда бесплодно ненавижу):
То женски-тихий, нѣжный нравъ.

Не знаю, правъ я или не правъ,
Одно пристрастье я съ тобою
Питаю къ Пушкину. И что жъ?
Съ его большою стороною
Мы, можетъ, дружны? Онъ похожъ
На насъ болѣзненно. А, можетъ,
Къ нему у насъ пристрастья нѣтъ,
А просто ни одинъ поэтъ
Души такъ вѣрно не тревожить.
Вѣдь не болѣзнь его печаль,
И порицать мы станемъ нынѣ—
Изъ современности—едва-ль,
Что находили въ немъ святыней,
Чѣмъ наслаждались мы въ тиши—
И грусть и свѣтъ его души!....

Какъ я живой бы рѣчи снова
Хотѣлъ изъ устъ твоихъ внимать...
(Которыя, чтобъ молвить слово,
Ты странно любишь раскрывать)
При этомъ я желалъ бы кстати
Созвучьемъ усладить хандру,
Тебя за чаемъ поутру
Заставши въ ваточномъ халатѣ.
Твоихъ волосъ увидѣть тожъ
Хочу я грустное спаданье
(Въ чемъ на меня ты не похожъ,
И несмотря на все старанье,
И сколько ты не берегись,
Какъ Боткинъ, скоро будешь лысъ).
Будь здоровъ, не пьянствуй слишкомъ много
И, вспоминая обо мнѣ,
Суди меня не слишкомъ строго,
Но, полный мира и любви,
Мой трудный путь благослови. *

* Тамъ же, „Русская Мысль“, 1889 г., 12, стр. 16.—Стихотворенія Н. П. Огарева. М. 1904. Т. I, Стр. 280—289.

Переходимъ къ иному кругу знакомыхъ Грановскаго, менѣе интимныхъ, съ которыми онъ сближался на почвѣ преимущественно отвлеченныхъ умственныхъ интересовъ. Объ университетскомъ кружкѣ мы уже говорили. Чаще всего Грановскій бывалъ въ салонѣ Елагиной; особнякомъ отъ всѣхъ этихъ кружковъ стояла странная, загадочная личность П. Чаадаева.

Мы уже упоминали о его „философическихъ письмахъ“. Положеніе, занятое имъ въ московскомъ свѣтскомъ обществѣ, необыкновенно живо охарактеризовано Герценомъ въ „Быломъ и думамъ“. „Печальная и самобытная фигура Чаадаева рѣзко отдѣляется какимъ-то грустнымъ упрекомъ на линючемъ и тяжеломъ фонѣ московской high life. Я любилъ смотрѣть на него среди этой мишурной знати, вѣтреныхъ сенаторовъ, сѣдыхъ повѣсь и почетнаго ничтожества. Какъ бы ни была густа толпа, глазъ находилъ его тотчасъ: лѣта не исказили стройнаго стана его, онъ одѣвался очень тщательно; блѣдное, нѣжное лицо его было совершенно неподвижно, когда онъ молчалъ, какъ будто изъ воску или изъ мрамора, „чело какъ черепъ голый“, сѣро-голубые глаза были печальны и съ тѣмъ вмѣстѣ имѣли что-то доброе; тонкіе губы, напротивъ, улыбались иронически. Десять лѣтъ стоялъ онъ, сложа руки, гдѣ нибудь у колонны, у дерева на бульварѣ, въ залахъ и театрахъ, въ клубѣ—и воплощеннымъ veto, живою протестаціей смотрѣлъ на вихрь лицъ, бессмысленно вертѣвшихся около него, капризничалъ, дѣлался страннымъ, отчуждался отъ общества, не могъ его покинуть, потсмъ сказавъ свое слово, спокойно спрятавъ, какъ пряталъ въ чертахъ своихъ страсть подъ ледяною корой. Потомъ опять умолкъ, опять являлся капризнымъ, недовольнымъ, раздражительнымъ, опять тяготѣлъ надъ московскимъ обществомъ и опять же не покидалъ его. Старикамъ и молодымъ было неловко съ нимъ, не по себѣ; они, Богъ знаетъ отчего, стыдились его неподвижнаго лица, его прямосмотрящаго взгляда, его печальной насмѣшки, его язвительнаго снисхожденія“. И, несмотря ни на что, его умственный и нравственный авторитетъ подчинялъ ему москвичей. „Тридцать лѣтъ сряду, въ обветшалой квартирѣ своей изъ трехъ небольшихъ комнатъ, принималъ Чаадаевъ у себя еженедѣльно своихъ многочисленныхъ знакомыхъ, сперва вече-

ромъ по средамъ, а потомъ утромъ по понедѣльникамъ, и любилъ, чтобы въ эти дни его не забывали. Вся Москва, какъ говорится фигурально, знала, любила, уважала Чаадаева, снисходила къ его слабостямъ, даже ласкала эти слабости. Кто бы ни проѣзжалъ черезъ городъ изъ людей замѣчательныхъ, — давній знакомецъ посѣщалъ его, незнакомый спѣшилъ съ нимъ познакомиться“ *. Словомъ, это была дань энергичному убѣжденію со стороны пошлой и нравственно-трусливой толпы. — Уцѣлѣвъ отъ декабристскаго погрома, Чаадаевъ за границею сблизился съ Шеллингомъ, и, когда вернулся въ 1830 г. въ Россію, былъ уже католикомъ. Въ католицизмѣ есть нѣчто обаятельное. Въ ту пору исканія идеаловъ, въ двадцатые и тридцатые годы, онъ захватывалъ у насъ иныхъ, какъ захватывала людей гегелевская философія. Въ немъ та же цѣльность и стройность, то же объясненіе и устроеніе всего сущаго, столь соблазнительныя для ума, не вооруженнаго критическими приѣмами строгаго мышленія. Католицизмъ Чаадаева, князя Гагарина и др. не разъ возбуждалъ ожесточенные споры въ ихъ столкновеніяхъ со славянофилами, которые находили нужнымъ выяснять богословскую сторону и связь съ нею своихъ общихъ и частныхъ воззрѣній. — Грановскій не могъ не чувствовать глубокаго уваженія къ этому замѣчательному человѣку и лишь находилъ порою, что „его погубило самолюбіе, доходящее до смѣшныхъ глупостей“. — приговоръ, характеризующій не столько Чаадаева, сколько самого Грановскаго. Ему непонятно было отчужденіе и презрительно-равнодушное отношеніе Чаадаева къ русскому обществу: Грановскій былъ больше идеалистомъ въ этомъ отношеніи, чѣмъ Чаадаевъ, и вѣрилъ, что есть въ обществѣ живыя силы, которыя нужно только умѣть пробудить.

Въ первую же зиму своей московской жизни Грановскій знакомится со всѣмъ кругомъ славянофиловъ, собиравшимся особенно у Д. Н. Свербеева и въ салонѣ Авдотьи Петровны Елагиной, племянницы Жуковскаго и матери (отъ перваго мужа) Ивана и Петра Кирѣевскихъ. „Очень умные и замѣчательные люди, — писалъ о нихъ Грановскій. — Съ ихъ убѣжденіями невозможно согласиться, но у нихъ по крайней мѣрѣ

* „Биографія Кошелева“, II, стр. 35.

есть глубокое участие, знанье и логика. Мы не сходимся близко, но я ихъ отъ души уважаю“. Елагина не раздѣляла убѣжденій своихъ сыновей. Она широко раскрывала двери своей гостиной всѣмъ, кто искалъ общества для живого, дѣятельнаго обмѣна мыслей, и умѣла привлекать къ себѣ людей различныхъ взглядовъ и убѣжденій. Шевыревъ сходилса здѣсь съ Грановскимъ, Рѣдкинъ съ Давыдовымъ, Герценъ (съ 1842 г.) съ Хомяковымъ. „Съ 30-хъ гг. и до новаго царствованія,—говоритъ Кавелинъ, по собственному признанію обязанный дому Елагиной „направленіемъ всей своей послѣдующей жизни и лучшими воспоминаніями“,—домъ и салонъ Авдотьи Петровны былъ однимъ изъ наиболѣе любимыхъ и посѣщаемыхъ средоточій русскихъ литературныхъ и научныхъ дѣятелей. Все, что было въ Москвѣ интеллигентнаго, просвѣщеннаго и талантливаго, съѣзжалось сюда по воскресеньямъ. Пріѣзжавшія въ Москву знаменитости, русскіе и иностранцы, являлись въ салонъ Елагиныхъ... Блестящіе московскіе салоны и кружки того времени служили выраженіемъ господствовавшихъ въ русской интеллигенціи литературныхъ направленій, научныхъ и философскихъ взглядовъ. Это извѣстно всѣмъ и каждому. Менѣе извѣстны, но не менѣе важны были значеніе и роль этихъ кружковъ и салоновъ въ другомъ отношеніи,—именно, какъ школа для начинающихъ молодыхъ людей: здѣсь они воспитывались и приготавливались къ послѣдующей литературной и научной дѣятельности“ *. Полная простота и непринужденность царили въ домѣ Елагиной. О томъ глубоко уваженіи къ себѣ, какое умѣла внушить эта замѣчательная женщина, можно составить себѣ понятіе по словамъ Огарева. „Коппъ **—чудесный человѣкъ. Сегодня мы съ нимъ говорили объ Авдотѣ Петровнѣ. Скажи ей это, Гран! Коппъ находитъ, что она такая чудесная женщина, что могла бы быть отличною королевой. Изъ этого вы можете заключить, какъ и хорошіе люди въ Германіи не могутъ отвязаться отъ нѣмецкости: ни Hr. Geheimrath Kopp, ни Hr. Geheimrath Goethe не исключены изъ массы людей нѣмецкихъ. Но скажи отъ меня

* К. Д. Кавелинъ, „Матеріалы для біографіи“. „Вѣст. Евр.“ 1886 г., іюнь, стр. 451.—Сочиненія т. III, стр. 1120 и слѣд.

** Вѣроятно, врачъ Огарева.

Авд. Петр., что она изъ тѣхъ женщинъ, о которыхъ когда вспомнишь, такъ на душѣ станетъ свѣтлѣе. Вслѣдствіе чего, мнѣ, поговоривши съ Коппомъ, въ самомъ дѣлѣ стало лучше: я и не сержусь, и не тоскую. Скажи Авд. Петр. мое рукопожатіе“ *.

„Быль на дняхъ у Елагиной, матери, если не Граховъ, то Кирѣевскихъ, — читаемъ въ дневникѣ Герцена. — Видѣлъ второго Кирѣевского. Мать—чрезвычайно умная женщина, безъ цитать, просто и свободно. Она груститъ о славянобѣсиіи сыновей. Между тѣмъ оно растеть въ Москвѣ. Чѣмъ кончится это безумное направленіе, становящееся костью въ теченіи образованія. Оно принимаетъ видъ фанатизма мрачнаго, нетерпимаго. Можетъ хорошо, что возможность такихъ убѣжденій обнаруживается, а съ ними вмѣстѣ обнаруживается вся нелѣпость ихъ“. Обнаруживалась ли, или не обнаруживалась, во всякомъ случаѣ москвичи усердно пользовались возможностью обмѣна мыслей по отвлеченнымъ вопросамъ философіи, исторіи и искусства, за невозможностью касаться вопросовъ общественнаго характера. На вечерахъ у Елагиныхъ иногда происходили чтенія. Тутъ нѣсколько разъ Гоголь читалъ свои комедіи и первыя главы „Мертвыхъ душъ“; для этихъ вечеровъ была написана проф. Крюковымъ статья о греческой исторіи; Хомяковъ читалъ здѣсь свою статью „О старомъ и новомъ“, полемизировалъ съ нимъ И. В. Кирѣевскій. Принялъ участіе въ этихъ литературныхъ вечерахъ и Грановскій, прочитавшій здѣсь двѣ статьи свои, набросанныя въ часы досуга. Онъ горячо привязался къ хозяйкѣ дома и вліяніе ея на него можно до нѣкоторой степени сравнить съ вліяніемъ Фроловой.

Упомянемъ еще, что московская интеллигенція, и Грановскій въ томъ числѣ, охотно посѣщала домъ Павловыхъ. Н. Ф. Павловъ получилъ въ тридцатыхъ годахъ крупную литературную извѣстность повѣстями, на которыя обратили вниманіе Бѣлинскій и государь Николай Павловичъ; послѣдній посовѣтовалъ автору не либеральничать, а лучше заняться хоть описаніемъ красотъ Кавказа. Остроумный и наблюдательный Павловъ сталъ въ Москвѣ постояннымъ посѣтителемъ всѣхъ литературныхъ кружковъ. Жена его, Каролина Карловна,

* „Изъ переписки“. Письмо изъ за границы отъ 17—29 сентября 1843 г.

урожденная Янишь, не лишена была нѣкотораго поэтическаго таланта, но принадлежала къ числу возвышенно-сентиментальныхъ натуръ, въ жизни совершенно несносныхъ. Искренно увѣренная, что подобныя ей природы недолговѣчны, она часто вспоминала о скоромъ концѣ своемъ. Разсказывали, что Грановскій, которому надоѣло слушать такого рода сѣтованія, сказалъ ей однажды: „Каролина Карловна, когда же вы наконецъ умрете?“

Возвращаемся къ спорамъ, составлявшимъ содержаніе умственной жизни московскихъ кружковъ, и къ Грановскому. „Ты не можешь себѣ вообразить, какая у этихъ людей философія,—съ негодованіемъ, вполне понятнымъ въ немъ, писалъ онъ Станкевичу вскорѣ послѣ знакомства съ Кирѣевскими.—Главные ихъ положенія: Западъ сгнилъ, и отъ него уже не можетъ быть ничего; русская исторія испорчена Петромъ. Мы оторваны насильственно отъ роднаго историческаго основанія и живемъ наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоитъ въ возможности безпристрастно наблюдать чужую исторію; это даже наше назначеніе въ будущемъ; вся мудрость человѣческая истощена въ твореніяхъ св. отцовъ греческой церкви, писавшихъ послѣ отдѣленія отъ западной. Ихъ только нужно изучать: дополнять нечего,—все сказано. Гегеля упрекаютъ въ неуваженіи къ фактамъ *. Кирѣевскій говоритъ эти вещи въ прозѣ, Хомяковъ въ стихахъ. Досадно то, что они портятъ студентовъ: вокругъ нихъ собирается много хорошей молодежи и впиваютъ эти прекрасныя идеи... Славянскій патріотизмъ здѣсь ужасно господствуетъ: я съ кафедръ встаю противъ него, разумѣется, не выходя изъ предѣловъ моего предмета, за что меня упрекаютъ въ пристрастіи къ нѣмцамъ. Дѣло идетъ не о нѣмцахъ, а о Петрѣ, котораго здѣсь не понимаютъ и неблагодарны къ нему“. Въ этомъ письмѣ прекрасно изложены наиболѣе существенные пункты слагавшагося славянофильскаго ученія, которое не могло не встрѣтить рѣзкаго отпора раньше, чѣмъ противники могли отнестись къ нему болѣе безпристрастно.

Однако споры и столкновенія со славянофилами носили

* Упрекъ совершенно справедливый.

первое время сравнительно мирный характеръ. Причиной тому было прежде всего то обстоятельство, что пренія были въ значительной мѣрѣ чисто академичны и сначала мало кто чувствовалъ, что они касаются насущнѣйшихъ вопросовъ русской жизни современной,—вопросовъ, которые могутъ стать когда нибудь вопросами практическаго интереса. Такъ скудно и слабо въ обществѣ шевелилась мысль, что многіе интересовались философскими и литературными спорами, какъ зрѣлицемъ, приходили въ литературные салоны, чтобъ убить время, любуясь на азартъ спорщиковъ. И самые споры были подчасъ не движеніемъ мысли, а просто „моціономъ“, по мѣткому замѣчанію Языкова. Не удивительно, что Грановскій писалъ сестрамъ: „Не думайте, чтобы скука была моею особенностью, это чувство, общее почти всѣмъ молодымъ людямъ, которыхъ я знаю; между ними есть такіе, которые женятся единственно для того, чтобы не скучать“. Становились болѣе живымъ людямъ скучны и отвлеченные споры. Такъ, нѣсколько позднѣе, Хомяковъ жаловался (въ 1844 г.): „Отвлеченности всякаго рода, космополитизмъ, національность — замѣняютъ мѣсто положительныхъ интересовъ“ *. „Русскій, развивающійся до всеобщихъ интересовъ, готовъ схватиться за всякій вздоръ, чтобы заглушить только страшную пустоту“, записалъ въ своемъ дневникѣ Герценъ (2 окт. 1844 г.). „Когда народъ ощущаетъ одинъ темный трепетъ призванія, одно броженіе чего-то неяснаго, но влекущаго его въ сферу шири,—записано у него же (8 окт. 1843 г.),—тогда мыслящіе, не имѣя общей связи, начинаютъ метаться во всѣ стороны. Страшное сознаніе гнусной дѣйствительности, невозможность борьбы, заставляютъ искать примиренія во что бы ни стало,—примиренія во всякой нелѣпости, себя-обольщеніи, лишь бы была дѣйствительность мысли, лишь бы оторваться отъ дѣйствительности и найти причину, почему она такъ гадка. Вотъ причина этого множества партій самыхъ непонятныхъ въ Москвѣ. Общая связь одна: всѣ убѣждены въ тягости настоящаго,—но выходъ находить каждый молодецъ на свой образецъ“. Особенно поражали Герцена споры славянофиловъ съ Чадаевымъ и кн. Гагаринымъ,—споры, поражавшіе своимъ

* Пыпинъ: „Бѣлинскій“, т. II, стр. 232.

специфическимъ характеромъ византійской нетерпимости и Грановскаго, какъ видно изъ приведеннаго выше письма. Герценъ слѣдующимъ образомъ изображаетъ комическую сторону этихъ столкновений, напоминавшихъ ему средніе вѣка: „Типъ этихъ споровъ одинъ: откуда вѣдьмы—изъ Кіева или изъ Чернигова? Для людей, не вѣрящихъ въ вѣдьмъ, остается зѣвать и жалѣть расточенія силъ... Есть и протестанты, улыбающіеся надъ тѣми и другими, какъ надъ отсталыми, смѣющіеся надъ невѣждами, утверждающими, что вѣдьмы изъ Кіева или Чернигова, а сами они знаютъ навѣрное, что вѣдьмы идутъ изъ Житомира“. И даже такую дѣятельность мысли Герценъ готовъ былъ признать отрадною и утѣшительною: „безъ нея Москва была бы гробъ... Привычка собираться для споровъ, излагать, защищать свое profession de foi поставляетъ въ люди насъ, все таки безличныхъ рабовъ“.

Съ переѣздомъ въ Москву Герцена, дебаты въ кругу Елагиныхъ и Свербеевыхъ стали принимать характеръ болѣе и болѣе острый. Въ это же время Бѣлинскій все суровѣе начиналъ относиться къ славянофильству, и съ ненавистью—къ официальной народности, къ которой онъ приблизился въ пору признанія дѣйствительности разумною. Онъ подозрительно смотрѣлъ и на близость московскихъ друзей съ противниками и насмѣшливо называлъ ихъ терпимыя отношенія „любезностью чайнаго столика“.

Первый номеръ „Москвитянина“ на 1842 г. открывался статьей Шевырева: „Взглядъ на современное направленіе русской литературы. Сторона черная“. Шевыревъ, заслуженно осмѣянный еще ранѣе Бѣлинскимъ за его критическія мнѣнія, характеризовалъ направленіе современной литературы, какъ „торговое“, и, презрительно отзываясь о кружковыхъ направленіяхъ, называлъ Бѣлинскаго „хитрымъ журнальнымъ кондотьеромъ“, „рыцаремъ безъ имени“, „литературнымъ бобылемъ“ и т. д., причѣмъ обвиненіе въ невѣжествѣ было еще однимъ изъ самыхъ невинныхъ. „Неистовый Виссаріонъ“ не остался въ долгу и, подъ псевдонимомъ Бульдогова, написалъ ѣдкій памфлетъ „Педантъ“, гдѣ чувствительно задѣлъ и Погодина, литературнаго циника. Отдавая дань трудолюбію педанта, Бѣлинскій тѣмъ безпощаднѣе обрушивался на ограниченность,

надутое самодовольство, мелочность Шевырева, не останавливаясь передъ насмѣшкой надъ наружностью и модными желтыми перчатками его. Въ Москвѣ „Педантъ“ произвелъ цѣлую бурю.—„Ударъ произвелъ дѣйствіе, превзошедшее ожиданія,—писаль въ редакцію „Отеч. Записокъ“ В. П. Боткинъ:—Шевыревъ не показывается эту недѣлю въ обществахъ. Въ синклитѣ Хомякова, Кирѣевскихъ, Павлова, если заводятъ объ этомъ рѣчь, то съ пѣной у рта и ругательствами. Всѣхъ больше ругался Н. Ф. Павловъ; онъ предложилъ написать письмо къ князю Одоевскому (акціонеру „От. Зап.“) отъ лица всѣхъ московскихъ литераторовъ, въ которомъ просить князя, чтобъ онъ съ вами не знался; письмо это будетъ пересыпано разными любезностями на счетъ вапш и Бѣлинскаго... Погодинъ уменъ, шельма: проглотилъ пилюлю, но ходитъ съ веселымъ лицомъ. Но это все хорошо,—а можетъ быть худо то, что Шевыревъ, какъ я слышалъ, хочетъ жаловаться, и въ его жалобѣ будто приметъ участіе кн. Д. В. Голицынъ (московскій генераль-губернаторъ), который на дняхъ ѣдетъ въ Петербургъ. Смотрите, чтобы не было какой бѣды... Святители! Какое движеніе эта штука сдѣлала въ университетѣ! Давыдовъ расцвѣлъ, помолодѣлъ и, видимо, блаженствуетъ, спрашиваетъ всякаго встрѣчнаго: „читали ли вы третій № „Отеч. Зап.“?.. Каченовскій почти приплясываетъ. Сколько смѣшныхъ сценъ, намековъ,—однимъ словомъ, „От. Зап.“ рвутъ изъ рукъ въ руки, и всѣ и весь сколько нибудь читающій людъ говоритъ о нихъ. Но, Боже мой, какъ „москвитяне“ поносятъ бѣднаго, невиннаго Виссаріона и чѣмъ они называютъ его!! Кстати, статья Бѣлинскаго въ 1 № привела Шевырева въ негодованіе до того, что онъ посвятилъ одну цѣлую лекцію на опроверженіе ея. Грановскаго рѣчи по поводу „Педанта“ до того привели въ негодованіе, что онъ жалѣеть, что нѣтъ у него готовой статьи,—онъ тотчасъ бы послалъ вамъ, хоть для того, чтобы имя его стояло въ журналѣ... Между здѣшними литераторами и въ университетѣ броженіе... Ужасно вопіетъ Кирѣевскій: ругаетъ Бѣлинскаго словами, приводящими въ трепетъ всякаго православнаго, и спрашиваетъ Грановскаго: неужели вы не постыдитесь подать Бѣлинскому руку? А Грановскій имѣлъ

безстыдство отвѣчать: не только не постыжусь подать руку, а хоть даже на площади передъ всѣми обниму его!“*.

Герценъ также, не обинуясь, къ скандалу славянофиловъ и круга ихъ становился на сторону Бѣлинскаго. Осенью того же года М. М. Дмитриевъ напечаталъ въ „Москвитинѣ“, по адресу Бѣлинскаго, стихи „Безымянному критику“:

Нѣтъ! Твой подвигъ не похваленъ,
Онъ Россіи не привѣтъ,
Карамзинъ тобой ужаленъ,
Ломоносовъ не поэтъ!

и т. д.

23 ноября 1842 г. въ „дневникѣ“ записано: „Вчера провель вечеръ у Елагиной. Были оба Кирѣевскіе, Дмитриевъ и вздоръ. Дошла рѣчь до „О. З.“ и до Бѣлинскаго. Кирѣевскій отозвался съ негодующимъ презрѣніемъ, Дмитриевъ—съ острою. Рѣчь шла о какой-то неважной статьѣ; я вдругъ бросилъ свое мнѣніе также въ пользу „О. З.“ Сдѣлалось молчаніе. Перемѣнили разговоръ тотчасъ. Елагина была съ моей стороны...“

Подобныя столкновенія показывали, что противники чувствовали уже непримиримость исходныхъ точекъ своихъ взглядовъ: вопросы переходятъ обыкновенно на болѣе личную почву, — какъ видно и въ этихъ примѣрахъ, — когда выясняется, что на отвлеченной сойтись невозможно. Герценъ въ этихъ столкновеніяхъ, какъ и Грановскій, занялъ своеобразное положеніе. Онъ обладалъ необыкновенно развитою и рѣдкою способностью схватывать на время точку зрѣнія противника и мастерски оцѣнивать ходъ его мыслей, усвоивая все, что не противорѣчило точкѣ зрѣнія его самого и было выставляемо противникомъ. Онъ первый изъ московскихъ западниковъ оцѣнилъ самостоятельность славянофильства, въ особенности значеніе такой стихіи народной русской жизни, какъ община; ужь очень рано онъ заявлялъ, что западники, чтобы достичь

* Отчетъ Имп. Публичной Библиотеки за 1889 г. Приложенія, стр. 43—45. Впрочемъ, эта страстная полемика временами тяготила его. 15 ноября 1843 г. онъ пишетъ Кетчеру: „Что за охота плеваться. Вѣдь такимъ образомъ можно плюнуть и въ собственное лицо и въ собственное убѣжденіе... Примириться съ такими азіатскими, монголо-манчжурскими формами я не могу, да и не хочу; это была бы дрянная беззакопная уступка. Экіе татары!“ (Переп. Гр., 459).

въ обществѣ вліянія, должны овладѣть темами славянофиловъ, какъ оно и случилось нѣсколько позднѣе. Указанная особенность ума Герцена сближала его съ Грановскимъ, который всегда былъ охотно готовъ признать за противниками долю истины. Но Герценъ въ то же время рѣшительно и постоянно подчеркивалъ свой собственный взглядъ, діаметрально противоположный славянофильскому, дѣлая это иногда съ цѣлью нарочно раздражить противниковъ, что замѣтно въ послѣднемъ указанномъ нами столкновеніи. Герценъ, такимъ образомъ, болѣе другихъ былъ способенъ заставить противниковъ совершенно высказаться. Въ Хомяковѣ онъ нашелъ равнаго себѣ противника. „Удивительный даръ логической fascinаціи, быстрота соображенія, память чрезвычайная, объемъ пониманія широкъ, вѣренъ себѣ, не теряетъ ни на минуту *aggrèpensee*, къ которой идетъ,—такъ характеризуетъ Герценъ Хомякова:—необыкновенная способность. Я радъ былъ этому спору,—я могъ нѣкоторымъ образомъ извѣдать силы свои, — съ такимъ бойцомъ помѣриться стоитъ всякому ученію, и мы разошлись, каждый при своемъ, не уступивши іоты“ (21 дек. 1842 г.). Ожесточенные споры ихъ, длившіеся иной разъ съ девяти часовъ вечера до трехъ-четыреохъ часовъ утра, выяснили очень скоро противоположность исходныхъ точекъ зрѣнія, начали портиться личныя отношенія, и скоро западники и славянофилы должны были разойтись.

Какъ увидимъ, это было не такъ легко и просто. Успѣли завязаться и окрѣпнуть личныя привязанности; личное уваженіе къ противникамъ одинаково характеризовало обѣ стороны, и, пожалуй, западники были много терпимѣе, чѣмъ славянофилы, черезчуръ заразившіеся исключительностью официальной народности. Изъ письма Грановскаго мы уже знаемъ, какъ онъ относился хоть къ Кирѣевскимъ. К. Аксаковъ, бывшій членъ кружка Станкевича, былъ, по словамъ Герцена, „одинъ изъ тѣхъ противниковъ, которые были ближе намъ многихъ своихъ“. Лично Грановскій былъ живою связью между несогласными. „Въ его любящей, покойной и снисходительной душѣ исчезали угловатая распри и смягчался крикъ самолюбивой обидчивости,—пишетъ Герценъ.—Онъ былъ между нами звеномъ соединенія многаго и многихъ и часто

примирялъ въ симпатіи къ себѣ цѣлые круги, враждовавшіе между собой, и друзей, готовыхъ разойтись“. Споръ быстро принималъ менѣе острый и раздражительный характеръ, когда вступался Грановскій. Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ говорить, что назвалъ бы „вкрадчивостью“ всѣ нѣжныя, примиряющія свойства личности Грановскаго, со всѣми почти всегда одинаково ровнаго и простаго—„если-бъ съ этимъ словомъ не соединялась мысль о хитрости, несомѣстной съ характеромъ Тимоѣея Николаевича“.

Благодаря этимъ свойствамъ, онъ собственно и сталъ во главѣ московскихъ западниковъ, а не Герценъ. Послѣдній слишкомъ подавлялъ людей своимъ огромнымъ критическимъ, всесторонне образованнымъ умомъ, былъ личностью болѣе рѣзко выраженной, чѣмъ Грановскій. Но обоихъ соединяла тѣсная, искреннѣйшая дружба, въ жизни обоихъ игравшая не маловажную роль.

Четыре года они были въ московскомъ обществѣ неразлучны. Впервые познакомились они, какъ сказано, въ 1840 г., когда Герценъ былъ нѣкоторое время въ Москвѣ проездомъ на службу въ Петербургъ. Грановскій ему понравился, по его разсказу, „своей благородной задумчивой наружностью, своими печальными глазами съ насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой; онъ носилъ тогда длинные волосы и какого-то особеннаго покроя синее берлинское пальто съ бархатными отворотами и суконными застежками. Черты, костюмъ, темные волосы—все это придавало столько изящества и граціи его личности, стоявшей на предѣлѣ ушедшей юности и богато развертывавшейся возмужалости, что и неувлекающемуся человѣку нельзя было остаться равнодушнымъ къ нему. Я же всегда уважалъ красоту и считалъ ее талантомъ, силой“. Окончательно они сошлись, когда Герценъ, уже по примиреніи съ Бѣлинскимъ, послѣ житія въ Новгородѣ поселился въ Москвѣ и вошелъ дѣятельнымъ членомъ во весь кругъ западниковъ.

„Новые друзья приняли насъ горячо, гораздо лучше, чѣмъ два года тому назадъ *; — разсказываетъ Герценъ.—Въ ихъ главѣ стоялъ Грановскій; ему принадлежитъ главное мѣсто

* Т. е. во время наибольшаго увлеченія Бѣлинскаго Гегелемъ.

этого пятилѣтія. Огаревъ былъ почти все время въ чужихъ краяхъ. Грановскій замѣнилъ его намъ, и лучшими минутами того времени мы обязаны ему. Великая сила любви лежала въ этой личности. Со многими я былъ согласнѣе во мнѣніяхъ, но съ нимъ я былъ ближе—тамъ, гдѣ-то въ глубинѣ души“. При всемъ различіи умственнаго склада Герцена и Грановскаго, они сошлись во всѣхъ своихъ общественныхъ стремленіяхъ, какъ то уже указано нами при общей характеристикѣ возрѣній Грановскаго. Герценъ, сверхъ того, не доходилъ еще до отчетливаго пониманія тѣхъ разнорѣчій, которыя впоследствии привели къ разрыву, и которыя имѣли существенное значеніе лишь во внутренней жизни кружка, не касаясь его отношенія къ внѣшнему міру; къ послѣднему всѣ относились одинаково: были выработаны лишь общіе взгляды на русскую дѣйствительность—отрицательные, взгляды на дѣйственную роль личности и ея права, на роль науки, литературы и искусства въ измѣненіи дѣйствительности и т. д. „Мы быстро сблизились и видѣлись почти каждый день,—продолжаетъ Герценъ;—ночи сидѣли мы до разсвѣта, болтая обо всякой всячинѣ... въ эти-то потерянные часы и ими люди срастаются такъ неразрывно и безвозвратно... Страшно мнѣ и больно думать, что впоследствии мы надолго расходились съ Грановскимъ въ теоретическихъ убѣжденіяхъ. А они для насъ не составляли постороннее, а истинную основу жизни. Но я тороплюсь впередъ заявить, что если время доказало, что мы могли разнo понимать, могли не понимать другъ друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли ни разойтись, ни сдѣлаться чужими, что на это и самая смерть была бессильна“.

Постоянное требованіе безусловной послѣдовательности мышленія и полное отсутствіе сухой прямолинейности въ практикѣ, въ сношеніяхъ съ людьми—одна изъ отличительныхъ чертъ Герцена: „Будь горячъ или холоденъ! А главное—будь консеквентенъ, умѣй subig истину во весь объемъ“, записано въ его дневникѣ 22 сент. 1842 г. Другъ Огарева, хоть критически относившійся къ нравственно-философскимъ возрѣніямъ Грановскаго, Герценъ умѣлъ оцѣнить по достоинству личное обаяніе его

Съ своей стороны и Грановскій страстно привязался къ Герцену, цѣня его и какъ писателя, и особенно, какъ человѣка того же нравственнаго склада, какого былъ самъ. Успѣхъ статей Герцена о „Дилетантизмъ въ наукѣ“ былъ для Грановскаго источникомъ дѣтской радости. Онъ ѣздилъ съ „От. Зап.“ изъ дома въ домъ, самъ читалъ вслухъ, комментировалъ и серьезно сердился, если онѣ кому не нравились. „Жаль, что ты мало знаешь Герцена,—писалъ Грановскій Фролову (17 окт. 1845 г.):—встрѣча и близкое знакомство съ такимъ человѣкомъ доставили бы тебѣ много радости. Это одна изъ самыхъ чистыхъ, умныхъ и твердыхъ натуръ, какія мнѣ встрѣтились, несмотря на наружное легкомысліе“. И Грановскій не преувеличивалъ въ данномъ случаѣ значенія Герцена личною симпатіей къ нему. Въ свое время статьи Искандера имѣли вліяніе не меньше, пожалуй, статей Бѣлинскаго; оно возрастало по мѣрѣ того, какъ авторъ отдѣлывался отъ „птичьаго“ философскаго языка, отъ „искандеризмовъ“, и рѣчь его, по мѣрѣ уясненія и развитія положительнаго міросозерцанія, все больше пріобрѣтала сжатости, выразительности, все больше дышала огромною сдержанною силой. Вообще о его философскихъ и публицистическихъ статьяхъ цѣликомъ надо и нынѣ повторить приговоръ, произнесенный въ біографіи Бѣлинскаго г. Пыпинымъ въ семидесятихъ годахъ. Статьи о „Дилетантизмъ въ наукѣ“ сохраняютъ (для нашей литературы) свою цѣну и теперь, какъ защита самобытности и полной свободы науки противъ школьныхъ ограниченій, лицемѣрныхъ или боязливыхъ извращеній ея принципа, отъ которыхъ вообще нерѣдко страдаетъ наука, и которыя у насъ въ особенности дѣлали изъ нея не только *ancillam theologiae*, но и *ancillam* чего угодно. Эта защита науки нападала на самое больное мѣсто не только образованности того времени, но и всей русской образованности. Въ „Письмахъ объ изученіи природы“ задачи философіи и естествознанія были поставлены такъ, какъ лучшіе умы ставятъ ихъ и въ настоящую минуту“ *.

Внутренняя жизнь круга ближайшихъ знакомыхъ Грановскаго и Герцена полна глубокаго интереса. То не была уже

* Пыпинъ: „Бѣлинскій“, II. стр. 228.

зеленая молодежь: Герцену въ 1842 г. минуло уже тридцать лѣтъ, Грановскому было почти столько же, другіе были старше. Уже прошло время идеалистическихъ мечтаній, прекраснѣйшихъ розовыхъ надеждъ, но всѣ, по мѣрѣ силъ и разумѣнія, работали надъ собственнымъ развитіемъ, не останавливаясь; стремились распространять свои взгляды, не пугаясь того, что они шли въ разрѣзъ всей тогдашней дѣйствительности. „Такого круга людей талантливыхъ, развитыхъ, многостороннихъ, чистыхъ я не встрѣчалъ потомъ нигдѣ, — вспоминаетъ объ этой порѣ Герценъ, — ни на высшихъ вершинахъ политическаго міра, ни на послѣднихъ маковкахъ литературнаго и аристократическаго“. Подобнымъ же образомъ Бѣлинскій писалъ (8 сент. 1841 г.): „Я встрѣчалъ и виѣ нашего кружка людей прекрасныхъ, которые дѣйствительно насъ; но нигдѣ не встрѣчалъ людей съ такой ненасытимой жаждою, съ такими огромными требованіями на жизнь, съ такой способностью самоотверженія въ пользу идеи, какъ мы. Вотъ отчего все къ намъ льнетъ, все подлѣ насъ измѣняется“ *. И эти слова людей сороковыхъ годовъ не были преувеличены: чѣмъ больше оглашается матеріаловъ по исторіи этихъ кружковъ, тѣмъ въ болѣе цѣльномъ и ясномъ освѣщеніи представляется именно та картина ихъ жизни, которую рисуетъ Герценъ.

„Наши теоретическія несогласія... вносили болѣе жизненный интересъ, потребность дѣятельнаго обмѣна, держали умъ бодрѣе, двигали впередъ; мы росли въ этомъ треніи другъ о друга, и въ самомъ дѣлѣ были сильнѣе тою composite артели, которую такъ превосходно опредѣлилъ Прудонъ въ механическомъ трудѣ **. Съ любовью останавливаюсь я на этомъ времени дружнаго труда, полнаго поднятаго пульса, согласнаго строя и мужественной борьбы, — на этихъ годахъ, въ которыхъ мы были юны въ послѣдній разъ!“

„Нашъ небольшой кружокъ собирался часто то у того,

* Пыпинъ: „Бѣлинскій“ II, стр. 123.

** Однимъ изъ тезисовъ слагавшагося тогда за границею социализма было выставлено, что капиталистъ, оплачивая лишь единичный трудъ каждаго изъ работниковъ въ отдѣльности, присвоиваетъ себѣ результатъ коллективнаго труда; эту сторону труда многихъ работниковъ вмѣстѣ, которая на много увеличиваетъ арифметическую сумму результатовъ ихъ единичнаго труда, и имѣетъ въ виду Герценъ.

то у другого, чаще всего у меня. Рядомъ съ болтовней, шуткой, ужиномъ и виномъ, шелъ самый дѣятельный, самый быстрый обмѣнъ мыслей, новостей и знаній; каждый передавалъ прочтенное, узнанное, споры обобщали взглядъ, и выработанное каждымъ дѣлалось достояніемъ всѣхъ. Ни въ одной области вѣдѣнія, ни въ одной литературѣ, ни въ одномъ искусствѣ не было значительнаго явленія, которое не попало бы которому нибудь изъ насъ и не было бы тотчасъ сообщено всѣмъ“.

Философія Гегеля завершала уже въ это время кругъ своего развитія. Лѣвое гегеліанство, къ которому раньше другихъ обратился Бакунинъ, далеко ушло, съ Фейербахомъ во главѣ, отъ той государственно-протестантской философіи, которой покровительствовало прусское правительство. Въ то же время все болѣе обращало на себя вниманіе французское соціальное движеніе 30-хъ и 40-хъ гг. изучали социалистовъ-утопистовъ—Сень-Симона, Кабэ, Фурье, Ламеннэ, Пьера Леру (Петра Рыжаго, какъ называли его въ письмахъ, когда опасались любопытства Шекиныхъ) и др.

Грановскій былъ посредствующимъ звеномъ между обоими теченіями, которыя представляли собою кружки Станкевича и Герцена. Мы видѣли уже, какъ онъ рекомендовалъ Бѣлинскому Леру; подобнымъ же образомъ онъ высоко ставилъ Жоржъ-Зандъ и старался распространять уваженіе къ ней. Въ январѣ 1841 года онъ писалъ своей кузинѣ, съ которою переписывался въ теченіе одиннадцати лѣтъ: „Я думаю, что красота слога — послѣднее изъ ея достоинствъ, хотя этотъ слогъ такъ прекрасенъ, что оставляетъ за Ж.-Зандъ одно изъ первыхъ мѣстъ между великими писателями ея отечества. Думаю, что вы, вмѣстѣ съ женою моею, не цѣните по достоинству ея произведеній по одной и той же причинѣ: потому что вы еще очень молоды и потому что вы счастливы. Надобно испытать жизнь, чтобы сочувствовать Ж.-Зандъ. Я признаю въ ней величайшій талантъ и величайшее сердце современной литературы. Лѣтъ черезъ десять вы будете моего мнѣнія... Ее упрекаютъ въ безнравственномъ направленіи, но это клевета. Если-бъ это было справедливо, я не далъ бы ей книгъ въ руки моей жены и не послалъ бы ихъ вамъ.“

Я не беру на себя оправдывать заблужденія Ж.-Зандъ, но за ней остается ея геній, возвышенное и благородное сердце и, наконецъ, ея страданія, часто исторгавшія у нея тѣ вопли, которые осуждаются свѣтомъ, потому что уши его слишкомъ слабы“. На почвѣ литературно-исторической Грановскому быстро удалось уничтожить своею примиряющею натурой послѣдніе слѣды взаимнаго непониманія между кружками, и они слились другъ съ другомъ и съ кругомъ профессоровъ въ одно цѣлое.

На всѣхъ, кто соприкасался съ этимъ западническимъ кругомъ, онъ отражался такъ или иначе. Близость къ университету дѣлала кружокъ соединительнымъ звеномъ между наукой и жизнью, и самыя представленія объ университетѣ, какъ средоточіи живой мысли, сливались для общества съ представленіемъ о кружкѣ, и наоборотъ. „Я не сидѣлъ на скамьяхъ студентовъ,—говорилъ М. С. Щепкинъ, постоянный гость и другъ этого кружка,—но съ гордостью скажу, что много обязанъ Московскому университету въ лицѣ его преподавателей: одни научили меня мыслить, другіе—глубоко понимать искусство“. Особенную благодарность питалъ онъ къ Грановскому, „поднимавшему его нравственно, укрѣплявшему въ немъ постоянно упорную и неутомимую любовь къ труду и искусству“*.

Присутствіе женщинъ, женъ Герцена и Грановскаго, которыя дѣлили всѣ ихъ умственные интересы, придавало еще болѣе смягчающей, поэтической колоритъ кружку, даже когда дружба сопровождалась неумѣренными возліаніями шампанскаго. У Грановскаго стихалъ и укрощался обыкновенно даже вѣчный буршъ, суровый цензоръ нравовъ, Н. Х. Кетчеръ. „Что то спокойное, трогательно-тихое царило въ ихъ молодомъ домѣ,—говоритъ Герценъ.—Душѣ было хорошо видѣть иной разъ возлѣ Грановскаго, поглощеннаго своими занятіями, его высокую, гнущуюся какъ вѣтка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу“. „Сверхъ ожиданія,—писалъ онъ Огареву въ началѣ 1843 года,—иногда высшая гармонія вѣнчаетъ своимъ бракомъ (какъ меня, какъ Грановскаго,

* Галаховъ: „Литературная кофейня“. „Русск. Стар.“, 1886 г., 5.

который чудно счастливъ дома)“*. Любовь освѣщавшая жизнь Грановскаго и Герцена, была тѣмъ дѣйственнѣе, что не была цѣлью ихъ жизни, романтическимъ порывомъ. И здѣсь умѣстно отмѣтить совпаденіе между тѣмъ, что писалъ Грановскій на эту тему своей невѣстѣ (см. выше), и что проводилъ Герценъ и въ своихъ сочиненіяхъ, наприм. „Кто виноватъ“, и въ отдѣльныхъ статьяхъ. „Да неужели для человѣка только и дано въ удѣлъ, что любиться,—спрашивалъ онъ въ дневникѣ по поводу одной драмы съ сюжетомъ несчастной любви,—и развѣ одна любовь даетъ Grundton всей жизни? На все есть время. Зачѣмъ этотъ человѣкъ не раскрылъ свою душу общимъ, человѣческимъ интересамъ, зачѣмъ онъ не доросъ до нихъ? Зачѣмъ и женщина эта построила весь этотъ храмъ своей жизни на такомъ песчаномъ грунтѣ? Какъ можно имѣть единымъ якоремъ спасенія индивидуальность чьюнибудь? Все отъ того, что мы дѣти, дѣти и дѣти... Какой фазисъ въ жизни занимаетъ любовь, потомъ семейство? Какой бы ни занимало, но исключительно человѣкъ не долженъ себя погружать въ одно индивидуальное чувство. У него якорь спасенія въ идеѣ, въ мірѣ общихъ интересовъ; духъ человѣка носится между этими двумя мірами. Пренебреги онъ сердцемъ индивидуальнымъ, онъ былъ бы уродъ; обратно—тоже“.

Умѣнье примирять индивидуальное и общее, не насилуя ни того, ни другого,—одна изъ наиболѣе выдающихся сторонъ идеалистовъ 40-хъ годовъ. Всѣ они были до извѣстной степени эпикурейцами, не въ избытокъ, пошломъ значеніи слова; въ частной жизни всецѣло признавали справедливость изреченія Спинозы, что „развѣ только мрачное и печальное суетвѣріе можетъ запрещать веселиться. Ибо почему же болѣе прилично утолять голодъ и жажду, чѣмъ прогонять меланхолію?“ Этотъ характеръ житейской философіи 40-хъ гг. смущалъ многихъ въ шестидесятые годы, когда сильна была въ интеллигенціи аскетическая, подвижническая струя. Дѣйствительно, интеллигентные кружки 40-хъ годовъ, особенно московскіе, состояли по большей части изъ людей очень и очень обезпеченныхъ, съ барскими привычками. Нѣ-

* „Изъ переписки“, „Русск. Мысль“, 1890 г., № 3, стр. 1.

которые из идеалистовъ, группировавшихся около Бѣлинскаго, Герцена, Грановскаго, такъ и провели жизнь между разговорами о дѣятельности и поѣздками за границу, гдѣ особенно любили проживать свои состоянія, и не оставили по себѣ

... ни мысли плодотворной,
Ни гениемъ начатаго труда.

Но все таки этотъ эпикуреизмъ не былъ ни всеобщимъ, ни принималъ характера увлеченія прелестями жизни, заслонявшаго темныя стороны ея, тяготѣвшія надъ народными массами. Помимо того, что петербургскій кружокъ пролетарія Бѣлинскаго ужь очень далеко былъ отъ какого бы то ни было сибаритства, даже по поводу кружка Герцена и Грановскаго надо помнить настроеніе, въ какое повергали ихъ порой внѣшнія условія. Герцену самому приходилось оправдываться отъ подобныхъ обвиненій. „Не признавать людей потому, что они дѣлали изъ внутренняго влеченія то, что другіе будутъ дѣлать изъ нужды,—писалъ онъ въ „Быломъ и Думахъ“,—сильно смахиваетъ на монашескій аскетизмъ, который высоко цѣнитъ только тѣ обязанности, исполненіе которыхъ очень противно... Мы—большіе доктринеры и резонеры. Къ этой нѣмецкой способности у насъ присоединяется свой національный, такъ сказать, аракчеевскій элементъ, безопасный, страстно-сухой и охотно палачествующій. Аракчеевъ засѣкалъ—для своего идеала лейбъ-гвардейскаго гренадера—живыхъ крестьянъ; мы засѣкаемъ идеи, искусства, гуманность, прошедшихъ дѣятелей, все, что угодно... Чѣмъ же виноваты люди, понявшіе боль страждущихъ, прежде ихъ самихъ и указавшіе имъ не только ее, но и путь къ выходу? Потомокъ Карла Великаго Сень-Симонъ, такъ же какъ фабрикантъ Робертъ Оуэнъ, не отъ голодной смерти сдѣлались апостолами социализма“.

Какъ странно ставить въ упрекъ людямъ сороковыхъ годовъ ихъ по большей части дворянское обезпеченное положеніе въ свѣтъ, такъ странны и съ чисто-исторической точки зрѣнія упреки имъ въ барскихъ замашкахъ и эпикуреистствѣ. Дѣйствительно, иногда встрѣчи московскихъ друзей принимали характеръ разгула. При этомъ въ своей сферѣ наибо-

лѣе бывалъ шумный Кетчеръ, мѣтко охарактеризованный въ одной пародіи:

Пей и знай: виномъ заморскимъ
 Накатиться нѣтъ грѣха,
 Вотъ другое дѣло горскимъ
 Или водкой, ха-ха-ха!
 Ха-ха-ха! Вино—лѣкарство...
 Ха-ха-ха! Ну, пей скорѣй!
 Ха-ха-ха! Ну, къ шуту барство,
 Пей, да только не пролей.

Но если и бывалъ пиръ на весь міръ, то чаще всего это бывалъ „пиръ во время чумы“, съ желаніемъ забыться,— пиръ, среди котораго прорываются тоскливыя ноты то и дѣло; жизнерадостное веселье, пѣвцомъ котораго былъ Кольцовъ, принадлежавшій къ этому же кругу, рѣдко звучало здѣсь во всей своей полнотѣ. Смѣхъ бывалъ часто смѣхомъ сквозь слезы буквально.

„Разговоръ съ Грановскимъ о личномъ положеніи моемъ, нашемъ, всегда оставляетъ мрачное расположеніе,— писалъ Герценъ въ дневникѣ 8 января 1843 г.—А впрочемъ подчасъ кипятъ надежды. Nein, nein, es sind keine leere Träume!*. Нѣтъ достаточно вѣры, оттого нѣтъ достаточно резигнаціи. Хочется насладиться жизнью, отдохнуть отъ прошлыхъ ударовъ, въ то время какъ слѣдовало бы самоотверженно оставить домъ**. Конечно, мы приносимъ хоть малую, но приносимъ пользу“. И тревожное настроеніе, рисующееся въ этихъ строкахъ, было едва ли не доминирующимъ. Вотъ еще цитата изъ дневника, показывающая, что за болѣзненные ноты слышны въ „пирѣ“ московскихъ кружковъ. „10 апрѣля 1843 г. Вчера такъ тихо, мирно сидѣли мы вечеромъ у Грановскаго, мы, они, Кетчеръ и Боткинъ, какая благородная кучка людей, какой любовью перевязанная! Въ настоящемъ много прекраснаго, ловить, ловить, все ловить и всѣмъ упиваться: дружбой, виномъ, любовью, искусствомъ. Это значить жить. Впередъ смотрѣть отраднo и страшно, тучи, вулканическія гибели и хорошая погода послѣ тучъ... да можетъ

* „Нѣтъ, вѣтъ, то не пустые сны!“

** Т. е. эмигрировать.

солнце этихъ ведряныхъ дней посвѣтитъ на могилы наши. А это скверно. Нѣтъ столько самоотверженія, чтобы отказаться отъ участія въ наградѣ, когда не отказываешься ни отъ какого труда. И часто то грядущее и отрадно, и страшно“.

Въ „Перепискѣ недавнихъ дѣятелей“ находимъ шутовское коллективное письмо друзей къ Огареву отъ 18—30 апрѣля 1843 г., слѣдовательно писанное чрезъ недѣлю послѣ вышеприведенной замѣтки Герцена. Оно писано Герценомъ, Грановскимъ, Кетчеромъ, Крюковымъ, Е. Коршемъ, Н. А. Герцень, Е. Б. Грановскою и Боткинымъ послѣ обѣда у послѣдняго. Это письмо, набросанное между бокаловъ вина и при шумѣ оживленной бесѣды, такъ любопытно, такъ живо передаетъ интимную жизнь кружка во время „пира“, что мы позволимъ себѣ почти цѣликомъ выписать его.

Опускаемъ начало письма, писанное Герценомъ предъ обѣдомъ. „Послѣ обѣда. 9 часовъ вечера (рукою Грановскаго) Послѣ обѣда у В. П. (Василія Петровича Боткина) мы говорили о многомъ, и я, очень пьяный, говорилъ много. Герцень далъ мнѣ прочесть письмо къ тебѣ, я и его прочелъ и потому пишу къ тебѣ. Герцень очень хорошо пишетъ, хотя Кетчеръ очень глупо говорить. Огаревъ, я, чортъ знаетъ какъ, люблю тебя и далъ бы два года жизни за часть съ тобою. За что-жъ ты ругаешься, глухой человекъ? Вѣдь—я писалъ къ тебѣ. Хотѣлъ было загнуть русское слово, да говорятъ неприлично! Прощай, ей Богу пьянъ. Tuus professor in spe“. — Послѣ приписки Кетчера, гдѣ тотъ говорить, какъ чувствуютъ всѣ отсутствіе Огарева, и послѣ нѣсколькихъ остротъ Крюкова вродѣ: „Кетчеръ своимъ крикомъ Н. П. (нашъ, покой) разрушилъ“,—Н. А. Герцень рассказываетъ: „Ну, вотъ сейчасъ мы говорили съ Грановскимъ, что надо намъ всѣмъ говорить другъ другу ты. Г. рѣшилъ, что надо начать съ Кетчера, и привелъ его, и посадилъ возлѣ насъ, и дверь затворилъ, вотъ мы и пришли съ Лизой (Е. Б. Грановская) въ большое затрудненіе, а К. говорить: ну, что-жъ ты церемонишься? Право, онъ чудный, мы съ Лизой написали ему чернилами на обѣихъ рукахъ „ты“. Представь себѣ, другъ, живо Боткина комнату и всѣхъ—шумъ, крикъ, всѣ съ бокалами, Лиза играетъ на фортепьяно, Александръ (Герцень)

поетъ, Боткинъ даритъ мнѣ какую-то книжку и подписываетъ мое имя, Грановскій все доказываетъ мнѣ, что Grübeleі никуда не годится и что и Александръ понялъ достоинство Шеллинга, но и т. д., а Сашка (старшій сынъ Герценовъ)—ангелъ, дома, чай, спать и одинъ, жаль его. Хорошо тебѣ въ Италіи, не хуже бы было здѣсь. Natalie“. „Мы, чтобъ утвердить наше „ты“,—продолжаетъ Грановская,—всѣ обнялись и поцѣловались. Когда вы приѣдете, съ вами заключимъ такой же пактъ. Е. Грановская“. (Рукою Е. Ѳ. Корша) „Герценъ, взглянувъ на пустую бутылку, рекъ: это верхъ пьянства, а Коршъ замѣтилъ, что это низъ пьянства. А обойдя пьянство, ей Богу, хорошо, приѣзжай. И потому Коршъ приписываетъ ниже всѣхъ“. Наконецъ Боткинъ пишетъ нѣсколько теплыхъ словъ, и по поводу стиховъ Огарева, между прочимъ, говорить: „Ты ихъ предполагаешь дурными, потому что они субъективны. А я думаю, что по тому-то самому они и хороши. А въ объективномъ ты, кажется, не силенъ. А впрочемъ, можетъ быть, я и вру. Да твоя субъективность то очень хороша. Хотѣлось бы поговорить на эту тему, да не дають писать. Жму тебѣ руку отъ всего сердца. Боткинъ“*.

Простота и задушевность искреннихъ дружескихъ отношеній, сказывающіяся въ каждой строчкѣ этого какъ бы стенографическаго письма, гдѣ писалось первое, что приходило на умъ, отгѣсняють на задній планъ все, что могло бы шокировать чопорнаго моралиста. А между тѣмъ уже черезъ день, 21 апрѣля, Герценъ съ тоскою записалъ въ своемъ дневникѣ: „Спорили, спорили, и, какъ всегда, кончили ничѣмъ, холодными рѣчами и остротами. Наше состояніе безвыходно, потому что ложно, потому что историческая логика указываетъ, что мы внѣ народныхъ потребностей и наше дѣло—отчаянное страданіе. Страданіе безсимпатичное, неощняемое и, конечно, полезное для будущаго, но намъ не дающее никакого личнаго вознагражденія; жить отвлеченной идеей самопожертвованія—неестественно, даже религіозные фанатики имѣли награду личную въ упованіи. Стоицизмъ есть тоже отчаянное положеніе“.

Не удивительно, что въ такомъ настроеніи люди искали

* „Изъ переписки“, „Русск. Мысль“, 1890, № 3.

въ ежедневной жизни исхода въ личныхъ привязанностяхъ, въ дружескомъ тѣсномъ кругу, оживляемомъ иной разъ и съ помощью вина, рокового и вѣрнаго помощника въ тѣ минуты, когда жизнь принимаетъ тусклый, сѣрый колоритъ и накопившіяся силы не находятъ осмысленнаго исхода. Въ дружескихъ отношеніяхъ искали прибѣжища и защиты отъ внѣшняго міра, съ враждебною холодностью относившагося къ друзьямъ. Дневникъ на 1843 г. начинается такъ: „Новый годъ. Шумно и весело, съ пѣнящимися бокалами и искренними объятіями друзей перешли мы въ него. И было чрезвычайно весело, что рѣдко посѣщаетъ насъ; на минуту скорбное отлетѣло, мы были довольны, что вмѣстѣ послѣ долгихъ и скорбныхъ лѣтъ. Огарева недоставало, но онъ былъ съ нами въ воспоминаніяхъ и въ портретѣ“. Въ томъ то и дѣло, что „скорбное“ преобладало.

Слегка меланхоликъ по природѣ, со своими стремленіями воплотить въ жизни идеаль нравственно и умственно развитой личности и общества, сообразнаго ея требованіямъ, Грановскій былъ вполнѣ выразителемъ всѣхъ сторонъ кружка: каждый изъ членовъ находилъ въ немъ гармонирующія себѣ струны. Чуждый какого бы то ни было деспотизма, онъ не покорялъ себѣ, не придавливалъ своимъ авторитетомъ, даже не подозрѣвалъ какъ будто, что онъ авторитетъ, но всякій шелъ къ нему и встрѣчалъ столько радушія и участія, что трудно было не привязаться къ нему всей душою. „Грановскій,— пишетъ Герценъ же,—былъ одаренъ удивительнымъ тактомъ сердца. У него все было такъ далеко отъ неувѣренной въ себѣ раздражительности, отъ притязаній, такъ чисто, такъ открыто, что съ нимъ было необыкновенно легко. Онъ не тѣснилъ дружбою, а любилъ сильно, безъ ревнивой требовательности и безъ равнодушнаго „все равно“. Я не помню, чтобы Грановскій когда нибудь дотронулся грубо или неловко до тѣхъ „волосняныхъ“, нѣжныхъ, бѣгущихъ свѣта и шума сторонъ, которыя есть у всякаго человѣка, жившаго въ самомъ дѣлѣ. Отъ этого съ нимъ не страшно было говорить о тѣхъ вещахъ, о которыхъ трудно говорится съ самыми близкими людьми, къ которымъ имѣешь полное довѣріе, но у которыхъ строй нѣкоторыхъ, едва слышныхъ, струнъ не

по одному камертону“. Не говоря о женщинахъ, такъ и льнувшихъ къ Грановскому, причеъ это увлеченіе съ ихъ стороны не разъ приводило къ досаднымъ для него преслѣдованіямъ, даже люди совершенно чуждые кружку и образомъ мыслей, и воспитаніемъ, и всѣмъ складомъ жизни, невольно поддавались обаянію личности Грановскаго.

Закончимъ настоящую главу указаніемъ, что эта нравственная отзывчивость Грановскаго создала ему въ обществѣ своеобразное положеніе; въ глазахъ многихъ онъ являлся какимъ то верховнымъ нравственнымъ судьей. По отношенію къ близкимъ друзьямъ, это было бы еще не такъ удивительно, хотя слова Герцена, касающіяся этого пункта, уже показываютъ, что къ Грановскому относились съ совершенно исключительнымъ уваженіемъ. Дѣло идетъ, судя по времени, о мимолетной измѣнѣ Герцена женѣ,—измѣнѣ, которая принесла не мало мученій и ему, и ей; и вотъ что записано 14 марта 1845 г.: „Человѣкъ можетъ только наказывать самъ себя, и безошаднѣе инквизитора нѣтъ, какъ совѣсть: не нравственные должны казнить падшаго, а падшій долженъ сознавать свою ничтожность передъ ними. Это—страшное чувство; мнѣ бываетъ до того тяжело смотрѣть на Грановскаго, что слезы навертываются на глазахъ“. Нѣчто подобное было и съ посторонними. Грановскій, по отзыву С. М. Соловьева *, „принадлежалъ къ числу людей, мнѣніе которыхъ очень дорого цѣнится, и былъ судьей строгимъ при опредѣленіи нравственнаго благородства. Такіе люди, какъ Грановскій, заставляють многихъ внутренно охорашиваться; друзья и недруги, прежде чѣмъ сдѣлать, прежде чѣмъ сказать что нибудь, задавали себѣ вопросъ: „что скажетъ объ этомъ Грановскій?“ Сдѣлавши что нибудь, по ихъ мнѣнію, порядочное, люди, вовсе не близкіе Грановскому, спѣшили ему первому сообщить о своемъ дѣлѣ, получить отъ него одобреніе, произвести на него выгодное впечатлѣніе, и этимъ впечатлѣніемъ повѣрить достоинство своего дѣла“. „Ничто такъ не оскорбляло его нравственное чувство, какъ извращеніе понятій,—говорить о немъ Кудрявцевъ:—Воспитывать

* „Журн. Мин. Нар. Просв.“, 1856 г. LXXXIX, отд. VII, стр. 60. Рѣчь на актѣ моск. унив.

чувство правды въ другихъ было для него святою обязанностью не только на кафедрѣ, но и въ самой жизни. Молодые неиспорченныя сердца особенно хорошо понимали это нравственное превосходство души его, и потому влеклись къ нему такимъ нравственнымъ сочувствіемъ*.

„Пріятели наши, сдѣлавъ пакость, извиняютъ ее потомъ моментомъ развитія, въ которомъ находились,—писалъ самъ Грановскій о неуравновѣшенныхъ друзьяхъ,—но вѣдь такимъ образомъ всю жизнь можно разбить на моменты абстрактныя, безъ связи между собою и отвѣтственности одинъ за другой. Надобно же, чтобы была одна основная, неизмѣнная идея въ дѣятельности“ (переписка Гр., стр. 383). Идея нравственнаго долга, не въ морали, а въ самой жизни, дѣятельности и отношеніяхъ проявляемая, неизмѣнно руководила имъ, и онъ не стѣснялся въ глаза говорить правду. Сохранился такой рассказъ о Щепкинѣ, близкомъ человѣкѣ кружка. На одномъ чествованіи его, Грановскій публично выразилъ сожалѣніе, что артистъ, такъ глубоко трогающій сердца, въ обращеніи со своими семейными нерѣдко жестокъ и деспотиченъ. Сраженный Щепкинъ, уже старикъ, на нѣсколько дней заперся отъ человѣческаго лица и, говорятъ, рѣзко измѣнился. Извѣстно, что онъ завѣщалъ похоронить себя рядомъ съ Грановскимъ.

Не постѣснился Грановскій порвать отношенія и съ другомъ юности, В. В. Григорьевымъ. Поводомъ къ этому послужили крайне двусмысленныя порученія, которыя принималъ и старательно исполнялъ другъ юности Грановскаго, потерпѣвъ неудачи въ ученой карьерѣ. Въ апрѣлѣ 1848 г. Григорьевъ былъ командированъ въ Москву „по секретному порученію провѣрить въ Москвѣ одинъ нелѣпый слухъ съ политической подкладкой и изслѣдовать причины его возникновенія“. Затѣмъ дѣло Петрашевскаго (см. далѣе) обнаружило обращеніе въ публикѣ запрещенныхъ книгъ. Въ іюнѣ 1849 г. Григорьевъ былъ командированъ въ Ригу для ревизіи книжныхъ магазиновъ въ цензурномъ отношеніи, „а равно осмотрѣть и конторскія книги съ тѣмъ, чтобы дознать,

* Кудрявцевъ. Соч. II, 548.

для кого именно запрещенныя книги были выписываемы и къ кому и когда разсылались онѣ въ предѣлахъ Имперіи“. Заарестоваль Григорьевъ совмѣстно съ жандармскимъ полковникомъ свыше двухъ тысячъ томовъ, представляя, по словамъ его біографа, „существованіе факта продажи запрещенныхъ книгъ далеко не въ такомъ ужасномъ видѣ, какъ дѣлали это другіе“ *. Какъ бы то ни было, когда послѣ этихъ подвиговъ Григорьевъ, проѣздомъ черезъ Москву, вздумалъ навѣстить Грановскаго, послѣдній его не принялъ **. „Послѣ его смерти,—говоритъ К. Д. Кавелинъ,—ярко обнаружилось, какъ важно было его вліяніе, когда про нѣкоторыхъ изъ близко стоявшихъ къ нему лицъ стали говорить: „при Грановскомъ они не были бы таковыми“ ***.

Большинство, масса общества всегда склонна отождествлять тѣ или иныя идеи съ нравственнымъ житейскимъ обликомъ защитниковъ этихъ идей и часто равнодушна къ самымъ идеямъ, когда защитникъ личнымъ своимъ поведеніемъ дискредитируетъ ихъ. Грановскій складомъ нравственнаго своего характера подымалъ въ глазахъ общества на идеальную высоту и содержаніе защищаемыхъ имъ идей; благодаря Грановскому, кружокъ московскихъ западниковъ не могъ уже быть дискредитированъ ничѣмъ,—ни злостными выходками защитниковъ официальной народности, ни такими козлищами, которые неожиданно оказались въ немъ, какъ В. П. Боткинъ, впо-

* Н. И. Веселовскій, В. В. Григорьевъ по его письмамъ и трудамъ. Спб. 1887. Стр. 104—106.

** „Грановскій завзвался и презираетъ меня за то, что я ему не удивляюсь“—писать про это уязвленный Григорьевъ, и не могъ простить ему этой „заозы“. „Для меня,—писалъ онъ,—Грановскій не былъ ни мыслителемъ, ни гражданиномъ, передъ которымъ стоило бы кланяться; профессоръ-артистъ—вотъ, по моему, вѣрнѣйшее опредѣленіе его характера и заслугъ; успѣлъ же онъ потому, во первыхъ, что артистъ на кафедрѣ дѣло у насъ небывалое; во вторыхъ—потому, что былъ онъ человѣкъ своего времени: съ кѣмъ слѣдовало кутить и въ карты бился“. (Н. Веселовскій, стр. 110, 141, 143). Написанная подъ такимъ угломъ зрѣнія статья Григорьева о Грановскомъ (въ „Рус. Бесѣдѣ“, 1856 г.) вызвала заслуженную отповѣдь во всѣхъ почти журналахъ того времени. См. объ этомъ у Барсукова „Жизнь и труды Погодина“, т. XV.

*** „Вѣстникъ Европы“, 1869 г., май. Рецензія на книгу А. Станкевича о Грановскомъ, написанная, какъ намъ указано проф. Д. А. Корсаковымъ, въ той части, гдѣ рѣчь идетъ о личности Грановскаго, К. Д. Кавелинымъ.

слѣдствіи порядочный обскурантъ. Цензоръ Никитенко прекрасно освѣтилъ это значеніе нравственной личности Грановскаго, когда горестно записалъ въ своемъ дневникѣ по случаю его кончины: „Это былъ въ нашемъ ученоемъ сословіи человѣкъ, котораго можно было вполнѣ уважать, въ правоту ума и сердца котораго можно было безусловно вѣрить. Онъ былъ чистъ, какъ лучъ солнца, отъ всякой скверны нашей общественности. Это былъ Баярдъ мысли, рыцарь безъ страха и упрека“ *.

VIII.

Первый публичный курсъ Грановскаго.

Нравственная отзывчивость и чуткость, которая такъ высоко поставила Грановскаго—скажемъ еще разъ—имѣла для него свою обратную сторону. Тѣ впечатлѣнія, которыя поверхностно скользили по другимъ, отражались на немъ глубоко и сильно и выводили его натуру изъ равновѣсія. Надолго его не удовлетворяли сами по себѣ ни университетскія занятія, ни мирная семейная жизнь и тѣсный дружескій кружокъ съ его фактически отрѣшеннымъ отъ жизни характеромъ умственной жизни, ни шумная свѣтская жизнь, которой онъ порою отдавался. Онъ все искалъ чего-то и не находилъ.

...Кто не издѣвался

Надъ безпредметною тоскою?—

(говорить о Грановскомъ въ „Медвѣжьей Охотѣ“ Некрасовъ)

Но глупый смѣхъ къ чему не придирался!

„Гражданской скорбью“ наши мудрецы
Прозвали настроеніе такое....

Не понимаемъ мы глубокихъ мукъ,

Которыми болитъ душа иная,

Внимая въ жизни вѣчно ложный звукъ

И въ праздности невольной изнывая....

* „Записки и Дневникъ“, т. II, стр. 21.

Чтобы дать исходъ своимъ стремленіямъ къ дѣятельности, заполнить свое существованіе, Грановскій уже вскорѣ по пріѣздѣ въ Москву задумываетъ (съ Коршемъ, Рѣдкинымъ и Крюковымъ) изданіе журнала, „въ которомъ должны принять участіе всѣ порядочные люди въ Россіи изъ новаго поколѣнія. Наука строгая, но въ формѣ доступной каждому истинно-образованному человѣку. Педантскія разсужденія о потребностяхъ, не имѣющихъ общаго человѣческаго интереса—вонъ. Распространеніе Humanität—вотъ цѣль. Дрянной публикѣ мы угождать не станемъ: лучше имѣть 600 подписчиковъ. Болѣе и не желаемъ на первый разъ... Ежегодно отъ 4 до 6 книжекъ“*. Такъ Грановскій объяснялъ Станкевичу планъ задуманнаго изданія.

Оно не осуществилось за недостаткомъ денегъ. Первое время Грановскій былъ мало обезпеченъ: въ зиму 1839—40 года онъ не могъ на святкахъ съѣздить въ деревню къ роднымъ, такъ какъ не было шубы. Грановскому такъ хотѣлось получить въ свои руки журналъ, что онъ позднѣе, именно лѣтомъ 1842 г., вступалъ въ переговоры съ Погодинымъ, даже предлагая сотрудничество въ „Москвитянинѣ“. „Грановскій и Коршъ пріѣзжали ко мнѣ въ воскресенье толковать о Москвитянинѣ“, — писалъ Погодинъ Шевыреву. — „Я спросилъ ихъ, возьмутся ли они свято соблюдать нашу программу, отрекутся ли отъ діавола и „Отечественныхъ Записокъ“, будутъ ли почитать христіанскую религію, уважать бракъ. Подумайте объ этомъ, господа, а я подумаю съ своей стороны объ условіяхъ и посоветуюсь съ С. П. Шевыревымъ. Вотъ съ чѣмъ я отпустилъ ихъ. Гр. Строгановъ будто подавалъ имъ эту мысль, сказывалъ мнѣ Рѣдкинъ“**. Совершенно понятно, что при такой постановкѣ условій ничего не могло выйти изъ этихъ переговоровъ.— Въ томъ же году Грановскій затѣвалъ альманахъ, но и это предпріятіе почему-то не состоялось.

„Что же дѣлать при видѣ этой ужасной дѣйствительности,—писалъ въ концѣ 1840 г. Бѣлинскій:—Не любоваться же на нее, сложа руки, а дѣйствовать елико возможно, чтобы другіе потомъ лучше могли жить. Какъ же дѣйствовать?

* Переписка Гр., 386.

** „Ж. и тр. Погодина“, VI, стр. 280.

Только два средства: кафедра и журналъ,—все остальное вздор“ *. Одинъ изъ названныхъ Бѣлинскимъ путей дѣятельности оказался для Грановскаго закрытымъ: мечты стать во главѣ журнала, старанія добиться осуществленія этой мечты, какъ увидимъ, и позднѣе остались напрасны. Приходилось ограничиться кафедрой.

Это отсутствіе живого дѣла, помимо кафедры, которому можно бы было отдать избытокъ силъ, стало драмою жизни Грановскаго,—драмою, которая въ различныхъ формахъ тяготѣла надъ лучшими людьми того времени. Осенью 1843 г. онъ написалъ тоскливое письмо берлинскому другу, профессору Вердеру, и живо выразилъ здѣсь причину своей внутренней постоянной тревоги и пустоты. „Никогда не понималъ я такъ хорошо того, что вы мнѣ тогда говорили: работать и отречься. Въ концѣ концовъ не остается дѣлать ничего другого. Я уже отказался отъ столькихъ надеждъ моей юности; мнѣ остается только отказаться и отъ самой юности, и я скоро принесу и эту жертву, потому что сердце мое, я это чувствую, старѣетъ и устаетъ. Печально наше время, и особенно въ моемъ отечествѣ. До дѣла не достигаешь, и однако же желаешь внутренняго мира. Напряженная дѣятельность истомила бы меня гораздо менѣе, чѣмъ это стремленіе безъ имени и цѣли. Испытали ли вы то же? Есть люди, которые легко примиряются; для меня примиреніе едва ли возможно. Друзья мои называютъ меня мечтателемъ, но я думаю, что болѣзнь моя иная, а не мечтательность. Для послѣдней у меня нѣтъ ни времени, ни склонности... Я работаю, впрочемъ, насколько возможно работать въ Россіи, и твердо вѣрю въ лучшую будущность, не для меня лично, но для тѣхъ, которые явятся на свѣтъ позднѣе. Имъ все дастся дешево и хорошо“.

Интересно сопоставить это письмо съ признаніями друзей Грановскаго. Люди съ различными склонностями и привычками, находясь въ однихъ и тѣхъ же внѣшнихъ условіяхъ, почти одинаковыми словами описываютъ свое душевное состояніе: „Наше *far niente* совсѣмъ не итальянская безпечность, а слѣдствіе особаго рода эгоизма, свойственнаго лѣнливымъ людямъ,—пишетъ Огаревъ.—Прибавивъ къ этому, что если

* Пышинъ: „Бѣлинскій“, II стр. 82.

внѣшняя жизнь какъ нибудь не та, то мы начинаемъ холодѣть къ жизни, и *far niente*—въ соединеніи съ равнодушіемъ даетъ невыносимую внутреннюю пустоту. Я каюсь, что чувствую, какъ этотъ червякъ постепенно крадется въ душу, и стараюсь морить его трудомъ. Но привычку пересилить трудно, и потому тружусь десятую долю того, какъ бы хотѣлось“*.

Приведенное только что письмо Грановскаго едва ли не самое характерное изъ его писемъ. Ему, какъ Огареву, въ противоположность Бѣлинскому и Герцену, трудъ, каковъ бы онъ ни былъ,—средство къ заполненію внутренней душевной пустоты, и затѣмъ уже средство послужить „для тѣхъ, которые явятся на свѣтъ позднѣ“,—не необходимое *sine qua non* жизни, какъ это было для Бѣлинскаго, но своего рода подвижъ; такой взглядъ на трудъ всегда свойственъ натурамъ пассивнымъ. Для Бѣлинскаго, какъ и Грановскаго, ясна была его общественная роль; „судьба налагаетъ на насъ схиму,—писалъ онъ:—мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было легче жить“ (письмо къ Боткину, 14 марта 1840 г.). Но Грановскій говоритъ: „работать и отречься—*arbeiten und entsagen*“, т. е. отречься отъ личныхъ желаній и запросовъ, безропотно нести свой крестъ, какъ говорится. Болѣе энергичныя, мужественныя натуры, Бѣлинскій и Герценъ, на такое самоотреченіе не были согласны. Внѣшнія условія сдерживали ихъ, мѣшали свободно распространять свои взгляды, но это придавало лишь болѣе гнѣвливый, страстный и потому болѣе дѣйственный характеръ ихъ мысли. Вслѣдствіе этихъ свойствъ ихъ, родъ Грановскаго была болѣе положительна, Бѣлинскаго и Герцена болѣе отрицательна,—дѣятельность послѣднихъ носила преимущественно критическій характеръ; Грановскій увлекалъ въ ту сторону, куда толкали читателя всею страстью убѣжденія, неистощимую діалектикой и остроуміемъ Бѣлинскій и Герценъ, не оставлявшіе камня на камнѣ въ господствующихъ литературно-философскихъ воззрѣніяхъ. Но въ концѣ концовъ работали они въ одномъ и томъ же направленіи, получившемъ названіе западначескаго и уже нами достаточно охарактеризованномъ.

* „Изъ переписки недавнихъ дѣятелей“. Письмо отъ 17—29 сентября 1843 г.

Грановскій явился предъ обществомъ, на каедрѣ, первымъ выразителемъ только что сложившихся идеаловъ.

Мы видѣли уже, какъ онъ въ самомъ началѣ своей профессорской дѣятельности жаловался на отчужденіе университета отъ общества, на то, что наука является чѣмъ то искусственно привитымъ извнѣ, что студенты, сойдя съ университетской скамьи, немедленно, говоря словами поэта, погружаются

въ тину нечистую

Мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей.

Считаемъ нужнымъ еще разъ подчеркнуть, что это сознание оторванности своихъ стремленій отъ общаго уровня жизни и желаніе во что бы то ни стало слить ихъ съ жизнью—было господствующимъ въ кружкѣ. Такъ, 8 сент. 1841 г., Бѣлинскій писалъ между прочимъ: „Дѣйствительность возникаетъ на почвѣ, а почва всякой дѣйствительности—общество. Общее безъ особеннаго и индивидуальнаго дѣйствительно только въ чистомъ мышленіи, а въ живой видимой дѣйствительности оно—мертвая мечта... Человѣкъ—великое слово, великое дѣло, но тогда, когда онъ французъ, нѣмецъ, англичанинъ, русскій. А русскіе ли мы?.. Нѣтъ, общество смотреть на насъ, какъ на болѣзненные наросты на своемъ тѣлѣ; а мы на общество смотримъ, какъ на... (опущены рѣзкія обличительныя выраженія). Общество право, мы еще правѣй“.—Всякое общество живетъ извѣстною суммой общихъ убѣжденій и интересовъ; въ европейскомъ обществѣ каждый чувствуетъ, что онъ неисчислимыми нитями связанъ, разумно соединенъ съ интересами своей общественной группы. Оглядываясь на отношеніе кружка къ русскому обществу, Бѣлинскій не видѣлъ родства и единства между ними и приходилъ къ печальному выводу. „Мы—люди безъ отечества,—нѣтъ, хуже чѣмъ безъ отечества: мы—люди, которыхъ отечество—призракъ, и диво ли, что сами мы—призракъ, что наша дружба, наша любовь, наши стремленія, наша дѣятельность—призракъ“ *.

Въ дневникѣ Герцена также найдемъ не мало мѣстъ, показывающихъ, какъ глубоко чувствовалъ онъ всю ненормальность положенія горсти интеллигенціи внѣ обще-

* Пышинъ: „Бѣлинскій“, II, стр. 122—123.

народныхъ интересовъ; совершенно ошибочно, по этому, приписывать славянофиламъ, будто они первые въ сороковые годы сознали и почувствовали неестественность розни между народными массаи и обществомъ, какъ это дѣлаетъ, наприм., Колюпановъ *. „Взглянулъ бы на тебя, дитя, юношей,—пишетъ Герценъ 11 іюня 1842 г. о народѣ,—но мнѣ не дожидаться, благословляю же тебя хоть изъ могилы. Но все это ни одной нотой не уменьшаетъ горечи жизни. Сверхъ всего, повтореннаго много разъ, отдѣльность, несимпатія со всѣхъ сторонъ тягостны. Барству, чиновничеству мы не хотимъ протянуть руки, да и они на нашего брата смотрятъ какъ на безумнаго, а православный народъ, которому, для котораго, за который всякій благородный человекъ готовъ Богъ знаетъ что дѣлать, если не въ открытой войнѣ, въ которой онъ насъ опутываетъ сѣтью мошенничества, то онъ молчитъ и не довѣряетъ, нисколько не довѣряетъ,—я это испытываю очень часто;—когда онъ видитъ простой расчетъ, дѣло другое, но когда не изъ расчета, а просто изъ доброжелательства что либо сдѣлать—онъ качаетъ головой и боится быть обманутымъ“. „Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія?—воскликаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ въ настроеніи, навѣянномъ подобными же мыслями (11 сент. 1842 г.).—А между тѣмъ наши страданія—почка, изъ которой разовьется ихъ счастье. Поймутъ ли они, отчего мы—лѣнтяи, отчего ищемъ всякихъ наслажденій, пьемъ вино и пр.?..—Отчего руки не поднимаются на большой трудъ? Отчего въ минуту восторга не забываемъ тоски?. О, пусть они останутся съ мыслью и съ грустью передъ камнями, подъ которыми мы уснемъ,—мы заслужили ихъ грусть! Была ли такая эпоха для какой либо страны? Римъ въ послѣдніе вѣка существованія?—и то нѣтъ. Тамъ были святы воспоминанія, было прошедшее, наконецъ оскорбленный состояніемъ родины могъ успокоиться въ лонѣ юной религіи, являвшейся во всей чистотѣ и поэзіи. Насъ убиваютъ пустота и безпорядокъ въ прошедшемъ, какъ въ настоящемъ—отсутствіе всякихъ общихъ интересовъ“. Было, казалось, отчего опустить руки. „Но въ

* „Біографія Кошелева“, II, стр. 188.

этихъ людяхъ было слишкомъ много только что пробудившейся энергіи, чтобы долго поддаваться унынію. „Умру на журналѣ и въ гробѣ вѣлю положить подѣ голову книжку „О. З.“, — писалъ Бѣлинскій. — Я, литераторъ, говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ рассейской—и моя жизнь, и моя кровь“ (14 марта 1840 г.). То же настроеніе дѣлили и друзья Бѣлинскаго, въ томъ числѣ и Грановскій. Если гора не идетъ къ Магомету, Магометъ долженъ подойти самъ къ горѣ. Когда сонное общество равнодушно къ наукѣ, надо будить и поддерживать интересъ къ ней.

Грановскій останавливается на чтеніи публичныхъ лекцій. Мы знаемъ уже, какъ отказался онъ наотрѣзъ развлекать скуку дамъ салонной болтовнею объ ученыхъ предметахъ. Въ публичномъ курсѣ исторіи среднихъ вѣковъ, на чтеніе котораго въ стѣнахъ университета ему удалось выхлопотать разрѣшеніе, онъ не собирался приносить въ жертву легкости и занимательности строгій научный характеръ предмета. Онъ постоянно держался взгляда, высказаннаго имъ значительно позднѣе: „Одно изъ главныхъ препятствій, мѣшающихъ благотворному дѣйствию исторіи на общественное мнѣніе, заключается въ пренебреженіи, какое историки обыкновенно оказываютъ къ большинству читателей. Они, повидимому, пишутъ только для ученыхъ. какъ будто она по существу своему не есть самая популярная изъ всѣхъ наукъ, призывающая къ себѣ всѣхъ и cadaго. Къ счастью, узкія понятія о мнимомъ достоинствѣ науки, унижающей себя исканіемъ изящной формы и общедоступнаго изложенія, возникшія въ удушливой атмосферѣ нѣмецкихъ ученыхъ кабинетовъ, несвойственны русскому уму, любящему свѣтъ и просторъ. Цеховая, гордая своей исключительностью наука не въ правѣ разсчитывать на его сочувствіе“ (Соч. т. I, стр. 26). Мысль Грановскаго, конечно, не могла не встрѣтить полнаго сочувствія въ средѣ его друзей, особенно со стороны Герцена, ожесточеннаго врага цеховой науки, писавшаго въ одной изъ своихъ статей этого времени („Диллетанты и цехъ ученыхъ“): „Современная наука начинаетъ входить въ ту пору зрѣлости, въ которой обнаруженіе, отданіе себя всѣмъ становится потреб-

ностью. Ей скучно и тѣсно въ аудиторіяхъ и конференцъ-залахъ; она рвется на волю, она хочетъ имѣть дѣйствительный голосъ въ дѣйствительныхъ областяхъ жизни. Несмотря на такое направленіе, наука остается при одномъ желаніи и не можетъ войти живымъ элементомъ въ стремительный потокъ практическихъ сферъ, пока она въ рукахъ касты ученыхъ; одни люди жизни могутъ внѣдрить ее въ жизнь“. Грановскій, съ его живой отзывчивостью на всѣ современные вопросы, какъ нельзя больше былъ способенъ къ этому: и ему дѣйствительно блестяще удалось не только заинтересовать общество, но и поселить во всѣхъ лучшихъ представителяхъ его увѣренность, что оно способно къ развитію и усвоенію выработаннаго новаго взгляда на современную дѣйствительность.

Предъ началомъ лекцій Грановскій писалъ Н. Х. Кетчеру, который былъ въ то время въ Петербургѣ, что собирается высказать слушателямъ en masse такія вещи, какихъ не рѣшился бы высказать людямъ по одиночкѣ, что хочетъ полемизировать, ругать и оскорблять своихъ враговъ. И въ обыденной жизни рѣзкое слово срывалось съ губъ Грановскаго лишь въ минуты крайняго раздраженія; тѣмъ болѣе немислимъ былъ сколько нибудь грубый характеръ полемики съ каеэды. Въ художественномъ изображеніи прошедшихъ вѣковъ онъ собирался полемизировать не столько со славянофилами собственно, сколько съ реакціонными стремленіями, какими были проникнуты защитники официальной народности; для послѣднихъ умственное движеніе въ московскомъ обществѣ уже само по себѣ было подозрительно, и понятно, что они не могли не отнестись съ недовѣріемъ, если не прямо враждебно, къ попыткѣ со стороны профессора-западника, друга Бѣлинскаго, распространить и усилить это движеніе посредствомъ устройства публичныхъ чтеній.

Лекціи начались 23 ноября 1843 года. Грановскій началъ изложеніемъ развитія исторической науки, и во второй лекціи объяснилъ современное состояніе философіи исторіи. Къ третьей лекціи онъ уже вполнѣ овладѣлъ слушателями, заставивъ забыть свой постоянный недостатокъ произношенія. Общество воочию убѣждалось въ справедливости тѣхъ толковъ

объ ораторскомъ талантѣ Грановскаго, которые разносили его постоянные восторженные слушатели студенты. То, что очаровывало ихъ, оказалось столь же обаятельно и для аудитории болѣе разнообразной. „Органъ его бѣденъ,—писалъ Герценъ въ статьѣ, посвященной лекціямъ,—но какъ богато искупается этотъ физическій недостатокъ прекраснымъ языкомъ, огнемъ, связующимъ его рѣчь, полнотою мысли и полнотою любви, которыя очевидны не только въ словахъ, но и въ самой благородной наружности доцента. Въ слабомъ его голосѣ есть нѣчто проникающее въ душу, вызывающее вниманіе. Въ его рѣчи много поэзіи и ни малѣйшей изысканности, ничего для эффекта; на его задумчивомъ лицѣ видна внутренняя добросовѣстная работа“ *.

По дневнику Герцена можно прослѣдить увлеченіе общества лекціями Грановскаго; въ связи со статьями Герцена и другими отзывами современниковъ, дневникъ даетъ достаточно матеріала для того, чтобы возсоздать характеръ этого увлеченія и объяснить, почему Чаадаевъ могъ заявить, что „лекціи Грановскаго имѣютъ историческое значеніе“.

Они были событіемъ прежде всего потому, что сильно всколыхнули сонное московское общество. Онъ собралъ около себя, говорить Анненковъ, „не только людей науки, всѣ литературныя партіи и обычныхъ восторженныхъ своихъ слушателей — молодежь университета, но и весь образованный классъ города—отъ стариковъ, только что покинувшихъ ломберные столы, до дѣвицъ, еще не отдохнувшихъ послѣ подвиговъ на паркетѣ, и отъ губернаторскихъ чиновниковъ до неслужащихъ дворянъ“ **.

„Вчера Грановскій началъ свои публичныя лекціи,—читаемъ въ „дневникъ“ подъ 24 ноября,—превосходно. Какой благородный, прекрасный языкъ, потому именно, что выражаетъ благородныя и прекрасныя мысли. Я очень доволенъ. Его лекціи въ самомъ дѣлѣ событіе, какъ говоритъ Чаадаевъ; слыханное ли дѣло, чтобы на лекціи безъ опытовъ физики или химіи сошлось множество людей... И какъ современны

* „Ж. и тр. Погодина“, VII. Лекціямъ Грановскаго посвящены главы XVIII—XX и LXI.

** Анненковъ: „Воспом. и критическіе очерки“, III, стр. 74.

онѣ, какой камень въ голову узкимъ націоналистамъ!—28 ноября. Вчерашняя лекція Грановскаго была превосходна. Какое благородство языка, смѣлое, открытое изложеніе! Были минуты, когда рѣчь его поднималась до вдохновенія. Онъ прекрасно защитилъ философію отъ обвиненія, что она всегда за сильнаго, и объяснилъ намъ... Словомъ, ничего подобнаго въ Москвѣ никогда не было читано всенародно. И публика была внимательна, даже увлечена. Когда кончилась лекція, все порядочное въ аудиторіи съ восторгомъ изъявляло свою благодарность профессору. Это одинъ изъ лучшихъ дней въ жизни Грановскаго. И какъ счастлива, съ горящимъ лицомъ и со слезами на глазахъ, сидѣла его жена.—Декабря 1. Вчера Грановскаго встрѣтили страшными рукоплесканіями; онъ не ждалъ и смѣшался. Долго не могъ прійти въ себя. Лекціи его дѣлаютъ фуроръ. Мода ли, скука ли, что бы ни вело большинство въ аудиторію, польза очевидна, — эти люди пріучаются слушать. Публичныя чтенія пойдутъ въ ходъ, *sui generis* публичность“.

Свои впечатлѣнія отъ первой лекціи Грановскаго Герценъ излилъ и въ восторженной статьѣ, которая была помѣщена въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“. Разрѣшая ее къ печатанію, попечитель, графъ Строгановъ, съ симпатіей относившійся къ Грановскому и его кругу, поставилъ однако условіемъ, чтобы „имя Гегеля не было произнесено“, и имѣлъ при этомъ длинный разговоръ съ Герценомъ объ „Отеч. Зап.“, Бѣлинскомъ, Боткинѣ. „Строгановъ,—замѣчаетъ Герценъ,—знаетъ множество подробностей... Предостереженія, совѣты. Въ графѣ бездна рыцарски-благороднаго“. Само собою разумѣется, что все это не предвѣщало ничего особенно благоприятнаго для Грановскаго и его лекцій. Герценъ, посмотрѣвшій на лекціи какъ на „камень въ голову узкимъ націоналистамъ“, эту черту лекцій особенно и подчеркнул въ своей статьѣ. „Въ то время,—писалъ онъ,—когда трудный вопросъ объ истинномъ отношеніи западной цивилизаціи къ нашему историческому развитію занимаетъ всѣхъ мыслящихъ и разрѣшается противоположно, является одинъ изъ молодыхъ преподавателей нашего университета на кафедрѣ, чтобы передать живымъ словомъ исторію того оконченнаго отдѣла судебъ міра

германо-католическаго, котораго самобытно развивающаяся Россія не имѣла. Г. Грановскій выходитъ передъ московскимъ обществомъ не какъ адвокатъ среднихъ вѣковъ, а какъ заявитель великаго ряда событій въ ихъ органической связи съ судьбами всего человѣчества. Онъ въ правѣ требовать, чтобы, желая осуждать и отталкивать цѣлую фазу жизни человѣчества, выслушали по крайней мѣрѣ симпатическій рассказъ о ней. Въ наше время глубокое уваженіе къ народности не изъято характера реакціи противъ иноземнаго; многіе смотрятъ на европейское какъ на чужое, почти какъ на враждебное, многіе боятся въ общечеловѣческомъ утратить русское. Генезисъ такого воззрѣнія понятенъ; но и неправда его очевидна. Мы должны уважить и оцѣнить скорбное развитіе Европы, которое такъ много даетъ намъ теперь; мы должны постигнуть то великое единство развитія рода человѣческаго, которое раскрываетъ въ мнимомъ врагѣ брата, въ расторженіи—миръ: одно сознаніе этого единства уже даетъ намъ святое право на плодъ, выработанный потомъ и кровью Западомъ“. Статья эта была сюрпризомъ для Грановскаго. Коршъ, редакторъ „М. В.“, прислалъ ему утромъ номеръ, гдѣ она появилась. Грановскій былъ, по свидѣтельству Герцена, „такъ тронутъ, что не могъ сразу все прочесть. Статья сдѣлала эффектъ, всѣ довольны, славянофилы и яростные тоже довольны“.

Последнее замѣчаніе было, однако, не совсѣмъ вѣрно. Славянофилы собственно, т. е. Кирѣевскіе, Хомяковъ, Аксаковы, не были ничѣмъ затронуты „свирѣпою“ полемикой Грановскаго; наравнѣ съ другими восторженными слушателями они стремились въ университетскую аудиторію и наравнѣ съ другими восторженно встрѣчали и провожали лектора. „Одно только явленіе истинно оживило нынѣшнюю московскую зиму,—писалъ Хомяковъ Д. М. Валугеву,—лекціи Грановскаго объ исторіи среднихъ вѣковъ. Профессоръ и чтеніе достойны лучшаго европейскаго университета и, къ крайнему моему удивленію, публика оказалась достойною профессора. Я не ожидалъ ни такого успѣха, ни такого глубокаго сочувствія къ наукѣ о развитіи человѣческихъ судебъ и человѣческаго ума. Ты видишь, что я не пристрастенъ къ Москвѣ“. „Луч-

шимъ проявленіемъ жизни московской были лекціи Грановскаго,—писалъ онъ же къ А. Веневитинову.—Такихъ лекцій, конечно, у насъ не было со временъ самого Калиты, основателя первопрестольнаго града, и, безспорно, мало во всей Европѣ. Впрочемъ, я его хвалю съ тѣмъ большимъ безпристрастіемъ, что онъ принадлежитъ къ мнѣнію, которое во многомъ, если не во всемъ, противоположно моему. Мурманка (вѣроятно, ты знаешь, что это такое) не мѣшала намъ, мурмолокосцамъ, хлопать съ величайшимъ усердіемъ краснорѣчию и простотѣ рѣчи Грановскаго. Даже П. В. Кирѣевскій, прославившійся, какъ онъ самъ говоритъ, не-изданіемъ русскихъ пѣсенъ и прозвищемъ великаго печальника земли русской,—даже и онъ хлопалъ не менѣе другихъ. Ты видишь, что крайности мысли не мѣшаютъ какому то добродушному русскому единству. Все это безстрастно. Не то, что у васъ въ Питерѣ, гдѣ мысль, если когда проявится, гнѣвлива, какъ практическій интересъ“ *.

Въ данномъ случаѣ, въ Москвѣ „гнѣвливость“ проявили защитники официальной народности. Мы упоминали въ главѣ о Грановскомъ, какъ историкъ, что въ его изложеніи чувствовалась связь прошлаго съ современностью. И самъ профессоръ въ письмѣ къ пріятелю сознавался, что былъ здѣсь слегка тенденціозенъ. „Шевырева я уже нѣсколько разъ выводилъ на сцену: я указывалъ на него, когда говорилъ о людяхъ, отрицающихъ философію истории, я говорилъ объ немъ по поводу риторовъ IV и V вѣка, по поводу язычниковъ старовѣровъ“ (Переп. Гран., 460). Очевидно, Шевыревъ узнавалъ себя въ портретѣ delatores, и это объясняетъ озлобленный тонъ въ слѣдующихъ записяхъ дневника Погодина по поводу первыхъ трехъ лекцій:

„23 ноября. Былъ на лекціи у Грановскаго. Такая посредственность, что изъ рукъ вонъ. Это не профессоръ, а нѣмецкій студентъ, который начитался французскихъ газетъ. Сколько пропусковъ, какія противорѣчія! Россіи какъ будто въ исторіи не бывало. Ай, ай, ай! А я считалъ его еще талантливѣе другихъ. Онъ читалъ точно псалтырь по Западѣ. И я, слушая его, думалъ объ отпорѣ. Надо начать лекціи

* Пыпинъ: „Бѣлинскій“, II, стр. 232—233.

съ того, съ чего онъ остановился, и указать русскую точку всеобщей исторіи. — 24: Думалъ о лекціяхъ антизападныхъ. — 27: Въ университетъ. Слушалъ лекціи Крюкова. Много педантизма и мелочей. На лекціи у Грановскаго. Очень незрѣло. — 2 декабря: Шевыревъ рассказывалъ о третьей лекціи Грановскаго. Христіанство въ сторонѣ“. Брюзжаніе Погодина принимало въ устахъ другихъ, Шевыревыхъ и Давыдовыхъ, окраску болѣе специфическую, что наконецъ заставило Герцена записать въ своемъ дневникѣ слѣдующія дышащія негодованіемъ строки: „Неблагородство славянофиловъ „Москвитянина“ велико; они добровольные помощники жандармовъ. Они негодуютъ на Грановскаго за то, что онъ не читаетъ о Руси (читая о среднихъ вѣкахъ въ Европѣ), не толкуетъ о православіи; негодуютъ, что онъ смотритъ со стороны западной науки (когда восточной вовсе нѣтъ) и что будто бы мало говорить о христіанствѣ вообще. Все это было бы ихъ дѣло; но они кричатъ объ этомъ, такъ что и Филаретъ началъ толковать; хотятъ печатать въ „Москвитянинѣ“, что онъ читаетъ по Гегелю, etc. Публика, дамы—за него. Живое участіе къ его чтеніямъ растетъ, все это придаетъ хоть нѣсколько жизненности обществу; а между тѣмъ того и смотри закроютъ лекціи“ (11 дек. 1843 г.).

Въ „Москвитянинѣ“ дѣйствительно появилась статья о лекціяхъ Грановскаго, написанная Шевыревымъ. Даже Погодину она показалась черезчуръ сильною, потому что онъ ее значительно укоротилъ и записалъ въ дневникѣ, что Шевыревъ, настаивавшій на печатаніи статьи цѣликомъ, „выходитъ изъ всякихъ предѣловъ и говорить безъ памяти“. А между тѣмъ самъ Погодинъ требовалъ отъ Шевырева, „чтобъ онъ бранилъ Грановскаго и трактовалъ его свысока, какъ молодого человѣка“. Какъ бы то ни было, статья появилась въ 12-й книжкѣ „Москвитянина“. Шевыревъ кисло-сладко причислялъ курсъ Грановскаго „къ числу самыхъ утѣшительныхъ явленій московской учено-общественной жизни“, находилъ, что „рѣчь его выдержана мыслию и проникнута искреннимъ убѣжденіемъ“, умилялся, какимъ прекраснымъ языкомъ предлагается обществу наука, „въ какихъ легкихъ, свободныхъ и доступныхъ формахъ она предстаётъ нашимъ дамамъ“, но пере-

сыпаль эти комплименты ядовитыми намеками. „Четвероликимъ Свѣтовидомъ,—говорилъ онъ объ исторіи,—пусть станетъ она среди нашей Россіи, гдѣ пьедесталъ ей чудный, отверстый на всѣ концы міра“. По своему понимая фразу Герцена изъ статьи о первой лекціи Грановскаго, что положеніе русскаго совершенно объективно относительно исторіи Европы, Шевыревъ, конечно, не могъ найти въ чтеніяхъ Грановскаго желательной ему „объективности“, при которой только и можно смотрѣть сразу на четыре стороны. Онъ, конечно, не видѣлъ въ лекціяхъ „многосторонности и безпристрастія, какихъ мы въ правѣ ожидать отъ русскаго ученаго“; „главнымъ результатомъ было то, что почти всѣ школы, всѣ воззрѣнія всѣ великіе труды, всѣ славныя имена науки были принесены въ жертву одному имени, одной системѣ односторонней, скажемъ даже—одной книгѣ, то-есть Гегелю“. Нечего распространяться о всей, по меньшей мѣрѣ, безтактности послѣдней выходки, когда Шевыреву не могло не быть извѣстно распоряженіе попечителя относительно статьи Герцена *. Столь же неумѣстны были, конечно, и простодушныя удивленія, что Грановскій „отклонилъ отъ себя изображеніе борьбы христіанства съ язычествомъ и исторію образованія церкви“, и наивныя опасенія, „чтобъ это не обезглавило исторію среднихъ вѣковъ“ **.

Статья Шевырева была понята западниками такъ, какъ ее только и можно было понять, и Грановскій напелъ нужнымъ отвѣтить на нее съ кафедръ. Въ дневникѣ Герцена читаемъ подъ 21 декабря: „Вчера Грановскій публично съ кафедръ оправдывался въ гнусныхъ обвиненіяхъ... напечатанныхъ въ „Москвитянинѣ“. Оканчивая чтеніе, онъ сказалъ: „Я считаю необходимымъ оправдаться передъ вами въ нѣкоторыхъ обвиненіяхъ на мой курсъ. Обвиняють, что я пристрастенъ къ Западу: я взялся читать часть его исторіи, я это дѣлаю съ любовью и не вижу, почему мнѣ должно бы читать ее съ ненавистью. Западъ кровавымъ потомъ выработалъ свою исторію, плодъ ея намъ достается даромъ,—какое же право не любить его? Если бъ я взялся читать нашу исторію, я

* „Назвать въ диссертациі Гегеля—значитъ выкинуть флагъ!“—выразился на диспутѣ Ю. Самарина (3 іюня 1844 г.) одинъ профессоръ Н. Барсуковъ, VII, стр. 411.

** „Ж. и тр. Погодина“, VII, 112—124.

увѣренъ, что и въ нее я принесъ бы ту же любовь. Далѣе, меня обвиняють въ пристрастіи къ какимъ то системамъ; лучше было бы сказать, что я имѣю мои ученые убѣжденія. Да, я ихъ имѣю, и только во имя ихъ явился я на этой каедрѣ, — рассказывать голый рядъ событій и анекдотовъ не было моею цѣлью. Проникнуть ихъ мыслью“... и тутъ еще нѣсколько словъ, которыхъ я не разобралъ. Громъ рукоплесканій и неистовое bravo! bravo! окончили его рѣчь: съ невыразимымъ чувствомъ одушевленія былъ сдѣланъ этотъ аплодисментъ, проводившій Грановскаго до самыхъ дверей аудиторіи. На этотъ разъ публика была достойна профессора. И какая плюха доносчикамъ! Такія проявленія, сколько они ни бѣдны, какъ они ни рѣдки, — радуютъ. Глядя на гамъ и шумъ, — добавляетъ Герценъ, — у меня сердце билось и кровь стучала въ голову, — есть таки симпатія. Можетъ, послѣ этого власть наложить свою лапу, закроютъ курсъ, — но дѣло сдѣлано, указанъ новый образъ дѣйствій университета на публику, указана возможность открыто, благородно защищаться передъ публикой въ обвиненіяхъ щекотливыхъ и подтверждена возможность единодушной оцѣнки такого подвига, возможность возбудить симпатію“.

Опасенія, которыя высказываетъ здѣсь Герценъ, были не совсѣмъ неосновательны: толки, вызванные въ обществѣ вмѣшательствомъ „Москвитянина“, заставили графа Строганова нѣсколько перемѣнить свое отношеніе и къ западникамъ вообще, и къ Грановскому въ частности. Уже въ самомъ началѣ слѣдующаго 1844 г. Грановскому, среди самаго разгара публичныхъ лекцій, пришлось подвергнуться самымъ неприятнымъ объясненіямъ. Герценъ, бывшій у Строганова и цѣнившій его, передаетъ въ дневникъ подробности своей бесѣды съ нимъ: „Онъ любитъ и желаетъ просвѣщенія, онъ любитъ Европу и все благородное, но боится рѣзко и рѣшительно объявить себя противъ дикихъ славянофиловъ, а они, пользуясь его шаткостью, пугаютъ, лгутъ и получаютъ мѣсто въ его убѣжденіяхъ. Я, — говорилъ онъ, — всѣми мѣрами буду противодѣйствовать гегелизму и нѣмецкой философіи. Она противорѣчитъ нашему богословію. На что намъ раздвоенность, два разные догмата, догматъ откровенія и

догматъ науки? Я даже не приму того направленія, которое афишируетъ примиреніе науки съ религіею: религія въ основѣ... Въ заключеніе графъ сказалъ, что если онъ не успѣетъ другимъ образомъ, то готовъ или оставить свое управленіе, или закрыть нѣсколько кафедръ“. Такой же характеръ, очевидно, носили и объясненія Грановскаго съ графомъ. Въ дневникѣ Погодина отмѣчено въ это время: „8 января 1844 г. Вечеръ у Карлгофъ. Слушалъ штуки Строганова съ Грановскимъ.—12 января: Разсказъ Грановскаго о строгановской пыткѣ.—14 января: Грановскій передалъ инквизиціонные вопросы графа Строганова“. Пытка, которой подвергся Грановскій, достаточно характеризуется слѣдующимъ письмомъ, доставленнымъ съ „оказіею“:— „Дѣла мои не совсѣмъ хорошо идутъ,—писалъ онъ Кетчеру 14 января.—Я думаю, что придется идти въ отставку или перемѣнить службу. Строгановъ требуетъ невозможнаго. Вчера у меня было съ нимъ серьезное, рѣзкое объясненіе. Я можетъ быть поступилъ глупо, говоря совершенно прямо и открыто, но не раскаиваюсь. Онъ сказалъ мнѣ, что при такихъ убѣжденіяхъ я не могу оставаться въ университетѣ, что имъ нужно православныхъ и т. д. Я возразилъ, что я не трогаю существующаго порядка вещей, а до личныхъ вѣрованій ему нѣтъ дѣла. Онъ отвѣчалъ, что отрицательное отношеніе недостаточно, что имъ нужна любовь къ существующему, короче онъ требовалъ отъ меня апологій и оправданій въ видѣ лекцій. Реформація и революція должны быть излагаемы съ католической точки зрѣнія и какъ шагъ назадъ. Я предложилъ не читать вовсе о революціи. Реформаціи уступить я не могъ. Что же бы это была за исторія? Онъ заключилъ словами: „Есть блага выше науки, ихъ надобно сберечь, даже если бы для этого нужно было закрыть университеты и всѣ училища“... Что нибудь кроется подъ этимъ, его кто нибудь научилъ. Шевыревъ въ этомъ невиненъ, онъ самъ теперь завирается и требуетъ свободы мнѣній, ибо „безъ этого ему нельзя уничтожить своихъ противниковъ“. Полагаю, что наушничаетъ... Давыдовъ. Быть можетъ, и мнѣ придется переходить на службу къ вамъ въ Питеръ. Что дѣлать? Жаль Москвы, которая, что бы ни

враль Бѣлинскій, выше, умнѣе, образованнѣе Петербурга *.
„Какая то страшная туча надвигается на людей, вышедшихъ изъ толпы, — записалъ черезъ нѣсколько дней послѣ того Герценъ:—Строгановъ, испуганный, преслѣдуетъ порядочныхъ профессоровъ требованіемъ иначе читать; они хотятъ бѣжать изъ Москвы, искать слушателей въ другихъ университетахъ“.

Слухи обо всемъ этомъ, разумѣется, проникали въ довольно тѣсный кругъ московскаго интеллигентнаго общества и все сочувствіе было, конечно, на сторонѣ Грановскаго. Лекціи его продолжались въ 1844 г. съ такимъ же успѣхомъ. Тѣсная внутренняя связь образовалась и крѣпла между лекторомъ и его слушателями. Самъ Грановскій „видимо развивался, читая,—говоритъ Герценъ во второй статьѣ о лекціяхъ, помѣщенной по окончаніи ихъ въ „Москвитянинѣ“:—онъ росъ, крѣпнулъ на каедрѣ. Слушатели не отстали отъ него: аудитория и доцентъ разстались друзьями, глубоко тронутые, глубоко уважающіе другъ друга, они разстались со слезами на глазахъ“.

Они выучились прекрасно понимать другъ друга. Слова, нынѣ не вызывающія никакого опредѣленнаго представленія, въ то время не были еще опошлены неумѣстнымъ и черезчуръ щедрымъ употребленіемъ. Какъ въ литературѣ читатели достигали виртуозности въ умѣннѣе читать между строкъ, такъ и здѣсь слушатели умѣли въ сдержанной, проникновенной, художественной рѣчи Грановскаго понимать его отношеніе къ тому, чего формально онъ не касался. И это больше всего и выводило изъ себя Шевыревыхъ и Давыдовыхъ. Спокойная сдержанность Грановскаго была для нихъ тѣмъ оскорбительнѣе, что онъ, не полемизируя съ ними явно, за исключеніемъ оправданія, которое онъ позволилъ себѣ послѣ шевыревской статьи,—давалъ совершенно невольно чувствовать, что онъ человѣкъ иныхъ воззрѣній, и защитникамъ официальной народности оставалось только въ безсильной злобѣ скрипѣть зубами или прибѣгать къ средствамъ, съ борьбою мнѣній ничего общаго не имѣющимъ. Анненковъ прекрасно объясняетъ эту причину съ одной стороны увлеченія Гранов-

* Переписка Грановскаго, стр. 462—463.

скимъ, съ другой—негодованія. „Самъ знаменитый профессоръ... постоянно держался съ тактомъ и достоинствомъ, никогда его не покидавшими, на той узкой полосѣ, которая была отведена ему для преподаванія. Онъ сдѣлалъ изъ нея цвѣтущій оазисъ науки, какой только могъ. Въ мастерскихъ его рукахъ эта узкая полоса изслѣдованія получила довольно большіе размѣры, и на ней открылась возможность дѣлать опытъ приложенія науки къ жизни, морали и идеямъ времени... На этомъ то замѣренномъ нейтральномъ клочкѣ твердой земли подъ собой, имъ же самимъ созданномъ и обработанномъ, Грановскій чувствовалъ себя хозяиномъ; онъ говорилъ все, что нужно и можно было сказать отъ имени науки, и рисовалъ все, чего еще нельзя было сказать въ простой формѣ мысли. Большинство слушателей понимало его хорошо. Такъ поняло оно и лекцію о Карлѣ Великомъ, на которую и я попалъ. Образъ возстановителя цивилизаціи въ Европѣ былъ въ одно время и художественнымъ произведеніемъ мастерской кисти, подкрѣпленной громадною, переработанною начитанностью, и указаніемъ на настоящую роль всякаго могущества и величества на землѣ“ *.

Въ дневникѣ Герцена также находимъ любопытное указаніе на то, какъ чутка была аудиторія. Подъ 7 марта 1844 г. читаемъ: „Грановскій заключилъ послѣднюю лекцію превосходными словами; рассказавъ, какъ французскій король губилъ тамплиеровъ, онъ прибавилъ: „необходимость гибели ихъ, ихъ виновность даже ясны, но средства употребленныя гнусны; такъ и въ новѣйшей исторіи мы часто видимъ необходимость побѣды, но не можемъ отказать ни въ симпатіи къ побѣжденнымъ, ни въ презрѣніи къ побѣдителю“. И неужели эта аудиторія, принимающая его слова, особенно такія слова, съ ужаснѣйшими рукоплесканіями, забудетъ ихъ? Забыть она ихъ, впрочемъ, имѣетъ право, но неужели они пройдутъ безслѣдно, не возбудивъ ни одной мысли, ни одного вопроса, ни одного сомнѣнія? Кто на это отвѣтитъ? Страшно сказать нѣтъ, и да страшно сказать“. Изъ этихъ намековъ

* Анненковъ: „Воспоминанія и критическіе очерки“, III, 74. Въ университетской лекціи о Григоріи VII Грановскому „особенно хотѣлось показать ничтожество матеріальной силы при всей ея наглости въ борьбѣ съ идеями“. Перецъ, 386.

Анненкова и Герцена ясно видно, что въ рѣчи лектора о прошломъ аудиторія чувствовала судъ, судъ надъ современностью, — надъ побѣдителями въ дѣлѣ декабристовъ и т. п. Такъ изъ тѣсныхъ рамокъ публичной лекціи рѣчь Грановскаго выросла порою до общественно-политической пропаганды: онъ „исторіей дѣлалъ пропаганду“.

Общій характеръ чтеній Грановскаго былъ указанъ Герценомъ во второй статьѣ, которую гр. Строгановъ не разрѣшилъ печатать въ университетской газетѣ, и потому статья появилась въ „Москвитянинѣ“. Герценъ, какъ на наиболѣе выдающуюся черту лекцій, указываетъ на ихъ художественно-созерцательный характеръ, на проникающую ихъ гуманность въ смыслѣ непосредственнаго сочувствія ко всему живому. „Главный характеръ чтеній Грановскаго: чрезвычайно развитая человѣчность, сочувствіе, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, — сочувствіе, готовое на все отозваться, — любовь широкая и многообъемлющая, любовь къ возникающему, которое онъ радостно привѣтствуетъ, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами. Нигдѣ ничему не вырвалось слова ненависти въ его чтеніяхъ, онъ проходилъ мимо гробовъ, вскрывалъ ихъ, но не оскорбилъ усопшихъ. Дерзкая мысль поправлять царственное теченіе жизни человѣчества — далека была отъ его наукообразнаго взгляда, онъ вездѣ покорялся объективному значенію событій и стремился только раскрыть смыслъ ихъ... Умѣть во всѣ вѣка, у всѣхъ народовъ, во всѣхъ проявленіяхъ найти съ любовью родное, человѣческое, не отказаться отъ братій, въ какомъ бы они рубищѣ ни были, въ какомъ бы неразумномъ возрастѣ мы ихъ ни застали, видѣть, сквозь туманныя испаренія временнаго, просвѣчиваніе вѣчнаго начала, т. е. вѣчной цѣли, — великое дѣло для историка... Въ сочувствіи Грановскаго къ среднимъ вѣкамъ не было ничего вспять текущаго, обращающаго назадъ. Любовь и сочувствіе къ побѣжденному — верхъ побѣды“. Вмѣстѣ съ тѣмъ Герценъ прекрасно объясняетъ „объективность“ Грановскаго, которую такъ недоволенъ остался Шевыревъ, признававшій ее „односторонностью“. „Не для того взята была имъ въ руки запыленная хартія среднихъ вѣковъ, чтобы въ ней сыскать опору

себѣ, своему образу мыслей: ему не нужна средневѣковая инвентура, онъ стоитъ на другой почвѣ... Многосторонность живого наводитъ страхъ и уныніе на одностороннихъ людей, они требуютъ *du positif!* Такъ полипы, лишенные собственнаго движенія, липнуть всю жизнь на одной сторонѣ камня и гложутъ мохъ, его покрывающій. Этимъ безпозвоночнымъ умамъ легче было бы въ десять разъ понять исторію, подгазованную съ какой бы то ни было точки зрѣнія; но Грановскій слишкомъ историкъ въ душѣ, чтобы впасть въ ненужную односторонность и не воспользоваться прекраснымъ положеніемъ... Мы вступаемъ въ общеніе съ Европой не во имя ея частныхъ и прошедшихъ интересовъ, а во имя великой общечеловѣческой среды, къ которой стремится она и мы; наше сочувствіе есть собственно предчувствіе грядущаго, которое равно распустить въ себѣ все исключительное, романо-германское ли, или славянское оно".—Этотъ отзывъ такого современника, какъ Герценъ, подтверждаетъ въ существенныхъ чертахъ очеркъ воззрѣній и метода Грановскаго, сдѣланный нами на основаніи его печатныхъ сочиненій. Герценъ въ заключеніе указываетъ еще на знакомую уже намъ черту преподаванія Грановскаго, имѣющую значеніе не менѣе важное. „Грановскій,—говоритъ Герценъ,—миноваль другой подводный камень, опаснѣйшій, нежели пристрастіе въ воззрѣніи на феодальныя событія. Знакомый съ писаніями германскихъ мыслителей, онъ остался независимъ. Онъ прекрасно опредѣлилъ современное состояніе философіи исторіи, но не подчинилъ живого развитія никакой оцѣняющей формулѣ: Грановскій смотритъ на современное состояніе жизни, какъ на великій историческій моментъ, котораго не знать, котораго миновать безнаказанно нельзя, такъ какъ нельзя и остаться въ немъ навѣки, не окоченѣвши. Чтобъ очевидно указать глубокой историческій смыслъ нашего доцента, достаточно сказать, что, принимая исторію за правильно развивающійся организмъ, онъ нигдѣ не подчинилъ событія формальному закону необходимости и искусственнымъ границамъ. Необходимость являлась въ его рассказѣ какою то сокровенною мыслью эпохи; она ощущалась издали, какъ нѣкій *Deus implicitus*, предоставляющій полную волю и

полный разгуль жизни“. Воля и разгуль исторической жизни предоставляли такимъ образомъ для Грановскаго полную возможность и просторъ художественному изображенію и развитію его идеаловъ; они ясно чувствовались въ его историческомъ изложеніи, но на указаніи ихъ Герценъ, конечно, не могъ остановиться въ своей статьѣ, уже потому, что они шли совершенно въ разрѣзъ направленію „Москвитянина“. Этими идеалами увлекалась, жадно ловила всѣ намеки на нихъ публика, наслаждавшаяся Грановскимъ историкомъ-художникомъ. И трудно рѣшить въ настоящее время, больше ли увлекались Грановскимъ, какъ художникомъ, или же какъ выразителемъ западническихъ стремленій—его восторженные поклонники, когда онъ „прямо касался самыхъ волнующихъ душу вопросовъ и нигдѣ не явился трибуномъ, демагогомъ, а вездѣ свѣтлымъ и чистымъ представителемъ всего гуманнаго“ *.

Сочувствіе слушателей выразилось неудержимымъ взрывомъ страстнаго восторга, когда лекціи закончились въ концѣ апрѣля. „На послѣдней лекціи,—рассказываетъ Герценъ въ дневникѣ,—аудиторія была биткомъ набита. Когда онъ въ заключеніе сталъ говорить о славянскомъ мірѣ, какой то трепеть пробѣжалъ по аудиторіи, слезы были на глазахъ и лица у всѣхъ облагородились. Наконецъ онъ всталъ и началъ благодарить слушателей—просто, свѣтлыми, прекрасными словами, слезы были у него на глазахъ, щеки горѣли, онъ дрожалъ: „благодарю тѣхъ“, такъ кончилъ онъ, „которые съ симпатіей слушали меня и раздѣляли добросовѣстность моихъ ученыхъ убѣжденій, благодарю и тѣхъ, которые, не раздѣляя ихъ, съ открытымъ челомъ, прямо и благородно высказывали мнѣ свою противоположность. Еще разъ благодарю васъ!“—Послѣ заключительныхъ словъ Грановскаго вся аудиторія поднялась съ восторженными рукоплесканіями, раздались крики: браво! прекрасно! трескъ, шумъ; дамы махали платками, другіе бросились къ каедрѣ, жали руки преподавателю, требовали его портрета. Онъ хотѣлъ уйти изъ аудиторіи, но толпа преграждала путь ему. Онъ стоялъ блѣдный, сложивъ руки и склонивъ голову, хотѣлъ произнести нѣсколько

* „Дневникъ“, 22 апр. 1844 г.

словъ—и не могъ. Шумъ одобренія поднялся съ новою силой, росъ и длился. Студенты толпою заняли лѣстницу, по которой, при тѣхъ же выраженіяхъ восторга, Грановскій, изнемогавшій отъ волненія, едва могъ пробраться въ залы университетскаго совѣта. „Я вышелъ изъ аудиторіи въ лихорадкѣ“,—замѣчаетъ Герценъ, и въ томъ же состояніи расходились всѣ сколько нибудь впечатлительные слушатели.

Отнынѣ имя Грановскаго прочно сливается въ исторіи русскаго общества съ московскимъ университетомъ 40-хъ годовъ. Успѣхъ перваго публичнаго курса Грановскаго былъ явленіемъ совершенно безпримѣрнымъ, какъ по размѣрамъ своимъ, такъ и въ особенности по мотивамъ. „Лекціи Грановскаго—явленіе потому уже замѣчательное,—писалъ И. С. Аксаковъ въ это время,—что, несмотря на долгое время, которое онѣ продолжались (что большой искусь для терпѣнія), онѣ выдержали свой характеръ, или лучше сказать: публика умѣла принять, поддержать и закончить. Слѣдовательно, это не вспышка успѣха, а успѣхъ постоянный и прочный и „блестательный“*. Подобнымъ же образомъ оцѣнивалъ лекціи и И. В. Кирѣевскій, также лично не слышавшій ихъ. „Въ прошедшую зиму,—писалъ онъ своей родственницѣ,—когда я жилъ въ деревнѣ, почти совершенно отдаленный отъ всего окружающаго міра, я помню, какое впечатлѣніе сдѣлали на меня ваши живые рассказы о блестящихъ лекціяхъ Грановскаго, о томъ сильномъ дѣйствіи, которое производило на отборный кругъ слушателей его краснорѣчіе, исполненное души и вкуса, яркихъ мыслей, живыхъ описаній, говорящихъ картинъ и увлекательныхъ сердечныхъ сочувствій ко всему, что являлось или таилось прекраснаго, благороднаго и великодушнаго въ прошедшей жизни западной многострадальной Европы. Общее участіе, возбужденное его чтеніями, казалось мнѣ утѣшительнымъ признакомъ, что у насъ въ Москвѣ живы еще интересы литературные, и что они не выражались до сихъ поръ единственно потому, что не представлялось достойнаго случая**“. Такъ какъ литература и наука давно стали для русскаго общества вопросомъ, съ которымъ слились на-

* „И. С. Аксаковъ въ его письмахъ“, I, стр. 130.

** „Ж. и тр. Погодина“, VII, 115.

сущнѣйшіе жизненные вопросы, то участіе къ лекціямъ Грановскаго было событіемъ не только въ исторіи науки, но и въ исторіи самого общества; оно отмѣтило собою первые шаги нашего и умственного, и общественнаго развитія. Въ лицѣ Грановскаго въ первый курсъ его публичныхъ лекцій „московское общество привѣтствовало рвущуюся къ свободѣ мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее“ (Герценъ). Университетъ шелъ къ обществу; казалось, что близка къ концу рознь между наукой и жизнью; общество—по крайней мѣрѣ въ наиболѣе образованныхъ его представителей—выказывало нѣкоторую готовность принять и развить общественные идеалы, пріотившіеся въ наукѣ и



IX.

Защита диссертациі Грановскаго.

Впечатлѣніе, произведенное на общество лекціями Грановскаго, заставило противниковъ забыть свою вражду на нѣкоторое время. Славянофилы, усердно посѣщавшіе лекціи и дружно хлопавшіе лектору, наравнѣ съ другими изъявили желаніе участвовать въ обѣдѣ, который друзья Грановскаго устроили ему по окончаніи курса, и уговорили Погодина и Шевырева присутствовать также, несмотря на статью Шевырева въ „Москвитянинѣ“, противъ ядовитыхъ намековъ которой Грановскій оправдывался передъ публикой. Со стороны славянофиловъ распорядителемъ былъ дѣловитый и сдержанный Юрій Самаринъ; со стороны западниковъ—Герценъ. Примиреніе съ обѣихъ сторонъ, казалось, было искренно и безъ заднихъ мыслей. Пиршество быстро утратило чопорный оффиціальныи характеръ. На восторженно встрѣченный тостъ за Грановскаго—послѣдній отвѣтилъ тостомъ за Шевырева, котораго усадили рядомъ съ виновникомъ торжества. Пили за университетъ. К. Аксаковъ, съ энергически сжатымъ кулакомъ и сверкающими глазами, громкимъ торжественнымъ го-

лосомъ, ударивъ кулакомъ по столу, провозгласилъ тостъ за Москву... и въ эту самую минуту раздался звонъ колоколовъ къ вечернѣ. Шевыревъ, воспользовавшись этимъ, произнесъ своимъ пѣвучимъ и тоненькимъ голосомъ: „Слышите ли, господа, московскіе колокола отвѣтствуютъ на этотъ тостъ!“ Эта эффектная выходка съ одной стороны возбудила улыбку, съ другой—восторгъ. Аксаковъ подошелъ къ Шевыреву, и они бросились въ объятія другъ другу... Въ пику Шевыреву западники хотѣли было пить за всю Россію, не исключая Петербурга, и только Грановскій смягчилъ ихъ своимъ кроткимъ и умоляющимъ взглядомъ, да и сами они поняли, что Грановскому было бы крайне непріятно, если бы на обѣдѣ въ честь его раздѣлились на два враждебныхъ лагеря. По окончаніи обѣда тосты продолжались. По предложенію Хомякова, молча и стоя пили за „великаго отсутствующаго славянскаго поэта“, т. е. Мицкевича. — То было строго запретное имя.—Славянофилы въ заключеніе обѣда обнимались съ западниками. И. Кирѣевскій просилъ у Герцена одного—чтобъ онъ вставилъ въ свою фамилію „ы“ вмѣсто „е“ и черезъ это сдѣлалъ ее болѣе русской для уха. Но Шевыревъ и этого не требовалъ, а, обнимая Герцена, увѣрялъ своимъ сопрано: „Онъ и съ „е“ хорошъ, онъ и съ „е“ русскій“ *.

„Дѣти, дѣти!—подсмѣивался совершенно резонно Бѣлинскій надъ этимъ минутнымъ примиреніемъ и надъ Грановскимъ съ Кетчеромъ, которые готовы были, повидимому, въ серьезъ принять подобныя изліянія за бокаломъ шампанскаго,—имъ бы только придратъся къ какому бы то ни было случаю, чтобы лишній разъ выпить и поболтать... Какое это примиреніе? И неужели Грановскій серьезно вѣрить въ него? Быть не можетъ!.. Сколько ни пей, ни чокайся, это не послужитъ ни къ чему, если нѣтъ въ людяхъ никакой точки соприкосновенія, никакой возможности къ уступкѣ ни съ той, ни съ другой стороны. Для меня эти лобызанія въ пьяномъ видѣ—противны и гадки“... **.

Грановскій, полагавшій, что худой миръ все же лучше доброй ссоры, не совсѣмъ доволенъ былъ враждебнымъ отно-

* Разсказъ Панаева и Герцена.

** Панаевъ: „Литературныя воспоминанія“, 217—218.

шеніемъ Бѣлинскаго къ попыткамъ примиренія. Въ письмахъ Бѣлинскій изъяснялся еще рѣзче и крайне негодовалъ, что московскіе западники не становятся на военную ногу со славянофилами, къ которымъ онъ причислялъ и защитниковъ официальной народности,—ошибка, въ виду того, что и Шевырева считали славянофиломъ, совершенно съ его стороны понятная. Бѣлинскій не принималъ въ расчетъ, что Грановскому, какъ профессору, такъ или иначе приходилось держаться „тонкой галантерейности“ съ издателями „Москвитянина“. Уступая ихъ настояніямъ, онъ помѣстилъ въ ихъ журналѣ около этого времени небольшую статью („Начало прусскаго государства“, соч. II, 281) содержанія самаго безобиднаго.

„Неистовый Виссаріонъ“ сердито писалъ по этому поводу Герцену: „Я жидъ по натурѣ и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу... Грановскій хочетъ знать, читалъ ли я его статью въ „Москвитянинѣ“. Нѣтъ, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданья“*. Понятно, что при такомъ отношеніи Бѣлинскаго къ славянофиламъ, его невозможно было, по выраженію Герцена, „зарканить“ и въ „Отеч. Зап.“. И предположенія Бѣлинскаго о непрочности мира оправдались очень скоро: отношенія въ непродолжительномъ времени обострились до нельзя, такъ что сталъ необходимъ разрывъ личныхъ сношеній.

Прежде чѣмъ перейти къ рѣзкимъ проявленіямъ вражды, обострившейся благодаря друзьямъ славянофиловъ, надо сказать, что въ это время западники были очень заняты предположеніями объ изданіи въ Москвѣ журнала, затѣяннаго снова Грановскимъ, а славянофилы—толками и переговорами о переходѣ „Москвитянина“ въ ихъ руки; въ управленіи Погодина и Шевырева журналъ едва влачилъ свое существованіе, грозя совершенно упасть. Грановскій съ друзьями собрали на изданіе своего журнала капиталъ на акціяхъ. Къ несчастью, его не хватало на приобрѣтеніе одного изъ существующихъ мелкихъ журналовъ—„Галатеи“ Раича, „Русскаго Вѣстника“ Глинки, не говоря о болѣе крупной „Библиотекѣ

* Иѣпичъ: „Бѣлинскій“, II, 234—235.

для чтенія“ Сенковского. Нужно было просить о разрѣшеніи издавать новый журналъ, а подобныя разрѣшенія въ это время получались съ немалымъ трудомъ. Въ іюнѣ 1844 г. Грановскій подалъ черезъ попечителя прошеніе объ изданіи журнала „Московское Обозрѣніе“; редакторомъ, по общему желанію, долженъ былъ стать Е. Коршъ. Журналу предполагалось дать характеръ историческій и критическій по преимуществу. Готовились статьи, приглашали Бѣлинскаго; въ тѣсное тогда образованное общество проникъ слухъ, что новый журналъ обѣщаетъ стать новыми „Отечественными Записками“,—по крайней мѣрѣ Гоголь высказывался въ этомъ смыслѣ въ письмѣ къ Языкову *.

Съ мыслью и заботами о новой своей дѣятельности, Грановскій лѣтомъ поѣхалъ, одинъ, безъ жены, въ Орловскую губернію къ осиротѣлому и больному отцу. Къ этой поѣздкѣ относится его тоскливое письмо къ женѣ, навѣянное всею печальною домашней обстановкой,—письмо, гдѣ онъ говоритъ, что Станкевичъ и сестры умираютъ для него ежедневно снова. Дѣла по имѣнію попрежнему были плохи и причиняли только непріятности. Пришлось ѣхать въ Полтавскую губернію для продажи имѣнія, оставшагося послѣ матери: этимъ онъ предполагалъ покрыть долги по орловскому имѣнію, которое отецъ соглашался передать ему во владѣніе. Покупщика онъ не нашелъ, а по возвращеніи оказалось, что отецъ поздоровѣлъ, и къ нему вернулись прежняя безпечность и упрямство. Грановскій ни съ чѣмъ вернулся въ Москву; онъ только усталъ отъ хлопотъ и разѣздовъ по сквернымъ дорогамъ и въ скверную погоду: лѣто, какъ на зло, было необыкновенно холодно и дождливо.

Плохой хозяинъ, Грановскій вообще менѣе всего чувствовалъ себя способнымъ къ деревенской жизни, а между тѣмъ возможность быть обреченнымъ на жизнь въ деревнѣ, въ виду не прекращавшихся университетскихъ интригъ противъ него, часто была весьма вѣроятна. „Я люблю деревню,—писалъ онъ женѣ изъ своей поѣздки,—но люблю эту жизнь, какъ отдыхъ. Я привыкъ къ дѣятельности, и моя настоящая дѣятельность дорога мнѣ,—я не могу отъ нея отказаться. Ты

* „Ж. и тр. Погодина“, VII, 440—441.

скажешь, что я могу работать, писать и въ деревнѣ, но я еще не знаю—есть ли у меня литературный талантъ, а, какъ профессоръ, я сознаю въ себѣ призваніе къ этому дѣлу и способность... Мы можемъ каждое лѣто проводить въ деревнѣ, но постоянная жизнь въ деревнѣ не для меня до тѣхъ поръ, пока мнѣ можно будетъ оставаться при университетѣ... Я не могу принять незаслуженнаго отдыха, покоя прежде усталости. Это несогласно съ моими взглядами на жизнь... Мнѣ нуженъ трудъ, люди, и скажу правду—вліяніе на людей, т. е. возможность дѣлиться съ ними моими учеными и другими мнѣніями. Все это даетъ мнѣ университетъ“.

Журналъ, о судьбѣ котораго онъ постоянно освѣдомлялся въ письмахъ изъ провинціи, представлялся дополненіемъ къ университетской дѣятельности. Славянофилы, конечно, знали это стремленіе Грановскаго и горячо уговаривали его присоединиться къ „Москвитянину“ подъ новою редакціей. Объ этомъ, повидимому, говоритъ записка Ю. Ѡ. Самарина къ Аксакову, писанная въ началѣ 1844 г. „Я собираюсь,—пишетъ Самаринъ,—нынче послѣ обѣда къ Грановскому, часовъ въ пять, и пробуду до восьми. Хорошо будетъ, если ты тоже къ Грановскому поѣдешь. Нападешь на него вдвоемъ, врасплохъ; этотъ человѣкъ, видимо колеблется“. Около этого же времени Хомяковъ, по увѣренію Герцена (Дневникъ, 12 мая 1844 г.), убѣждая И. В. Кирѣевскаго принять въ свои руки „Москвитянинъ“, стращаль его тѣмъ, что, въ противномъ случаѣ, журналъ, единственный, гдѣ сотрудничали славянофилы, перейдетъ въ руки противниковъ. И. В. отклонялъ сперва это предложеніе и спрашивалъ, кто противники, не Грановскій ли съ друзьями? что, въ такомъ случаѣ, онъ къ нимъ чувствуетъ болѣе симпатіи, чѣмъ ко всѣмъ славянофиламъ. Грановскій лѣтомъ заѣзжалъ къ Кирѣевскому и между ними снова была рѣчь о журналѣ. „Я прожилъ два хорошіе дня съ Иваномъ Васильевичемъ,—писалъ Грановскій женѣ:—всякій день мы сидѣли съ нимъ до трехъ часовъ ночи и говорили о многомъ. Онъ почти рѣшился взять „Москвитянинъ“ и радъ, что у насъ можетъ быть свой журналъ. Онъ очень хорошо понимаетъ, что намъ невозможно быть постоянными сотрудниками въ журналѣ, которому онъ хочетъ дать

одинъ характеръ. А съ нимъ сойтись не трудно, но друзья его!

Друзья эти скоро дали себя знать. Въ 7-й книжкѣ „Москвитянина“ была еще напечатана уже цитированная горячая статья Герцена о лекціяхъ Грановскаго. Послѣдній вернулся въ Москву въ половинѣ августа, и тутъ же произошли какія то столкновенія, заставившія Герцена записать въ дневникѣ по адресу славянофиловъ: „Бѣлинскій правъ. Нѣтъ мира и свѣта съ людьми до того разными!“ Особенно тяжело поражало Герцена и его друзей, что у противниковъ, вслѣдствіе близости къ элементамъ, принципиально чуждавшимся самостоятельнаго взгляда на вещи, развивалась замашка переносить споры на такую почву, гдѣ сами они были въ полной безопасности, связывая въ то же время западниковъ по рукамъ и ногамъ. Еще въ концѣ 1842 г. Герценъ съ горечью жаловался на то, что людямъ его круга приходится защищать возможность своихъ идей даже отъ славянофильства. „Славянофильство приноситъ ежедневно пышные плоды,— писалъ онъ:—открытая ненависть къ Западу есть открытая ненависть ко всему процессу развитія рода человѣческаго, ибо Западъ, какъ преемникъ древняго міра, какъ результатъ всего движенія и всѣхъ движеній,—все прошлое и настоящее человѣчество (ибо не арифметическая цифра, счетъ племенъ или людей—человѣчество). вмѣстѣ съ ненавистью и пренебреженіемъ къ Западу—ненависть и пренебреженіе къ свободѣ мысли, къ праву, ко всѣмъ гарантіямъ, ко всей цивилизаціи. Такимъ образомъ, славянофилы само собою становятся со стороны внѣшняго давленія... Нѣтъ настолько образованныхъ шпионовъ, чтобъ указывать всякую мысль, сказанную изъ свободной души, чтобы понимать въ ученой статьѣ направленіе и пр. Славянофилы взялись за это. Отвратительные доносы Булгарина не оскорбляли, потому что отъ Булгарина нечего ждать другого, но доносы „Москвитянина“ повергаютъ въ тоску. Булгаринъ работаетъ изъ одного гроша, а эти господа? Изъ убѣжденія! Каково же убѣжденіе, позволяющее прямо дѣлать доносы на лица, подвергая ихъ всѣмъ бѣдствіямъ“. „То, что въ „О. З.“ печатается, — то здѣсь страшно говорить. Слава Петру, отрекшемуся отъ Москвы!

Онъ видѣлъ въ ней зимующіе корни узкой народности, которая будетъ противодѣйствовать европеизму и стараться снова отторгнуть Русь отъ человѣчества“.

Щекотливыя столкновения съ противниками, тревожное настроеніе вслѣдствіе отсутствія извѣстій быть или не быть „Московскому Обозрѣнію“—подавляюще дѣйствовали на друзей. 17 октября 1844 г. у Герцена записаны тоскливыя строки. „Оттого, что мы глубоко, непримиримо распались съ существующимъ, отъ того ни у кого нѣтъ собственнаго пракческаго дѣла, которое было бы принимаемо за дѣло истинное, вовлекающее въ себя всѣ силы души. Отсюда небрежность, пошлалансе, долею эгоизмъ, лѣнь и бездѣйствіе! Чѣмъ больше, чѣмъ внимательнѣе всматриваешься въ лучшихъ, благороднѣйшихъ людей, тѣмъ яснѣ видишь, что это неестественное распаденіе съ жизнью ведетъ къ идиосинкразіямъ, ко всякимъ субъэктивнымъ блажнямъ. *Beatus ille qui procul negotiis* можетъ съ головою погрузиться въ частную жизнь или теорію. Не всякій можетъ. И эти-то немогущіе вянуть въ монотонной, длинной агоніи, плачевной и, главное, убійственно скучной. Въ юности все еще кажется, что будущее принесетъ удовлетвореніе всему, лишь бы добратся поскорѣе до него, но *nel mezzo del camin di nostra vita* нельзя себя тѣшить,—будущее намъ лично ничего не предвѣщаетъ, развѣ гоненія сугубыя... Жизнь безъ сильныхъ искушеній, несчастій—такъ же неполна, какъ безпрестанно подавляемая несчастіемъ“. Эти строки вполнѣ гармонируютъ съ тѣмъ, что писалъ самъ Грановскій Фролову въ концѣ октября, когда о журналѣ все еще не было ни слуху, ни духу. „Эта задержка насъ очень разстроила. Если разрѣшеніе придетъ въ ноябрѣ, то придется отложить изданіе журнала до 1846 года, потому что въ ноябрѣ поздно набирать подписчиковъ, а наши денежные средства не велики, и издавать журналъ на свой счетъ мы не въ состояніи... Придется прождать еще годъ. Когда подумаешь, сколько годовъ прошло уже въ бесплодныхъ сборахъ и надеждахъ, то станетъ тяжело на сердцѣ. Мы всѣ перешагнули за 30 лѣтъ; у всѣхъ у насъ были надежды, желаніе труда, силы. Что жъ изо всего вышло? Назади мало, впереди темно и неопредѣленно... Если бы по крайней мѣрѣ

открылась для насъ возможность общей успѣшной дѣятельности года на два, на три. Это не много, но можно бы оставить по себѣ слѣды, вліяніе, благородный примѣръ усерднаго труда, который у насъ на Руси такъ рѣдокъ. До дѣльныхъ книгъ публика наша еще не доросла. Ей нужны пока журналы, и журналомъ можно принести много пользы,—болѣе, чѣмъ цѣлою бібліотекою ученыхъ сочиненій, которыхъ никто читать не станетъ“.

Какъ подозрѣвали Герценъ, журнала не разрѣшали, благодаря проiscaмъ противниковъ западничества. Славянофилы, какъ бы то ни было, продолжали убѣждать западниковъ отложить въ сторону мечты о собственномъ журналѣ и поддерживать „Москвитянинъ“, но переговоры кончались чуть не явной ссорой. Хомяковъ, по разсказу Герцена, какъ-то заявилъ, что ни за что не далъ бы статьи въ журналъ Грановскаго, на что Герценъ, не оставаясь въ долгу, возразилъ, что, „проводя ту же консеквентность, Грановскій не взялъ бы и не помѣстилъ ее“. (Дневникъ, 9 ноября 1844).

Въ это самое время, чтобы до нѣкоторой степени сгладить впечатлѣніе, произведенное на общество первымъ публичнымъ курсомъ Грановскаго, славянофилы выдвинули не совсѣмъ нерасчетливо Шевырева. Послѣдній, по выраженію біографа Погодина, „имѣлъ дерзновеніе“ открыть въ Москвѣ публичный курсъ объ „Исторіи русской словесности, преимущественно древней“, т. е. „преимущественно того времени, когда ничего не писали“, какъ мѣтко съострилъ Герценъ. Панегирики Шевырева древнему періоду русской литературы, на тему о томъ, что литература „искони была сосудомъ вѣры“, были, конечно, вполне въ духѣ официальной народности и теологической стороны славянофильства. Естественно, что западники и славянофилы не сошлись въ оцѣнкѣ лекцій. Публика посѣщала ихъ почти столь же усердно, какъ прошлый годъ лекціи Грановскаго. Мода на посѣщеніе публичныхъ университетскихъ курсовъ, созданная Грановскимъ, еще не прошла, и Шевырева слушали съ удовольствіемъ многія изъ тѣхъ дамъ, которыя, по словамъ Герцена, такъ восхищались Грановскимъ: „comme c'est joli! c'est dommage que je n'aie rien entendu!“ Подобныя слушательницы и слушатели, конечно,

столь же наслаждались риторическими возгласами и пышными метафорами Шевырева, сколько и простымъ и образнымъ, прозрачнымъ языкомъ Грановскаго, а до содержанія имъ, конечно, еще меньше было дѣла. Даже Хомяковъ, объявлявшій, что „успѣхъ Шевырева—успѣхъ мысли, достояніе общее, шагъ впередъ въ наукѣ“, призналъ, что особой цѣны успѣхъ этотъ не имѣеть, нечаянно проговорившись въ письмѣ къ Самарину: „Ряды нашихъ друзей оказались необычайно рѣдкими и дружина — ничтожною. Весь университетъ, или почти весь, держится другой стороны... Покуда большинство публики глядитъ къ Западу“ *. „Вѣсти о лекціяхъ Шевырева, — писалъ съ своей стороны Бѣлинскій въ началѣ 1845 г., — о фурорѣ, который онѣ произвели въ зернистой московской публикѣ, о рукоплесканіяхъ, которыми прерывается каждое слово этого скверноуста, — все это меня не удивило нисколько: я увидѣлъ въ этомъ повтореніе исторіи съ лекціями Грановскаго. Наша публика — мѣщанинъ въ дворянствѣ, — продолжаетъ желчно Бѣлинскій, бичуя ея равнодушіе и косность: — Для нея хорошъ Грановскій, да не дуренъ и Шевыревъ... Лучшимъ она всегда считаетъ того, кто читалъ послѣдній... По моему мнѣнію, — добавляетъ онъ, — стыдно хвалить то, чего не имѣешь право ругать: вотъ отчего мнѣ не понравились статьи (Герцена) о лекціяхъ Грановскаго“ **.

Въ данномъ случаѣ славянофилы не выказали пониманія этого простого правила приличія. Тогда какъ западники не въ силахъ были вести съ ними полемику о содержаніи лекцій Шевырева, они трубили о своей побѣдѣ, причемъ самъ виновникъ торжества скромно приписывалъ свой успѣхъ особому благословенію Божию и внушенію св. Кирилла, мощи котораго онъ перенесъ отъ Погодина „погостить“ въ свой домъ. Поэтъ Н. М. Языковъ, на сестрѣ котораго былъ женатъ Хомяковъ, воспѣлъ въ стихахъ побѣду „науки жреца и правды воина“ и приглашалъ его не смущаться молвою враговъ, потому что

. . . они чужбинѣ

Отцами преданы съ пленѣ:

* Разказу о лекціяхъ Шевырева въ VI т. „Ж. и тр. Погодина“ посвящена глава LXIV. Слова Хомякова — стр. 459.

** Пыпинъ: „Бѣлинскій“, II, 241—242.

Русь не угодна ихъ гордынѣ,
Имъ чуждѣ и дикъ родной законъ,
Родной языкъ имъ непонятенъ,
Имъ безответна и смѣшна
Своя земля, ихъ умъ развратенъ
И совѣсть ихъ прокажена.

Понятно, что при возможности такого нелѣпо-нетерпимаго отношенія къ западникамъ, обѣ стороны не могли чувствовать другъ къ другу особой симпатіи; впрочемъ, со стороны Языкова, вдобавокъ не знакомаго ни съ Грановскимъ, ни съ Герценомъ, эти стихи были пока только цвѣточками.

Исторія съ диссертацией Грановскаго и новые стихи Языкова, „со струнъ лиры котораго, говоря словами Шевырева, сильнѣе чѣмъ когда нибудь раздались высокія пѣсни“ съ тѣхъ поръ, какъ онъ, полуумирающій, поселился въ Москвѣ — окончательно поссорили обѣ партіи.

Въ главѣ о Грановскомъ, какъ историкъ, мы уже говорили, что, обращаясь нынѣ къ магистерской диссертации его, можно только подивиться, какъ она могла вызвать столько толковъ, ожесточенныхъ нападокъ и вообще стать яблокомъ раздора. Надо думать, что неудобнымъ показалось разрушеніе „душу возвышающаго обмана“, и что заключительныя слова диссертаци: „Найдутся и кромѣ Дамеровскихъ рыбаковъ люди, которые еще не отступятся отъ Винеты, которымъ предъ лицомъ сухой, критикою добытой истины станетъ жаль изящнаго вымысла; но противъ ихъ возраженій наукъ говорить нечего“ — эти слова были приняты за какой то дерзкій вызовъ.

Какъ бы то ни было, профессора Давыдовъ и Шевыревъ, съ участіемъ слависта О. Бодянскаго, хотѣли съ позоромъ вернуть диссертацию Грановскому, подъ предлогомъ недостаточной ученой основательности ея. Грановскій наотрѣзъ отказался взять ее для исправленія и потребовалъ письменнаго изложенія причинъ, по которымъ ее признаютъ неудовлетворительною. Строгіе критики, очевидно, не чувствовали подъ собою никакой твердой почвы, и уступили. Эта исторія быстро разнеслась по Москвѣ и общее сочувствіе было, конечно, на сторонѣ Грановскаго.

Страсти, разгораясь, проявлялись иногда даже въ печати

выходками, которыя теперь не могут не возбудить улыбки. Такъ Герцену случилось написать шуточную рекламу персидскому порошку для своего пріятеля, старика нѣмца Зонненберга; реклама появилась въ „О. З.“, въ 1844 г., съ предупрежденіемъ, что съ чудодѣйственнымъ порошкомъ отъ насѣкомыхъ надо обращаться поосторожнѣе: однажды къ комнатамъ, гдѣ употребляли порошокъ, забыли книжку „Москвитянина“, и на утро она безслѣдно исчезла.

„Болѣе и болѣе расхожусь со славянами, — записаль Герценъ 20 ноября:—кажется, ихъ удивиль прямой языкъ, мой тонъ у Свербеева. Потому думаю, что меня всѣ спрашиваютъ, какъ было, что было, главное—какъ я рѣшилсЯ сказать поэту-лауреату береговъ Неглинной (т. е. Хомякову), что не помѣстятъ его статьи въ нашъ журналъ. И Аксаковъ становится скученъ отъ фанатизма московщины; мой разговоръ недѣлю назадъ озлобилъ и удивиль многихъ. Когда люди начинаютъ сердиться, они дозволяютъ всплыть многому, что лежитъ на днѣ души и въ чемъ неохотно себѣ сознаются. Изъ манеры славянофиловъ видно, что если бы матеріальная власть была ихъ, то намъ пришлось бы жариться гдѣ нибудь на лобномъ мѣстѣ“. Стихи Языкова, приведенные нами, совершенно оправдываютъ такое предположеніе: Герценъ невольно распространялъ его на всю партію.

Нѣсколько позднѣе онъ писалъ: „Исторія съ диссертацией послужила на пользу, всѣ сняли перчатки и показали настоящій цвѣтъ кожи. Грановскій отказался отъ всякаго участія въ „Москвитянинѣ“.—Послѣдняго обстоятельства касается письмо Грановскаго къ И. Кирѣевскому, обрисовывающее взаимныя отношенія, но носящее явственные слѣды совершенно исключительнаго раздраженія. Грановскій писалъ, что предлагалъ услуги Кирѣевскому лично, а не „Москвитянину“ и не его сотрудникамъ, и потому просилъ не выставлять своего имени среди послѣднихъ, пока Кирѣевскій не станетъ официально редакторомъ. Письмо говоритъ о неважности различія мнѣній и направленій, когда они не имѣютъ практическаго значенія, но что Грановскій не хочетъ стать на ряду съ большею частію сотрудниковъ „Москвитянина“ не потому, что они славяне и православные христіане, а онъ,

отчасти по ихъ милости, ославленъ врагомъ церкви и Рос-
сіи, а потому, что нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ не уважаетъ
лично. „Повѣрьте,—писаль Грановскій о письмѣ своемъ,—
что въ немъ очень мало участвовало раздраженіе (конечно,
законное), произведенное во мнѣ недавнею исторіей съ моею
диссертацией. Эта исторія только подкрѣпила давнишнія пред-
положенія мои относительно прямоты и честности моихъ про-
тивниковъ... За мнѣнія свои,—говорить Грановскій въ за-
ключеніи письма,—я принимаю на себя полную отвѣтствен-
ность, тѣмъ болѣе, что я еще не попалъ ни въ профессоры
(Грановскій числился тогда преподавателемъ), ни въ литера-
торы, которымъ однимъ позволяется говорить безнаказанно
дерзости и творить гадости, нетерпимыя ни въ какомъ дру-
гомъ кругу“.

Послѣднія слова — не слишкомъ рѣзкая характеристика
стиховъ, которые въ половинѣ декабря распространялись не
безъ комментаріевъ досужими людьми въ московскихъ гости-
ныхъ. Принадлежали они перу Языкова и озаглавлены были
„Къ не нашимъ“. Они такъ краснорѣчивы, такъ характери-
зуютъ приемы людей, которымъ порою вторили славянофилы,
что не можемъ ни себѣ, ни читателямъ отказать въ удоволь-
ствіи полюбоваться этими стихами во всей ихъ откровенной
обнаженности.

О вы, которые хотите

Преобразить, испортить насъ

И объѣмчить Русь! внемлите

Простосердечный мой возгласъ,

Кто бъ ни былъ ты, одноплеменникъ

И братъ мой, — жалкій ли старикъ,

Ея торжественный измѣнникъ,

Ея надменный клеветникъ;

Иль ты, сладкорѣчивый книжникъ,

Оракулъ юношей невѣждъ,

Ты, легкомысленный сподвижникъ,

Безпутныхъ мыслей и надеждъ;

Иль ты, невинный и любезный,

Поклонникъ темныхъ книгъ и словъ,

Восприниматель достослезный

Чужихъ сужденій и грѣховъ:

Вы, людъ заносчивый и дерзкій,

} по адресу Чаадаева.

} по адресу Грановскаго.

} по адресу Герцена.

Вы, опрометчивый оплотъ
Ученья школы богомерзкой,
Вы всё—не русскій вы народъ!

И далѣе поэтъ обвинялъ „не нашихъ“ въ отсутствіи любви къ родинѣ, въ отсутствіи стремленія къ истинѣ и благу, въ неуваженіи къ лучшимъ преданіямъ старины, увѣрялъ, что, въ виду столь явнаго вреднаго направленія ихъ, русская земля отъ нихъ не приметъ просвѣщенія, и предсказывалъ:

Хулой и лестію своею
Не вамъ ее преобразить,
И не умѣете вы съ нею
Ни жить, ни пѣть, ни говорить.
Умолкнетъ ваша злость пустая,
Замретъ проклятый вашъ языкъ:
Крѣпка, надежна Русь святая,
И русскій Богъ еще великъ!

По поводу этого стихотворенія, Гоголь писалъ Языкову: „Самъ Богъ внушилъ тебѣ прекрасные и чудные стихи „Къ не нашимъ“. Душа твоя была органъ, а бряцали по немъ другіе персты. Они лучше самого „Землетрясенія“ * и сильнѣе всего, что у насъ было написано доселѣ на Руси“ **. И не одинъ Гоголь былъ такого же мнѣнія.

Въ то же время Чаадаеву Языковъ посвятилъ особое „посланіе“.

Вполнѣ чужда тебѣ Россія,
Твоя родимая страна!
Ея преданія святія
Ты ненавидишь всё сполна.
Ты ихъ отрекся малодушно,
Ты лобызаешь туфлю папъ,—
Почтенныхъ предковъ сынъ ослушный,
Всего чужого гордый рабъ!
Свое ты все презрѣлъ и выдалъ,
Но ты еще не сокрушенъ;
Но ты стоишь, плѣшивый идолъ
Строптивыхъ душъ и слабыхъ женъ!
Ты цѣль еще...

* Стихи Языкова, помѣщаемые во всѣхъ хрестоматіяхъ: „Всевышній граду Константина“ и т. д.

** „Ж. и. тр. Погодина“, VII, стр. 469. Стихи Языкова, здѣсь цитированные, помѣщены въ „Стихотвореніяхъ“ Н. М. Языкова, изд. Суворина, т. I (Деш. библ.) и „Вѣстн. Евр.“ 1871, сент.

Въ третьемъ стихотвореніи, одобряя поведеніе, надежды и мечты К. Аксакова, Языковъ выражалъ ему и свое порицаніе за то, что онъ подаетъ дружелюбно руку Герцену,—

Тому, кто гордую науку
И торжествующую ложь
Глубокомысленно ставитъ
Превыше Истины Святой;
Тому, кто нашу Русь злословитъ
И ненавидитъ всей душой,
И кто Нѣмецинѣ лукавой
Передался,—и вслѣдъ за ней,
За госпожею величавой,
Идетъ, блистательный лакей...
А православную царицу,
А мать Русскихъ городовъ
Смѣнить на пышную блудницу
На Вавилонскую готовъ!..

Понятно, какое впечатлѣніе произвели въ московскомъ обществѣ эти безспорно звучные стихи съ ихъ специфическимъ ароматомъ. Даже миролюбиваго Грановскаго они не могли не взорвать. „Я каюсь въ своемъ глупомъ заблужденіи,—говорилъ онъ, по словамъ Панаева:—Бѣлинскій тысячу разъ правъ. Примиреніе съ господами, дѣйствующими противъ насъ такими средствами, глупо и нелѣпо“.

Какъ бы отвѣтомъ Языкову въ печати явилась статья Бѣлинскаго въ ближайшей книжкѣ „О. З.“, гдѣ, въ обзорѣ литературы за 1844 г., онъ подвергъ суровой и вполнѣ справедливой критической оцѣнкѣ риторическія стихотворенія Хомякова и Языкова. Герценъ въ свою очередь, ѣдко разбирая январскій номеръ „Москвитянина“ за 1845 г., сдѣлалъ слѣдующую замѣтку о напечатанныхъ тамъ стихахъ Языкова: „Разсказъ г. Языкова о капитанѣ Сурминѣ—трогательнъ и наставителенъ; кажется, успокоившаяся отъ суевъ муза г. Языкова рѣшительно посвящаетъ нѣкогда забубенное перо свое поэзіи исправительной и обличительной. Это истинная цѣль искусства, пора поэзіи сдѣлаться трибуналомъ de la poésie correctionnelle. Мы имѣли случай читать еще поэтическія произведенія того же исправительнаго направленія, ждемъ ихъ въ печати, это громъ и молнія; озлобленный поэтъ не остается въ абстракціяхъ; онъ указываетъ не-

годующимъ перстомъ лица,—при полномъ изданіи можно приложить адреса! Исправлять нравы! Что можетъ быть выше этой цѣли? Развѣ не ее имѣлъ въ виду самоотверженный Коцебу и авторъ „Выжигиныхъ“ и другихъ нравственно-сатирическихъ романовъ?“ Въ числѣ другихъ негодующихъ откликовъ на стихи Языкова слѣдуетъ упомянуть объ отвѣтѣ, также въ стихахъ, Каролины Павловой; отвѣтъ живо рисуетъ то подавленное настроеніе, которое произвелъ бессмысленно злобный поступокъ Языкова во всѣхъ, кто серьезно относился къ борьбѣ литературно-общественныхъ мнѣній:

Во мнѣ нѣтъ чувства, кромѣ горя,
Когда знакомый гласъ пѣвца,
Слѣпымъ страстямъ безбожно вторя,
Вливаєтъ ненависть въ сердца.
И я глубоко негодую,
Что тотъ, чья пѣснь была чиста,
На площадь музу шлетъ святую,
Вложивъ руганья ей въ уста.
Мнѣ тяжело спать и безотрадно,
Какъ дышетъ страстной онъ враждой,
Чужую мысль кара ядно
И роюсь въ совѣсти чужой.
Мнѣ стыдно за него и больно,
И вмѣсто пѣсенъ, какъ сперва,
Лишь вырываются невольно
Изъ сердца горькія слова *.

Стихи Языкова переполнили чашу терпѣнія западниковъ. Такое выраженіе нисколько не представляется преувеличеннымъ: именно московскіе западники, съ Грановскимъ во главѣ, выказали наиболѣе терпимости къ искреннему убѣжденію противниковъ. Вся накопившаяся неприязнь вышла теперь наружу; грязь, поднятая Языковымъ, конечно обрушилась на него самого съ тѣми, кто восхищался его стихами, но дальнѣйшія совмѣстныя встрѣчи и мирное дебатированіе отвлеченныхъ вопросовъ стали теперь совершенно невозможными. Вдобавокъ стихи Языкова повели къ объясненіямъ, которые въ подобныхъ случаяхъ только сильнѣе запутываютъ дѣло. Произошло какое то столкновеніе между Грановскимъ и млад-

* Жихаревъ: „Біографія Чаадаева“, „В. Европы“, 1871 г., сентябрь.

шимъ Кирѣвскимъ; оно быстро приняло такой острый характеръ, что лишь съ большимъ трудомъ удалось устранить дуэль.

Первый шагъ къ разрыву сношеній сдѣлалъ пылкій „Бѣлинскій славянофильства“, К. Аксаковъ. Лично онъ до глубины души былъ возмущенъ выходкой Языкова и въ горячемъ обращеніи „Къ союзникамъ“ пытался провести границу между своими друзьями и единомышленниками, и между ближайшими сосѣдами, прикрывавшимися ихъ флагами.

Не соединить насъ буква мнѣнья!

восклицалъ Аксаковъ:—

Во всемъ мы разны межъ собой,
И ваше злобное шипѣнье—
Не голосъ сильный и простой...
На битвы выходя святяся,
Да будемъ чисты межъ собой!
Вы прочь, союзники гнилые,
А вы, противники, на бой!.. *

Глубокаго интереса полны рассказы о томъ какъ разошлись друзья-враги: ради отвлеченныхъ убѣжденій расходились люди, связанные самою задушевною дружбой, возникшею въ юности и развившеюся при совмѣстной работѣ мысли и чувства, а такая дружба крѣпче самыхъ тѣсныхъ семейныхъ и другихъ обычныхъ узъ, гдѣ такую роль играетъ привычка. „Наши личныя отношенія,—писалъ по этому поводу Герценъ въ „Дневникѣ“,—много вредятъ характерности и прямотѣ мнѣній. Мы, уважая прекрасныя качества лицъ, жертвуемъ для нихъ разностью мысли. Много надобно имѣть силы, чтобы плакать и все таки умѣть подписать приговоръ Камила де-Мулена!“ Такой силы для разлуки хватило у противниковъ.

Въ 1844 г., когда наши споры дошли до того, что ни „славяне“, ни мы не хотѣли больше встрѣчаться,—вспоминаетъ Герценъ,—я какъ то шелъ по улицѣ, К. Аксаковъ ѣхалъ въ саняхъ. Я дружески поклонился ему. Онъ было проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ ко мнѣ. „Мнѣ было слишкомъ больно,—сказалъ

* Тамъ же.

онъ,—проѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ ѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ пожать вамъ руку и проститься“. Онъ быстро пошелъ къ санямъ, но вдругъ воротился; я стоялъ на томъ же мѣстѣ, мнѣ было грустно; онъ бросился ко мнѣ, обнялъ меня и крѣпко поцѣловалъ. У меня были слезы на глазахъ. Какъ я любилъ его въ эту минуту ссоры“. Разлука Аксакова съ Грановскимъ была еще знаменательнѣе. Аксаковъ, какъ Никодимъ ко Христу, явился къ Грановскому ночью, разбудилъ его, бросился къ нему на шею и, крѣпко сжимая въ своихъ объятіяхъ, объявилъ, что пріѣхалъ къ нему исполнить одну изъ самыхъ горестныхъ и тяжелыхъ обязанностей своихъ—разорвать съ нимъ связи и въ послѣдній разъ проститься съ нимъ, какъ съ потеряннымъ другомъ, несмотря на глубокое уваженіе и любовь, какія онъ питаетъ къ его характеру и личности. Напрасно Грановскій убѣждалъ его смотрѣть хладнокровнѣе на ихъ разномыслія, говорилъ, что, кромѣ идей славянства и народности, между ними есть еще и другія связи и нравственныя убѣжденія, которыя не подвержены опасности разрыва,—К. С. Аксаковъ остался непреклоненъ и уѣхалъ отъ него сильно взволнованный и въ слезахъ*.

„Онъ и, можетъ, оба Кирѣевскіе уносятъ личное,—записано у Герцена подъ 10 января 1845 г.,—а остальные—чортъ съ ними. Самаринъ, не думаю, чтобъ ихъ былъ“. Въ скоромъ времени онъ убѣдился, что послѣднее его предположеніе было несправедливо.

„Что сказать тебѣ о твоей размолвкѣ съ Герценомъ и Грановскимъ?—писалъ по поводу этого разрыва К. Аксакову Ю. Самаринъ.—Рано или поздно это должно было случиться. Такъ! Непроступная черта межъ нами есть, и наше согласіе никогда не было искренно, т. е., не было прочнымъ жизненнымъ согласіемъ. Вспомни, какими искусственными средствами оно поддерживалось. Много, очень многое насъ разлучаетъ, и въ особенности то, что для насъ многое осталось святынею,

* Анненковъ: „Восп. и крит. очерки“, III, стр. 86. Статья „Замѣчательное десятилѣтіе“.

въ чемъ они видятъ безжизненныхъ идоловъ. Но вотъ что мнѣ кажется: не замѣшалось ли много страсти, много личности и съ той и съ другой стороны; разрывъ былъ необходимъ, но можетъ быть въ иномъ видѣ“ *. Въ одномъ письмѣ 1845 г. Грановскій упоминаетъ о богословскомъ спорѣ, затянувшемся до утра. „Моиими противниками были Хомяковъ и Шевыревъ, съ которыми я разстался, впрочемъ, по дружески. Дѣло шло, ни больше ни меньше, о томъ, чтобы я перешелъ въ ихъ лагерь со всѣмъ оружіемъ и багажемъ. Это нѣсколько трудно“ **. Какъ бы то ни было, эти попытки успѣха не имѣли и разрывъ совершился окончательно и безповоротно.

Въ разгаръ этихъ происшествій было получено извѣстіе о судьбѣ журнала Грановскаго. Государь на представленіе Уварова о разрѣшеніи „Московского Обозрѣнія“ положилъ лаконическую резолюцію: „и безъ того довольно“ и Грановскому столь же коротко было сообщено въ концѣ декабря 1844 г., что „Государь не соизволилъ разрѣшить господину Грановскому издавать журналъ“. „Вотъ вамъ и дѣятельность! — записалъ въ своемъ дневникѣ Герценъ.—Можетъ ли профессоръ быть терпимъ на каедрѣ, если онъ подозрителенъ, какъ журналистъ? И на что у нихъ цензура, если и она не гарантія, что ничего прямого, яснаго не перескочитъ; а для косвеннаго, скрытаго всегда есть пути“.

Переписка недавнихъ дѣятелей даетъ не мало указаній на душевное состояніе Грановскаго въ это тревожное время. Тяжесть настроенія усиливалась для него предчувствіемъ и признаками предстоявшей разногласицы съ наиболѣе близкими друзьями по вопросамъ нравственно-философскаго характера. Она окончательно сказалась лѣтомъ 1846 г., но предвѣстники ея были уже на лицо. Огаревъ, къ тому времени окончательно раздѣлавшійся съ гегелевскою діалектикой, предполагалъ, что не кончено еще образованіе возрѣвній и Грановскаго, что еще продолжается „отливаніе“ ихъ. „Я не знаю,—писалъ онъ изъ Берлина 17 (29) декабря 1844 г. Герцену,—на сколько Грановскій aus einem Guss,—вотъ что значить давно не видѣться. Мнѣ кажется, il subit la spé-

* „Ж. и тр. Погодина“, VII, 472—473.

** Переписка Грановскаго, 312.

cialité, для того, чтобы не растратить силъ и сохранить всегда свѣжую дѣятельность, не пропадающую даромъ. Но взгляни на интензитетъ его желанія полноты въ жизни, и какъ это разрѣшается въ грусть,—увидишь, что Guss не конченъ и что онъ, можетъ быть, отъ этого пѣть какъ гусь. Милый профессор in spe! Расцѣлуй его за меня“. Въ слѣдующемъ письмѣ Огаревъ уже прямо выражалъ увѣренность, что Грановскій не aus einem Guss, а представляетъ собою das ewige Giessen, указывая, что скорби личной жизни Грановскаго—ничто передъ бездною скорби и негации въ исторіи, „гдѣ два тысячелѣтія проводится Gegensatz des Allgemeinen und des Einzelnen (противоположность всеобщаго и индивидуальнаго), гдѣ всеобщее стоитъ какъ грозное непреложное ученіе, а народы берутъ точкой отправленія конечную личность, конечный произволь и, ограничивая личность личностью, не могутъ ни до чего добраться, какъ только до абстрактной свободы—der abstracten Persönlichkeit (абстрактной личности)“. Конкретная личность, живущая въ совершенно опредѣленной данной общественной обстановкѣ, говоря проще, должна бы стать центромъ міровоззрѣнія совершенно и безусловно, и тогда теряютъ свое значеніе абстрактные вопросы человѣческаго существованія, которые томили Грановскаго. Огаревъ выражалъ наконецъ твердую увѣренность, что другъ его сумѣетъ твердо отказаться отъ привидѣній и надеждъ на свиданіе съ безвозвратно потерянными.

Поэтъ на дѣлѣ жестоко ошибался въ этомъ отношеніи, и самая постановка этихъ вопросовъ ребромъ была тягостна Грановскому. Онъ, видимо, уклонялся отъ подобныхъ объясненій. „Я не люблю писать писемъ и диссертаций,—отговаривался онъ въ большомъ отвѣтномъ письмѣ друзей Огареву отъ 1 (13) января 1845 г.:—вотъ почему я такъ рѣдко пишу къ тебѣ и такъ долго остаюсь профессоромъ in spe. А, между тѣмъ, мнѣ иногда мучительно хочется поговорить съ тобою, подумаю: напишу ему то и то, приготовлю въ головѣ огромное посланіе, но изъ головы оно не выйдетъ. Потребность какъ будто усыплена“... Это, конечно, было признакомъ тревожнаго нравственнаго состоянія, колебанія. Въ это же время онъ искалъ забвенія и разсѣянія въ обычныхъ средствахъ

кружка; плохой каламбуръ Огарева въ вышецитированномъ письмѣ и пожеланія Кетчера Грановскому на новый годъ намекають на это довольно ясно. „Лизѣ (т. е. Грановской),— Кетчеръ желаетъ:—убѣдить почтеннаго супруга ускорить защищеніе диссертациі, убѣдить его дать ей (т. е. диссертациі) полный преферансъ надъ преферансомъ,—Тимоою—отвращенія къ преферансу и отреченія отъ романтизма“. Это было, кажется, началомъ развитія въ Грановскомъ болѣзненной страсти къ картамъ*.

Магистерскій диспутъ Грановскаго былъ наконецъ назначенъ на 21 февраля. Этотъ день оказался, по выраженію Герцена, „публичнымъ и торжественнымъ пораженіемъ славянофиловъ и публичною оваціей Грановскаго“. Всѣмъ были извѣстны интриги противъ него, и публика постаралась выразить ему свое полное сочувствіе. Университетскій залъ былъ биткомъ набитъ публикой и студентами, стоявшими сзади на стульяхъ, на подоконникахъ, другъ на дружкѣ. Грановскій, встрѣченный рукоплесканіями, тихо и сдержанно, со спокойной улыбкой отвѣчалъ на придирчивыя и рѣзкія нападки официальныхъ оппонентовъ. Изъ нихъ всегда рѣзкій О. М. Бодянский напрямикъ заявилъ, что диссертациія такъ недостаточна и такъ плохо составлена, что отъ студенческаго сочиненія можно было бы требовать больше. Шиканье и свистъ были отвѣтомъ на эти слова; каждое слово Грановскаго сопровождалось аплодисментами, а нападки на него—горячимъ протестомъ. Рѣдкинъ, защищая Грановскаго, вступилъ въ горячій споръ съ Шевыревымъ по поводу философскихъ идей блаж. Августина, которому Шевыревъ приписывалъ декартовское „*cogito, ergo sum*“. Трудно себѣ и представить, какъ

* По поводу этой исторической на Руси страсти къ картамъ со стороны многихъ изъ русскихъ писателей, умѣстно привести слова Бѣлинскаго, тоже страшнаго картежника, изъ письма его 1843 г. („Бѣлинскій“, II, 176): „Отработался, и два-три дня у меня болитъ рука; видъ бумаги и пера наводитъ на меня тоску и апатію, дуо себѣ въ преферансъ (подлый и филистерскій вистъ я уже презираю—это прогрессъ), ставлю рѣзкія страшные, ибо и игру знаю плохо и горячусь, какъ сумасшедшій,—на мѣлокъ я долженъ рублей около 300, а переплатить мѣсяца за два (какъ началъ играть въ преферансъ) рублей 150. Благородная, братецъ, игра преферансъ! Я готовъ играть утромъ, вечеромъ, ночью, днемъ, не ѣсть и играть, не спать и играть. Страсть моя къ преферансу ужасаетъ всѣхъ; но страсти нѣтъ: ты поймешь, что есть“.

спорящіе могли отъ предмета диссертациі уклониться до Августина. „Вы сказали—и вамъ аплодировали“,—началь одно изъ своихъ возраженій Степанъ Петровичъ.—„Вы сказали—и вамъ шикали“,—началь свой отвѣтъ не оставшійся въ долгу Рѣдкинъ. Бодянской и Шевыревъ нѣсколько разъ обращались къ студентамъ со словами: „здѣсь не театр“, но выговоры были бесполезны. Инспекторъ Нахимовъ былъ въ совершенномъ отчаяніи, такъ какъ резонно опасался, что проявленіе сочувствія студентовъ Грановскому будетъ представлено въ видѣ бунта; онъ только просилъ потихоньку студентовъ шипѣть потише. Графъ Строгановъ былъ на диспутѣ и выдержалъ себя съ отличнымъ равнодушіемъ: онъ ни разу даже не оглянулся на мѣста, гдѣ шумѣли студенты. По окончаніи диспута, когда попечитель поздравилъ Грановскаго, раздались нескончаемые аплодисменты и крики: браво! vivat! Въ оваціи принимала горячее участіе и посторонняя публика. На лѣстницѣ какъ то снова увидѣли Грановскаго, и раздались новыя рукоплесканія. Даже предъ университетомъ собралась толпа студентовъ, ожидавшая его отъѣзда, но ее уговорили разойтись*.

Диссертациія Грановскаго появилась въ изданіи молодого, рано скончавшагося, славянофила Д. Валуева: „Сборникъ историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и родахъ ей единовѣрныхъ и единоплеменныхъ“. Авторъ изслѣдованія о мѣстничествѣ, Д. Валуевъ, издавалъ сверхъ того „Симбирскій сборникъ“ и „Библіотеку для воспитанія“ и умѣлъ привлекать своими трудами къ себѣ и славянофиловъ, и западниковъ, хотя къ первымъ принадлежалъ не только по убѣжденіямъ, но и по родственнымъ связямъ: племянникъ Хомякова, онъ съ дѣтства жилъ въ его домѣ. Фактъ появленія статьи, въ это время ожесточенной вражды обѣихъ сторонъ, въ сборникѣ рѣшительно славянофильскаго характера достаточно говоритъ объ отношеніяхъ Валуева и Грановскаго. Послѣдній очень высоко цѣнилъ Валуева и говорилъ о немъ, по замѣчанію Анненкова, не иначе, какъ съ умиленіемъ.

Защита диссертациі, конечно, стала злобою дня. И уни-

* Рассказы А. И. Герцена и Колупанова (въ „Біографіи Кошелева“, II, стр. 71, и въ „Воспоминаніяхъ“).

верситетъ, и публика показали, что симпатіи ихъ не на сторонѣ узкаго націонализма. „Славяне огорчились и какъ то не находятяся, — писалъ Герценъ въ дневникѣ: — au reste, благородные изъ нихъ были противъ всѣхъ продѣлокъ, а подлые выдумываютъ въ свое оправданіе несбыточные мерзости, что это интрига и проч., и по своимъ котеріямъ будутъ насъ вдвое ругать“. Пока что, эти нападки грозили обрушиться на студентовъ московскаго университета, за здоровье которыхъ, во время обѣда Грановскому въ тѣсномъ дружескомъ кругу, на другой день послѣ диспута, Герценъ провозгласилъ первый тостъ. Къ счастью, графъ Строгановъ не позволилъ раздуть дѣла. Послѣ диспута онъ для очистки совѣсти сдѣлалъ выговоръ студентамъ—представителямъ факультетовъ, указывая, какъ правительство дурно смотритъ на подобныя манифестаціи. „Больше ничего и не было,—замѣчаетъ современникъ.—А чѣмъ бы могла разыгратъся эта исторія при другомъ попечителѣ—страшно и подумать!“ (Воспоминанія Афанасьева). Позднѣе, министръ, графъ Уваровъ, завелъ было со Строгановымъ рѣчь по поводу распущенности студентовъ, проявившейся здѣсь. Попечитель съ достоинствомъ отвѣтилъ коротко: „я самъ былъ на диспутѣ!“ Тогда же было объявлено запрещеніе аплодировать въ стѣнахъ университета, а на диспуты стали допускать студентовъ только двухъ старшихъ курсовъ.

Грановскій съ своей стороны сумѣлъ предупредить всѣ неприятели для студентовъ рѣчью къ нимъ, замѣчательною по такту, умѣнью говорить со слушателями и убѣждать ихъ, дѣйствуя на лучшія стороны ихъ характера. Она такъ полно дорисовываетъ портретъ Грановскаго, какъ преподавателя, что нельзя не привести ее цѣликомъ. „Мм. гг.!—сказалъ Грановскій 24 февраля передъ началомъ обычной своей лекціи:—благодарю васъ за тотъ приемъ, которымъ вы почтили меня 21 февраля. Онъ меня еще болѣе привязалъ къ университету и къ вамъ. Мм. гг., въ этотъ день я получилъ самую благородную и самую драгоцѣнную награду, какую только могъ ожидать преподаватель. Теперь отношенія наши уяснились; поэтому, я думаю, мм. гг., что впередъ вишнія изліянія вашихъ чувствъ будутъ излишни, точно такъ, какъ

между двумя старинными, испытанными друзьями излишни новыя увѣренія въ дружбѣ. Теперь эти рукоплесканія могутъ только обратить на насъ вниманіе. Я прошу васъ, мм. гг., не перетолковывайте этихъ словъ въ дурную сторону. Я говорю ихъ не изъ страха за себя, даже не изъ страха за васъ,— я знаю, что страхомъ васъ нельзя остановить,—меня заставляютъ говорить причины болѣе разумныя, болѣе достойныя и меня, и васъ. Мы, равно и вы и я, принадлежимъ къ молодому поколѣнію—тому поколѣнію, въ рукахъ котораго жизнь и будущность. И вамъ и мнѣ предстоитъ благородное и, надѣюсь, долгое служеніе нашей великой Россіи,—Россіи, преобразованной Петромъ, Россіи, идущей впередъ и съ равнымъ презрѣніемъ внимающей и клеветамъ иноземцевъ, которые видятъ въ насъ только легкомысленныхъ подражателей западнымъ формамъ, безъ всякаго собственнаго содержанія, и старческимъ жалобамъ людей, которые любятъ не живую Русь, а ветхій призракъ, вызванный ими изъ могилы, и нечестиво преклоняются предъ кумиромъ, созданнымъ ихъ воображеніемъ. Побережемъ же себя на великое служеніе. Въ заключеніе скажу вамъ, мм. гг., что гдѣ бы то ни было и когда бы то ни было, если ктонибудь изъ васъ придетъ ко мнѣ во имя 21 февраля, тотъ найдетъ во мнѣ признательнаго и благодарнаго брата“. Студенты, конечно, не аплодировали, но въ благоговѣйномъ молчаніи выслушали эти слова. Врядъ ли можно было проще и любовнѣе убѣдить слушателей; и впоследствии, во времена болѣе близкія къ нашему, профессорамъ случалось просить слушателей по подобнымъ же поводамъ воздерживаться отъ аплодисментовъ, но съ увѣренностью можно сказать, что врядъ ли ктонибудь изъ нихъ могъ прибавить что либо къ этимъ словамъ Грановскаго, которыя рисуютъ его отношеніе къ слушателямъ лучше любого длиннаго панегирика ему. „Во всемъ, что дѣлаетъ Грановскій, есть какая то стройная грація,—восхищенно замѣчаетъ относительно этой рѣчи Герценъ:—какое удивительное благородство и умѣнье при томъ остаться въ необходимыхъ предѣлахъ!“ Шевырева студенты собирались встрѣтить шиканьемъ и свистками, еслибъ онъ вздумалъ говорить по поводу диспута или рѣчи Грановскаго, т. е. прочитать нотацию, о чемъ

прошли было слухи. Къ счастью, Шевыревъ на этотъ разъ воздержался.

Зато ни онъ, ни другіе недоброжелатели Грановскаго не сдерживали своихъ языковъ въ обществѣ. Рѣчь послужила новымъ поводомъ къ обвиненіямъ; при добромъ желаніи и усердіи, ее удобно было выдать за заискиваніе дешевой популярности или за что угодно.

„Что за дрянъ большая часть нашихъ противниковъ, — писалъ раздраженный Грановскій въ началѣ марта 1845 г.: — Напрасно мы начали войну съ ними. Это заставило ихъ подумать, что они дѣйствительно важны, что у нихъ есть великое мнѣніе. Ихъ можно было бы убить, вогнать въ прежнее положеніе молчаніемъ. Теперь поздно. На Корша жаловались графу, что онъ развращаетъ народъ „Московскими Вѣдомостями“. Обо мнѣ кричатъ, что я интриганъ, тайный виновникъ всѣхъ оскорбленій, которыя наносятся славянству. Я ихъ, впрочемъ, не щажу. Хомякову сказалъ въ глаза и въ присутствіи двадцати человекъ такія истины о силѣ его убѣжденій, за которыя можно было бы меня ударить въ рожу всякому другому, кромѣ Хомякова. Онъ поноситъ меня заочно. Семейство Аксаковыхъ буквально плачетъ о гибели народности, семейной нравственности и православія, подрываемыхъ „Отеч. Записками“ и ихъ гнусною партією“ *.

Въ одномъ письмѣ начала 1846 года онъ говоритъ: „мнѣ посчастливилось имѣть враговъ, которые откровенно сознаются въ своемъ желаніи сбить меня. Въ прошедшемъ году на меня дѣлали три раза доносы, какъ на человѣка, вреднаго для государства и религіи. Теперь не касаются болѣе моей религіи; но нападаютъ на мои политическія идеи“. Такимъ образомъ можно утвердительно сказать, что противники Грановскаго приняли къ сердцу совѣтъ Герцена, данный Языкову, „прилагать и адресъ“ къ изліянію своихъ чувствъ. Словомъ, положеніе Грановскаго становилось тѣмъ болѣе шатко, чѣмъ сильнѣе становились и вліяніе его на общество и студентовъ, и его популярность.

* Переп. Гран., стр. 464.

X.

**Грановскій и западники и славянофилы въ
1845 г.**

Распря славянофиловъ и западниковъ, изображенная нами съ тѣми побочными элементами, которые примѣшались къ ней, имѣла однако важныя послѣдствія для развитія идей обѣихъ враждующихъ сторонъ. Какъ всегда, вліяніе ожесточенныхъ споровъ, дошедшихъ до личныхъ столкновеній, сказалось не немедленно. Обыкновенно спорящіе остаются каждый при своемъ мнѣніи въ ту минуту, какъ оканчивается споръ; но когда минуетъ первый пылъ и жаръ борьбы, противники оказываются часто согласившимися другъ съ другомъ во многомъ. 1845 г. въ исторіи развитія славянофильства и западничества тѣмъ и замѣчательнъ: выяснилось опредѣленно, что славянофилы въ собственномъ смыслѣ слова, К. Аксаковъ, Хомяковъ, Кирѣевскіе, Самаринъ—существенно расходятся съ представителями официальной народности; они дѣлали этимъ огромную уступку западничеству, одна изъ основныхъ заслугъ котораго—именно выясненіе несостоятельности точки зрѣнія Погодиныхъ и Шевыревыхъ и на Европу, и на Россію. Съ другой стороны, западники, и на первомъ мѣстѣ Герценъ и Грановскій, дѣлали заимствованіе у славянофиловъ огромной важности: признавая въ славянофильскомъ воззрѣніи существенное зерно истины, расходясь даже съ Бѣлинскимъ, они были первыми виновниками разложенія чистаго, безусловнаго западничества; оно преобразовывалось и въ новомъ видѣ приближалось къ вѣяніямъ позднѣйшей эпохи.

Вполнѣ справедливую оцѣнку чистаго западничества сороковыхъ годовъ, того вида, какъ оно существовало до момента нашего разказа, даетъ въ біографіи Кошелева Колюпановъ. „Кружокъ западниковъ, — пишетъ онъ, — состоялъ изъ людей, которые усвоили себѣ не одинъ внѣшній лоскъ, но внутреннюю сущность европейскаго просвѣщенія, послѣдніе результаты его научныхъ изслѣдованій, его стремленіе ко

всему истинному, честному и прекрасному, развитие личнаго достоинства, возведеннаго на степень нравственнаго долга, стремленіе къ свободѣ и равноправности. Но, кромѣ этого, лица, составлявшія кружокъ, были артистическія натуры, одаренныя тонкимъ и сильнымъ артистическимъ чутьемъ. Кромѣ любви къ литературѣ и ея представителямъ, общей всѣмъ, Станкевичъ и Боткинъ страстно любили музыку, Бѣлинскій увлекался театромъ, Грановскій былъ художникъ въ душѣ... То гуманно-эстетическое направленіе, которое выработано было ихъ дѣятельностью, было необходимымъ и важнымъ, послѣднимъ фазисомъ воспитанія для русскаго общества—передъ вступленіемъ его на самостоятельный путь. Но, несмотря на свои возвышенныя стремленія, на нравственное значеніе лицъ, его составлявшихъ, кружокъ западниковъ—въ смыслѣ движенія впередъ—для русской жизни не принесъ съ собою ничего *. Кружокъ относился къ послѣдней только отрицательно, какъ заѣзжій европеецъ или русскій, долго прожившій за границей и потерявшій связь съ землей. Между тѣмъ подвигъ отрицанія со стороны меньшинства, усвоившаго для собственнаго комфорта только внѣшній лоскъ европейскаго просвѣщенія и не сдѣлавшаго ничего для народа, былъ уже совершенъ Чаадаевымъ, и въ этомъ заключалась его великая заслуга. Оставался другой, болѣе серьезный и трудный подвигъ, требовавшій значительныхъ умственныхъ силъ,—подвигъ отрицанія европейской догматики, принимаемой на вѣру и обрацаемой рабски въ канонъ... Подвигъ этотъ,—поворотъ русской мысли, какъ совершенно справедливо и мѣтко назвалъ Герценъ,—совершили славянофилы, и въ этомъ все ихъ значеніе. Гуманное отношеніе къ обществу, основанное на широкомъ распространеніи европейскаго просвѣщенія, обусловленное свободой мысли и слова; конституціонализмъ, основанный на интеллигентномъ меньшинствѣ въ смыслѣ англійскаго gentry, съ его парламентаризмомъ и централизаціей, что выражалось въ господствовавшей тогда теоріи государственности; но вмѣстѣ съ тѣмъ отрицательное

* Сейчасъ укажемъ, какъ слѣдуетъ понимать это замѣчаніе Колюпанова, ошибочно приписывающаго положительную роль въ развитіи русской общественной мысли только славянофиламъ.

отношеніе къ русской жизни и исторіи и платоническая жадность къ закрѣпощенному народу, съ которымъ была порвана всякая связь:—таковъ былъ уставъ, выработанный въ кружкѣ западниковъ сороковыхъ годовъ*.

Уставъ этотъ, однако, никѣмъ никогда не формулировался въ такомъ застывшемъ видѣ и можетъ быть указанъ, лишь какъ стадія развитія западничества, и тѣ, кто останавливался на ней, раньше или позже оставались внѣ общественнаго движенія, какъ это случилось, напр., съ В. П. Боткинымъ, незамѣтно очутившимся въ рядахъ крайнихъ реакціонеровъ. Въ данный періодъ западничество, какъ общественно-двигательное міровоззрѣніе, обняло въ себѣ интересы, стремленія и пожеланія образованнѣйшей части общества, преимущественно дворянскаго въ то время. Но движеніе идей въ этой средѣ не могло остановиться на этомъ и должно было рано или поздно захватить въ свой кругъ интересы и стремленія народныхъ массъ, обнаруживавшихъ свою внутреннюю жизнь лишь глухимъ недовольствомъ противъ крѣпостного права. Справедливо, что славянофилы указывали на эти массы, но ошибочно утверждать, чтобы западники тогда же не оцѣнили ихъ указаній. Западники въ то же время приходили къ отрицанію „европейской догматики“, носившей характеръ буржуазно-государственнаго либерализма, и потому мнѣніе Колюпанова по меньшей мѣрѣ односторонне.

Къ сожалѣнію, благодаря условіямъ тогдашней печати, это движеніе идей отразилось въ журналистикѣ далеко не такъ полно, чтобы цѣльную картину его можно было рисовать съ увѣренностью. Приходится ограничиваться лишь болѣе или менѣе общими указаніями на переменны, происходившія во взглядахъ обѣихъ сторонъ. Къ этому и переходимъ, замѣтивъ еще, что изображеніе этого момента въ исторіи кружковъ сороковыхъ годовъ важно особенно потому, что здѣсь мы находимъ нѣкоторую преемственную связь, при самомъ ея зарожденіи, между сороковыми и шестидесятыми годами.

И. Кирѣевскій, не дождавшись оффиціального утвержденія своего въ званіи редактора „Москвитянина“, принялъ

* „Біографія Кошелева“, II, стр. 54.

фактическое завѣдываніе журналомъ. Журналъ оживился сразу. „Насъ немного,—писалъ Хомяковъ, приглашая Самарина къ сотрудничеству,—и каждый обязанъ сказать хоть слово“. Но то, что успѣли сказать они, ихъ укоры столько же по адресу западниковъ, сколько и узкихъ націоналистовъ, такъ не понравилось Погодину и Шевыреву, что они поспѣшили взять журналъ снова въ свои руки уже на четвертой книжкѣ. Да и раньше Погодинъ крайне неаккуратнымъ веденіемъ всего издательскаго дѣла точно нарочно тормазилъ работу Кирѣвскаго.

Мы упоминали о заявленномъ Шевыревымъ въ 1841 г. въ томъ же журналѣ взглядѣ на европейское образованіе. Въ своемъ „Обозрѣніи современнаго состоянія словесности“ Кирѣвскій объявлялъ теперь совершенно нелѣпымъ подобный взглядъ, отрицалъ даже исключительное преобладаніе въ западно-европейской жизни принципа эгоизма, допускалъ, что „общее стремленіе умовъ къ событіямъ дѣйствительности, къ интересамъ дня, имѣеть источникомъ своимъ не однѣ личныя выгоды или корыстныя цѣли, какъ думаютъ нѣкоторые. По большей части это просто интересъ сочувствія. Умъ разбуженъ и направленъ въ эту сторону. Мысль человѣка срослась съ мыслью о человѣчествѣ, это—стремленіе любви, а не выгоды“. Во второй статьѣ обвиненія противъ западниковъ въ женоподобномъ увлеченіи Европой сопровождались признаніемъ, что совершенно ложно и иное направленіе, которое пришло неизбѣжнымъ образомъ къ ожиданію чуда, именно—воскресенія мертваго прошлаго. Онъ прямо называлъ великимъ бѣдствіемъ то отчужденіе отъ Европы, къ которому стремились сторонники официальной народности. Отличая двѣ образованности: „внутреннее устройство духа силою извѣщающейся въ немъ истины“ и „формальное—разума и внѣшнихъ познаній“, изъ коихъ первая открыта славянскому міру въ его религіи,—Кирѣвскій заключалъ, что „любовь къ образованности европейской, равно какъ и любовь къ нашей—обѣ совпадаютъ въ послѣдней точкѣ своего развитія въ одну любовь, въ одно стремленіе къ живому, полному, всечеловѣческому и истинно-христіанскому просвѣщенію“. Хомяковъ, также старательно ограждая себя отъ подозрѣній въ потвор-

ствѣ противникамъ, восклицалъ по адресу старовѣровъ: „Не думайте, что подѣ предлогомъ сохранить цѣлостность жизни и избѣжать европейскаго раздвоенія, вы имѣете право отвергать какое либо умственное или вещественное усовершенствованіе Европы“ (статья о желѣзныхъ дорогахъ, надобность которыхъ серьезно оспаривалась иными). „Есть что то смѣшное, — резонно замѣчаетъ онъ, — и даже что то безнравственное въ этомъ фанатизмѣ неподвижности“. Даже П. В. Кирѣевскій вѣступилъ теперь, оторвавшись отъ своихъ работъ по собиранію пѣсенъ, на журнальную арену и протестовалъ противъ приписываемаго русскому народу свойства податливости и мягкости, какъ противъ унижительной черты. Онъ пытался дать иное объясненіе тѣмъ историческимъ фактамъ, въ силу которыхъ Погодинъ доказывалъ, что покорность и смиреніе — основная черта всей русской исторіи. Значеніе, которое придавали этому пункту, объясняетъ, сказать мимоходомъ, нескончаемые и бесплодные споры по вопросу о происхожденіи Руси *. Въ то же время „Москвитянинъ“, порою удостоивавшійся одобреній Булгарина, теперь помѣшалъ у себя такіа эпиграммы по поводу его воспоминаній:

Къ усопшимъ льпеть, какъ червь, Фигляринъ неотвязный,
 Въ живыхъ ни одного онъ друга не найдетъ.
 Зато, когда изъ лицъ почетныхъ кто умретъ,
 Клеймитъ онъ прахъ его своею дружбой грязной.
 — Такъ что же? Тутъ расчетъ, — онъ съ прибылью двойной:
 Презрѣнье отъ живыхъ на мертвыхъ вымещаетъ,
 И, чтобъ нажить друзей, какъ Чичиковъ другой,
 Онъ души мертвыя скупаетъ.

Такимъ образомъ, славянофилы до нѣкоторой степени почитались съ защитниками официальной народности, по примѣру К. Аксакова, стихи котораго мы выше цитировали.

Въ обзорѣ литературы за 1845 г. Бѣлинскій писалъ: „главная заслуга 1845 г. состоитъ въ томъ, что въ немъ замѣтно опредѣленнѣе высказалась дѣйствительность дѣльнаго направленія литературы“, что, между прочимъ, выразилось въ признаніи славянофильствомъ собственнаго безсилія. Дѣйствительно, такъ западники и посмотрѣли на поворотъ

* См. Анненковъ: „Восп. и крит. очерки“, III, стр. 112—117.

въ славянофильствѣ отъ официальной народности. Въ самомъ дѣлѣ, разъ славянофилы перестали отрицать результаты умственнаго западно-европейскаго развитія, разъ они допускали необходимость все-человѣческаго, все-христіанскаго просвѣщенія, то этимъ они подкапывались сами подъ себя и совершенно сходились, наприм., со взглядомъ такого западника, какъ Герценъ, выраженнымъ по поводу лекцій Грановскаго: „мы вступаемъ въ общеніе съ Европой не во имя ея частныхъ и прошедшихъ интересовъ, а во имя великой общечеловѣческой среды, къ которой стремится она и мы“. При такомъ совпаденіи взглядовъ западникамъ уже легко было разобратся въ той демократической сущности славянофильства, которую теперь славянофилы и выставили на первый планъ. Западники нашли, что славянофильство частью не заслуживаетъ прежняго ожесточеннаго преслѣдованія, потому что несостоятельность его, какъ несомнѣнной утопіи, черезчуръ очевидна. Такъ Герценъ, говоря о первой статьѣ Кирѣевскаго, нашелъ возможнымъ похоронить ее одною остро-той: „Даровитость автора никому не нова,—писаль онъ:—мы узнали бы его статью безъ подписи по благородной рѣчи, по поэтическому складу ея; конечно, во всемъ „Москвитининѣ“ не было такой статьи. Согласиться съ ней однако же невозможно... Послѣ живого, энергическаго разсказа современнаго состоянія умовъ въ Европѣ, послѣ картины, набросанной смѣлою кистью таланта, мѣстами страшно вѣрной, мѣстами слишкомъ отражающей личныя мнѣнія, — выводъ бѣдный, странный и ни откуда не слѣдующій! Европа поняла, что она далѣе идти не можетъ, сохраняя германо-романскій бытъ; слѣдовательно, она не имѣетъ другого выхода, какъ принятіе въ себя основъ жизни словено-русской? Это въ самомъ дѣлѣ такъ по исторической ариеметикѣ г. Погодина...“ *.

Грановскій въ это же время высказываетъ мнѣніе (въ письмѣ къ Кетчеру, въ мартѣ 1845 г.), что печатная полемика со славянофилами вредна потому, что придаетъ имъ важность, какой они не имѣютъ. Бѣлинскій также склоненъ стать

* Незадолго до того Погодинъ въ своемъ журналѣ забавно перепуталъ время жизни Коперника, Галилея и Ньютона, пославъ первого „по стѣпамъ“ послѣднихъ.

смотрѣть на славянофиловъ, какъ на противниковъ не серьезныхъ и, имѣя въ виду романтическую сторону увлеченія ихъ славянствомъ, въ обзорѣ литературы за 1845 г. писалъ о романтикахъ насмѣшливо: „Нѣкоторые, говорятъ, не шутя надѣли на себя терликъ, охабень и шапку мурмолку; болѣе благоразумные довольствуются только тѣмъ, что ходять дома въ татарской ермолкѣ, татарскомъ халатѣ и желтыхъ сафьянныхъ сапожкахъ,—все же историческій костюмъ! Назвались они „партіями“ и думаютъ, что дѣлать—значить разсуждать на пріятельскихъ вечерахъ о томъ, что только они—удивительные люди, и что кто думаетъ не по нимъ, тотъ бродить во тьмѣ“ (Соч. т. X).

Теперь, когда западники убѣждались, что лучшіе представители славянофильства существенно расходятся съ официальной народностью и представляются сами по себѣ болѣе всего романтиками на особый ладъ, они могли спокойнѣе отнестись къ противникамъ. И москвичи опередили даже Бѣлинскаго въ томъ отношеніи, что раньше его оцѣнили демократическую сторону славянофильскаго пониманія „народности“.

Анненковъ въ „Замѣчательномъ десятилѣтіи“, на основаніи личныхъ воспоминаній, возсоздаетъ тѣ споры въ московскомъ кругу западниковъ, которые возникли лѣтомъ 1845 года и выяснили, что въ ихъ воззрѣніяхъ произошелъ важный шагъ впередъ. Это лѣто и слѣдующее съ необыкновенною живостью описаны Анненковымъ *, а также Панаевымъ и отчасти Герценомъ.

Герценъ, Кетчеръ, Щепкины поселились въ селѣ Соколовѣ, въ 20—25 верстахъ отъ Москвы по петербургской дорогѣ, въ старинной барской усадьбѣ, когда то принадлежавшей Румянцевымъ. Въ живописной мѣстности, въ великолѣпномъ липовомъ и дубовомъ паркѣ было расположено нѣсколько дачъ, сдававшихся въ наемъ помѣщикомъ Дивовымъ. Послѣдній въ рѣдкіе свои наѣзды оригинально заявлялъ свои помѣщичьи права, приказывая крестьянамъ и крестьянкамъ свободно гулять по парку и вереницами проходить мимо

* П. В. Анненковъ (стр. 118—124, „Воспом. и критич. очерки“, т. III).

барскихъ оконъ. Эта, повидимому, легкая барщина возбуждала сильный ропоть въ приговоренныхъ къ ней.

Никогда Соколово не видало такой блестящей аристократіи ума и въ такомъ количествѣ, какъ въ это лѣто и слѣдующее. Около Герцена, Щепкина, Кетчера образовалось къ срединѣ лѣта нѣчто вродѣ подвижного конгресса наѣзжавшихъ и исчезающихъ литераторовъ, профессоровъ, актеровъ, художниковъ и просто интеллигентныхъ людей. Жизнь кипѣла здѣсь богатымъ ключомъ, разливавшимся по всей интеллигентной Руси. Грановскій, Е. Коршъ, Боткинъ и др. пріѣзжали каждую субботу, оставаясь на воскресенье до утра понедѣльника. Тургеневъ, Некрасовъ, Панаевъ, Кавелинъ, Коршъ, Рѣдкинъ, Анненковъ наѣзжали сюда, смѣняя другъ друга. Политическихъ разговоровъ, въ собственномъ смыслѣ слова, здѣсь не бывало, какъ не бывало ихъ и въ московскихъ салонахъ: въ ходу были только юмористическіе анекдоты на эти темы. Зато художественные, литературные и научно-философскіе вопросы, вопросы западно-европейской общественной жизни—занимали всѣхъ одинаково, всякій жаждалъ услышать мнѣніе друзей, высказываясь самъ безъ остатка. Только ограниченный челоуѣкъ былъ чуждъ этому кругу; спеціальныя занятія тружениковъ цѣнились высоко, но каждому специалисту обязателенъ былъ извѣстный довольно высокій уровень мысли и характера. Какъ рыцарскій орденъ безъ писаннаго устава, этотъ кругъ былъ чуждъ соприкосновенія съ общею пошлостью „расейской публики“. Малѣйшее проявленіе этой пошлости, малѣйшая искусственность, сомнительныя, лживыя фразы преслѣдовались безпощадно градомъ насмѣшекъ, ироніи и безпощадныхъ обличеній; ихъ умѣли не стыдиться и ими умѣли не обижаться. Хозяйка, Н. А. Герцень, и Грановская, въ ея наѣзды съ мужемъ изъ Москвы, окруженные ихъ московскими пріятельницами, принимали близкое участіе во всѣхъ бесѣдахъ, были здѣсь умѣряющимъ эстетическимъ элементомъ.

„Время, проведенное мною въ Соколовѣ, я никогда не забуду,—говорилъ Панаевъ;—оно принадлежитъ къ самымъ лучшимъ моимъ воспоминаніямъ. Чудные дни, великолѣпные теплые вечера, этотъ паркъ при закатѣ солнца и въ лунныя

ночи, наши прогулки, наши объѣды на широкой лужайкѣ передъ домомъ, послѣобѣденное *far niente* на верхнемъ балконѣ, встрѣча утреннихъ зорь, всегда оживленная бесѣда, иногда горячіе споры, никогда не доходившіе до непріятнаго раздраженія, увлекательная рѣчь Грановскаго, блестящее остроуміе Герцена, колкія замѣтки Корша—все это вмѣстѣ было такъ хорошо, такъ полно жизни, поэзіи! Въ этомъ поэтическомъ чаду, вѣроятно, никому не приходило въ голову, что это послѣдніе пиры молодости, проводы лучшей половины жизни, что каждый изъ насъ стоитъ уже на той чертѣ, за которой ожидаютъ его разочарованія, разногласія съ друзьями, неизбѣжныя охлажденія, слѣдующія за этимъ, разединеніе, долгія непредвидѣнныя разлуки и близкія преждевременныя могилы...“ *

Разсвѣтъ часто заставлялъ всю компанію за неоконченною бесѣдой и незаконченною бутылкой шампанскаго. Гулянья и *dolce far niente* совершались въ виду крѣпостного населенія Соколова, копошившагося на поляхъ. Принципіально вопросъ о крѣпостномъ правѣ давно былъ рѣшенъ въ этомъ кругу интеллигенціи, но мало кого поражалъ съ непосредственно эмоціональной стороны контрастъ между блестящею и жизне-радостною жизнью этого кружка интеллигенціи и между крестьянскимъ подневольнымъ трудомъ, неустанно шедшимъ тутъ же. Но этотъ контрастъ, видимо, тревожилъ уже давно болѣе чуткихъ и воспріимчивыхъ представителей кружка и наконецъ привелъ къ ожесточенному спору; послѣдній долго назрѣвалъ и, наконецъ, прорвался, иначе была бы нарушена основная черта жизни дружескаго круга—полная откровенность. Нотка разногласія чувствовалась и въ ироническихъ выходкахъ Герцена, и въ нервномъ хохотѣ Кетчера, и въ полусерьезной фізіономіи Грановскаго, которая то разглаживалась, то снова темнѣла.

Въ самый день пріѣзда Анненкова (въ концѣ іюня) устроилась прогулка въ поля, окружавшія Соколово. Жнитво было раннее, и вездѣ кипѣла муравьиная дѣятельность; крестьяне и крестьянки убирали поля въ костюмахъ самыхъ примитивныхъ. Это подало поводъ кому-то изъ гулявшихъ замѣтить,

* Панаевъ: „Литер. воспом.“, стр. 222—223.

что изъ всѣхъ женщинъ одна русская ни передъ кѣмъ не стыдится и одна, передъ которою никто и ни за что не стыдится. Это замѣчаніе вызвало серьезный и рѣзкій отпоръ со стороны Грановскаго,—возраженіе, которое удивительно идетъ къ его рыцарственной натурѣ. „Надо прибавить,—сказалъ онъ,—что фактъ этотъ составляетъ позоръ не для русской женщины изъ народа, а для тѣхъ, кто довелъ ее до того, и для тѣхъ, кто привыкъ относиться къ ней цинически. Большой грѣхъ за послѣднее лежитъ на нашей русской литературѣ. Я никакъ не могу согласиться, чтобъ она хорошо дѣлала, потворствуя косвенно этого рода цинизму распространеніемъ презрительнаго взгляда на народность“ *.

На сторонѣ Грановскаго оказался Герценъ. Этотъ чело-вѣкъ отличался удивительною способностью проникать въ суть мысли противника и быстро оцѣнивать и усваивать себѣ все заслуживающее вниманія. Уже черезъ годъ по переѣздѣ въ Москву, онъ умѣлъ отнестись къ славянофиламъ, не увлекаясь враждою къ мистической сторонѣ ихъ идеаловъ; а Бѣлинскому, напр., она заслоняла собою почти все остальное. Очень рано въ Герценѣ становится замѣтна та черта, которую называли „руссофильствомъ“ и которая представлялась иностранцамъ часто мало понятною **. 17 мая 1844 г. записано чрезвычайно выразительно: „Бѣлинскій пишетъ: „я жидъ по натурѣ и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу“; онъ страдаетъ, и за свои страданія хочетъ ненавидѣть и ругать филистимлянъ, которые вовсе не виноваты въ его страданіяхъ. Филистимляне для него, славяно-филы; я самъ не согласенъ съ ними, но Бѣлинскій не хочетъ понять истину въ fatras ихъ нелѣпостей. Онъ не понимаетъ славянскій міръ; онъ смотритъ на него съ отчаяніемъ и неправъ; онъ не умѣетъ чаять жизни будущаго вѣка, а это чаяніе есть начало возникновенія будущаго. Отчаяніе есть умерщвленіе плода во чревѣ матери“. Собираясь отвѣчать на письмо Бѣлинскаго, Герценъ добавляетъ: „Странное по-

* Эти слова—лучшее возраженіе Бакунину на обвиненія въ презрѣніи къ „черному люду“. См. главу VII.

** Мало понятна она и тѣмъ, кто, какъ Колюпановъ, рѣшается утверждать, что Герценъ „физиологическую любовь къ родному совершенно утратилъ“ („Біограф. Кошелева“, т. II, стр. 57).

ложение мое, какое то невольное *juste milieu* въ славянскомъ вопросѣ: передъ ними я—человѣкъ Запада, предъ ихъ врагами я—человѣкъ Востока. Изъ этого слѣдуетъ, что для нашего времени эти одностороннія опредѣленія не годятся“. Послѣднее замѣчаніе поражаетъ своею мѣткостью. Дѣйствительно, западничество начинало терять свой безусловный характеръ, разъ оно принимало въ кругъ своего міровоззрѣнія тѣ или иныя стихіи народной жизни, указанныя славянофильствомъ, и измѣняло свое отношеніе къ народнымъ массамъ. Герценъ приходилъ къ этому преимущественно діалектическимъ путемъ, Грановскій болѣе инстинктивно, подъ вліяніемъ близкихъ отношеній къ славянофиламъ и чувства гуманности; во всякомъ случаѣ споръ показалъ, что развитіе ихъ литературно-общественныхъ взглядовъ шло пока въ одномъ направленіи рука объ руку.

Противъ Грановскаго возсталъ было, съ обычною рѣзкостью и защищая Бѣлинскаго, Кетчеръ, прожившій передъ тѣмъ два года въ Петербургѣ; онъ протестовалъ противъ обобщенія частнаго и случайнаго замѣчанія и спрашивалъ, не участвовалъ ли самъ народъ въ составленіи нашихъ дурныхъ привычекъ. Грановскій остановилъ Кетчера. „Ты говоришь—не слѣдуетъ обобщать всякую случайную замѣтку, — сказалъ онъ:—во первыхъ, любезный другъ, случайныя замѣтки состоятъ въ близкомъ родствѣ съ тайной нашей мыслию, а во вторыхъ, собраніе такихъ замѣтокъ составляетъ иногда цѣлое ученіе, какъ, на примѣръ, у Бѣлинскаго“. — „А я тебѣ долженъ сказать прямо, — добавилъ Грановскій съ особымъ удареніемъ въ словахъ, — что во взглядѣ на русскую національность и по многимъ другимъ литературнымъ и нравственнымъ вопросамъ я сочувствую гораздо болѣе славянофиламъ, чѣмъ Бѣлинскому, „Отечественнымъ Запискамъ“ и западникамъ“.

Понятно то впечатлѣніе, какое произвели эти слова Грановскаго. Герценъ съ своей стороны поддержалъ его, указавши на нравственную обязательность для интеллигенціи извѣстнаго уважительнаго отношенія къ народу, хотя бы и не видя въ немъ уже осуществленнаго идеала. „Мы должны, — говорилъ онъ, — вести себя прилично по отношенію

къ низшимъ сословіямъ, которыя работаютъ, но не отвѣчаютъ намъ. Всякая выходка противъ нихъ, вольная или невольная, похожа на оскорбленіе ребенка. Кто же будетъ за нихъ говорить, если не мы же сами? Официальныхъ адвокатовъ у нихъ нѣтъ,—понимаешь, что всѣ тогда должны сдѣлаться ихъ адвокатами. Это особенно не мѣшаетъ понять теперь (1845 г.), когда мы хлопочемъ объ упраздненіи всякихъ управъ благочинія. Не для того же нужно намъ увольненіе въ отставку видимыхъ и невидимыхъ исправниковъ, чтобы развязать самимъ себѣ руки на всякую потѣху“.

Умѣстно привести здѣсь еще кое-что изъ воспоминаній современниковъ объ отношеніи кружка Грановскаго и его самого къ крѣпостному праву.

Воспитанница матери Тургенева, г-жа Житова, въ то время—дѣвочка, вспоминаетъ о посѣщеніяхъ Тургенева Грановскимъ. „Грановскій меня всегда ласкалъ. Прибѣжала я разъ наверхъ; оба, хозяинъ и гость, что то очень громко говорили, Иванъ Сергѣевичъ быстро ходилъ по комнатѣ и, повидимому, горячился. Я остановилась въ дверяхъ, Грановскій знакомъ подозвалъ меня и посадилъ къ себѣ на колѣни. Долго сидѣла я, почти притаивъ дыханіе, и сначала ничего не понимала; но потомъ слова: крѣпостные, вольные, населеніе, несчастные, когда конецъ? и пр. слова, столь мнѣ знакомыя и такъ часто слышанныя, сдѣлали ихъ разговоръ мнѣ почти понятнымъ. Какъ теперь, такъ и тогда я не могла бы отчетливо передать все слышанное; но смыслъ былъ мнѣ ясенъ. Въ разговорѣ ихъ такъ сильно высказывались надежды на что то лучшее, что и я будто чему-то обрадовалась.

„Вдругъ И. С. точно опомнился и обратился ко мнѣ: „Ты задремала? Ступай внизъ, ты вѣдь тутъ ничего не понимаешь; тебѣ спать пора!“—нѣтъ, поняла,—обидѣлась я:—моя Агашенька будетъ скоро вольная, да?—„Да, когданибудь“,—задумчиво произнесъ И. С. и при этомъ поцѣловалъ меня такъ, будто за что похвалилъ“*.

Университетская молодежь не могла не быть въ кругѣ тѣхъ же настроеній вражды къ крѣпостному рабству. Мы уже упоминали, что, говоря на каедрѣ о крѣпостномъ правѣ сред-

* Вѣстн. Европы, 1884 г., № 11.

нихъ вѣковъ, Грановскій ничѣмъ не затушевывалъ свои взгляды. Въ личномъ общеніи съ профессорами—друзьями Грановскаго, студенты встрѣчались съ еще болѣе опредѣленнымъ отношеніемъ къ этому институту повседневной жизни.

Въ то время,—говорить современникъ *, —большинство профессоровъ (Грановскій, Кавелинъ, Рѣдкинъ и др.) посвящали свои воскресныя утра бесѣдамъ со студентами: въ особенности часто и усердно посѣщались эти бесѣды у Грановскаго и Кавелина. Бесѣды Грановскаго отличались, такъ сказать, болшею торжественностью: Т. Н. былъ старше К. Д. и лѣтами, и университетскою службою; онъ былъ окруженъ въ глазахъ студентовъ ореоломъ, который, при всемъ глубоко уваженіи, напоминалъ объ относительной разности между молодымъ человѣкомъ и профессоромъ, воспитавшимъ уже нѣсколько поколѣній. Поэтому на бесѣдахъ у Грановскаго студенты держались сдержаннѣе и ограничивались болшею частью совѣтами по текущимъ занятіямъ и общими разсужденіями о выдающихся явленіяхъ въ чисто научной сферѣ, на которыя обращалъ вниманіе своихъ гостей всегда радушно принимавшій молодежь хозяинъ... Съ Кавелиномъ были отношенія болѣе простыя, дружескія, и послѣдній, не стѣняясь, называлъ своихъ слушателей-помѣщиковъ рабовладѣльцами, и его рѣзкій безошадный протестъ противъ крѣпостного права невольно заражалъ слушателей, изъ которыхъ, по словамъ Н. П. Колюпанова, и явилось впослѣдствіи не мало и въ числѣ меньшинства губернскихъ комитетовъ, и въ рядахъ мирovýchъ посредниковъ перваго призыва.

Въ жизни и дѣятельности Грановскаго тѣ идеи, которыя отразились въ приведенномъ многозначительномъ спорѣ, не играли дальнѣйшей сколько нибудь значительной роли. У него было свое профессорское дѣло, которое не давало почвы для непосредственнаго развитія или приложенія ихъ. Зато онѣ на лету были подхвачены болѣе молодыми изъ западниковъ. Высказанныя разъ въ кругу такими авторитетными лицами, какъ Грановскій и Герценъ, эти мысли не могли ни въ какомъ случаѣ заглухнуть бесплодно. Все направленіе ли-

* Н. П. Колюпановъ, „Рус. Вѣд.“, 1885 г., № 123. Цитировано по вступ. статьѣ г. Корсакова къ собранію сочин. Кавелина.

тературы со второй половины сороковых годовъ, когда для нея неожиданно открылся невѣдомый крѣпостной людъ, было осуществленіемъ этихъ идей. „Записки охотника“ были наиболѣе крупнымъ литературнымъ выраженіемъ взгляда, формулированнаго Герценомъ, что обязанность интеллигенціи— явиться адвокатомъ и заступникомъ народа. Тургеневъ, не разъ толковавшій съ Грановскимъ о крѣпостномъ правѣ, Кавелинъ, жадно ловившій каждое слово Грановскаго, и др. разнесли во всѣ прочіе литературныя и интеллигентныя кружки результаты, къ которымъ пришли московскіе западники послѣ ожесточенныхъ стычекъ со славянофилами. Одною изъ темныхъ сторонъ западничества или, вѣрнѣе, той части интеллигенціи, которая считала себя западническою, была именно кичливость образованностью, справедливо осмѣиваемая славянофидами, напр. К. Аксаковымъ. Споръ между Грановскимъ и Герценомъ съ одной и Кетчеромъ—съ другой стороны показалъ, что западники зорко слѣдятъ за собою и, какъ жизнеспособная общественная группа, способны заимствовать у противниковъ все дѣльное. Герценъ не разъ повторялъ, что западники только тогда могутъ рассчитывать на торжество своихъ воззрѣній, если они сумѣютъ овладѣть темами славянофиловъ. Соколовскіе споры 1844 г. показали, что западники сознали это и до извѣстной степени осуществили, въ скоромъ времени явившись въ беллетристикѣ адвокатами народа и оттѣснивши совершенно на задній планъ славянофиловъ. Что дѣйствительно здѣсь шло дѣло о коренномъ измѣненіи взгляда на народъ, лучше всего видно изъ сравненія, напр., повѣстей Даля изъ народнаго быта или характеристикъ мужика даже у Гоголя съ изображеніемъ народныхъ типовъ въ „Запискахъ охотника“. Какъ уже достаточно выяснено литературною критикой, именно Тургеневъ положилъ въ беллетристикѣ конецъ барскому взгляду на народность, а не славянофилы. Послѣднее было совершенно понятно: идеализація народа славянофилами была мало умѣстна при крѣпостномъ правѣ, и сочувственное, жалостливое отношеніе къ нему было, конечно, съ исторической точки зрѣнія, болѣе разумно.

Правда, ставя вопросъ о положеніе крѣпостной массы и

отношеніи къ ней общества, какъ насущнѣйшій вопросъ русской жизни, и Грановскій, и Герценъ, и Огаревъ, и Тургеневъ, и др.—оставались всетаки помѣщиками-душевлдѣльцами. Объ отношеніяхъ Грановскаго къ его крѣпостнымъ мы ничего не знаемъ; фактически онъ, впрочемъ, и не управлялъ ими, а, получивъ послѣ смерти отца имѣніе, тотчасъ его продалъ. Практическія же мѣропріятія остальныхъ названныхъ лицъ, когда они получили возможность самостоятельно распоряжаться въ своихъ имѣніяхъ, не вполне соотвѣтствовали коренному теоретическому отрицанію крѣпостного права. Но слѣдуетъ помнить при этомъ, что освободить своихъ крестьянъ въ ту пору для помѣщика было не такъ-то легко. Освобожденія крестьянъ съ землею и въ сколько нибудь значительномъ числѣ разрѣшались лишь въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ. А во вторыхъ, кто можетъ требовать отъ людей геройства?...

Какъ бы то ни было, огромный нравственный авторитетъ Грановскаго въ средѣ московскаго общества придалъ важное значеніе тѣмъ мыслямъ, которыя онъ высказалъ въ вышепреданномъ спорѣ и которыя онъ, конечно, повторялъ и при другихъ случаяхъ. Анненковъ утверждаетъ положительно, что онѣ высказаны были Грановскимъ ранѣе, чѣмъ Герценомъ, но вопросъ о первенствѣ, при полной общности умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, соединявшей друзей, не можетъ имѣть особаго значенія. Важно только то, что эти мысли были высказаны.

Къ Грановскому, какъ уже разъ сказано, примѣнимы слова его самого о Нибурѣ: „Высказанная и уясненная въ разговорѣ мысль теряла для него прелесть новизаны. Онъ переставалъ считать ее своею собственностью и былъ доволенъ тѣмъ, что изустно передалъ ее другимъ, способнымъ ею воспользоваться“ (Сочин. Гран., II, 40). Были примѣнимы къ Грановскому и слова его о значеніи неразвитыхъ предположеній и указаній, брошенныхъ мимоходомъ замѣчательными умами,—слова, сказанныя также по поводу Нибура: „Не доказанныя ими предположенія, ихъ бѣглые намеки составляютъ обильное наслѣдіе для послѣдующихъ поколѣній и опредѣляютъ надолго въ ту или другую сторону дѣятельность этихъ поколѣній“ (Ibid., 58).

Такимъ же образомъ подхватили и пустили въ оборотъ мысль, заявленную здѣсь Грановскимъ, и споры въ тѣсномъ кружкѣ, собиравшемся на соколовской дачѣ, получили значеніе немаловажнаго момента въ исторіи развитія нашихъ общественныхъ воззрѣній.

XI.

Грановскій въ концѣ сороковыхъ годовъ (1845—1848).

1845-й годъ, тридцать второй годъ жизни Грановскаго былъ для него годомъ окончательнаго перелома и въ настроеніи, которое съ этого времени становится болѣе и болѣе мрачнымъ, и въ міровоззрѣніи: онъ не шелъ болѣе по многимъ вопросамъ за друзьями, какъ увидимъ это ниже. Молодость оканчивалась. Зрѣлые годы, при другихъ условіяхъ несущіе наиболѣе зрѣлые и цѣнные плоды, были для Грановскаго бременемъ. Давно уже было разстроено здоровье; личныя утраты продолжали его преслѣдовать: въ мартѣ 1845 г. умеръ постоянный членъ кружка, Крюковъ; положеніе въ университетѣ было далеко не прочно. Говоря о разстроенныхъ дѣлахъ имѣнія, оставшагося послѣ матери, Грановскій писалъ кузинѣ (4 февр. 1846 г.): „Я думалъ продать это имѣніе, но не могу рѣшиться. Оно можетъ понадобится мнѣ. Мое теперешнее положеніе довольно хорошо, но всего менѣе прочно. Мнѣ посчастливилось имѣть много враговъ, которые откровенно сознаются въ своемъ желаніи сбыть меня. Въ прошедшемъ году на меня дѣлали три раза доносы, какъ на человѣка, вреднаго для государства и религіи. Теперь не касаются болѣе моей религіи, но нападаютъ на мои политическія идеи. До сихъ поръ министръ былъ на моей сторонѣ, но продлится ли это? Всегда ли у него хватитъ терпѣнія выслушивать мои оправданія, прежде чѣмъ положить рѣшеніе. Кто знаетъ, мнѣ разъ уже давали понять, что хорошо бы

мнѣ перемѣнить службу, что человекъ съ моими способностями и т. д. можетъ быть полезенъ въ другой карьерѣ. Я будто не слышалъ“ *. Всѣ эти обстоятельства располагали къ хандрѣ въ еще большей мѣрѣ.

Напрасно было бы, повторимъ еще разъ, предъявлять Грановскому съ настоятельностью обычное обвиненіе въ излишней рефлексированности. Скорѣе приходится удивляться даже, какъ чувство долга, сознание обязанности не бѣжать отъ опасности со скромнаго занимаемаго имъ поста, росло въ душѣ его. Друзья въ это время заводили рѣчь объ эмиграціи. Огаревъ писалъ Герцену изъ за границы въ началѣ 1845 года: „Герценъ! а вѣдь дома жить нельзя! Подумай объ этомъ. Я убѣжденъ, что нельзя. Человекъ, чуждый въ своемъ семействѣ, обязанъ разорвать со своимъ семействомъ. Онъ долженъ сказать своему семейству, что онъ ему чужой. И если бы мы были чужды въ цѣломъ мірѣ, мы обязаны сказать это. Только выговоренное убѣжденіе свято. Жить не сообразно со своимъ принципомъ есть умираніе. Прятать истину есть подлость. Лгать изъ боязни есть трусость. Жертвовать истиной—преступленіе. Польза? Да какая же польза въ прятаніи? Все скрытое да будетъ проклято! Въ темнотѣ бродить разбойникъ, а люди истины не боятся дня. Наконецъ, есть святая обязанность быть свободнымъ. Мнѣ надоѣло все носить внутри, мнѣ нуженъ поступокъ. Мнѣ—слабому, нерѣшительному, непрактичному, dem Grübelnden—нуженъ поступокъ! Что же послѣ того вамъ, болѣе меня сильнымъ? Или мы, амфибіи нравственнаго міра, можемъ жить попеременно во лжи и истинѣ?“ **. Рѣшительную противоположность этому порывистому письму, и по содержанию, и по грустно-спокойному тону, представляетъ письмо Грановскаго къ Фролову, писанное въ октябрѣ 1845 г.: „Пора домой, — говоритъ онъ Фролову, все еще учившемуся за границей: — Ты правъ, говоря, что настоящая дѣятельность возможна человеку только на родной почвѣ. Годы прошли надъ нами не даромъ: они унесли съ собою заманчивыя надежды и планы молодости; но въ большей части изъ насъ сохранилось

* Переп. Гран. 205—206.

** Изъ „Переписки недавнихъ дѣятелей“.

желаніе труда и пользы въ кругу дѣятельности, данномъ обстоятельствами. Главнымъ приобрѣтеніемъ послѣднихъ трехъ или четырехъ лѣтъ моей жизни я полагаю развитіе чувства долга. Я работаю много теперь. У меня въ университетѣ 10 лекцій въ недѣлю. Сверхъ того, я собираюсь читать публичный курсъ. Приѣзжай. Будемъ работать вмѣстѣ. Дѣла много. Трудъ—великое и святое дѣло, Фроловъ. Независимо отъ цѣли, къ которой онъ направленъ и которая, разумѣется, сообщаетъ ему большую или меньшую важность, онъ лѣвитъ душу отъ большихъ желаній. У меня ихъ было много, и еще осталось довольно на днѣ души. Я имъ не даю воли“. Онъ рано, слишкомъ рано, чувствовалъ усталость, и Кетчеръ не могъ расшевелить его своими буйными упреками, когда, недовольный настроеніемъ московскихъ друзей, горячо требовалъ, чтобъ они продолжали хлопоты о журналѣ. У Грановскаго силы незамѣтно уходили „въ стремленіи безъ имени и цѣли“, говоря словами его письма къ Вердеру. Порой онъ мечталъ о годѣ отдыха въ деревнѣ, гдѣ думалъ обработать давно задуманное историческое сочиненіе: „Городъ въ древней, средней и новой исторіи“. Этотъ планъ работы не осуществился, какъ и предпринятое-было изданіе лекцій покойнаго Крюкова, какъ и многіе другіе литературные проекты Грановскаго.

Публичный курсъ средневѣковой исторіи Франціи и Англіи, къ которому онъ готовился въ Соколовѣ, былъ начать въ концѣ 1845 года и прошелъ съ не меньшимъ успѣхомъ, что и первый. Но этотъ успѣхъ не оживилъ Грановскаго, не придалъ новой вѣры въ свои силы и надеждъ на будущее, какъ то было два года тому назадъ. Кривотолки, порожденные снова лекціями, не были ему теперь шпорою, не вызывали, какъ было раньше, рѣзкаго отпора. Онъ, какъ бы усталый, оставлялъ ихъ безъ вниманія, отзываясь, что „есть споры, которые мараютъ даже того, кто спорить за правое дѣло“. „Въ жизни не все розы, моя добрѣйшая кузина,—писалъ онъ среди шумнаго успѣха лекцій:—подчасъ мнѣ трудно было одолѣть мрачныя мысли, осаждающія меня...“ Сообщая о томъ, что приходится усиленно работать ради денегъ, онъ говоритъ: „Мои публичные лекціи доставили мнѣ въ нынѣш-

ній годъ болѣе 7.000 рублей, но онѣ мнѣ стоили, можетъ быть, нѣсколькихъ лѣтъ моей жизни. И затѣмъ лучшіе мои годы уходятъ. Мои планы литературныхъ работъ не исполняются за недостаткомъ времени. Если когда нибудь досугъ дастся мнѣ,—я боюсь, что онъ найдетъ меня неспособнымъ пользоваться имъ, надломленнымъ лихорадочной и мелочной дѣятельностью. Мелкіе успѣхи не прельщаютъ меня болѣе. Они льстили мнѣ, когда я былъ моложе. Теперь я признаю за собой право стремиться къ чему нибудь лучшему. Вы прочли здѣсь цѣлую исповѣдь, кузина. И грустно же сознавать, что жизнь не удалась, что будущее могло бы быть инымъ!“. * И въ лекціяхъ, по свидѣтельству Панаева, Грановскій обнаруживалъ какое-то утомленіе, что-то какъ будто тревожило его и ослабляло одушевленіе. Письма Грановскаго вполне подтверждаютъ такое свидѣтельство. Новый планъ—составить изъ публичныхъ лекцій, дополнивъ и развѣвъ ихъ, цѣлую книгу,—также остался только планомъ.

Послѣ одной изъ лекцій Грановскій узналъ о возвращеніи изъ за границы Огарева и Сатина и немедленно бросился къ нимъ вмѣстѣ съ Герценомъ. И тутъ же друзья условились провести предстоящее лѣто опять въ Соколовѣ.

Такимъ образомъ опять собрался здѣсь, по выраженію Анненкова, тотъ „воюющій орденъ, который не имѣлъ никакого письменнаго устава, но зналъ всѣхъ своихъ членовъ, разбѣянныхъ по лицу пространной земли нашей, и который все таки стоялъ по какому-то соглашенію, никѣмъ въ сущности не возбужденному, поперекъ всего теченія современной ему жизни, мѣшая ей вполне разгуляться, ненавидимый одними и страстно любимый другими“ **.

Лично для Грановскаго и его близкихъ это лѣто принесло много мучительныхъ дней и кончилось явнымъ охлажденіемъ между друзьями. Причинъ тому было нѣсколько. Прежде всего возникли столкновенія по чисто отвлеченнымъ вопросамъ, которыя рано или поздно должны были обостриться. Московскій кругъ западниковъ, въ противоположность петербургскому, группировавшемуся около „Отеч. Записокъ“, не имѣлъ никакого

* Вышецитированное письмо, Переписка Гр., 206.

** Анненковъ: „Восп. и крит. очерки“, III, стр. 127.

практическаго общаго дѣла, — а только оно и можетъ соединить искреннихъ людей, при различіи отвлеченныхъ воззрѣній, составляющихъ одинъ изъ основныхъ элементовъ ихъ жизни. Они жили преимущественно теоретическими вопросами, и даже самые реальные насущные вопросы получали отвлеченную окраску, напр., вопросъ о народѣ и крѣпостномъ правѣ, какъ мы видѣли, являлся въ образѣ вопросовъ о народности и о принципахъ личнаго поведенія. Понятно, что трудно было дѣлать взаимныя уступки, разъ содержаніе умственной жизни исчерпывалось развитіемъ отвлеченныхъ идей и распространеніемъ ихъ. Затѣмъ, жизнь въ одномъ и томъ же интимномъ кругу черезчуръ сближаетъ людей, вообще говоря — у однихъ невольно являются поползновенія на нравственную независимость другихъ, развивается придирчивость, обидчивость и т. п. Отсутствіе пракческаго дѣла, при нѣкоторыхъ теоретическихъ разногласіяхъ, и эти мелочныя причины и были поводомъ къ охлажденію между Герценомъ и Огаревымъ съ одной стороны и Грановскимъ, Рѣдкинымъ, Е. Коршемъ и прочими — съ другой. Исторія этой ссоры, къ которой мы перейдемъ, производитъ тяжелое впечатлѣніе: люди, представлявшіе собою цвѣтъ интеллигенціи всей страны, расходились, сбѣгая другъ съ другомъ, подобно тому, какъ начинаютъ ѣсть другъ друга пауки, посаженные въ сткланку.

Грановскій, поглощенный профессурою, публичными лекціями, общественною жизнью; разными хлопотами, отъ которыхъ не умѣлъ отказываться, — сталъ человѣкомъ законченнымъ нѣсколько ранѣе и Огарева, и Герцена. Нуженъ досугъ, какой былъ у Огарева, или же спеціальная работа, совпадающая съ разработкою основныхъ вопросовъ міровоззрѣнія, кака была у Бѣлинскаго и Герцена, чтобы понятія, сложившіяся въ молодости, не застыли и не отлились въ болѣе или менѣе неподвижную форму. Грановскій былъ занятъ исторіей, гдѣ мало было почвы для разработки и неустаннаго пересмотра основныхъ нравственно-философскихъ воззрѣній. Слѣды традиціоннаго воззрѣнія, преобразованнаго, какъ мы видѣли, прекраснодушнымъ идеализмомъ Станкевича, прочно вкоренились въ немъ. Мы видѣли, какъ онъ, уважаемый уже преподаватель университета, не рѣшался же-

ниться безъ благословенія отца. Чувства, воспитанныя матерью, были укрѣплены въ Грановскомъ еще вліяніемъ жены. „Благодаря тебѣ,—писалъ онъ ей, будучи еще женихомъ,—я возвращаюсь къ религіознымъ чувствамъ, внушеннымъ мнѣ моею матерью, но ослабленнымъ во мнѣ печально проведенной юностью“. Позднѣе, это вліяніе жены, всегда ровной и любящей, сказалось, конечно, тѣмъ сильнѣе, чѣмъ мягче и незамѣтнѣе оно проявлялось. Наконецъ, смерть близкихъ людей была однимъ изъ главныхъ моментовъ, укрѣпившихъ субъективное направленіе нравственно-философскихъ взглядовъ Грановскаго.

Въ главѣ о Грановскомъ, какъ объ историкѣ, мы уже имѣли случай упомянуть, что Герценъ еще во время перваго публичнаго курса замѣтилъ идеалистическую наклонность друга прикрывать поэзію, антропоморфизмомъ всеобщаго и т. д., антиноміи цѣлесообразности исторической жизни человѣчества, и указывали тѣсную связь между идеалистическимъ взглядомъ Грановскаго на исторію и его нравственно-философскими воззрѣніями. Для Герцена они остались позади, такъ какъ онъ пошелъ дальше Грановскаго въ примѣненіи философіи Гегеля ко всѣмъ областямъ жизни и вѣдѣнія. Окончательную окраску міровоззрѣнію Герцена дала знаменитая книга ученика Гегеля; Фейербаха: „Das Wesen des Christenthums“. Впечатлѣніе, произведенное ею на Герцена живо передано въ его дневникѣ слѣдующими словами: „Прочитавъ первыя страницы, я вспрыгнулъ отъ радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычіе и иносказаніе, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно намъ облекать истину въ мифы“. Подобное же впечатлѣніе произвела книга и на Бѣлинскаго, для котораго друзья сдѣлали переводъ главнѣйшихъ мѣстъ ея. Но Грановскій не могъ помириться съ ея выводами. Онъ съ болѣзненнымъ упорствомъ отмахивался отъ всѣхъ тѣхъ доводовъ, которые заставили автора „Писемъ объ изученіи природы“ выпрыгнуть по его собственному выраженію, на свой страхъ, изъ „бѣличьяго колеса діалектическихъ построеній“. Грановскій не дерзалъ признать за фантастически освѣщенный туманъ то, что человѣческому сознанію въ теченіе тысячелѣтій представлялось грозными сѣдыми утесами, о которые

разбивались—отъ семи греческихъ мудрецовъ до Канта—въ державціе думать.

Ошибочно было бы, однако, думать, что со стороны Герцена новый усвоенный имъ нравственно-философскій взглядъ выражался съ воинствующею нетерпимостью. Сами по себѣ теоретическія воззрѣнія человѣка, его мысли, еще не опредѣляютъ его дѣятельности и отношеній къ другимъ людямъ: болѣе существенное значеніе имѣютъ аффекты, чувствованія связанныя съ мыслями. Въ Герценѣ огромный философскій умъ соединялся съ мягкимъ дѣтскимъ сердцемъ. „Природа позаботилась вложить въ его душу одно неодолимое вѣрованіе, одну непобѣдимую склонность: Герценъ вѣрилъ въ благородныя инстинкты человѣческаго сердца, анализъ его умолкалъ и благоговѣлъ передъ инстинктивными побужденіями нравственнаго организма, какъ передъ единственной несомнѣнной истиной существованія“ *. Съ этимъ отзывомъ Анненкова можно сопоставить слова человѣка, стоявшаго внѣ борьбы московскихъ партій, переводчика русскихъ повѣстей на нѣмецкій языкъ, Вульфсона, знавшаго Герцена именно въ это время. „Высокое идейное и нравственное содержаніе его произведеній въ его личности выступило еще поразительнѣе... Искренность и правдивость—основная черта его характера. У него нѣтъ тайнъ. Какъ передъ друзьями, такъ и передъ цѣлымъ міромъ, у него что на сердцѣ, то и на языкѣ. Это не только ясный умъ, это—прозрачная душа. Поэтому-то лицезрѣніе, въ какой бы формѣ оно не являлось, ему совершенно чуждо; поэтому-то онъ всегда высказывается сполна, иногда даже черезчуръ рѣако. Со своимъ пламеннымъ, сангвиническимъ темпераментомъ, онъ нерѣдко впадаетъ въ крайность, но онъ всегда вѣренъ глубинѣ своей натуры. Все, что похоже на слезливую чувствительность, ему ненавистно; но не можетъ быть сердца болѣе мягкаго и воспріимчиваго, чѣмъ сердце Герцена“ **. Подобныя же отзывы о Герценѣ давали и Погодинъ, и Свербѣевъ, и др.

„Записки доктора Крупова“, написанныя Герценомъ въ это же время, въ соотвѣтствіи съ этими свидѣтельствами,

* Анненковъ: „Воспом. и крит. очерки“, III, стр. 80.

** Біографія Герцена, составл. Althaus'омъ. Unsere Zeit, 1872, VIII, 1.

какъ нельзя лучше показываютъ и основную идею, и тономъ, что воинствующая проповѣдь нравственно-философскаго освобожденія, не считающаяся съ привычками сердца, была чужда Герцену. Мысль, что всѣ бѣдствія и несчастья человѣчества — слѣдствіе повального разстройства умственныхъ способностей (парадоксъ, означающій только глубину людскаго неразумія), кажется Крупову истиною, несчастною лишь на первый взглядъ и полною утѣшенія на второй, и она вызываетъ у него слѣдующія прекрасныя слова, лучшее выраженіе задушевнѣйшихъ взглядовъ самого Герцена: „Совѣсть моя чиста! Не гордость и пренебреженіе, а любовь привела меня къ моей теоріи, и когда я совершенно убѣдился въ истинности ея, весь нравственный бытъ мой перемѣнился, мнѣ стало легко, упованія и надежды расцвѣли, какъ въ молодости. Прежняя нетерпимость, готовность порицанія и осужденія замѣнились теплымъ чувствомъ состраданія къ больнымъ, и вмѣсто желанія отвратительной мести за дѣйствія, яснымъ образомъ сдѣланныя подъ вліяніемъ болѣзни, явилось кроткое снисхожденіе и сильное желаніе помочь больному“ *.

Если, несмотря на такое душевное настроеніе Герцена, между нимъ и Грановскимъ все-таки произошла размолвка, то это лишній разъ говорить, какъ одуряюще дѣйствовало на всѣхъ отсутствіе живого практическаго дѣла, которое сглаживало бы разногласія, неизбѣжныя между самими близкими людьми.

Пререканія возникли между Герценомъ и Грановскимъ еще лѣтомъ 1844 года. Въ Аугсбургской газетѣ была помѣщена статья, объяснявшая необычайно ненастную, дождливую погоду солнечными пятнами. Герценъ по этому поводу высказывалъ предположеніе о возможности такихъ измѣненій и переворотовъ солнечной системы, которые поведутъ за собою холодъ, мракъ и гибель земли со всею ея физической и духовной жизнью. Грановскій, въ письмѣ къ женѣ изъ Орловской губ., протестовалъ противъ того, что другъ его придаетъ такое огромное значеніе слѣпому случаю, такъ же, какъ всегда протестовалъ противъ господства случая въ исторической жизни. „Пусть потухнетъ это солнце и охладится эта земля, духъ будетъ продолжать начатую имъ здѣсь ра-

* „Раздумье“, М., 1870 г., стр. 158 и 160.

боту гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ. Какая китайская нелѣпость въ предположеніи, что вся жизнь духа связана съ органическою жизнью нашей планеты исключительно; какая хула на разумъ, какое отрицаніе всякой разумной цѣли въ бытіи космоса заключается въ этой вѣрѣ въ силу слѣплого, глупаго случая, который, чортъ знаетъ для чего, вздумалъ запачкать солнце. Такія дикія нелѣпости могутъ прійти въ голову только математику. Покажи это письмо Герцену. Онъ вѣрно будетъ со мною согласенъ, тѣмъ болѣе, что онъ теперь уже, слава Богу, не знаетъ математики“. Герценъ, конечно, не могъ согласиться съ другомъ; время признанія разумныхъ конечныхъ причинъ и цѣлей въ космосѣ давно прошло для него.— Иногда Грановскій пробовалъ отдѣлаться шуткою. Такъ, лѣтомъ 1845 г., въ Соколовѣ, у Грановскаго вырвались слова, поразившія Анненкова. Возвращаясь въ Москву, куда его особенно тянуло въ домъ Елагиныхъ, Грановскій полушутя заявилъ: „миѣ это нужно, чтобы не совсѣмъ загрубѣть между вами: вотъ вы вѣдь успѣли уже лишить меня безсмертія души“ *. Черезъ годъ отшучиваться стало уже невозможно.

За время разлуки и Огаревъ отдалился отъ Грановскаго. Герценъ зато встрѣтилъ его радостно, какъ единомышленника во всемъ. Мы говорили уже о зачаткахъ разногласія, выразившихся въ письмахъ Огарева. Огаревъ предполагалъ, будучи за границей, что у Грановскаго хватитъ силы „переступить тяжелую скорбь—отказаться отъ привидѣній“. „Что ты романтикъ, да что-жъ изъ этого?—писалъ онъ:—зачѣмъ ты отрекаешься? Романтизмъ—нечто иное, какъ женственность, т. е. самое изящное въ мірѣ. Не отрекайся отъ этого. Если бы въ тебѣ порвалась эта важная струна въ твоей жизни, ты былъ бы или изломанная скрипка, или абстрактное существо. Такъ, какъ ты есть, я тебя люблю. Я тебя люблю *bis zum Rührenden*. Мы всѣ не логическія, а фیزیологическія явленія; но потому-то мы и хороши. Скорбь объ утратѣ близкихъ должна остаться глубоко, скорбью всей жизни, оттого-то я и ненавижу утѣшенія посредствомъ *Jenseits*. Они мѣшаютъ скорби, они облегчаютъ чувство утраты, они—трусость передъ страданіемъ. Храни свято всю силу скорби о безвозвратномъ мер-

* Анненковъ: „Восп. и крит. очерки“, стр. 131.

твомъ, только тогда ты въ самомъ дѣлѣ почтишь его память, и онъ будетъ жить у тебя въ сердцахъ. Хотѣлъ бы я съ тобою выпить. Выпьемъ бургонскаго, саго mio! Славное, энергичное вино! Мнѣ надо энергичное вино; оно возбуждаетъ во мнѣ энергію, которой у меня все же нѣтъ въ характерѣ и т. д.“*.

Трудно думать, чтобъ это приглашеніе выпить и затѣмъ толки Огарева о своемъ безсиліи могли быть пріятны Грановскому послѣ упоминанія о тѣхъ, кто каждый день умиралъ для него снова. Вдали отъ друга, Огаревъ становился менѣе тактиченъ и деликатенъ, чѣмъ въ живомъ непосредственномъ общеніи съ нимъ. И Грановскій открывалъ въ характерѣ поэта черты крайне несимпатичныя: неумѣніе справиться со своими талантами, исканіе мелкихъ, дешёвыхъ наслажденій, успокоеніе въ сознаніи своего безсилія, эгоизмъ, прикрытый мягкостью, и умѣніе подчинять себѣ людей, пользуясь этою мягкостью. Первая встрѣча ихъ послѣ разлуки если и могла закрыть назрѣвшія разногласія, то они не могли не проявиться при совмѣстной жизни.

Прежде чѣмъ друзья сами окончательно привели въ ясность свой теоретическій раздоръ, его замѣтило новое поколѣніе, которое стояло несравненно ближе къ воззрѣнію автора „Писемъ объ изученіи природы“. Молодежь не только въ университетѣ и лицѣ зачитывалась этими письями и статьями о „диллетантизмѣ въ наукѣ“, но и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ. Гр. Строганову жаловался на это Филаретъ, грозившій принять мѣры противъ вліянія Искандера на духовную молодежь. Весь курсъ 1845 г. Герценъ слушалъ въ университетѣ лекціи сравнительной анатоміи. Въ аудиторіи и анатомическомъ театрѣ онъ познакомился и сошелся съ новымъ поколѣніемъ юношей, которое чуждо уже было увлеченій идеалистическою философіей и направленіе котораго было совершенно реалистическое. Эта-то университетская молодежь, со всѣмъ нетерпѣніемъ и пыломъ юности преданная вновь открывшемуся передъ нею свѣту реализма, и разглядѣла, въ чемъ расходятся Искандеръ и Грановскій. Страстно любя послѣдняго, они тоже начинали возставать противъ его „романтизма“ и хотѣли непременно, чтобы ихъ другъ-

* „Изъ переписки недавнихъ дѣятелей“.

философъ склонилъ Грановскаго на ихъ сторону, считая Герцена и Бѣлинскаго представителями своихъ философскихъ мнѣній.

Помимо нравственно-философскихъ мнѣній, между Герценомъ съ Бѣлинскимъ—и Грановскимъ оказались еще разногласія и по социальному вопросу, какъ въ примѣненіи его къ русской дѣйствительности, такъ и въ общей его постановкѣ.

Въ предыдущей главѣ мы видѣли, что западники, въ лицѣ Герцена и Грановскаго и позднѣе Бѣлинскаго, признали значеніе выдвинутаго славянофилами вопроса о народности, понимаемой какъ совокупность извѣстныхъ чертъ, присущихъ народнымъ массамъ,—чертъ, съ которыми необходимо считаться и которыми нельзя пренебрегать; особенную важность получили, конечно, такія черты, какъ общинныя и артельныя начала, и по поводу ихъ шли главные пререканія. Славянофилы отрекались отъ западно-европейскаго социализма, западники пытались связать стремленія его со стихійными склонностями русскаго народа, и въ это время первый разъ выдвигался вопросъ, должна ли Россія въ силу вещей пройти капиталистическій фазисъ развитія и желательно ли это съ точки зрѣнія народныхъ интересовъ. Разноголосица была порядочная, какъ и понятно въ виду того, что и на Западѣ-то вопросъ о временномъ характерѣ капитализма только еще ставился. Такъ, В. П. Боткинъ, самъ крупный капиталистъ, искренно говорилъ въ эту пору, что для блага Россіи совершенно необходима просвѣщенная буржуазія съ соответственными ей болѣе свободными культурно-общественными формами. „Я вовсе не поклонникъ буржуазіи,—писалъ онъ нѣсколько позднѣе, по поводу писемъ Герцена (въ „Современникѣ“, изъ Avenue-Maigny), гдѣ тотъ ѣдко касался ея темныхъ сторонъ.—И меня, не менѣе всякаго другого, возмущаетъ и грубость ея нравовъ, и ея сальный прозаизмъ; но въ настоящемъ случаѣ для меня важенъ фактъ. Я—скептикъ; видя въ спорящихъ сторонахъ, въ каждой, столько же дѣльнаго, сколько и пустого, я не въ состояніи пристать ни къ одной, хотя, въ качествѣ угнетеннаго, классъ рабочій, безъ сомнѣнія, имѣетъ всѣ мои симпатіи. А вмѣстѣ съ тѣмъ не могу не прибавить: дай Богъ, чтобъ у насъ была буржуазія!“ * Грановскій въ

* „Анненковъ и его друзья“, I, 551.

этомъ отношеніи былъ противъ Герцена и Анненкова, полагавшихъ, что русскимъ нѣтъ резона иначе относиться къ буржуазіи, временному историческому классу, чѣмъ къ ней относятся на Западѣ. Отрицательнее отношеніе представлялось ему у насъ неумѣстнымъ.—„Сейчасъ получаю твое ко мнѣ письмо обратно отъ Грановскаго,—писаль Боткинъ Анненкову:—онъ недоволенъ имъ и боится, чтобы ты съ твоей теперешней точки зрѣнія на Германію и Францію не сталъ бы писать о нихъ, воротаясь въ Россію. Въ самомъ дѣлѣ, это было бы большимъ торжествомъ для нашихъ невѣждъ и мерзавцевъ“ *. Бѣлинскій сильно колебался въ этомъ вопросѣ, то заявлялъ, что мы можемъ только интересоваться западно-европейскимъ соціальнымъ вопросомъ, ибо прямого отношенія къ намъ онъ не имѣетъ никакого (обозрѣніе литературы за 1846 г.), то находилъ, что мы пожалуй лучше Европы рѣшимъ соціальный вопросъ, наконецъ, незадолго до смерти писалъ, что задушевнѣйшая его мысль—о Петрѣ Великомъ, который нынѣ необходимъ Россіи, и говорилъ: „теперь ясно видно, что внутренній процессъ гражданскаго развитія въ Россіи начнется не прежде, какъ съ той минуты, когда русское дворянство обратится въ буржуазію“ **.

Высказываясь противъ поспѣшнаго отрицанія въ печати западно-европейской буржуазіи на томъ основаніи, что оно было бы прежде всего на руку реакціи, Грановскій съ тою же осторожностью и недоувѣріемъ относился и къ заманчивымъ и широкимъ обѣщаніямъ тогдашняго западно-европейскаго социализма, который одною ногой не выпелъ еще изъ сферы утопическихъ системъ. Тогдашній воинственный характеръ этого ученія внушалъ Грановскому опасенія, пожалуй оправдавшіяся: истребительный походъ на цивилизацію представлялся ему, какъ историку, весьма мало обѣщающимъ. „Социализмъ,—говорилъ онъ, по свидѣтельству Анненкова,—чрезвычайно вреденъ тѣмъ, что приучаетъ отыскивать разрѣшеніе задачъ общественной жизни не на политической аренѣ, которую презираетъ, а въ сторонѣ отъ нея, чѣмъ и себя и ее подрываетъ“ ***. Въ противоположность друзьямъ, онъ не

* Тамъ же, стр. 543.

** Тамъ же, стр. 611

*** Анненковъ: „Воспомин. и крит. очерки“, III, стр. 129.

питалъ никакихъ радужныхъ надеждъ относительно результатовъ грозившаго переворота. Въ одной изъ статей своихъ онъ писалъ нѣсколько позднѣе о томъ, какъ безъ помощи путеводныхъ теорій политической экономіи въ борьбѣ съ пролетаріатомъ „смѣлые римляне шли на бой съ общественнымъ зломъ такъ, какъ они ходили на враговъ республики, вѣруя въ ея неизмѣнное счастье и въ собственную силу. Но эта увѣренность продолжалась недолго. Самые великіе умы, самыя благородныя сердца изнемогли въ спорѣ съ неотвратимымъ ходомъ событій“ *. Подобный, черезчуръ поспѣшный и потому мало дѣйствительный, бой съ цѣлымъ строемъ, сильнымъ не только внѣшнею силой, но и молчаливымъ признаніемъ косныхъ массъ, представлялся Грановскому самъ по себѣ зломъ.

Время показало, что въ скептическомъ отношеніи къ предстоящему перевороту, который оказался далеко не такимъ всеобъемлющимъ, какъ ожидали до 1848 г., былъ правъ Грановскій. Впослѣдствіи, Герценъ, почти наканунѣ смерти, въ „письмахъ къ старому товарищу“ (Бакунину) со спокойною скорбью признавалъ свою ошибку, когда увѣренъ былъ въ близости новаго общественнаго строя. Съ другой стороны, политическая эволюція послѣдняго времени показала, что нынѣ въ Европѣ социальный вопросъ и социализмъ перешли на мирную политическую арену и сопровождаются кровавыми столкновеніями лишь тамъ, гдѣ она не представляетъ достаточно простора. Такимъ образомъ, этотъ пунктъ разногласій Герцена и Грановскаго палъ самъ собою. Но, несмотря на академическій характеръ этихъ споровъ, они влекли за собою своей ожесточенностью и личныя столкновенія.

Какъ мы упоминали, были и болѣе мелкія личныя причины для столкновений, и главная—ссоры Герцена и Огарева съ непокладливымъ Кетчеромъ, ссоры, задѣвавшія и Грановскаго. Н. Х. Кетчеръ, переводчикъ Шекспира, а профессіей врачъ, представлялъ собою одну изъ тѣхъ своеобразныхъ фигуръ, о которыхъ Погодинъ говорилъ: „русская печь такъ печеть“. По нраву и всему своему облику внѣшнему и внутреннему—вѣчный студентъ, Кетчеръ застылъ на шилле-

* Соч. Гран., т. II, 223.

ровскомъ идеализмѣ. Умственная неподвижность его и въ то же время упрямство, съ какимъ онъ доводилъ до абсурда любое мнѣніе, навѣянное на него кѣмъ либо изъ членовъ кружка, часто бѣсили Герцена, какъ ни считалъ онъ себя обязаннымъ ему, какъ испытанному и искреннему другу (Кетчеръ принималъ ближайшее участіе въ романической свадьбѣ Герцена). Оскорбленное самолюбіе Кетчера давало себя знать. Связь Кетчера съ необразованною мѣщанкой, которая пѣшкомъ пришла однажды къ нему изъ Москвы въ Петербургъ, была также постояннымъ поводомъ къ разнаго рода мелкимъ непріятностямъ. Какъ ни старались ввести подругу Кетчера (впослѣдствіи его жену) въ область интересовъ кружка, — это не удавалось, чувствовалось, что она чужда ему, и это оскорбляло Кетчера. Въ чистый, свѣтлый совершеннолѣтній кругъ друзей стали врываться пересуды дѣвичьей и пикировка провинціальныхъ чиновниковъ. Кетчеръ жаловался Грановскому. Тотъ, хоть и не вѣрилъ обвиненіямъ противъ Герцена и Огарева, все таки жалѣлъ „больного, огорченнаго и все таки любящаго“ Кетчера, бралъ его сторону, негодовалъ на Герцена за недостатокъ терпимости. Однажды, лѣтомъ 1846 г., у Огарева, въ присутствіи Кетчера и его сожительницы, сорвалось съ языка бранное слово. Грановскій вступился передъ Герценомъ за Кетчера, который обвинилъ Огарева чуть не въ намѣренномъ оскорбленіи, и былъ въ отчаяніи, что мелкія ошибки, невниманіе, неделикатность ссорять и разводять немногихъ людей, среди которыхъ онъ могъ отдыхать душою. Эта тяжелая сцена кончилась тѣмъ, что Грановскій истерически разрыдался. Чувствовалось, что друзья слишкомъ близко подошли другъ къ другу; однѣ надежды и теоретическія бесѣды не могли уже поглощать ихъ всецѣло и соединять, какъ то было въ болѣе молодые годы, и за недостаткомъ общей практической работы силы уходили Богъ знаетъ на что.

Назрѣвшія несогласія высказались, наконецъ, безповоротно и рѣшительно въ это лѣто. Поводомъ былъ разговоръ друзей за обѣдомъ объ одномъ изъ писемъ Герцена объ изученіи природы (именно объ энциклопедистахъ). Похвалы Грановскаго этой статьѣ, съ которой онъ во многомъ не согла-

шался, вызвали со стороны автора язвительное замѣчаніе, не стилемъ ли восхищается Грановскій. Грановскій вспыхнулъ и сталъ объяснять, что цѣнить въ статьяхъ Герцена тѣ же черты, что въ сочиненіяхъ Вольтера и Дидро. Онъ живо и рѣзко затрогиваютъ такіе вопросы, которые будятъ человѣка и толкаютъ впередъ, а въ односторонности воззрѣній Герцена онъ не желаетъ вдаваться. Неужели нѣтъ никакого мѣрила истины и мы будимъ людей только для того, чтобы имъ сказать пустяки?—возражалъ Герценъ, и наконецъ замѣтилъ, что развитіе науки, современное состояніе ея обязываетъ насъ къ принятію кое какихъ истинъ, независимо отъ того, хотимъ мы или нѣтъ, которыя, разъ будучи признаны, становятся неопровержимыми фактами сознанія, какъ Эвклидовы теоремы, какъ Кеплеровы законы, или нераздѣльность причины и дѣйствія, духа и матеріи. Передаемъ далѣе разсказъ „Былого и думъ“.

— „Все это такъ мало обязательно,—возразилъ Грановскій, слегка измѣнившись въ лицѣ,—что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тѣла и духа, съ ней исчезнетъ безсмертіе души. Можетъ, вамъ его не надобно, но я слишкомъ много схоронилъ, чтобы поступиться этою вѣрой. Личное безсмертіе мнѣ необходимо.“

— Славно бы жить на свѣтѣ,—сказалъ я,—еслибы все то, что кому нибудь надобно, сейчасъ и было бы тутъ-какъ-тутъ на манеръ сказокъ.

— Подумай, Грановскій,—прибавилъ Огаревъ,—вѣдь это своего рода бѣгство отъ несчастія.

— Послушайте,—возразилъ Грановскій, блѣдный и придавая себѣ видъ посторонняго:—вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить объ этихъ предметахъ; мало ли есть вещей занимательныхъ и о которыхъ толковать гораздо полезнѣе и пріятнѣе.

— Изволь, съ величайшимъ удовольствіемъ!—сказалъ я, чувствуя холодъ на лицѣ. Огаревъ промолчалъ. Мы всѣ взглянули другъ на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно; мы всѣ слишкомъ любили другъ друга, чтобы по выраженію лицъ не вымѣрять вполне, что произошло. Ни слова больше, споръ не продолжался“.

Холодно-язвительный тонъ этихъ репликъ, которыми такъ неожиданно, какъ казалось снаружи, обмѣнялись друзья, показалъ все разстояніе, мало по малу образовавшееся между ними. Жена Герцена тотчасъ круто перемѣнила разговоръ; дѣти, всегда выручающія въ такихъ случаяхъ, послужили темою бесѣды, и обѣдъ кончился мирно, такъ что посторонній, явившійся послѣ разговора, пожалуй, ничего не замѣтилъ бы...

Герценъ, чрезъ Е. Корша, пытался устранить холодность, установившуюся послѣ этого, но скоро убѣдился въ невозможности сдѣлать отношенія прежними, простыми и задушевными. Коршъ былъ на сторонѣ Грановскаго и находилъ лишь, что тотъ слишкомъ круто повернулъ дѣло; въ совершеннолѣтїи и зрѣлости невозможно мечтать о какомъ-то идеальномъ тожествѣ съ друзьями,—говорилъ онъ. Но, конечно, подобныя соображенія, совершенно, впрочемъ, резонныя, не могли смягчить чувства боли, вызваннаго неожиданнымъ, хоть и давно подготовившимся разрывомъ.

Въ самомъ началѣ слѣдующаго 1847 г. Герценъ уѣхалъ за границу, не предполагая еще, что навсегда разстанется съ родиною. Но ни онъ, ни Огаревъ, оставшійся еще въ Россїи, ни Грановскій, несмотря на разстояніе и черту, легшую между ними, никогда не могли безъ глубокой сердечной боли и умиленія вспомнить другъ о другѣ.

Въ зиму 1846—47 гг. Огаревъ пробовалъ возобновиться Грановскимъ бесѣды на ту же тему въ письмахъ изъ деревни. Грановскій уклонился, но на обвиненія въ недостатокѣ скептицизма отвѣтилъ слѣдующимъ замѣчательнымъ образомъ: „Я не согласенъ съ послѣднимъ письмомъ твоимъ и крѣпко отстаиваю права мои на скептицизмъ. Я могу запомнить его рожденіе и ростъ во мнѣ. Онъ былъ естественнымъ слѣдствіемъ почти исключительнаго занятія исторїею. Нѣтъ науки болѣе враждебной всякому догматизму, чѣмъ исторїя. Ты говоришь, что скептицизмъ по натурѣ своей насмѣшливъ, бьетъ направо и налево. Это опредѣленіе слишкомъ узко. Въ немъ можетъ быть по крайней мѣрѣ столько скорби, сколько иронїи, и не всегда бьетъ онъ направо и налево, а чаще смотритъ недовѣрчиво на обѣ стороны (курсивъ

Грановскаго). Насмѣшливость есть личная способность, приносимая человѣкомъ. У меня ея нѣтъ. Ты не правъ, приписывая мнѣ пошлость вродѣ: не троньте меня, а я васъ не трону. Но во мнѣ дѣйствительно глубокая ненависть ко всякой нетерпимости, неспособной уважить особенность взгляда, который у всякаго скольконибудь умнаго, мыслящаго человѣка есть результатъ цѣлаго развитія цѣлой жизни. Я не хвастаюсь своимъ скептицизмомъ, а говорю объ немъ, какъ о фактѣ; знаю, что это нѣчто болѣзненное, можетъ быть, знакъ безсилія, но благодаренъ ему за то, что онъ воспиталъ во мнѣ истинную гуманную терпимость. Нетерпимость понятна и извинительна только въ юношѣ, который думаетъ, что овладѣлъ истиною, потому что прочелъ и горячо принялъ къ сердцу умную и благородную книгу, да въ людяхъ съ ограниченнымъ и жесткимъ умомъ, каковы, напримѣръ, протестантскіе богословы XVII и даже XIX вѣка. Чѣмъ ограниченнѣе умъ, тѣмъ легче ему дается какоенибудь маленькое убѣжденіе, на которомъ ему ловко спать. Да, исторія великая наука, и что бы вы ни говорили о естественныхъ наукахъ*, онѣ никогда не дадутъ человѣку той нравственной силы, какую она даетъ“.

Это письмо интересно во многихъ отношеніяхъ. Мы вернемся еще къ брошенному здѣсь мимоходомъ взгляду на естественныя науки, теперь же укажемъ, что Грановскій вполне правильно выводилъ свою терпимость изъ своего „скептицизма“. То былъ скептицизмъ художника-созерцателя, который сразу видитъ двѣ или даже нѣсколько сторонъ въ предметѣ и считаетъ своимъ долгомъ указать ихъ всѣ, и въ немъ дѣйствительно была доля скорби; характеризуя историческія воззрѣнія и методъ Грановскаго, мы на это и указывали. Но подобно тому, какъ личныя симпатіи Грановскаго влекли, при меланхолическомъ созерцаніи „погребальнаго шествія народовъ къ великому кладбищу исторіи“, къ тѣмъ дѣятелямъ, „въ лицѣ которыхъ воплощается вся красота и все достоинство отходящаго времени“, хотя онъ и не отрицалъ значенія другого типа дѣятелей,—такъ тѣ же личныя симпатіи Грановскаго, слѣды укоренившагося традиціоннаго

* Огаревъ въ это время занимался въ деревнѣ химіею.

возвръннїа, окрашивали и скептицизмъ его въ области нравственно-философскихъ вопросовъ: къ нѣкоторымъ изъ нихъ онъ подходилъ заранѣе настроенный въ пользу рѣшенїа, соотвѣтствовавшаго его склонностямъ. Въ приведенной нами бесѣдѣ, бывшей причиною охлажденїа между друзьями, съ достаточной ясностью виденъ крайнїй субъективизмъ поводовъ скептическаго отношенїа къ нетерпимости и „узкому догматизму“, въ которыхъ онъ обвинялъ друзей.

Приводимъ здѣсь же письмо Грановскаго 1847 г., показывающее, что послѣ разлуки съ другомъ онъ правильнѣе оцѣнилъ отношенїе къ себѣ Герцена, чуждаго той нетерпимости, въ которой, можетъ быть, справедливѣе было упрекнуть Огарева.

„Опять романтизмъ, скажешь ты, можетъ быть, прочитавъ это письмо. Пусть будетъ по твоему, Герценъ. Я остаюсь неизлѣчимымъ романтикомъ. Сегодня у меня потребность говорить съ тобою. Ночь такъ хороша; Лиза до двухъ часовъ играла мнѣ Моцарта, душа настроена теперь, какъ давно не было. И потомъ твой „Круповъ“!—Я его слышалъ отъ тебя прежде, но онъ мало произвелъ на меня впечатлѣнїа, не знаю почему. Въ „Современникѣ“ онъ напечатанъ съ большими выпусками, а я не могу его начитать. Знаешь ли, что это просто гениальная вещь. Давно я не испытывалъ такого наслажденїа, какое онъ мнѣ далъ. Такъ шутилъ Вольтеръ во время оно, и сколько теплоты и поэзїи; мнѣ отъ него повѣяло тобою, днями, проведенными въ Покровскомъ въ деревянномъ домѣ. „Круповъ“ снялъ у меня съ души что-то ее сжимавшее, отъ чего ей было неловко съ тобою. Мнѣ кажется, что я опять слышу твой смѣхъ, что я опять вижу тебя во всей красотѣ и молодости твоей природы“. Мягко упрекая друга за то, что онъ слишкомъ много значенїа придаетъ пререканїямъ о буржуазїи, Грановскїй продолжаетъ: „Послѣднїе дни твои во многомъ могли доказать тебѣ, что соколовскїе споры не оставили слѣдovъ, и сколько любви и преданности ты оставилъ за собою. Коршъ умѣетъ шутить и острить, когда его дѣти больны, но онъ плакалъ, провожая тебя. Неужели ты не оцѣнилъ этихъ недешевыхъ слезъ? Къ чему же повторять смѣшныя обвиненїа въ отсутствїи

дѣятельной любви, въ апатіи и пр. Мы не писали къ тебѣ, но развѣ твои письма изъ Парижа вызывали къ отвѣту? Что мнѣ за охота спорить съ тобой о настоящемъ значеніи bourgeoisie, я говорю объ этомъ довольно съ каеэдры. Я чело-вѣкъ до крайности личный, т. е. дорожу своими личными отношеніями, а эти отношенія къ тебѣ были нележки послѣднее время. Дай же руку, carissime! Да здравствуютъ записки доктора Крупова, онѣ были для меня и художественнымъ произведеніемъ и письмомъ отъ тебя. Изъ нихъ я опять услышалъ твой голосъ, увидѣлъ твое лицо“ *.

Какъ бы то ни было, отношенія друзей приняли иной характеръ, чѣмъ прежде, и эта размолвка надолго стала больнымъ мѣстомъ ихъ жизни.

Съ отъѣздомъ Герцена, въ началѣ 1847 г., Грановскій становится единоличнымъ главою московскаго круга западниковъ. Авторитетъ его доходитъ быстро до высшей степени и въ самомъ кругу, и въ обществѣ. Его вліяніе растетъ помимо личной его воли; но самъ онъ живетъ усталый и преждевременно разбитый бездѣятельною жизнью, или вѣрнѣе—жизнью, размѣнявшеюся, сравнительно съ его крупнымъ талантомъ, на мелочи. А кружокъ быстро началъ мельчать и выдыхаться; въ немъ все принимаетъ какую то странную, неподвижную, педантическую форму, какъ ни чуждъ былъ самъ Грановскій какого бы то ни было педантизма. „Пріятели наши всѣ здравствуютъ,—писалъ въ концѣ марта 1847 г. Боткинъ Анненкову:—только съ отъѣздомъ Герцена кружокъ нашъ какъ то осиротѣлъ... Увы, здѣсь отвыкнешь отъ простого, безсознательнаго наслажденія даже музыкою; здѣсь все принимается свысока, съ педантическою серьезностью; здѣсь я уже сказалъ „прости“ мимолетнымъ легкимъ мгновеніямъ, которыя не имѣютъ иной претензіи, какъ на минуту развеселить васъ. Вы не можете представить себѣ, какъ здѣсь трудно живется, какихъ здѣсь все исполнено требованій, какъ на все смотрятъ съ точки зрѣнія вѣчности. И бѣда въ томъ, что вся жизнь проходитъ въ однихъ только великихъ требованіяхъ. О практическихъ примѣненіяхъ никто и не думаетъ, да они, съ здѣшней точки зрѣнія, и невозможны. Умѣренность и тер-

* „Сѣверный Вѣстникъ“, 1896 г. № 1. Стр. 62—63.

пимость, которыя такъ привлекательны во французскомъ, здѣсь—это не добродѣтели, это—презрѣнныя ереси. Имѣйте ихъ, и васъ тотчасъ обвинять во фривольности. Несчастіе въ томъ, что все это живетъ по книгамъ и въ книгахъ; никакой оригинальности въ мысляхъ, никакой самостоятельности во взглядахъ; даже интимные кружки отзываются какою то официальной (въ смыслѣ общихъ идей), какою то рутинною мысли и чувства“ *. Неисправимый эпикуреецъ, Боткинъ, конечно, ранѣе другихъ могъ подмѣтить признаки начинавшагося разложенія кружка въ видѣ официальной и рутинности, немислимыхъ во всякомъ кружкѣ, пока онъ цвѣтетъ полною жизнью.

Съ этого времени Грановскій чаще прежняго обращается къ литературѣ; разрѣшенія на устройство публичныхъ курсовъ давались все съ бѣльшимъ трудомъ, и въ ней одной приходилось искать удовлетворенія жаждѣ дѣятельности. Съ 1847 г. „Современникъ“ переходитъ въ руки Панаева и Некрасова съ Бѣлинскимъ, въ качествѣ главнаго работника, и Грановскій помѣщаетъ здѣсь рядъ статей объ исторической литературѣ Франціи и Англіи (Соч. т. II). Талантъ его достигъ теперь полной зрѣлости. Въ 1847 г. въ Московскій университетъ поступило нѣсколько новыхъ преподавателей и въ томъ числѣ бывший слушатель Грановскаго, П. Н. Кудрявцевъ. Грановскій ожидалъ отъ нихъ новаго оживленія университетскаго преподаванія. Это заставляло его и самого подтягиваться. „Я крѣпко готовлюсь къ лекціямъ,—писалъ онъ въ это время Фролову:—боюсь соперничества съ Кудрявцевымъ, который дѣйствительно будетъ замѣчательнымъ профессоромъ. Такое соперничество хорошо дѣйствуетъ на душу“.

Ожиданія Грановскаго далеко не оправдались. Осенью поднялась въ профессорской средѣ какая то темная исторія. Профессоръ римскаго права, Никита Крыловъ, изъ за столкновеній съ Рѣдкинымъ и Кавелинымъ, носившихъ сперва чисто семейный характеръ, сталъ причиною пререканій, взводновавшихъ университетскую среду. Крыловъ, одинъ изъ наиболѣе талантливыхъ преподавателей, пользовался въ то же

* „Анненковъ и его друзья“, I, стр. 534—535.

время весьма некрасивою репутацией: его настойчиво обвиняли во взяточничествѣ со студенто́въ, и это обстоятельство заслонило собою всѣ другія. Е. Коршъ, на сестрахъ котораго были женаты названные профессора, также оказался ближайшимъ образомъ прикосновеннымъ къ семейному столкновению. Кончилось тѣмъ, что Коршъ, Кавелинъ, Рѣдкинъ и Грановскій, личный другъ ихъ, поставили ребромъ вопросъ: быть въ университетѣ имъ, или Крылову? Не можетъ быть сомнѣнія, что этическая сторона была здѣсь для Грановскаго на первомъ планѣ и руководили имъ лишь соображенія о достоинствѣ званія профессора. Они сильно и ясно выражены имъ въ объяснительной черновой запискѣ, сохранившейся въ его бумагахъ; она писана на французскомъ языкѣ и, вѣроятно, была подана гр. Строганову въ объясненіе поступка профессоро́въ. „Мы заранѣе принимаемъ всѣ послѣдствія поступка, который не въ нравахъ нашего общества. Не личная ненависть вооружила насъ противъ профессора Крылова. Онъ находилъ въ насъ горячихъ защитниковъ, пѣкуда вина его не была доказана. Можетъ быть, можно бы назвать и другихъ членовъ университета, какъ людей сомнительной честности, но то люди другого поколѣнія, — люди, запоздавшіе между нами, и съ которыми, слѣдовательно, мы не можемъ раздѣлять нравственной отвѣтственности. Положеніе проф. Кр. иное. Онъ былъ одинъ изъ тѣхъ, которые наиболѣе содѣйствовали возрожденію университета, онъ былъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ представителей новыхъ научныхъ стремленій; ему нельзя оправдываться своимъ возрастомъ или своимъ ничтожествомъ!.. Оставляя университетъ, мы уносимъ съ собою сознаніе, что оказали ему нѣкоторыя услуги нашимъ пребываніемъ въ немъ и, можетъ быть, еще болѣе тѣмъ, какъ мы удаляемся изъ него. Мы знаемъ, что наши мѣста не останутся долго незанятыми. Мы сдѣлали, что могли, для того, чтобы приготовить преемниковъ себѣ. Моложе насъ, болѣе богатые средствами развитія, чѣмъ были мы въ началѣ нашихъ поприщъ, они не дадутъ повода къ сожалѣніямъ о насъ по отношенію къ наукѣ и таланту, но они будутъ благодарны намъ за примѣръ, который мы завѣщаемъ имъ. Этотъ примѣръ не пропадетъ для юныхъ

поколѣній. Они увидятъ, что отнынѣ профессоръ не можетъ быть пороченъ безнаказанно, если даже, повидимому, наказаніе и не постигаетъ его. Они будутъ имѣть болѣе вѣры въ своихъ будущихъ руководителей, вспоминая о тѣхъ, которые принесли въ жертву все свое настоящее и будущее чувству своего долга относительно университета^{*}. Эти слова достойно могутъ завершить собою все, что мы ранѣе говорили о Грановскомъ, какъ о профессорѣ.

Пока разыгрывалась эта исторія, надѣлавшая не мало скандала въ Москвѣ, съ Грановскимъ произошелъ несчастный случай. У дрожекъ, на которыхъ онъ 3 октября 1847 года подъѣзжалъ къ университету, переломился шкворень. Грановскій, отброшенный на нѣсколько шаговъ, упалъ на мостовую лицомъ и переломилъ правую скулу. Вѣсть о несчастіи съ любимымъ профессоромъ въ ту же минуту проникла въ университетъ, аудиторіи опустѣли... Сила удара была такова, что долго опасались воспаленія мозга. Отъ испуга заболѣла и жена Грановскаго, болѣла всю зиму, такъ что ждали ея смерти, а въ это самое время умеръ старикъ Грановскій; онъ давно уже прихварывалъ и только недавно пріѣхалъ въ Москву, чтобы поздравить сына съ выборомъ въ члены знаменитаго англійскаго клуба. Больной Грановскій не могъ ѣхать для устройства дѣлъ по наслѣдству. Деньги, сберегаемыя старикомъ, были украдены, и имѣніе за долги пошло съ публичнаго торга. Надежда на полную матеріальную независимость такимъ образомъ исчезла, а эта независимость, въ виду ожидаемаго выхода изъ университета, имѣла огромное значеніе для Грановскаго.

И въ то же время продолжалъ распадаться кругъ близкихъ друзей Грановскаго. Охлажденіе отношеній къ Бѣлинскому послѣ разрыва съ Герценомъ проявилось пререканіями изъ за участія въ „О. З.“, такъ какъ Бѣлинскій, оставившій этотъ журналъ, требовалъ, не совсѣмъ основательно, чтобъ и друзья его всѣ перешли въ „Современникъ“. Грановскій отвѣчалъ прямо, что такъ какъ „О. З.“ издаются въ одномъ духѣ съ „Современникомъ“, то онъ очень радъ, что у насъ, вмѣсто одного, два хорошихъ журнала, и готовъ

* Переписка Гр., 450—451.

помогать обоимъ. Сообщая объ этомъ Анненкову, Бѣлинскій съ досадою добавлялъ: „Подите, растолкуйте такому шуту, что именно по одинаковости направленія оба журнала и не могутъ съ успѣхомъ существовать вмѣстѣ, но должны только мѣшать и вредить другъ другу... Одинаковое направленіе! Эти господа не хотятъ понять, что направленіемъ своимъ теперь „О. З.“ обязаны только случаю да счастію, а не личности ихъ редактора“*. Цѣлый рядъ тягостныхъ обстоятельствъ сыпался, такимъ образомъ, на Грановскаго послѣ охлажденія и разлуки съ лучшимъ его другомъ и опустошительно дѣйствовалъ на его нравственное состояніе.

Передъ 1848 г. эпоха сороковыхъ годовъ достигала наибольшаго своего развитія. Публицистическая критика Бѣлинскаго достигла полной зрѣлости. Знаменитое письмо къ Гоголю, писанное лѣтомъ 1847 г., — письмо, на которое онъ смотрѣлъ какъ на свое завѣщаніе, — сотнями и тысячами списковъ распространилось по всѣмъ концамъ крѣпостной Руси, и не было скоро въ провинціи, какъ писалъ И. Аксаковъ**, ни одного учителя гимназіи, который не зналъ бы этого письма наизусть. Шли упорные толки о твердомъ намѣреніи правительства покончить съ освобожденіемъ крестьянъ. До чего жадно ловили въ обществѣ малѣйшій намекъ на это, доказывается однимъ письмомъ Бѣлинскаго, гдѣ онъ серьезно приводитъ, какъ „фактъ, прямо относящійся къ освобожденію крестьянъ“, что государь былъ въ Александринскомъ театрѣ съ министромъ Киселевымъ и оттуда взялъ его съ собою пить чай!*** Въ литературѣ чувствовалось, что вѣянія, въ началѣ сороковыхъ годовъ столь робкія, теперь окрѣпли. Московскій университетъ достигалъ наибольшаго своего значенія. Въ это время „наша alma mater, — вспоминаетъ К. Бестужевъ-Рюминъ, — была общимъ чаяніемъ почти всего, что было мыслящаго въ Россіи, верховнымъ ареопагомъ въ дѣлѣ науки“****.

Въ своихъ статьяxъ и рецензіяхъ Грановскій откликнулся

* „Анненковъ и его друзья“, I, 596.

** „И. С. Аксаковъ въ его письмахъ“, III, 281 и 290.

*** „Анненк. и пр.“, I, 602. Киселевъ былъ извѣстенъ, какъ единственный въ высшихъ правительственныхъ кругахъ сторонникъ освобожденія крестьянъ.

**** „Біографіи и характеристики“, 289.

на ростъ общественнаго сознанія, и книжки журналовъ съ его статьями расходились особенно сильно. Но ни литература, ни профессура, стѣсненная официальными рамками, не могли дать ему полнаго удовлетворенія. Въ нихъ тщетно билась его мысль; ему нужны были общество, полный раздѣлъ свободно развивающейся мысли со слушателями, дѣятельное участіе ихъ, подмывающее его, помогающее ему. Студенты слушали его всетаки въ значительной мѣрѣ пассивно и не могли быть такими развитыми слушателями... И онъ временами, въ дни острой хандры, начиналъ халатно относиться къ своему дѣлу: пропускалъ лекціи, случалось даже, по увѣренію Афанасьева, что онъ по два, по три раза читалъ объ одномъ и томъ же, забывая, что читалъ ранѣе *. И, конечно, онъ же первый огорчался и мучился, если при такомъ отношеніи къ дѣлу иногда случалось, что на лекцію собиралось мало слушателей.

Тутъ то, при его разстроенномъ здоровьи, была благодарная почва для какой нибудь страсти, обѣщавшей забвеніе всѣхъ душевныхъ тревогъ. Грановскій не запылъ мертвой, что такъ часто бываетъ съ русскими людьми, находящимися въ такомъ душевномъ настроеніи, когда человѣкъ потерялъ голову и готовъ бѣжать ото всего на свѣтъ и отъ себя самого. Мысль о нѣжно любимой и любящей женѣ спасла его и отъ самоубійства, но въ немъ развилась со страшною силой душеопустошительная болѣзненная страсть къ азартной карточной игрѣ.

Въ книгѣ А. Станкевича, имѣющей въ послѣднихъ главахъ всю цѣнность живыхъ и искреннихъ мемуаровъ, съ поразительною силой описано, какъ игралъ Грановскій, заглушая душевную пустоту, охватившую его. „Много часовъ, много бессонныхъ ночей проводилъ онъ надъ карточными столами. Это былъ странный, невиданный игрокъ! Выигрышъ былъ для него исключительнымъ случаемъ, и онъ бывалъ смущенъ имъ, онъ не могъ прекратить игры, пока проигравшій партнеръ не отыгрывался или, въ свою очередь, обыгрывалъ его самого. Странно и больно было видѣть благородный образъ Грановскаго, его блѣдное, усталое, печаль-

* А. Афанасьевъ: „Москов. унив.“, „Р. Стар.“ 1886 г., августъ.

ное лицо, его лихорадочно блестящіе глаза за карточнымъ столомъ, среди тускнѣющаго освѣщенія поздней ночи, среди молчаливыхъ лицъ игроковъ съ выраженіемъ напряженнаго вниманія и сдержанной жадности. А онъ игралъ торопливо, расбѣянно, ронялъ карты, не умѣлъ ихъ скрыть отъ зоркихъ глазъ партнеровъ, забывалъ записывать свой выигрышъ. Онъ былъ почти всегда въ проигрышѣ и платилъ, дѣлая долги. Случайные изъ своихъ выигрышей онъ не получалъ по цѣлымъ годамъ или ему вовсе не платили ихъ. Случалось, что этотъ странный игрокъ внушалъ невольное участіе къ себѣ опытнымъ и даже нечистымъ игрокамъ. Они являлись къ нему на помощь, охраняли его отъ ошибокъ и расбѣянности въ игрѣ, предупреждали его противъ опасныхъ партнеровъ. Истомленный, измученный волненіемъ и бессонною ночью, Грановскій покидалъ игру съ внутренними упреками самому себѣ, и однако-же въ слѣдующую ночь печальный игрокъ являлся опять за роковымъ зеленымъ столомъ... Влеченіе къ ней порою бывало сильнѣе его, онъ изнемогалъ въ борьбѣ съ нимъ. Его смущали и огорчали замѣчанія и опасенія друзей, высказываемыя по поводу его игры; онъ оправдывался, какъ ребенокъ, каялся, надолго бросалъ ее, но по временамъ внезапно возвращался къ ней“. До чего овладѣла пмъ эта несчастная страсть, можно лучше всего судить по слѣдующему факту. Цѣлая компанія московскихъ Кречинскихъ не усумнилась предложить ему денегъ, узнавъ о его безвыходномъ положеніи, въ которое онъ попалъ одно время, благодаря игрѣ, предложила поступить въ ихъ шайку, продать такимъ образомъ имъ свое безукоризненное имя и незапятнанную репутацію... *

При этихъ то обстоятельствахъ наступилъ роковой 1848 годъ.

Грановскій не получилъ отставки, которой просилъ, когда выяснилось, что Крыловъ остается въ университетѣ, хотя она и была дана Рѣдкину, Кавелину и Коршу. Въ маѣ Грановскій отправился хлопотать о ней въ Петербургъ.

„Первое впечатлѣніе Петербурга на меня было непріятно, — писалъ Грановскій женѣ:—Кругомъ бѣдная природа, небо

* Панаевъ: „Литературныя воспоминанія“, стр. 232.

сѣрое, маленькій дождикъ“. Еще тягостиѣе было прощаніе съ Бѣлинскимъ, котораго онъ засталъ при послѣднемъ издыханіи. Наканунѣ прїѣзда умирающій былъ цѣлый день въ бреду и все говорилъ съ Грановскимъ. Онъ однако узналъ московскаго друга, пожалъ ему руку и сказалъ „прощай, братъ Грановскій, умираю“. Грановскій былъ на похоронахъ и принялъ участіе въ первыхъ хлопотахъ обезпечить чѣмъ нибудь вдову и дѣтей покойнаго. Свободное время Грановскій вращался въ кружкѣ Панаева и „Современника“. Онъ знакомится также съ Милютиными, будущими дѣятелями крестьянской и военной реформы, и имя Грановскаго среди этого круга становится однимъ изъ глубоко чтимыхъ.

По своему дѣлу Грановскій просилъ о переводѣ въ Одессу или о мѣстѣ въ Крыму. Уваровъ весьма любезно его встрѣтилъ, даже предлагалъ жить въ его деревнѣ до поправленія жены, но объявилъ наотрѣзъ, что изъ министерства народнаго просвѣщенія Грановскаго не выпустить, выставивъ формальною причиною, что тотъ не отслужилъ еще казенныхъ расходовъ на пребываніе за границею *.

Въ концѣ іюня Грановскій возвратился въ Москву. Онъ остался теперь единственнымъ признаннымъ главою всего круга западниковъ, соединявшимъ талантъ съ огромнымъ личнымъ вліяніемъ. Но наступило время, когда возможность дѣятельности и вліянія сузилась еще во много разъ.

ХІІ.

Пятидесятые годы (1848—1855).

Европейскія событія 1848 года произвели не малое впечатлѣніе въ части русскаго общества, интересовавшейся западно-европейскою жизнью. Грановскій, жадно слѣдившій за ними, былъ, какъ сказано, чуждъ розовыхъ надеждъ на близкое осуществленіе соціальныхъ идеаловъ, выработанныхъ во Франціи въ періодъ буржуазнаго королевства. Не было для него, конечно, рѣшеніемъ соціальной задачи, поставленной на оче-

* Переписка Гр., стр. 272—278.

редь исторією, и торжество реакціонныхъ партій. „Такія за-дачи,—думалъ онъ, какъ передаетъ А. Станкевичъ,—не могутъ рѣшаться картечью. Насиліе, торжество произвола и грубой силы—лучшія доказательства, что порядокъ, на нихъ опирающійся и ими только охраняемый, отжилъ... Какойнибудь поздній историкъ умно и интересно будетъ объяснять все, что теперь совершается, но каково переживать это современникамъ!“ Въ тяжеломъ раздумьи о судьбахъ много-страдальной Европы, онъ часто повторялъ одно четверости-шіе Гете, которое такъ сложилось у него:

Приди и сядь со мной за пирь,
Пустое горе позабудемъ!
Гнѣтъ, какъ рыба, старый міръ,
Его мы въ прокъ солить не будемъ.

Этимъ грустнымъ раздумьемъ и желаніемъ забвенія въ чемъ бы то ни было дышать слова его въ письмѣ къ Фролову (августъ 1848 года): „Съ каждымъ днемъ чувствую болѣе и болѣе необходимость труда. Жизнь становится тяжела безъ него. Сердце бѣднѣетъ, вѣрованія и надежды уходятъ. Подчасъ глубоко завидую Бѣлинскому, во время ушедшему отсюда. Скучно жить, Фроловъ! Если бы не жена“...

Въ тогдашней русской жизни не было недостатка въ явленіяхъ, которыя нагнали бы хандру и на менѣ впечатлительнаго человѣка.

Новыя стѣснительныя мѣры противъ литературы и науки начались еще до февральской революціи. Такъ, еще въ 1845 г. повышена плата за ученіе въ университетѣ, для уменьшенія „прилива молодыхъ людей, рожденныхъ въ низшихъ слояхъ общества, для которыхъ высшее образованіе бесполезно, составляя лишнюю роскошь“ и для удержанія стремленія юношества къ образованію „въ предѣлахъ нѣкоторой соразмѣрности съ гражданскимъ бытомъ разнородныхъ сословій“.

Въ маѣ 1847 г. министръ, по поводу дѣла Костомарова, Кулиша, Шевченки и др., разослалъ попечителямъ секретный циркуляръ „для охраненія преподавателей отъ вреднаго вліянія разрушительныхъ началъ“. Циркуляръ изла-

галь, какъ надо понимать „народное начало въ видахъ правительства“, а также предостерегалъ отъ увлеченія идеями славянства.

„Словенству русскому, — говорилось въ циркулярѣ, — должна быть чужда всякая примѣсь политическихъ идей... Святая Русь бѣдствовала и страдала одна, одна проливала кровь за престолъ и вѣру... Все, что имѣемъ мы на Руси, принадлежитъ намъ однимъ, безъ участія другихъ словенскихъ народовъ“. Въ заключеніе министръ приглашалъ университетъ „показать пламенное усердіе въ развитіи русскаго просвѣщенія изъ русскаго начала нашей народности“. Бумага была направлена, такимъ образомъ, преимущественно противъ славянофиловъ, осмѣливавшихся придавать понятію о народности свой смыслъ.

Циркуляръ былъ немедленно объявленъ профессорамъ во всѣхъ университетахъ, кромѣ московскаго. Гр. Уваровъ въ письмѣ къ гр. Строганову писалъ, что предметъ циркуляра „очень тонкаго свойства и очень сложенъ“. Строганову, на сей разъ, этотъ предметъ показался совершенно справедливо настолько щекотливымъ, что онъ рѣшился на смѣлый шагъ и не исполнилъ предложенія министра объявить циркуляръ въ чрезвычайномъ собраніи профессорамъ. Конечно, нелѣпо было бы обвинять С. Г. Строганова въ желаніи противодѣйствовать видамъ правительства; мы знаемъ какъ онъ требовалъ отъ Грановскаго апологій въ формѣ лекцій, но теперь онъ затруднился подвергнуть профессоровъ — въ томъ числѣ Грановскаго, Рѣдкина, Кавелина, Кудрявцева — ничѣмъ не вызванному и несообразному внушенію, чтобъ они отнюдь не имѣли на народность иныхъ взглядовъ, кромѣ предписываемыхъ. Строгановъ официально отвѣтилъ министру, что „уеумнился придерживаться строгаго смысла этого предложенія“, а продолжаетъ дѣйствовать, какъ ранѣе, по указаніямъ того же Уварова, т. е. предоставляетъ наблюденіе за „славянскою пропагандой“ вѣдомству, которое пропагандами интересуется. Въ отвѣтъ на это гр. Строганову послѣдовалъ строжайшій выговоръ. Онъ подалъ прошеніе объ отставкѣ, но взгляды Уварова были признаны болѣе основательными, и отставка, противъ ожиданія самого Строганова,

была ему дана, къ великому горю всѣхъ друзей Московскаго университета.

„Вѣсть объ отставкѣ Строганова, — писалъ Бѣлинскій Кавелину, — огорчила меня даже помимо моихъ отношеній къ вамъ, Грановскому, Коршу“. Подобнымъ же образомъ писалъ и Хомяковъ 15 декабря 1847 г.: „Для университета, думаю, отставка Строганова мало чѣмъ легче холеры. Жаль мнѣ alma mater. Плохо ей придется отъ новаго опекуна (Голохвастова). Выместить онъ на ней долгое пренебреженіе, въ которомъ находился“ *.

Гр. С. Г. Строгановъ, къ сожалѣнію, не проявившій послѣ отставки ни малѣйшей гражданской стойкости, съ барономъ М. А. Корфомъ подали государю докладныя записки, гдѣ господство въ обществѣ превратныхъ идей объясняли слабостью министра гр. Уварова и его цензуры. 27 февраля 1848 г., шефъ жандармовъ, гр. Орловъ сообщилъ Уварову и другимъ, что „по дошедшимъ до государя императора изъ разныхъ источниковъ свѣдѣніямъ о весьма сомнительномъ направленіи нашихъ журналовъ“, на докладѣ объ этомъ онъ положилъ резолюцію: „Необходимо составить комитетъ, чтобы рассмотреть, правильно ли дѣйствуетъ цензура, и издаваемые журналы соблюдаютъ ли данныя каждому программы“. Комитетъ былъ образованъ подъ предсѣдательствомъ князя А. С. Меншикова. Въ связи съ работами этого комитета былъ созывъ, по Высочайшему повелѣнію, въ этотъ комитетъ редакторовъ издаваемыхъ въ Петербургѣ періодическихъ изданій для объявленія имъ, что „долгъ ихъ не только отклонять всѣ статьи предосудительнаго направленія, но содѣйствовать своими журналами правительству въ охраненіи публики отъ зараженія идеями, вредными нравственности и общественному порядку“. Редакторовъ предупредили, что за всякое дурное направленіе статей ихъ журналовъ, хотя бы оно выражалось косвенными намеками, они лично подвергнутся строгой отвѣтственности. Особенно подверглись внушенію „Отечественныя Записки“ и „Современникъ“ **.

* „Ж. и тр. Погодина“, IX, стр. 235—253.

** Одною изъ первыхъ жертвъ была повѣсть Салтыкова „Запутанное дѣло“, повлекшая ссылку его въ Вятку.

За симъ, вмѣсто временнаго комитета, учреждается, такъ называемый, комитетъ 2 апрѣля—для постоянного надзора за дѣйствіями цензуры. Во главѣ его стоялъ Д. П. Бутурлинъ, болѣзненно подозрительный генераль, потомъ директоръ публичной бібліотеки, находившій революціонныя строфы въ акафистѣ Покрову Божіей Матери св. Дмитрія Ростовскаго и говорившій — хотя и въ спорѣ—о необходимости подвергнуть цензурѣ Евангеліе. Въ составъ комитета входили баронъ М. А. Корфъ и сенаторъ П. И. Дегай *. Комитетъ 2 апрѣля дѣйствовалъ въ большемъ секретѣ, въ обществѣ его именовали „совѣтомъ пяти“. Министръ былъ устраненъ отъ комитета, который быстро навелъ панику своими произвольными и придирчивыми мѣрами. „Распространились слухи,—разсказываетъ Никитенко,—что комитетъ особенно занятъ отыскиваніемъ вредныхъ идей коммунизма, социализма, всякаго либерализма, истолкованіемъ ихъ и измышленіемъ жестокихъ наказаній лицамъ, которыя излагали ихъ печатно или съ вѣдома которыхъ онѣ проникали въ публику. „О. З.“ и „Совр.“, какъ водится, поставлены были во главѣ виновниковъ распространенія этихъ идей. Министръ народнаго просвѣщенія не былъ приглашенъ въ засѣданія комитета; ни отъ кого не требовали объясненій, никому не дали знать, въ чемъ его обвиняютъ, а между тѣмъ обвиненія были тяжкія. Ужасъ овладѣлъ всѣми мыслящими и пишущими. Тайные доносы и шпіонство еще болѣе усложняли дѣло. Стали опасаться за каждый день свой, думая, что онъ можетъ оказаться послѣднимъ въ кругу родныхъ и друзей“. ** Въ маѣ 1848 г., высочайшимъ повелѣніемъ по цензурѣ было приказано сообщать о всѣхъ запрещаемыхъ сочиненіяхъ и авторахъ ихъ въ III отдѣленіе Собств. Е. И. Вел. Канцеляріи.

Для характеристики дѣятельности цензуры, подъ тяжелой рукой комитета 2 апрѣля, на ряду съ преслѣдованіемъ „вольнаго духа“ въ кухонныхъ печахъ и возмутительныхъ воззваній въ нотной и транспарантной бумагѣ, можетъ служить слѣдующая мелочь, восходившая на разсмотрѣніе госу-

* Мих. Лемке; „Очерки по исторіи русской цензуры и журналистики XIX столѣтія“. Спб., 1904 г., стр. 192, 209 и слѣд.

** „Записки и дневникъ“ цензора Никитенка, I, 493—494.

даря. Въ „Сѣв. Пчелѣ“ 1849 г. № 21 появилась фельетонная замѣтка о томъ, что извозчики въ Царскомъ Селѣ и Павловскѣ не придерживаются таксы. По этому поводу послѣдовало конфиденціальное предложеніе Уварова: „Государь Императоръ изволилъ замѣтить, что цензурѣ не слѣдовало пропускать сей выходки. Каждому скромному желанію лучшаго, каждой умѣстной жалобѣ на неисполненіе закона или установленнаго порядка, каждому извѣщенію о дошедшемъ до чьего либо свѣдѣнія злоупотребленіи, указаны у насъ законные пути. Косвенныя укоризны начальству царскосельскому, а отчасти и с. петербургскому, въ приведенномъ фельетонѣ содержащаяся, сами по себѣ, конечно, не важны; но важно то, что онѣ изъявлены не передъ подлежащею властью, а преданы на общій приговоръ публики; допустивъ же единожды сему начало, послѣ весьма трудно будетъ опредѣлить, на какихъ именно предѣлахъ должна останавливаться такая литературная расправа въ предѣлахъ общественнаго устройства. Впрочемъ, какъ означенная статья напечатана въ журналѣ, вообще отличающемся благонамѣренностью и направленіемъ, совершенно соотвѣтственнымъ цѣли и видамъ правительства, то Его И. В., приписывая и эту статью только недостатку осмотрительности, высочайше изволилъ повелѣть, сдѣлать общее по цензурѣ распоряженіе, дабы впредь не было допускаемо въ печати никакихъ, хотя бы и косвенныхъ, порицаній дѣйствій или распоряженій правительства и установленныхъ властей, къ какой бы степени сіи послѣднія ни принадлежали.“ *

Относительно университетовъ также щедро примѣнялись ограничительныя мѣры. Комплектъ студентовъ былъ сведенъ до 300; желательно было, чтобы „дѣти благороднаго сословія искали преимущественно, какъ потомки древняго рыцарства, службы военной передъ службой гражданской“. Въ 1849 г. университеты лишены права избранія ректоровъ, а право избранія декановъ ограничено. Ученая дѣятельность профессоровъ и право пополненія ихъ состава новыми силами крайне затруднены. Въ 1847 г. послѣдовало распоряженіе, чтобы лекціи и рѣчи профессоровъ печатались только съ разрѣшенія

* Мих. Лемке: „Очерки по исторіи рус. цен. и журн. XIX в.“, 239—240.

попечителя; чтеніе публичныхъ лекцій съ 1848 г. разрѣшалось уже рѣдко, а печатаніе ученыхъ трудовъ встрѣчало массу препятствій (такъ, пострадало общество исторіи и древностей при московскомъ университетѣ за напечатаніе перевода сочиненія Флетчера о Россіи XVI столѣтія). Въ мартѣ 1848 г. воспрещено было отпускать и командировать за границу лицъ, служащихъ въ министерствѣ народнаго просвѣщенія; въ 1852 г. запрещено приглашать иностранныхъ ученыхъ; около этого же времени ограничено, несмотря на заявленіе министра, право университетовъ выписывать изъ за границы безъ цензуры книги и періодическія изданія. Съ начала 1850 г. введенъ систематическій контроль за преподаваніемъ по программамъ. Идеаломъ ихъ было, — по словамъ проф. Рѣдкина, — „устроить преподаваніе въ нашихъ университетахъ законовъ такъ, чтобы во всѣхъ университетахъ въ одинъ извѣстный день и часъ проходило, т. е. просто прочитывалось изъ Свода каждымъ преподавателемъ по своей части именно столько-то статей, безъ какого бы то ни было отступленія отъ порядка Свода, безъ замѣчанія или даже перефразы“. Государственное право европейскихъ державъ, „потрясенныхъ внутренними крамолами и бунтами въ самыхъ основаніяхъ своихъ“, было въ 1849 г. „по нетвердости началъ и неудовлетворительности выводовъ“ исключено вовсе изъ числа предметовъ университетскаго преподаванія. Въ 1850 г. философія признана, „при современномъ предосудительномъ развитіи этой науки германскими учеными“ бесполезною, за исключеніемъ логики и психологіи. Послѣднія поручены профессорамъ богословія, дабы „сроднить“ эти науки „съ истинами откровенія“. Бывшій этико-политическій факультетъ превратился въ юридическій, а философскій — раздѣленъ на физико-математическій и историко-филологическій. Наконецъ, въ 1854 г. введено преподаваніе артиллеріи и фортификаціи*.

Слѣдуетъ еще остановиться на „Наставленіи ректору и деканамъ юридическаго и перваго отдѣленія философскаго факультета“, данномъ 24 окт. 1849 г. Оно совершенно выра-

* Джаншіевъ: „Эпоха вел. реформъ“ (Университ. уставъ); Левшинъ: „Т. Н. Грановскій“, и др.

жаеть новую точку зрѣнія на науку и литературу. Въмѣсто преслѣдованія неопредѣленнаго призрака якобинизма, съ которымъ ранѣе отождествлялись вещи вродѣ скабрёзныхъ стишковъ Лермонтова и Полежаева, теперь имѣются въ виду именно тѣ социальна-экономическія идеи, которыя заявили о себѣ въ Европѣ въ 1848 г. такъ громко. Въ наставленіи, не подлежащемъ огласкѣ, предписывалось ректору и деканамъ обратить специально бдительное вниманіе на тѣ предметы, „которыхъ изложеніе, по предосудительному духу настоящаго времени, можетъ подавать неблагонамѣренности болѣе случаевъ ко внушенію молодымъ людямъ неправильныхъ и превратныхъ понятій о предметахъ политическихъ. Таковы, напримѣръ, государственное право, политическая экономія, наука о финансахъ и всѣ вообще историческія науки, возможность злоупотребленія коихъ не подлежитъ сомнѣнію“. Въ инструкціи, конечно, указывалось на необходимость немедленнаго отстраненія зловредныхъ мнѣній политическаго характера и вообще на то, что „ректоры и деканы не дозволяютъ въ программахъ и преподаваніи ничего, могущаго ослабить чувства преданности, вѣрности и покорности Высочайшей власти и законамъ отечественнымъ“. „Въ ректорѣ и деканахъ,—гласилъ далѣе пунктъ 5-й,—предполагается ясное понятіе о возникшихъ въ наше время, преимущественно во Франціи, разныхъ политико-экономическихъ системахъ, каковы сенсимонисты, фурьеристы, социалисты и коммунисты, въ особенности о двухъ послѣднихъ, имѣющихъ столь важную роль въ современныхъ событіяхъ на западѣ Европы. Основная мысль ихъ, какъ извѣстно, есть достиженіе всѣми возможными средствами безусловнаго равенства. Объявивъ непримиримую войну всему, что возвышается надъ безземельною и бездомною чернью, коммунизмъ нагло подводитъ подъ свой желѣзный уровень всѣ состоянія, съ уничтоженіемъ всякихъ отличій породы, заслугъ, богатства и даже ума. Слѣдя внимательно за развитіемъ столь гибельнаго и, по несчастію, преуспѣвающаго мнѣнія въ Европѣ, ректоръ и деканы будутъ тщательно отсѣкать въ разсматриваемыхъ ими программахъ и воспрещать въ устномъ преподаваніи съ каедръ все, что можетъ даже и косвенно содѣйствовать къ распространенію у насъ этихъ раз-

рушительныхъ началъ или служить имъ нѣкоторой опорой. Къ сему относятся разсужденія, имѣющія цѣлью унижить достоинство и пользу какого бы то ни было сословія въ государствѣ или поколебать установленныя законами отношенія между разными состояніями, двусмысленные или сомнительные намеки насчетъ несбыточныхъ теорій объ общности капиталовъ и недвижимыхъ имуществъ, однимъ словомъ, всякаго рода попытки притязанія пролетаріевъ къ общественной и частной собственности“. Наконецъ, 6-й пунктъ „наставленія“ запрещалъ касаться отношеній между крестьянами и помещиками *.

Приведенный пятый пунктъ „наставленія“, очевидно, былъ въ связи съ извѣстнымъ дѣломъ Буташевича-Петрашевскаго. Оно для нашего разсказа интересно, между прочимъ, какъ образецъ крайней подозрительности, господствовавшей тогда, такъ что, напр., могли понять буквально и поставить въ вину, достойную смертной казни, слѣдующія наивно-пылкія слова одного юнаго фурьериста изъ этого кружка, Д. Д. Ахшарумова: „Разрушить столицы, города и всѣ матеріалы ихъ употребить для другихъ зданій, и всю эту жизнь мученій, бѣдствій, нищеты, стыда, срама — превратить въ жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить въ цвѣтахъ—вотъ цѣль наша!“ **

О дѣлѣ Петрашевскаго приходится упомянуть здѣсь и потому, что косвенно въ него оказался запутанъ и Грановскій, а именно—найдено было письмо поэта Плещеева къ Дурову изъ Москвы, въ которомъ онъ разсказывалъ о московскихъ профессорахъ, особенно восторженно отзываясь о Грановскомъ, а также о Кудрявцевѣ и Соловьевѣ. О Грановскомъ Плещеевъ писалъ, что это „человѣкъ чрезвычайно живой, энергичный, бойкій, вѣчно держащій оппозицію здѣшнему университетскому начальству, которое до того подло и гнусно, что трудно вообразить себѣ“. По поводу этого письма коммиссія по дѣлу Петрашевскаго запросила о Грановскомъ московскаго

* Скабичевскій: „Очерки по исторіи русской цензуры“, стр. 341—343.

** Сборникъ правовѣднѣя и общественныхъ знаній, т. I, въ статьѣ В. И. Семевского о взглядахъ Салтыкова на крестьянскій вопросъ.

генераль-губернатора, гр. Закревскаго, и послѣдній, хотя и получилъ отъ попечителя, Голохвастова самый успокоительный отзывъ, доносилъ, что Грановскій человекъ „характера пылкаго, но непостояннаго и готовъ сближаться съ каждымъ, въ прошедшемъ году намѣревался выйти въ отставку, но сего не исполнилъ и на первой лекціи настоящаго курса сказалъ въ объясненіе своихъ поступковъ: „вновь принимаюсь за дѣло, но не съ той охотой, какъ прежде. Я имѣлъ намѣреніе оставить университетъ, но по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ принужденъ опять продолжать“. Съ студентами онъ обходится, какъ съ товарищами, чрезвычайно ими любимъ и потому имѣеть на нихъ большое вліяніе...“ Закревскій нашелъ необходимымъ, въ виду любви къ Грановскому со стороны студентовъ и общества, учредить надъ нимъ и Кудрявцевымъ строжайшій секретный надзоръ, какъ надъ людьми самыми подозрительными, впредь до принятія рѣшительныхъ мѣръ *.

Мнительность гр. Закревскаго простиралась не на одного Грановскаго. Позднѣе, въ 1858 г., онъ аттестовалъ М. П. Погодина, какъ „корреспондента Герцена и литератора, стремящагося къ возмущенію“, Ю. Ѳ. Самарина—какъ „славянофила и литератора, желающаго безпорядковъ и на все готово“, даже престарѣлаго М. С. Щепкина, плакавшаго отъ мадѣйшаго волненія, — какъ человекъ, „желающаго переворотовъ и на все готово“. Но эта мнительность была со стороны представителей власти явленіемъ типическимъ для той смутной эпохи. Самъ гр. Уваровъ, съ его мечтою хоть на 50 лѣтъ задержать развитіе Россіи, авторъ девиза „православіе, самодержавіе, народность“, оказался черезчуръ либеральнымъ министромъ народнаго просвѣщенія и былъ подозрителенъ послѣ упомянутыхъ докладныхъ записокъ, повлекшихъ за собой основаніе комитета 2 апрѣля.

Въ началѣ осени 1848 г. министръ посѣтилъ Москву и университетъ, при чемъ отнесся къ Грановскому весьма любезно. Изъ Москвы, въ свое имѣніе Порѣчье, министръ отправился совмѣстно съ Шевыревымъ, Погодинымъ, Грановскимъ, Семе-

* „Свѣд. Вѣстникъ“. 1896 г., № 1; В. Мякотинъ: „Профессоръ сороковыхъ годовъ, Т. Н. Грановскій“, въ книгѣ „Изъ исторіи русскаго общества“, стр. 367—369.

новымъ и Окуловымъ. Гости читали предъ меценатомъ-хозяйномъ и его семействомъ цѣлыя лекціи и Грановскій читаль „О переходныхъ эпохахъ въ исторіи человѣчества“.

Съ 10-го по 28-е сентября министръ обозрѣвалъ московскій университетъ, бесѣдовалъ съ профессорами, слушалъ ихъ лекціи и проч. 13 сентября онъ присутствовалъ на лекціи Грановскаго „о характерѣ исторіи среднихъ вѣковъ“. „Послѣ всякой прослушанной лекціи онъ входилъ въ разсужденіе съ профессоромъ объ ея предметѣ въ частности и о предметѣ всей науки вообще, о современномъ ея состояніи и главныхъ дѣятеляхъ, и, наконецъ, о духѣ, въ какомъ она должна быть преподаваема“ *. Кромѣ духа профессоровъ, испытать былъ и духъ студентовъ, для чего студенты приглашены были изложить предъ нимъ публично свои свѣдѣнія на избранныя ими самими темы. По мнѣнію министра, эти бесѣды „служили, такъ сказать, зеркаломъ, въ коемъ непосредственно отражались и духъ преподаванія профессоровъ, и собственный взглядъ молодыхъ людей на предметы ихъ занимающіе“. Постановкою преподаванія министръ остался очень доволенъ, и въ этомъ духѣ донесъ государю. Послѣдовало нѣсколько наградъ, въ томъ числѣ Грановскому было изъявлено монаршее благоволеніе. Къ опыту бесѣдъ государь отнесся, однако, неодобрительно: „Подобныя рѣчи съ каеэдръ студентовъ считаю полезными только и единственно для тѣхъ изъ нихъ, которые сами готовятся служить по ученой или учебной части; для прочихъ же считаю сіе рѣшительно вреднымъ и не могу дозволить продолжать сего, ибо оно вселяетъ въ нихъ привычку и желаніе блистать краснорѣчіемъ, что противно духу нашихъ постановленій и вовсе бесполезно“ **. Кромѣ того, когда въ 7-мъ номерѣ „Москвитянина“ появилась статья Погодина „Почетный гость въ стѣнахъ Университета“, комитетъ 2 апрѣля 1848 г. обратилъ вниманіе на фразу „становится необходимымъ стать за Университетъ во имя просвѣщенія“, какъ на крайне предосудительную ***.

* Барсуковъ: „Ж. и тр. Погодина“, X, 139 и слѣд.

- ** Ibid., стр. 145

*** Ibid.

Оскорбляемый комитетомъ 2 апрѣля, Уваровъ не успокоился. Знакомый читателю И. И. Давыдовъ, въ это время уже директоръ педагогическаго института въ Петербургѣ, напечаталъ въ мартовской книжкѣ „Современника“ за 1849 г. статью „О назначеніи русскихъ университетовъ“. Статья была исправлена, дополнена и разрѣшена къ печатанію самимъ Уваровымъ, въ опроверженіе упорныхъ слуховъ о предстоящемъ закрытіи университетовъ. Нечего и говорить, что она составлена была въ самомъ раболѣпномъ духѣ, но она хотѣла „показать назначеніе и благотворное участіе русскихъ университетовъ въ общественномъ образованіи“, желала „обнаружить легкомысліе“ и „уличить въ несправедливости“ „легкомысленныхъ мечтателей“, которые были противъ „праваго дѣла“ университетовъ. При всей своей невинности, статья, со своей защитой университетовъ, а также классическаго образованія, взятаго тогда же подъ сомнѣніе, шла рѣшительно въ разрѣзъ реакціонной волнѣ и произвела переполохъ въ комитетѣ 2 апрѣля. Уваровъ получилъ за нее Высочайшій выговоръ. Задѣтый за живое, онъ пробовалъ оправдаться во всеподданнѣйшей докладной запискѣ, гдѣ между прочимъ — нѣсколько поздно — долженъ былъ признаться, „что стремленіе, не довольствуясь видимымъ смысломъ, прямыми словами и честно высказанными мыслями, доискиваться какого-то внутренняго смысла, видѣтъ въ нихъ одну лживую обстановку, подозрѣвать тайное значеніе, что это стремленіе неизбежно ведетъ къ произволу и несправедливымъ обвиненіямъ“. Докладная записка никакихъ послѣдствій не имѣла; зато подтверждено было 21 апрѣля, что „всѣ статьи въ журналахъ за университеты и противъ нихъ рѣшительно воспрещаются въ печати“. Не имѣлъ успѣха и проектъ цензурной реформы, выдвинутый Уваровымъ въ пику комитету 2 апрѣля. Отставка Уварова, заболѣвшаго отъ огорченія, послѣдовала осенью того же года*.

Уварова замѣнилъ ревностный приверженецъ взглядовъ адмирала Шишкова, кн. П. А. Ширинскій-Шихматовъ, назначеніе котораго, давало поводъ острякамъ передѣлывать фамилію его въ Шахматова и говорить, что просвѣщенію въ

* „Ж. и тр. Погодина“, X, стр. 524—538.

Россіи данъ шахъ и мать. По разсказу М. А. Корфа, управляя министерствомъ въ качествѣ товарища министра, Шихматовъ представилъ записку государю о необходимости преобразовать преподаваніе въ университетахъ такимъ образомъ, чтобы впредь всѣ положенія и выводы науки были основываемы не на умственныхъ, а на религіозныхъ истинахъ, въ связи съ богословіемъ. Государю такъ понравилась эта мысль, что онъ призвалъ передъ себя сочинителя записки, и Шихматовъ устнымъ развитіемъ своего предложенія до того успѣлъ удовлетворить августѣйшаго слушателя, что немедленно, по его выходѣ, государь сказалъ присутствовавшему при докладѣ цесаревичу: „Чего же намъ искать еще министра просвѣщенія? Вотъ онъ найденъ“. Ширинскій-Шихматовъ откровенно подалъ руку комитету 2 апрѣля и указанія его принималъ не какъ посягательство на свою самостоятельность, но какъ дружжелюбную помощь и содѣйствіе для достиженія общей цѣли — сообщенія литературѣ болѣе удовлетворительнаго направленія *.

Съ 7-го марта 1853 г. управленіе минист. нар. просвѣщенія перешло къ А. С. Норову. Авторъ книги „По святымъ мѣстамъ“, новый министр шелъ по стопамъ своего предшественника.

Въ концѣ концовъ, реакціонное теченіе дошло до того, что стали заботиться „не только о томъ, чтобы въ прессѣ не было пропаганды какихъ либо предосудительныхъ идей, но чтобъ о нихъ не упоминалось даже и въ отрицательномъ, полемическомъ духѣ, какъ будто этихъ идей совсѣмъ не существовало“ **. Нелишне будетъ, однако, замѣтить, что между реакціей 1848—55 гг. и реакціей первыхъ годовъ царствованія государя Николая Павловича было въ этомъ отношеніи одно немаловажное различіе. Выше, говоря о внѣшнихъ условіяхъ литературы 40-хъ годовъ, мы старались показать, что тогда игнорировали существованіе какихъ бы то ни было идей вполне искренно. Теперь онѣ, напротивъ того, были весьма послѣдовательно — съ реакціонной

* М. Лемке: „Очерки по исторіи русской цензуры и журнал. XIX стол.“, стр. 240—247.

** Скабичевскій: „Очерки исторіи цензуры“, 360.

точки зрѣнія—раздѣлены на предосудительныя и допустимыя. Это было въ своемъ родѣ немаловажнымъ шагомъ впередъ: на самомъ дѣлѣ существованіе ихъ и значеніе были признаны.

Нечего и говорить, что современники не могли оцѣнить этого прогресса *sui generis*. У нихъ безсильно опускались руки.

Вліяніе усиленно реакціонной политики на русское общество ярко изображено, между прочимъ, никѣмъ инымъ, какъ пѣвцомъ Уварова и официальной народности, Погодинымъ въ его письмѣ „О вліяніи внѣшней политики на внутреннюю“ (1854 г.).

„Ученое начальство обратило исключительное вліяніе на внѣшнюю сторону своихъ заведеній, на форму, на, такъ называемую, нравственность... Дарованія не одобрялись, а унижались... Объ ученѣ перестало оно заботиться: лишь бы комнаты были чисты и ученики тихи... Безпечность, лѣнь и посредственность ободрялись, и невѣжество съ гордостью подняло голову, и начали выходить изъ всѣхъ нашихъ учебныхъ заведеній люди не воспитанные, а дрессированные, машины, лицемѣры, такіе исполнители, которыхъ достаточно было на обыкновенное время, а чуть обстоятельства стали помудренѣе, такъ и не сыскалось ни въ которомъ вѣдомствѣ, за кого взяться“. Литература подверглась такому же гоненію. Предписаніе за предписаніемъ и въ высочайшихъ уставахъ не осталось ни одной живой строки. Ни о какомъ предметѣ богословскомъ, философскомъ, политическомъ нельзя стало писать. Никакого злоупотребленія нельзя стало выставлять на сцену, даже издали... Цѣлые періоды исторіи исключены, а о настоящихъ сословіяхъ, вѣдомствахъ и думать было страшно... Книжная торговля въ послѣднія пять лѣтъ представляетъ одни банкротства. Сама публика пропиталась цензурнымъ духомъ... Такъ что порядочные люди рѣшились молчать, и на поприщѣ словесности остались одни голодные псы, способные лаять или лизать. Печатать стало ничего нельзя, а говорить еще менѣе, ибо незваныхъ слушателей даже больше, чѣмъ привилегированныхъ цензоровъ... Малѣйшій знакъ неудовольствія вмѣнялся въ преступленіе... Во всякомъ незнакомомъ

человѣкъ предполагался шпионъ, и печатью молчанія запечатались всѣ уста... Тогда зеленые ломберные столы замѣнили всѣ кафедры и трибуны, а карты, карты, единственное утѣшеніе, драгоценный предметъ глубокихъ размышлений и горячихъ преній, сладчайшее занятіе, единственное искусство, покровительствуемое правительствомъ, сдѣлалось самымъ важнымъ препровожденіемъ времени, дороже всѣхъ хартій и конституцій, настоящее Habeas corpus, въ буквальномъ смыслѣ слова!

„Общество быстро погружается въ варварство, — писалъ цензоръ Никитенко въ своемъ дневникѣ 28 марта 1850 г.— Спасай, кто можетъ, свою душу!“ *

Пусть сгинетъ все, къ чему сурово
Такъ долго духъ направленъ былъ!

— въ отчаяніи восклицалъ И. С. Аксаковъ:—

Трудилась мысль, дерзало слово,
Въ запасѣ много было силъ...
Слабѣйте, силы! вы не нужны!
Смирися, духъ! давно пора!
Разсѣйтесь всѣ, кто были дружны
Во имя правды и добра!

Послѣ всего вышесказаннаго читателя не удивить и слѣдующее письмо Грановскаго къ Герцену, которое характеризуетъ и положеніе его въ университетѣ, и нравственное состояніе въ виду того, что дѣлалось тогда на Руси.

„Положеніе наше становится нестерпимѣе день ото дня, — писалъ Грановскій. — Всякое движеніе на Западѣ отзывается у насъ стѣснительною мѣрой. Доносы идутъ тысячами. Обо мнѣ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ два раза наводили справки. Но чтó значитъ личная опасность въ сравненіи съ общимъ страданіемъ и гнетомъ“. Грановскій упоминаетъ далѣе о предположеніяхъ закрыть университеты, о мѣрахъ, принятыхъ противъ нихъ; замѣчаетъ, что господствовавшая тогда система „громко говорила, что она не можетъ ужиться съ просвѣщеніемъ“; упоминаетъ о программѣ новаго преподаванія для кадетскихъ корпусовъ. „Иезуиты позавидовали бы военному пе-

* „Записки и дневникъ“, I, 519.

дагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетамъ, что величіе Христа заключалось преимущественно въ покорности властямъ. Онъ выставляется образомъ подчиненія и дисциплины. Учитель исторіи долженъ разоблачать мишурныя добродѣтели древнихъ республикъ и показать величіе непонятой историками Римской имперіи, которой недоставало только одного — наслѣдственности!.. * Есть съ чего сойти съ ума. Благо Бѣлинскому, умершему во время. Много порядочныхъ людей впали въ отчаяніе и съ тупымъ спокойствіемъ смотрять на происходящее—когда же развалится этотъ міръ?.. Я рѣшилъ не идти въ отставку и ждать на мѣстѣ совершенія судебъ. Кое-что можно дѣлать, пусть выгоняютъ сами“ **.

То небольшое „кое-что“, что вообще стало возможно Грановскому при новыхъ условіяхъ, состояло изъ литературной дѣятельности, изъ профессорской, гдѣ болѣе всего онъ могъ дѣйствовать личнымъ своимъ обаяніемъ, и затѣмъ изъ негласнаго предствательства передъ властями, часто рискованнаго, въ его положеніи профессора, за интересы науки и литературы.

Что касается литературы, то вышеуказанное внѣшнее положеніе ея менѣе всего благопріятствовало литературной производительности. Русскому писателю болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, приходилось не выяснять свою мысль, но закутывать ее въ непроницаемый туманъ. Естественно, что и Грановскій, отдававшійся литературной работѣ не иначе, какъ подъ вліяніемъ вдохновенія, поддерживаемый и ободряемый участіемъ друзей и читателей—не чувствовалъ теперь охоты къ ней. Въ расчетѣ на то, что книги легче журнальныхъ статей проходить сквозь строй общихъ и специаль-

* Объ этой программѣ, составленной Я. Ростовцевымъ, см. въ статьѣ В. Мякотина, „Р. Б.“, 1896 г., № 7, стр. 54; тамъ же—объ аналогичномъ „наставленіи“ для институтовъ, въ которомъ заявлялось, что для женщины исполненіе священныхъ обязанностей супруги и матери „и лучше, и выше всякихъ познаній географическихъ и историческихъ“, предписывалось на урокахъ географіи объ образѣ правленія въ разныхъ государствахъ „упоминать какъ можно короче“ и т. д.

** Объ отношеніи Грановскаго и его друзей къ тогдашнему положенію, кромѣ „Былого и Думъ“ и указанныхъ уже сочиненій, см. также Пыпина: „Характеристики“, гл. X.

ныхъ цензуръ (Никитенко, въ дневникѣ, подъ 22 марта 1850 г., насчитываетъ ихъ — 12!), Грановскій съ Фроловымъ хотѣли заняться издательствомъ переводныхъ ученыхъ сочиненій, преимущественно по исторіи. Но и это оказалось невыполнимымъ.

Насколько трудно было Грановскому, при всей сдержанности и миролюбіи его манеры, ладить съ внѣшними условіями литературной работы въ это время, — показываетъ исторія его докторской диссертациі. Она появилась въ печати осенью 1849 года, а въ декабрь Грановскій писалъ о ней Фролову: „Здѣсь носятя престранные слухи о невинной книжкѣ: въ ней вычитываютъ то, чего я не думалъ писать. Всѣ прежніе враги мои поднялись на ноги“. Какъ и магистерская диссертациа, „Аббатъ Сугерій“ Грановскаго, статья въ духѣ Гизо, написанная въ самыхъ безобидныхъ выраженіяхъ, не можетъ представить современному, не подготовленному читателю ничего, что могло бы оправдать придирки. Только вообразивъ себѣ всю тогдашнюю атмосферу подозрительности, можно до нѣкоторой степени догадаться, что именно могло возбудить добровольцевъ-защитниковъ будто бы колеблемыхъ основъ. Грановскій всѣмъ извѣстенъ былъ, какъ врагъ Шевыревыхъ и Давыдовыхъ, какъ другъ Герцена, который остался за границей, какъ другъ Бѣлинскаго, имя котораго теперь не могло появляться въ печати. Содержание диссертациі подверглось, при такихъ побочныхъ соображеніяхъ, неожиданнымъ превращеніямъ. Она характеризовала человѣка, при посредствѣ котораго окрѣпла и развилась во Франціи монархическая власть, призванная поддержать справедливость и порядокъ среди феодалныхъ смуть. При желаніи не трудно было истолковать это чисто фактическое изслѣдованіе хотя такимъ образомъ: Не есть ли указаніе на роль Сугерія въ развитіи монархической власти во Франціи — опасный намекъ на человѣческое, якобы, а не божественное происхожденіе монархической идеи? А не послужатъ ли разсужденія о томъ, что монархія дала Франціи справедливость и порядокъ, къ опасному выводу, что монархія можетъ и не давать справедливости и порядка? и т. д. Была бы охота, а при проникновеніи въ тайныя и сокровенныя мысли автора границы для подобныхъ, столь же

основательныхъ заключеній нѣтъ никакой, —а такой охоты въ это время было сколько угодно.

Примѣръ подобной придирчивой критики, съ глухими намеками на отсутствіе въ авторѣ диссертациі патриотизма, данъ былъ, напр., въ „Москвитяинѣ“ Погодинымъ. Попрекнувъ Грановскаго недостаточнымъ прилежаніемъ, а, впрочемъ, отдавая должную дань уваженія его литературному таланту, Погодинъ говоритъ: „Т. Н. Грановскій въ разсужденіи объ аббатѣ Сюжерѣ причисляетъ къ его высокимъ политическимъ достоинствамъ то, что онъ первый созналъ единство Франціи, несмотря на бывшее тогда раздѣленіе феодальное. Это сознание имѣетъ отношеніе и къ его глубокой системѣ, переданной отъ него воспитаннику, Людовику VI. Представляю здѣсь нѣсколько (изъ множества) свидѣтельствъ лѣтописей, что у насъ понятіе объ единствѣ, цѣлости началось гораздо прежде, чѣмъ на Западѣ. Оно было общее и исконное, никогда не прерывалось между князьями, духовенствомъ, воями, народами, лѣтописателями, несмотря ни на какое раздѣленіе, чувствовалось живо и приносило плоды“. Далѣе слѣдовали выписки изъ лѣтописей *. Все это было очень хорошо, но ужъ вовсе не кстати, было въ сущности повтореніемъ той же претензіи, какая высказывалась при первомъ публичномъ курсѣ Грановскаго, именно: почему онъ, говоря о Западѣ, не восхваляетъ Востока.

Въ угоду придирчивой цензурѣ и по распоряженію ректора Перевощикова, Грановскому пришлось перемѣнить первоначальное заглавіе диссертациі: „Объ общинахъ во Франціи“ и во многомъ сократить ее, такъ что содержаніе и сузилось, и обмелѣло. Но толки не прекратились и тогда, когда онъ съ успѣхомъ защитилъ ее 19 дек. 1849 г. Объ оваціяхъ, которыми сопровождалась защита магистерской диссертациі, теперь — при 3-сотенномъ комплектѣ студентовъ и новыхъ строжайшихъ правилахъ для нихъ—не могло быть и рѣчи. Успѣхъ былъ преимущественно академическій, и, по злостному увѣренію О. Бодянскаго въ его дневникѣ, всѣ согласны были въ томъ, что диспутъ „былъ заранѣе подготовленъ и

* „Ж. и тр. Погодина“, X, стр. 559—567.

состоялъ во взаимномъ восхваленіи. Этого и надобно было ожидать, потому что обязанными возражателями (назначенными деканомъ заблаговременно) были его два ученика, С. М. Соловьевъ и П. Н. Кудрявцевъ, первый — проф. русской исторіи, а второй — адъюнктъ докторанта“.

Во время диспута произошло—было минутное замѣшательство вслѣдствіе того, что кто-то изъ посѣтителей, когда началъ свои возраженія Шевыревъ, бросилъ нѣсколько хлопучекъ. Никакого особаго безпорядка не произошло, и диспутъ не прерывался. Тѣмъ не менѣе этотъ глухой случай вызвалъ мѣры, ограничивавшія доступъ публики на ученые диспуты не только въ Москвѣ, но и во всѣхъ университетахъ, а именно: посѣтители стали получать право входа лишь по особымъ пригласительнымъ билетамъ отъ ректора.

„Обвиненія, поднявшіяся противъ диссертациі, выросли въ обвиненія противъ всей профессорской дѣятельности Грановскаго, — рассказываетъ его біографъ.— По слухамъ, доходившимъ до него, его обвиняли въ томъ, что въ чтеніяхъ исторіи онъ будто никогда не упоминаетъ о волѣ и рукѣ Божіей, управляющихъ событіями и судьбами народовъ. Вслѣдствіе такихъ толковъ Грановскій вскорѣ долженъ былъ принести свои объясненія митрополиту московскому Филарету. Явившись къ нему, онъ принялъ его благословеніе и поцѣловалъ руку. „Я давно слѣжу за вашей дѣятельностью, — говорилъ ему мудрый глава московской церкви:— она оказываеъ сильное вліяніе на умы юношества, талантъ вашъ извѣстенъ, но въ вашей дѣятельности есть что-то скрытое, въ ней будто таится невысказанная мысль“. Грановскій въ отвѣтъ упомянулъ о невозможности отвѣчать на неопредѣленные обвиненія, о томъ, что можно требовать, чтобы преподаватель не пользовался наукой для постороннихъ ей цѣлей, но что пока она существуетъ, нельзя избѣгнуть выводовъ или толкованій, можетъ быть, и не всегда справедливыхъ. „Вы, кажется, думаете, — продолжалъ митрополитъ, — что я намѣренъ вступать съ вами въ пренія.. Я не для того вижу съ вами“. Грановскій отвѣчалъ съ глубокимъ поклономъ: „Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ удалиться, объясненія мои съ вами были бы при неравныхъ условіяхъ“. Кроткій пастырь движеніемъ руки пригласилъ Грановскаго са-

даться. „Вы меня не так поняли“, — сказалъ онъ и началъ разговоръ о диссертациі Грановскаго. Отвѣчая на замѣчанія митрополита, Грановскій заключилъ свое объясненіе ссылкою на личный опытъ пастыря, краснорѣчіе и духовныя произведенія котораго, какъ извѣстно, также нѣкогда возбуждали противъ себя обвиненія и порицанія. „Вы ранѣе меня начали свое поприще, — сказалъ онъ, — и уже могли испытать, какъ трудно бываетъ уложить свою мысль въ слово такъ, чтобы она не допускала никакого толкованія“*. Митрополитъ простился съ Грановскимъ, осѣнивъ его своимъ благословеніемъ.

Въ 1851 г. историко-филологическій факультетъ избралъ Грановскаго деканомъ, забаллотировавъ Шевырева. По словамъ записокъ С. М. Соловьева и дневника Никитенка, Грановскій не былъ утвержденъ по проискамъ Шевырева. Письмо послѣдняго („Ж. и тр. Погод.“, XI, стр. 253) къ Погодину, отъ 12 іюня 1851 г., говоритъ, что Грановскій взошелъ къ Назимову съ письмомъ, „въ которомъ проситъ уволить его отъ этой должности, потому что имѣетъ въ виду занятія по учебнику исторіи“. Было ли письмо это написано подъ впечатлѣніемъ возможныхъ намековъ Грановскому, что ему слѣдуетъ отказаться, какъ бы то ни было, на мѣсто Грановскаго былъ назначенъ Шевыревъ.

Какъ ни трудно было положеніе Грановскаго при такихъ условіяхъ, онъ держался за него всѣми силами, рѣшившись не уходить, пока прямо не прогоняютъ. „Въ 1848—55 годы, встрѣчая Грановскаго на кафедрѣ, — говоритъ Герценъ, — становилось легче на душѣ. „Не все еще погибло, если онъ продолжаетъ свою рѣчь“, — думалъ каждый и свободнѣе дышалъ“. Но само

* Послѣ закрытія библейскихъ обществъ и цензурныхъ гоненій Шишкова, Филаретъ, — рассказываетъ, напр., г. Скабичевскій („Оч. по ист. рус. ценз.“, 226), — считая себя обиженнымъ, произнесъ на молебствіи по случаю холеры проповѣдь на текстъ, какъ ангелъ предложилъ Давиду въ наказаніе избрать войну, голодъ или морь; Давидъ избралъ морь. Государь пріѣхалъ въ Москву, разсерженный этой выходкой митрополита, и послалъ министра двора, кн. Волконскаго сдѣлать Филарету строгій выговоръ. грозя отпроевить его митрополитомъ въ Грузію. Филаретъ смиренно покорился и разослалъ новое слово по всѣмъ церквамъ, въ которомъ пояснял, что напрасно стали бы искать какое-нибудь приложеніе въ текстѣ первой проповѣди къ благочестивѣйшему Императору, что Давидъ—это мы сами, погрязшіе во грѣхахъ. Разумѣется, тогда и тѣ поняли первую проповѣдь, которые не добрались до ея смысла сразу.

собою разумѣется, что собственно прямого общественнаго значенія его дѣятельность теперь не могла имѣть почти никакого. Онъ сталъ теперь рядомъ съ любимымъ изъ товарищей своихъ, не ронявшихъ въ это смутное время достоинства науки, но и не олицетворявшихъ науки, которая съ сознаниемъ своего значенія выходитъ на общественное поприще. Двое изъ этихъ товарищей въ особенности пытались отстаивать интересы науки и подымали ее на ту высоту, какая была возможна. То были С. Соловьевъ, собственно мало сходящийся съ Грановскимъ, и неразлучный другъ послѣдняго, Кудрявцевъ.

„Три крупныя свѣтила, профессора Т. Н. Грановскій и знаменитые ученики его, С. М. Соловьевъ и П. Н. Кудрявцевъ, составляли славу и гордость нашего университета,—вспоминаетъ одинъ изъ учениковъ ихъ *.—Несмотря на тяжелыя испытанія, налегшія на него въ видѣ такъ называемаго „ніколаевского штата“, не пускавшаго учиться на всѣ факультеты вмѣстѣ, кромѣ медицинскаго, болѣе 300 человекъ; несмотря на строгія запрещенія, поражавшія самое существо лекцій и не дававшія профессорамъ возможности даже затрогивать новую исторію Европы, наши „историки“ умѣли однако, силой своихъ знаній, высокихъ личныхъ талантовъ и благородства, охранить университетскую науку отъ зловредныхъ примѣсей, низводившихъ ее на служебную роль господствовавшей тогда политикѣ, и изъ чистаго источника неподкупной исторіи надѣлать своихъ слушателей запасомъ высокихъ, руководящихъ въ жизни каждого принциповъ истины, добра и красоты. И развѣ это не есть великое достояніе, за которое мы, тогдашніе студенты-филологи, должны до гробовой доски сохранять свѣтлую память о своихъ учителяхъ? Это достояніе вознаградило насъ за скудость знаній, сообщенныхъ намъ по другимъ отраслямъ университетской науки“.

Ученикомъ ихъ въ это самое время былъ и К. Н. Бестужевъ-Рюминъ; въ своихъ „Біографіяхъ и характеристикахъ“ онъ, между прочимъ, живо изображаетъ профессорскую дѣятельность этихъ лицъ и различія между ними.

„Для Соловьева, какъ и для Грановскаго, — пишетъ

* М. Щепкинъ: „Страничка изъ моихъ воспоминаній“. По поводу поминковъ по С. М. Соловьеву. „Рус. Вѣд.“, 1904 г., октябрь.

онъ, — въ этомъ ихъ самое большое сходство, — исторія была наука, по преимуществу воспитывающая гражданина. Для того и для другого поучительный характеръ исторіи заключался не въ тѣхъ прямыхъ урокахъ, которыми любила щеголять историографія XVIII вѣка и которыми богаты страницы Карамзина, гдѣ выставляются герои добродѣтели, какъ на монтионовскихъ состязаніяхъ, въ примѣръ для подражанія, чудовища порока, какъ спартанскіе пьяные илоты, въ примѣръ того, чего должно избѣгать; нѣтъ, ни тотъ, ни другой изъ незабвенныхъ профессоровъ не считалъ исторіи „зерцаломъ добродѣтели“, но каждый изъ нихъ имѣлъ въ виду другую цѣль: они старались воспитать въ своихъ слушателяхъ сознание вѣчныхъ законовъ историческаго развитія, уваженіе къ прошлому, стремленіе къ улучшенію и развитію въ будущемъ; они старались пробудить сознание того, что успѣхи гражданственности добываются труднымъ и медленнымъ процессомъ, что великіе люди суть люди своего общества и представители его, что имъ нужна почва для дѣйствія; не съ насмѣшкою сожалѣнія относились они къ прошлому, но со стремленіемъ понять его въ немъ самомъ и въ его отношеніяхъ къ настоящему. „Спросимъ человѣка, съ кѣмъ онъ знакомъ, и мы узнаемъ человѣка; спросимъ народъ объ его исторіи, и мы узнаемъ народъ“. Этими словами Соловьевъ началъ свой курсъ 1848 года, когда я имѣлъ счастье его слушать: въ исторіи народа мы его узнаемъ, но только въ полной исторіи, въ такой, гдѣ на первый планъ выступаютъ существенныя черты, гдѣ все случайное, несущественное отходитъ на второй планъ, отдается въ жертву собирателямъ анекдотовъ, любителямъ „куръезовъ и раритетовъ“. Кто такъ высоко держалъ свое знамя, тотъ вѣрилъ въ будущее человѣчества, въ будущее своего народа и старался воспитывать подростающія поколѣнія въ этой высокой вѣрѣ. Съ этою-то воспитательною цѣлью такіе профессора держались преимущественно общихъ очерковъ, гдѣ въ мелочахъ не теряется общая мысль. Такимъ былъ всегда характеръ курсовъ Грановскаго, такимъ постепенно дѣлалъ свой курсъ Соловьевъ; но и на первыхъ своихъ шагахъ въ университетѣ, онъ уже давалъ много мѣста общимъ соображеніямъ и выводамъ. Соловьевъ умѣлъ цѣнить

Грановскаго: „Вы блистательно представили французскія общины, — говорилъ онъ на докторскомъ диспутѣ Грановскаго, — которыя расцвѣли пышнымъ цвѣтомъ на страницахъ Августина Тьерри и засушены въ гербаріяхъ нѣмецкихъ ученыхъ“. Но не одно это роднитъ двухъ этихъ нашихъ наставниковъ: сознаніе тѣсной связи между прошедшимъ и настоящимъ, сознаніе долга растить въ настоящемъ будущее побуждало ихъ съ сердечнымъ интересомъ относиться къ событіямъ настоящаго. „Листокъ современной газеты, — говорилъ Грановскій, — такъ же дорогъ для историка, какъ хартія лѣтописи“. Соловьевъ, живя въ мірѣ прошлаго, умѣлъ скорбѣть и о невзгодахъ настоящаго, и радоваться его радостямъ: никогда не забуду я той глубокой скорби, съ которой онъ говорилъ о нашихъ неудачахъ въ крымскую войну, что тогда далеко не было общимъ явленіемъ въ средѣ нашей интеллигенціи“ *.

По поводу отношеній Соловьева и Грановскаго, М. Щепкинъ вспоминаетъ одинъ случай, „ничтожный самъ по себѣ, но хорошо рисующій взаимныя отношенія профессоровъ и студентовъ. Однажды въ частной бесѣдѣ съ Грановскимъ, въ его прекрасномъ кабинетѣ-библіотекѣ — какъ много такихъ дорогихъ минутъ выпадало на мою долю! — я, не помню по какому случаю, завелъ рѣчь о характерѣ Соловьева и маломъ довѣрїи къ нему студентовъ“. „Какой онъ холодный, сухой человѣкъ“, — замѣтилъ я. Т. Н. очень внушительно остановилъ на мнѣ свои мягкіе, нѣжные глаза и, пришепетывая, любовно обрѣзавъ меня приблизительно такъ: вы еще молоды, понимать и разбирать людей не умѣете; Соловьевъ чрезвычайно добрый, любящій человѣкъ и всегда готовый на все хорошее, а на сухую вѣжливость его не смотрите, — она обманчива. Глубоко запали въ меня эти милыя — не подберу другого выраженія — слова любимаго профессора“ *.

П. Н. Кудрявцевъ не похожъ былъ ни на дѣловитаго и нѣсколько суроваго Соловьева, ни на Грановскаго, къ которому привязанъ былъ страстно. Происхожденіе изъ духовнаго званія — онъ учился въ семинаріи, а извѣстно, чѣмъ была тогдашняя бурса — наложило на него печать суровой

* „Біографіи и характеристики“, стр. 256.

** „Стран. изъ моихъ воспоминаній“.

замкнутости во всемъ, что касалось интимной его стороны, — замкнутости, совершенно не подходившей къ характеру баричей-москвичей — съ душою нараспашку. Авторъ нѣсколькихъ сентиментально-меланхолическихъ повѣстей, къ которымъ одинаково идетъ заглавіе одной изъ нихъ „Безъ разсвѣта“, — онъ, еще будучи студентомъ, обратилъ на себя вниманіе Бѣлинскаго и его друзей. Оставленный, по настоянію Грановскаго, при университетѣ, онъ былъ посланъ за границу и по возвращеніи читалъ лекціи по средней и новой исторіи, чередуясь съ Грановскимъ. Всегда одинаково ровный, мягкій и деликатный, онъ привлекалъ къ себѣ невольно, несмотря на упорную замкнутость. Подъ нею чувствовались стойкія глубокія убѣжденія, затаенное и тѣмъ болѣе жгучее негодованіе противъ всяческой косности ума и жизни. Стремленія, которымъ не мѣсто было въ тогдашнее время, онъ цѣликомъ перенесъ въ науку, а въ жизни не тратился на бесплодныя жалобы, чего не чуждъ былъ Грановскій. Сочувствіе къ притѣсненнымъ руководило имъ и въ его ученыхъ занятіяхъ, и особенно занимали его судьбы Италіи, въ возрожденіе которой онъ вѣрилъ подобно Грановскому (напомнимъ письмо послѣдняго объ оперномъ театрѣ въ Вѣнѣ). 21 декабря 1850 г. П. Н. Кудрявцевъ защищалъ въ московскомъ университетѣ свою диссертацию о „судьбахъ Италіи“. Грановскій, одинъ изъ официальныхъ оппонентовъ, посвятилъ книгѣ обширную рецензію, появившуюся въ „Современникѣ“. — „Эти два лица дополняютъ другъ друга, — говоритъ К. Бестужевъ-Рюминъ. — Ихъ единодушіе, взаимное уваженіе и вѣрное пониманіе другъ друга должны бы служить благотворнымъ примѣромъ и новому поколѣнію профессоровъ. „Грановскій даровитѣ меня“, — вполнѣ искренно говорилъ Кудрявцевъ. „Кудрявцевъ ученѣе меня“, — говорилъ Грановскій. Такая оцѣнка совершенно соотвѣтствуетъ дѣйствительности: точно, — Грановскій былъ даровитѣе, точно, — Кудрявцевъ былъ ученѣе. Различіе характеровъ соотвѣтствовало различію талантовъ: открытый, веселый характеръ Грановскаго такъ же мало похожъ былъ на задумчивый, сосредоточенный характеръ Кудрявцева, какъ ясное, образное, антично-изящное изложеніе Грановскаго, поражающее умѣніемъ

при сжатости сказать все, что нужно для полноты образа, и ничего не оставляющее въ туманѣ, не похоже было на обширное, полное самыхъ дробныхъ психологическихъ соображеній изложеніе Кудрявцева. Если и на лекціяхъ Грановскаго увлекалъ насъ быстрый художественный очеркъ цѣлыхъ эпохъ и народовъ, то у Кудрявцева мы слѣдили внимательно за тонкимъ разборомъ характеровъ“. По сущности своихъ убѣжденій, западникъ, какъ и Соловьевъ и Грановскій, Кудрявцевъ доводилъ свой отрицательный взглядъ на Россію до того, что заявлялъ: „изученіе русской исторіи совращаетъ людей съ прямого пути“, относясь съ нѣкоторымъ даже ожесточеніемъ—вполнѣ понятнымъ въ человѣкѣ, знавшемъ по горькому опыту не только бурсу, но и вообще изнанку русской жизни—ко всему, что не напоминало болѣе мягкихъ культурныхъ формъ Запада. Грановскій, мы знаемъ, былъ чуждъ подобной односторонности, и, такимъ образомъ, и въ этомъ отношеніи они дополняли другъ друга и—какъ говоритъ К. Бестужевъ-Рюминъ—„сходились между собою въ томъ, что для обоихъ исторія имѣла воспитательный характеръ; оба въ своемъ изложеніи старались дѣйствовать преимущественно на нравственное чувство, и за это имена ихъ будутъ навѣки памятны“ *.

Оба профессора дѣлили между собою привязанность студентовъ. Добродушный, снисходительный Кудрявцевъ не такъ пугалъ робкихъ, какъ остроты Грановскаго, когда онъ бывалъ въ духѣ. Чѣмъ ниже падалъ общій уровень преподаванія, тѣмъ сильнѣе была привязанность къ представителямъ блестящей эпохи сороковыхъ годовъ. А ихъ окружали получившіе теперь перевѣсъ профессора, вродѣ богослова Терновскаго, который читалъ теперь лекціи философіи, — вродѣ Баршева или Орнатскаго, который замѣстилъ, но ужъ конечно, не замѣнилъ Рѣдкина. А. Афанасьевъ, крайне нерасположенный къ Грановскому и его друзьямъ, писалъ въ 1855 году, что, читая государственные законы, Орнатскій ругался надъ формами республиканскаго и конституціоннаго правленія, и, онъ же, не рѣшился на лекціи, читанной въ присутствіи вел. князей Михаила и Николая Николаевичей, вы-

* Тамъ же, стр. 294 и слѣд.

разиться „женщина“, а замѣнилъ это слово „человѣкомъ женскаго пола“. Тѣмъ болѣе чести тѣмъ, кто, среди подобныхъ товарищей, хоть не ронялъ науки, если не могъ поднять ее на ту высоту, которой считалъ ее достойною.

Дѣйствовать приходилось въ этомъ отношеніи, какъ указывается и воспоминаніями К. Бестужева-Рюмина, лишь очень отвлеченно, „общими соображеніями“, вліять болѣе на чувство, чѣмъ на умъ слушателей. Это обстоятельство—сказать мимоходомъ—имѣло свою оборотную сторону: оно развивало нѣкоторую елейность въ ученикахъ Грановскаго; съ представленіемъ о сороковыхъ годахъ начинали соединяться представленія преимущественно о хорошихъ словахъ: гуманность, красота, истина, добро и т. д. На содержаніи этихъ понятій въ этотъ періодъ мудрено было останавливаться, а самыя слова пестрили собою рѣчь ближайшихъ преемниковъ людей сороковыхъ годовъ въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ рѣчь самихъ учителей. Нравственно-философское и общественное содержаніе этихъ понятій ранѣе усердно объясняла и литература съ разныхъ сторонъ, такъ что недоразумѣнія едва ли могли быть, наприм., между писателемъ и читателемъ, или профессоромъ и слушателемъ. Теперь обмельѣвшая литература не имѣла уже возможности быть такимъ посредникомъ, и содержаніе хорошихъ словъ все болѣе отходило на задній планъ. Поколѣнію шестидесятихъ годовъ приходилось самому отыскивать ихъ идейное содержаніе; не удивительно, что оно не узнало своихъ предшественниковъ, и отсюда тѣ столкновенія „отцовъ и дѣтей“, которыя достаточно извѣстны и занимали видное мѣсто въ литературѣ того времени. Это было однимъ изъ самыхъ гибельныхъ для общественнаго развитія результатовъ реакціи 1848—1855 гг. Она оборвала преемственность этого развитія, и теперь съ трудомъ лишь можно разобратъ въ клубкѣ оборванныхъ и спутанныхъ нитей, которыя соединяли бы сороковые и шестидесятые годы въ одно живое цѣлое.

То, что пытались дѣлать въ этотъ періодъ люди сороковыхъ годовъ, интересно лишь какъ доказательство мелочности и безнадежности ихъ попытокъ. Дѣлалъ такія попытки и Грановскій. Такъ, онъ составлялъ записку о Московскомъ университетѣ для какого-то важнаго лица, знакомаго Грановскаго

по клубу. Лицо, рѣшительно недоумѣвавшее, что ему написать, когда отъ него потребовали свѣдѣній о духѣ Московскаго университета, осталось весьма довольно защитою, которую написалъ Грановскій, и только выразило опасеніе, что, пожалуй, не повѣрять, что записка написана лично имъ: надобно будетъ слогъ исправить.

Другой случай вступить за интересы науки Грановскому представился по слѣдующему поводу. Въ 1850 г. министр народнаго просвѣщенія, кн. Ширинскій-Шихматовъ, обратился къ попечителю Московскаго университета Назимову (смѣнившему Голохвастова) съ объясненіемъ „о необходимости предварительнаго начертанія программъ, которыя могли бы служить основаніемъ при составленіи новаго руководства исторіи“. Побужденіемъ къ тому выставлялась „давно ощущаемая у насъ потребность въ хорошемъ руководствѣ къ изученію всеобщей исторіи, написанной (?) въ русскомъ духѣ и съ русской точки зрѣнія“. Тогдашнія руководства Смарагдова и Кайданова были дѣйствительно плохи, но, конечно, нечего было искать въ нихъ какого бы то ни было духа. Новый желательный русскій духъ состоялъ просто въ устраненіи всего „сомнительнаго“, т. е. всѣхъ тѣхъ историческихъ фактовъ, которые такъ или иначе наводили на идеи, признанныя безусловно вредными въ „наставленіи ректору и деканамъ“. Изъ вышецитированнаго письма Грановскаго (стр. 316) мы уже знаемъ, въ какомъ освѣщеніи и какомъ исправленіи подносили ученикамъ исторію, причемъ особенно подозрительнымъ считали міръ классической древности. Понятно, въ какомъ щекотливомъ положеніи былъ Грановскій, когда составленіе программы учебника всеобщей исторіи было возложено именно на него.

Въ официальной запискѣ, предпосланной имъ программѣ, онъ выступилъ защитникомъ опальной древней исторіи. Эта записка, а также другая, написанная позднѣе (въ 1855 г.), „о возможныхъ слѣдствіяхъ ослабленія классическаго преподаванія“—говорили все, что можно было сказать тогда официальному міру. Пожалуй, для достоинства Грановскаго было бы и лучше, еслибъ онъ уклонился отъ доказательствъ на тему, что наука отнюдь не вредна; во всякомъ случаѣ онъ сумѣлъ удержаться на этомъ скользкомъ пути. Дѣлая офици-

ціальнимъ требованіямъ ту необхідную уступку, которая давала ему возможность высказывать свое мнѣніе, онъ указывалъ на опасность для самого офіціального міра искаженія исторической правды. „Смѣемъ думать—говорилъ онъ,—что учебныя сочиненія, вышедшія изъ подъ пера западныхъ писателей, враждебныхъ либерализму, далеко не достигаютъ своей цѣли и болѣе принесли вреда, чѣмъ пользы. Въ большей части изъ нихъ видно не живое и глубокое пониманіе монархическаго начала, не основательное опроверженіе противоположныхъ теорій, а намѣреніе обмануть ученика, скрывъ отъ него или представивъ въ ложномъ видѣ факты важные, но не подходящіе подъ точку зрѣнія автора. Такіе учебники употреблялись въ австрійскихъ школахъ и не мало содѣйствовали къ развитію превратныхъ понятій, обнаруженныхъ тамошнимъ юношествомъ въ 1848 г. Умышленная утайка или обманъ, внесенные въ учебную книгу, не могутъ не открыться любознательному и опытному ученику. Послѣдствія такого открытія опредѣлить не трудно: оно неминуемо разовьетъ въ юношахъ губельный духъ недовѣрія къ преподавателямъ и заставитъ ихъ искать истины внѣ школы, въ мутныхъ и лживыхъ источникахъ, вліяніе которыхъ можетъ быть устранено только честнымъ и вѣрнымъ изложеніемъ науки“ (Соч. Гр., II, 439). Только такъ, конечно, и можно было защищать ее, но и то Грановскому плохо довѣряли, пока главный голосъ имѣли И. И. Давыдовы, требовавшіе съ пѣной у рта исключенія изъ несчастнаго Смарагдова всего, что касалось Магомета, ибо онъ былъ „негодяй и основатель ложной религіи“ *. Составленіе учебника всеобщей исторіи по программѣ Грановскаго было поручено ему лишь гораздо позднѣе, при министрѣ А. С. Норовѣ.

Здѣсь же мы остановимся на отношеніи Грановскаго къ вопросамъ образованія и воспитанія; при поверхностномъ взглядѣ на дѣло, это отношеніе можетъ казаться не совсѣмъ понятнымъ и давало даже поводъ изображать Грановскаго чуть ли не обскурантомъ, близорукимъ гонителемъ естественныхъ наукъ.

По взглядамъ своимъ на образованіе и воспитаніе, Грановскій былъ послѣдовательнымъ челоуѣкомъ сороковыхъ годовъ.

* Никитенко: „Записки и дневникъ“, I, 580.

Эти годы поставили на очередь вопросъ о самостоятельной дѣятельной личности, живущей среди общественныхъ условий, которыя должны удовлетворять ея стремленіямъ и запросамъ, и въ идеальнѣ естественно ставилось полное гармоническое развитіе всѣхъ силъ и способностей личности. Та же точка зрѣнія, конечно, переносилась и въ педагогію. „Задача педагогіи, — говоритъ Грановскій, — состоитъ въ равномерномъ (гармоническомъ) развитіи всѣхъ способностей учащагося, изъ которыхъ ни одна не должна быть принесена въ жертву другой“ (423, II). Міръ классической древности, въ особенности міръ греческій, воплотилъ въ себѣ этотъ идеаль, и съ этой стороны онъ наиболѣе и привлекаетъ къ себѣ вниманіе Грановскаго. Онъ въ восхищеніи отъ „гармонической, изящной, чисто эллинской личности“ Александра (II, 104), которому посвящена и особая лекція. Онъ съ почтеніемъ останавливается передъ Ксенофонтomъ, который „равно умѣлъ мыслить, дѣйствовать и говорить“ и этимъ обязанъ былъ, а также „своимъ быстрымъ возвышеніемъ и вліяніемъ на умы сподвижниковъ, той системѣ воспитанія, которая принадлежала къ числу отличительныхъ признаковъ аѳинскаго гражданина и была одной изъ причинъ его несомнѣннаго превосходства надъ остальными греками“ (II, 92). Рядомъ съ этими отзывами Грановскаго о классическомъ мірѣ можно сопоставить и отзывъ о немъ самомъ С. Соловьева, по мнѣнію коего „Грановскій своими живыми, теплыми отношеніями къ слушателямъ всего лучше напоминалъ учителей древняго міра“.

Переписка Бѣлинскаго даетъ не мало доказательствъ того же участія съ его стороны къ міру классической древности, какое отличало и Грановскаго. Такъ, въ длинномъ письмѣ Боткину, отъ 27 іюня 1841 года, онъ сообщалъ, что купилъ Плутарха въ переводѣ Дестуниса, и Плутархъ „свелъ его съ ума“. Его любовь, обожаніе, энтузіазмъ привлекли—Тимолеонъ, Гракхи, Катонъ („Утическій, а не скотина Старшій“—оговаривается онъ). „Во мнѣ развилась какая-то... фанатическая любовь къ свободѣ и независимости человѣческой личности, которая возможна только при обществѣ, основанномъ на правдѣ и доблести. Принимаясь за Плутарха, я думалъ, что греки заслоняютъ отъ меня римлянъ,—вышло не такъ.

Я бѣсновался отъ Перикла и Алкивіада, но Тимолеонъ и Фокіонъ (эти греко-римляне) закрыли для меня свою суровую колоссальностью прекрасные и граціозные образы представителей афинянъ. Но въ римскихъ біографіяхъ душа моя плавала въ океанѣ. Я понялъ черезъ Плутарха многое, чего не понималъ. На почвѣ Греціи и Рима вышло новѣйшее человѣчество. Безъ нихъ средніе вѣка ничего не сдѣлали бы. Я понялъ и французскую революцію, и ея римскую помпу, надъ которою прежде смѣялся.... Обаятеленъ міръ древности. Въ его жизни зерно всего великаго, благороднаго, доблестнаго, потому что основа его жизни—гордость личности, неприкосновенность личнаго достоинства.... Да,—заканчиваетъ Бѣлинскій,—греческій и латинскій языки должны быть краеугольнымъ камнемъ образованія, фундаментомъ школы“. Отъ этого убѣжденія Бѣлинскій не отказывался и позднѣе; въ 1847 г. его онъ называетъ „даже немного фанатическимъ.“ *

Значеніе чисто формальнаго изученія древнихъ языковъ, конечно, отстѣпаетъ, какъ оно и слѣдуетъ, на задній планъ при такомъ широкомъ пониманіи классицизма. Грановскій согласенъ, что „основательное изученіе древнихъ языковъ, которыхъ правила получили математическую точность и опредѣленность, не только сообщаетъ эти же свойства уму, но въ высшей степени облегчаетъ занятіе новыми языками, такъ что простое грамматическое знаніе греческаго и латинскаго языка ведетъ за собою цѣлый рядъ другихъ пріобрѣтеній, съ избыткомъ вознаграждающихъ за употребленное время“ (II, 428). Но тутъ же онъ добавляетъ: „Но не въ этомъ заключается главная польза изученія классической литературы“, и выдвигаетъ на первый планъ эстетически-образовательное и нравственно-воспитательное значеніе ея. При этомъ, какъ въ защиту исторической правды вообще, такъ и здѣсь ему приходилось доказывать, что античныя политическія теоріи сами по себѣ отнюдь не опасны. А какъ далеку онъ былъ въ дѣйствительности отъ того холоднаго, мертвящаго духа, какимъ позднѣе оказался проникнуть у насъ классицизмъ формальный, можно видѣть хоть изъ слѣдующаго мѣста

* Пышинъ: „Бѣлинскій“, II, стр. 116—117; „Анненковъ и его друзья“, I, стр. 583.

его сочиненій. Онъ сочувственно цитируетъ Нитча, который опредѣляетъ свою точку зрѣнія слѣдующими прекрасными словами: „Древняя исторія есть основа и средоточіе всѣхъ такъ называемыхъ гуманическихъ наукъ. Эти науки, по моему мнѣнію, тогда только въ состояніи будутъ отразить съ успѣхомъ напоръ отовсюду грозящаго матеріализма, когда изложеніе древней исторіи, равно удаленное отъ сухого исчисления фактовъ и риторическаго пафоса, покажетъ, что древній міръ былъ глубоко тревожимъ тѣми же жизненными вопросами, которые нынѣ неотступно занимаютъ каждого благороднаго человѣка“. „Къ сожалѣнію,—иронически добавляетъ Грановскій отъ себя,—эти слова едва ли найдутъ большое сочувствіе въ массѣ филологовъ“. (II, 222). Близость школы и жизни, такимъ образомъ, по мнѣнію Грановскаго, отнюдь не устраняется при классической системѣ образованія, а эту близость онъ не разъ отстаивалъ: какъ на одинъ изъ признаковъ разложенія Римской имперіи, онъ указывалъ, наприм., на отчужденіе воспитанія въ ней „не только отъ цѣлей, которыя преслѣдовало государство, но отъ современной жизни вообще. Римскому педагогу предстояла неразрѣшимая задача: онъ долженъ былъ или лицемѣрить передъ своимъ воспитаникомъ, внушая ему уваженіе къ религіознымъ и политическимъ формамъ, которымъ самъ отказывалъ въ признаніи, или, дѣйствуя откровенно, знакомить его со всестороннимъ отрицаніемъ въ тѣ годы, когда душа неотступно требуетъ положительной истины, вѣрованій и убѣжденій. Исхода не было. Школа, частью сознательно, частью вслѣдствіе внѣшней необходимости, разошлась съ жизнью“ (II, 252), и обученіе направилось на безцѣльное искусство произнесенія и составленія рѣчей о небывалыхъ событіяхъ и по поводу небывалыхъ происшествій, или отъ лица героев мифической и республиканской древности. Нѣсколько далѣе, Грановскій цитируетъ Петронія:—„Я думаю, что глупость юношей, учащихъ въ школахъ, происходитъ отъ того, что имъ не приходится ни видѣть, ни слышать того, что дѣлается въ обыкновенной жизни“ (II, 264).

Несмотря на эти требованія единства школы и жизни, Грановскій настойчиво отстаивалъ въ своей защитѣ класси-

ческаго воспитанія естественныя науки, которыя съ жизнью соприкасаются самымъ тѣснымъ образомъ. И въ письмахъ его, и въ статьяхъ найдемъ достаточно крайне неблагопріятныхъ отзывовъ о естественныхъ наукахъ. Естественныя науки были отчасти въ связи со спорами его съ друзьями въ 1846 году; друзья основывали на нихъ свои нравственно-философскія воззрѣнія, и это уже было достаточною причиною для Грановскаго относиться къ естествовѣдѣнію недовѣрчиво. Онъ горячо возстаетъ противъ „опаснаго“ заблужденія „тѣхъ немалочисленныхъ защитниковъ современнаго естествовѣдѣнія, которые видятъ въ немъ вѣнецъ современной образованности и хотятъ дать ему первое мѣсто въ воспитаніи, съ рѣшительнымъ перевѣсомъ надъ науками историческаго и филологическаго содержанія“ (II, 210). Въ официальной запискѣ 1855 г. у него вырываются еще болѣе рѣшительныя фразы. Онъ, точно играя въ руку послѣдующимъ реакціонерамъ, спрашиваетъ, между прочимъ: „что общаго между греко-римскимъ міромъ и идеями коммунизма и социализма, возмущающими западныя массы? Не ближе ли эти идеи, не родственнѣе ли, такъ называемому, реализму?“ И далѣе находимъ такія, по меньшей мѣрѣ странныя, обвиненія и намеки, что „въ ожиданіи неизбѣжнаго возврата къ болѣе трезвымъ и согласнымъ съ законами разума воззрѣніямъ, естествовѣдѣніе сообщаетъ юнымъ умамъ холодную самоувѣренность и привычку выводить изъ недостаточныхъ данныхъ рѣшительныя заключенія. Оно много содѣйствовало къ развитію въ образованномъ поколѣніи Запада той безотрадной и безсильной на великіе нравственные подвиги положительности, которая принадлежитъ къ числу самыхъ печальныхъ явленій нашей эпохи“ (II, 423—424). Это ужъ называется валить съ больной головы на здоровую, и просто не вѣрится, что это могъ писать Грановскій. Онъ, правда, оговаривается: „Сохрани насъ Богъ отъ намѣренія заподозрѣвать въ дурномъ какую либо науку. Наукъ вредныхъ нѣтъ и быть не можетъ. Каждая заключаетъ въ себѣ часть божественной истины, открывающейся нашему разуму съ разныхъ сторонъ, въ духѣ и во внѣшней природѣ. Не естественныя науки произвели французскую революцію или нынѣшнія нравственныя болѣзни западной Европы“

(II, 423). Последнее замѣчаніе—сказать мимоходомъ—совершенно противорѣчить утвержденію, что „естествовѣдѣніе много содѣйствовало къ развитію безотрадной и безсильной на великіе нравственные подвиги положительности“. Во всякомъ случаѣ эти оговорки въ официальной запискѣ прошли бы незамѣченными, заслоненныя враждебными вылазками.

Нисколько не думая оправдывать Грановскаго, считаемъ не лишнимъ привести нѣкоторыя смягчающія обстоятельства. Мы объяснили уже, гдѣ первый источникъ вражды его къ естествовѣдѣнію. Но дѣло въ томъ еще, что въ тогдашней средней школѣ естествовѣдѣніе являлось совсѣмъ не въ той широко-образовательной формѣ, которую защищали со страстнымъ и глубокимъ убѣжденіемъ полемисты шестидесятыхъ годовъ. Въ эпоху 1849—1855 гг. естествовѣдѣніе было призвано, какъ средство противъ слишкомъ будто бы вольнаго духа средней школы. Оно грозило развитіемъ самаго бездушнаго формальнаго обученія. Въ этомъ смыслѣ Грановскій былъ совершенно правъ, когда писалъ: „Знакома юношу только съ внѣшней природой и съ ея механическими и химическими законами, естествознаніе, отрѣшенное отъ ученій, имѣющихъ предметомъ духовныя стороны бытія, неминуемо приводитъ къ матеріализму. Само по себѣ, оно не въ состояніи удовлетворить нравственнымъ потребностямъ челоуѣка. Шлецеръ, говоря о вліяніи отдѣльныхъ наукъ на просвѣщеніе народовъ, сказалъ, что можно представить себѣ цѣлый народъ отличныхъ математиковъ, погруженный въ глубокое варварство. Почти то же можно сказать и о естествовѣдѣніи. Можно предположить существованіе народа натуралистовъ, безъ всякихъ опредѣленныхъ и твердыхъ понятій о добрѣ и злѣ“ (II, 423). Интересы образованія и воспитанія стояли для Грановскаго на одинаковой высотѣ. Образованіе съ помощью обрывковъ естествовѣдѣнія грозило въ его время совершенно заслонить собою возможность воспитанія, т. е. хотя бы элементарнаго смягченія „расейскихъ“ нравовъ. Классицизмъ, давая достаточно формально-образовательнаго матеріала, всетаки открывалъ возможность воздѣйствія на нравственное и эстетическое развитіе учениковъ, и съ такой точки зрѣнія Грановскій не могъ не держаться

за него обѣими руками. Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что при широкомъ, указанномъ нами, пониманіи классическаго міра Грановскій съ ужасомъ отшатнулся бы отъ той формальной классико-филологической системы, которая впоследствии получила у насъ такое неподобающее развитіе *.

„Впрочемъ, — говоритъ онъ, — споръ объ отношеніи классическаго элемента къ реальному еще не конченъ, еще не найдена возможность согласить ихъ въ одной гармонической системѣ воспитанія“. Такимъ образомъ, отрицательное отношеніе Грановскаго къ реальному направленію средней школы до нѣкоторой степени оправдывается тѣмъ, чѣмъ была эта школа въ то время. Если при защитѣ классической школы онъ увлекся нерасположеніемъ къ естествовѣдѣнію до напрасныхъ на него поклеповъ, то это вѣдь тоже ложится упрекомъ не столько на него, сколько на всю систему, которая дѣлала его публицистомъ поневолѣ, желавшимъ отвоевать какими бы то ни было средствами то, что казалось ему самымъ главнымъ — возможность „осуществить идеаль средняго заведенія, приготовляющаго своихъ воспитанниковъ не къ одному университету, но и къ жизни, не черезъ поверхностное многознаніе, а чрезъ основательное и всестороннее развитіе способностей“ (II, 429).

Грановскому пришлось выступить предъ официальными сферами защитникомъ не только науки, но и литературы. Въ началѣ 1851 г. появилась въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ погодинская статья „О старомъ и новомъ поколѣніи“, съ весьма недвусмысленными намеками на литературу, сѣющую, подъ тлетворнымъ вліяніемъ Запада, среди молодого поколѣнія вражду къ исконнымъ началамъ русской жизни. Въ перепискѣ Грановскаго напечатана черновая защитительной записки Грановскаго, адресованная попечителю Назимову. Мы не останавливаемся на ней. Грановскій находилъ, что въ дѣйствительности у насъ вовсе не существуетъ борьбы поколѣній, зловердной, по мнѣнію автора статьи, и доказывать, что сильная правительственная власть всегда могла бы

* Любопытно, что противъ формально-реальной школы своего времени онъ выдвигаетъ вопросъ о переутомленіи учащихся (II, 428), тотъ самый, который всегда былъ и остается однимъ изъ вѣскихъ аргументовъ противъ формальнаго классицизма.

допустить въ печати „мирное и зрѣлое развитіе идей, ведущихъ къ благосостоянію всѣхъ и каждаго“. Въ сущности защита Грановскаго и здѣсь сводилась на робкое доказательство, что литература не вредна, какъ раньше онъ говорилъ, что не вредна наука... Какъ бы то ни было, самый фактъ защиты интересовъ и самостоятельности науки и литературы во время всеобщей паники заслуживаетъ признательности. Что касается результатовъ, къ которымъ могло приводить его вмѣшательство въ соображенія высшей власти и, наприм., неумѣстныя вылазки противъ естественныхъ наукъ, то напомнимъ людямъ придирчивымъ слова самого Грановскаго объ историческихъ дѣятеляхъ, великихъ и малыхъ, незамѣтныхъ простому глазу: „Они несутъ отвѣтственность только за чистоту намѣреній и усердіе исполненія, а не за далекія послѣдствія совершеннаго ими труда“ (I, 389).

Письма Грановскаго за этотъ тяжелый періодъ въ исторіи русскаго общества либо наполнены сообщеніемъ пустыхъ мелочей московской жизни, либо представляютъ рядъ нескончаемыхъ жалобъ на душевную пустоту и на болѣзнь, которая подтачивала его физическое и нравственное здоровье. Изрѣдка онъ переписывался съ Герценомъ. 25 августа 1849 г. онъ писалъ въ Женеву: „На дружбу мою къ вамъ двумъ (т. е. къ Герцену и Огареву) ушли лучшія силы моей души. Въ ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать въ 1846 г. и обвинять себя въ безсиліи разорвать связь, которая, по видимому, не могла продолжаться. Почти съ отчаяніемъ замѣтилъ я, что вы прикрѣплены къ моей душѣ такими нитями, которыхъ нельзя перерѣзать, не захвативъ живого мяса. Время это прошло не безъ пользы для меня. Я вышелъ побѣдителемъ изъ худшей стороны самого себя. Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось слѣда. Зато все, что было романтическое въ самой натурѣ моей, вошло въ мои личныя привязанности. Помнишь ли ты письмо мое по поводу „Крупова“? Оно написано въ памятную мнѣ ночь.* Съ души сошла черная пелена, твой образъ воскресъ передо мной во всей ясности своей, и я протянулъ тебѣ руку въ Парижъ такъ же легко и любовно, какъ протяги-

* Это—вышецитированное письмо, „Переп.“, стр. 445.

валь въ лучшія, святія минуты нашей московской жизни. Не талантъ твой только подѣйствовалъ на меня такъ сильно. Отъ этой пьесы мнѣ повѣяло всеѣмъ тобой. Когда-то ты оскорблялъ меня, говоря: „не полагай ничего на личное, вѣрь въ одно общее“, а я всегда клалъ много на личное. Но личное и общее слилось для меня въ тебѣ. Отъ этого я такъ полно и горячо люблю тебя“. Но само собою понятно, что примиренныя отношенія къ другу при трудности и случайности сношеній не могли надолго ободрять Грановскаго.

„Если бы вы знали, какая безвыходная, тяжелая хандра стала навѣщать меня,—съ тоскою писалъ онъ Марья Ѳедоровнѣ Коршъ, постоянному другу Грановскихъ, въ томъ же 1849 г.—Впереди все такъ пусто и темно; въ настоящемъ такъ безцвѣтно. Только въ прошедшемъ есть хорошее и святое, но я боюсь глядѣть въ ту сторону. Зато не могу отдѣлаться отъ сновъ, въ которыхъ это прошедшее оживаетъ предо мною до того ясно, что, просыпаясь, я готовъ плакать о недавней, только что испытанной утратѣ. Если бы для счастья человѣка достаточно было любви, самой благородной, чистой и самоотверженной,—я былъ бы безконечно счастливъ... А неблагородное, капризное и больное сердце требуетъ еще чего-то, въ чемъ ему отказано судьбою“. На дружескія опасенія по поводу припадковъ этой хандры, онъ съ болью, въ отвѣтъ на участіе, можетъ быть, слишкомъ навязчивое, писалъ: „Когда же поймутъ, что человѣку нельзя серьезно помириться съ мыслью о погибшемъ собственномъ существованіи, что эта мысль, временно подавленная и заглушенная, непрерывно грызетъ его. Если бы семейное счастье залѣчивало всѣ раны сердца, неужели думаютъ, что я не понялъ бы своего счастья?.. Безъ Лизы мнѣ незачѣмъ было бы жить... Она и друзья мои—вотъ всѣ мои сокровища“. „Тяжело и смѣшно повторять одну и ту же жалобу на судьбу,—читаемъ въ другомъ мѣстѣ,—а другое не пишется. Ужъ такъ перо очинилось... Сажу дома и не работаю. Сознаніе бесплодно уходящаго времени грызетъ меня, но силъ недостаетъ для труда. Это чувство праздности похоже на бессонницу“*. Въ письмахъ и запискахъ Грановскаго къ женѣ отражаются

* „Переписка Гран.“, 320, 321, 300—301.

самыя мимолетныя настроенія, но по большей части преобладаетъ ѣдкая грусть, вдругъ неудержимо охватывавшая его дома, въ университетѣ, въ обществѣ. „Знаешь ли, какъ мнѣ безъ тебя бываетъ грустно, — писалъ онъ изъ Москвы, отправляясь на обѣдъ къ знакомымъ, женѣ, которую оставилъ на дачѣ: — скучно даже среди друзей, среди оргій, пьяному или трезвому. Лиза моя, право, безъ тебя не стоило бы жить на свѣтѣ. А *la longue* я начинаю догадываться, что я слишкомъ рано или поздно родился. Мнѣ нечего дѣлать на этомъ свѣтѣ. Я люблю жизнь только потому, что встрѣтилъ тебя. А вѣдь это былъ случай. Безъ тебя я не любилъ бы жизни и равнодушно простился бы съ нею“. Эта нѣжная привязанность одна скрашивала теперь сѣрую, однообразную жизнь Грановскому, которому и въ самомъ дѣлѣ было нечего дѣлать среди испуганнаго и смолкнувшаго общества.

Не смолкала, впрочемъ, вся шумиха официальнаго патриотизма, и официальная народность и назойливое подчеркиваніе своихъ русскихъ чувствъ, русскихъ симпатій ко всему русско-православному процвѣтали съ особенною силой. Весною 1849 г. Москву посѣтилъ государь. Долго злобою дня были пышныя празднества, устраиваемыя Закревскимъ; и особенно роскошенъ былъ придворный маскарадъ 9-го апрѣля въ старинныхъ и новыхъ народныхъ русскихъ парадныхъ платьяхъ. Это было настоящее торжество официальной показной народности, на которомъ въ аллегорическомъ видѣ являлись русскіе города, привѣтствовавшіе царя. Даже Погодина, усердно вторившаго въ „Москвитянинѣ“ патриотическимъ восторгамъ, въ эту пору однажды возмутило глубокое противорѣчіе между всѣмъ этимъ афишированіемъ якобы безграничной любви къ русскому народу и презрительнымъ равнодушіемъ къ народу, какое было на дѣлѣ во всѣхъ и во всемъ. „Я ходилъ въ толпѣ, прислушивался, присматривался, — говоритъ онъ въ одномъ письмѣ по поводу пріѣзда государя въ Москву: — Россія, народъ, отечество, — говорятъ: какъ онъ, такой-то, любитъ отечество, какая она русская и т. п. Но эти слова — отвлеченныя, собирательныя! Любите меня, его, ее! Ивана, Григорья, Аграфену. Зачѣмъ толкаете вы эту старуху, которая пробирается въ соборъ? Вѣдь она — народъ, Россія. Ея

нитка есть въ этомъ ветхомъ знамени. Можетъ быть, ея молитва дойдетъ скорѣе другой! Зачѣмъ бьете вы въ грудь этого бѣдняка, чтобъ онъ не подходилъ къ рѣшеткѣ? Вѣдь онъ—Россія, народъ, отечество. Развѣ онъ чувствуетъ слабѣе вашего? Зачѣмъ гоните съ площади эту толпу? Вѣдь это—Россія, народъ, отечество. Она закричитъ „ура“ громче вашего. Ихъ доля есть въ общей славѣ. Они дали тѣ лучи и искры, изъ которыхъ составилось ваше сіяніе. Пожалуй, все это назовутъ коммунизмомъ, припишутъ дурному направленію,— и я никогда не рѣшусь употребить въ печати этого оборота... Грустно, графиня, и два дня я ходилъ, какъ шальной“.

Въ то самое время, какъ русскій маскарадъ былъ въ великой чести, отъ министра внутреннихъ дѣлъ пришелъ циркуляръ губернскимъ предводителямъ дворянства о томъ, что „государю не угодно, чтобы русскіе дворяне носили бороды... Государь считаетъ, что борода будетъ мѣшать дворянину служить по выборамъ“. Одновременно государь выразилъ тогдашнему попечителю Д. П. Голохвастову свое неудовольствие на наружный видъ студентовъ московскаго университета и поставилъ имъ въ примѣръ студентовъ петербургскихъ. „Было время,—сказалъ государь,—что Михаилъ Павловичъ мнѣ говорилъ объ ихъ распущенности и дурномъ видѣ, а теперь онъ самъ ими любитъ и завидуетъ ихъ прекрасной наружности“ *.

Если ужъ Погодинъ такимъ образомъ порою „ходилъ шальной“, подъ этими впечатлѣніями, то можно себѣ представить, что чувствовали люди иного склада и иныхъ взглядовъ.

„Съ конца сороковыхъ годовъ наступило въ Москвѣ,—пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ А. Д. Галаховъ,—тяжелое время для тѣхъ, которые по чему либо состояли на дурномъ счету у градоначальника. Градоначальникомъ же былъ гр. За-кревскій, не благоволившій преимущественно къ профессорамъ и вообще къ служителямъ науки, такъ что онъ съ равнымъ подозрѣніемъ относился къ Хомякову и К. Аксакову съ одной стороны, и къ Грановскому и Кудрявцеву съ другой. Петрашевская исторія и волненія въ Западной Европѣ усилили бдительность полицейскаго надзора, такъ что малѣйшая не-

* „Ж. и тр. Погодина“, X, 259—260, 251, 253.

осторожность въ словахъ грозила бѣдою. Ходили слухи, — вѣрные или не вѣрные, не знаю, — что подкупленная прислуга доносила, кому слѣдуетъ, о разговорахъ и сужденіяхъ своихъ господъ. Что дѣлать? — необходимо было сдерживать языкъ или прибѣгать къ иностранному языку при выраженіи мнѣній. Собираясь въ назначенные дни преимущественно у графини Салиасъ (Евгеніи Туръ), вмѣсто разговоровъ о важныхъ матеріяхъ, стали предаваться карточной игрѣ. Но это было сносно умѣвшимъ играть (самой графинѣ, Грановскому, Тургеневу, Кетчеру, Е. М. Θεоктистову); другіе же, не любившіе карточной игры или вовсе не знавшіе ея, какъ, напримѣръ, Соловьевъ, Кудрявцевъ, Ешевскій, Бестужевъ-Рюминъ, должны были пробавляться разказами какихъ нибудь анекдотовъ, возбуждавшихъ общій смѣхъ“.

К. Бестужевъ-Рюминъ былъ въ это время еще новичкомъ въ Москвѣ и въ своихъ воспоминаніяхъ могъ дѣйствительно находить, что въ этомъ кружкѣ, группировавшемся около графини Салиасъ, женщины во всякомъ случаѣ недюжинной, наиболѣе полно „выражалось уваженіе къ наукѣ и серьезной литературѣ, употреблялись всѣ усилія не пасть нравственно; словомъ, въ немъ жилъ духъ Московскаго университета“ *. Во всякомъ случаѣ для тѣхъ, кто пережилъ недавнюю блестящую пору московскаго университета и салоновъ Елагиной, Свербѣевыхъ, Чаадаева, общій характеръ жизни московскаго интеллигентнаго общества не могъ не представлять признаковъ глубокаго упадка. И, конечно, Грановскій чувствовалъ это болѣе, чѣмъ кто либо другой.

Торжественные обѣды съ рѣчами были однимъ изъ любимыхъ развлеченій интеллигентной Москвы; они подробно описывались Погодинымъ въ его „Москвитянинѣ“. Имя Грановскаго встрѣчается здѣсь не рѣдко.

19 марта 1851 г. чествовали обѣдомъ Айвазовскаго и Иордана, на которомъ первую рѣчь говорилъ Грановскій, „за московскою хлѣбъ-солью московское слово“. „Веселый пиръ намъ, москвичамъ, не въ рѣдкость, но такіе праздники, какъ сегодняшний, рѣдки и у насъ. Они оставляютъ по себѣ долгую память. Каждый изъ насъ, здѣсь собранныхъ, обязанъ гостямъ,

* „Біографіи и характеристики“, стр. 306.

которыхъ мы теперь угощаемъ московскою хлѣбъ-солью, минутами высокога и чистаго наслажденія. Одинъ далъ намъ возможность насладиться здѣсь, въ Бѣлокаменной, безсмертнымъ, но далекимъ отъ насъ твореніемъ Рафаэля; другой придвинулъ къ намъ море, далъ намъ полюбоваться грозною стихіею, которой не боится только русскій человѣкъ, потому что она ему часто бываетъ по колѣно. Позвольте мнѣ предложить вамъ поднять бокаль за здравіе И. К. Айвазовскаго“.

Участвовалъ Грановскій и въ чествованіи Щепкина въ 1852 г. предъ отъѣздомъ его за границу (10 мая). Въ отвѣтъ на привѣтствіе Щепкинъ говорилъ:

„Все, что вы находите во мнѣ достойнымъ какой либо оцѣнки, принадлежитъ собственно не мнѣ,—все это принадлежитъ Москвѣ, т. е. тому избранному высокообразованному обществу, умѣющему глубоко понимать искусство, которымъ Москва всегда была богата. Это общество, при самомъ моемъ появленіи на московской сценѣ... приняло меня въ свой кругъ. Въ этомъ кругу было все,—и литераторы, и поэты, и преподаватели московскаго университета; тридцать лѣтъ находился я въ этомъ кругу. Правда, я не сидѣлъ на скамьяхъ студентовъ, но съ гордостью скажу, что я много обязанъ московскому университету въ лицѣ его преподавателей; одни научили меня мыслить, другіе—глубоко понимать искусство. Бесѣды объ искусствѣ собственно для меня не умолкали, и я съ глубочайшимъ вниманіемъ вслушивался въ нихъ“.

За симъ произнесъ слово Грановскій. Онъ сказалъ: „Позвольте мнѣ предложить бокаль за здоровье тѣхъ, кому пришла благородная и прекрасная мысль нынѣшняго праздника. Мы собрались сюда со всѣхъ приходоѡ (приходоѡ всякаго рода) нашей Москвы, во имя всѣхъ братающаго и всѣхъ соединяющаго искусства. И кому же быть предсѣдателемъ такого пира, достойнѣйшимъ представителемъ искусства, какъ не М. С. Щепкину. На Руси всегда было и будетъ много дарованій. Природа щедро надѣлила умственными силами русскаго человѣка. Но, скажемъ со смиреніемъ, что намъ часто недостаетъ одного качества, безъ котораго благороднѣйшія силы бесплодно гибнуть: намъ недостаетъ терпѣнія въ трудѣ, выдержки, умственнаго упорства. Честь и слава русскому

художнику, который почти полвѣка трудился на поприщѣ искусства, не слабѣя духомъ, не слабѣя усердіемъ. Да послужить его жизнь, исключительно посвященная служенію искусству, примѣромъ всѣмъ намъ, позднѣе его вступившимъ на поприще и уже носящимъ въ груди зачатки преждевременной усталости и охлаждения“ *.

Похороннымъ аккордомъ ворвалась въ эту жизнь вѣсть о кончинѣ Гоголя. 26 февр. 1852 г. Грановскій сообщаетъ друзьямъ „горькую для каждого порядочнаго человѣка въ Россіи“ вѣсть о кончинѣ Гоголя и обстоятельствахъ его смерти. „Похоронили его вчера, со всѣми почестями, приличными послѣднему великому писателю Русской земли“ **. Трагизмъ этой смерти въ пониманіи современниковъ выразился и въ этихъ словахъ Грановскаго, и въ слѣдующемъ, напр., письмѣ Аксакова: „Вчера мы похоронили Гоголя... Теперь все лопнуло. Надо начать жить безъ Гоголя! Онъ изнемогъ подъ тяжестью неразрѣшимой задачи, отъ тщетныхъ усилій найти примиреніе и свѣтлую сторону тамъ, гдѣ ни то, ни другое невозможно въ обществѣ... „Ну, кажется, теперь больше хоронить некого“,—сказалъ намъ Грановскій. И дѣйствительно, мы похоронили не только послѣднюю свою славу, но, кажется, и послѣдняго художника, не только для Россіи, но и для цѣлаго міра“. (Письмо И. С. Аксакова отъ 26 февр. 1852 г.). Вездѣ и во всемъ—настроеніе безнадежнаго оскудѣнія мысли и чувства.

„Ты любишь Москву по воспоминаніямъ годовъ, счастливо въ ней прожитыхъ,—писалъ Грановскій Е. Θ. Коршу, переѣхавшему на службу въ Петербургъ.—Но развѣ она для тебя и для меня теперь такая, какая была прежде... Проживъ здѣсь мѣсяца три сряду, ты бы, безъ сомнѣнія, довольно горько разочаровался. Здѣсь... скучнѣе, чѣмъ у васъ. Помнишь нашъ кружокъ сороковыхъ годовъ? Тогда мы были молоды, и сколькихъ нѣтъ болѣе между нами. Сколько жизни и ума, и сердца было въ нашихъ сходкахъ, а теперь? Ска-

* „Я не думалъ говорить и былъ вызванъ вашимъ примѣромъ,—писалъ Грановскій Погодину:—что пришло въ голову въ теплую минуту, то и сказать“.—„Ж. и тр. Погод.“, XII, 473.

** „Переписка“, 297. Извѣстно, что позднѣе эпитетъ „великаго писателя Русской земли“ утвердилъ другъ Грановскаго, Тургеневъ, за Л. Толстымъ.

зять ли тебѣ правду? Я люблю попрежнему Кетчера, но говорить съ нимъ мнѣ едва ли приходится разъ или два въ годъ. Не о чемъ. Онъ застылъ на извѣстныхъ понятіяхъ и во многомъ пошелъ назадъ. Изъ всѣхъ мнѣ близкихъ съ однимъ Фроловымъ есть у меня обмѣнъ мыслей. Съ другими плескъ и болѣе ничего. А пить безъ жажды и безъ веселья на душѣ—скучно. Ты жалуешься на недостатокъ умственной среды въ Петербургѣ, а развѣ она есть здѣсь? Тебѣ это незамѣтно. Ты приѣзжаешь сюда на короткое время и не успѣешь высказать и выслушать всего, что было съ тобою и съ нами въ промежуткѣ свиданій. Попробуй, поживи здѣсь. Я счастливѣе другихъ. У меня университетъ. Но и при томъ мнѣ бываетъ нестерпимо скучно. Я, кажется, съ радостью уѣхалъ бы куда нибудь на югъ или даже къ вамъ, на сѣверъ. Плановъ у насъ и затѣй всякаго рода много, но все это оканчивается болтовнею“ *.

„Я становлюсь старъ,—говорить онъ въ другомъ письмѣ,—припадки моей тоски ожесточаются. Впереди нѣтъ болѣе юношескихъ упованій... Каждый день отмѣченъ новою потерей. Хоть что нибудь да потеряешь. Сносишь всего терять деньги. Ты знаешь, какъ упорно я держался, въ память прошлаго, Б. Воюю, что мнѣ скоро придется отказаться отъ него. Онъ такъ скоро пошелъ внизъ, что скоро нельзя будетъ далѣе идти. Подчасъ хочется ударить кулакомъ въ этотъ призракъ прошлой дружбы и разбить его навсегда, а потомъ жаль становится“... **.

Подымаются мелкіе личные счеты и раздоры; Грановскій расходится съ Панаевымъ и „Современникомъ“, разочаровывается и во Фроловѣ. Какъ образецъ „дряни“, которой „довольно“ въ Москвѣ, и которою преимущественно и интересовались люди, онъ передаетъ въ письмѣ Е. Θ. Коршу четверостишіе извѣстнаго въ тѣ годы остряка Соболевскаго на ссору супруговъ Павловыхъ ***... Мелочи жизни одолѣвали. „Сердце

* „Помощь голодающимъ“. Сборникъ, М., 1892 г., стр. 530. — „Переписка Гр.“, 470.

** Письмо отъ 27 августа 1851 г. „Переписка Гр.“, стр. 297. Буква „Б.“—въ печатномъ текстѣ. Очевидно, рѣчь идетъ о В. П. Боткинѣ, мало по малу свернувшимъ направо.

*** „Переписка Гр.“, 467—469. Ссора супруговъ Павловыхъ, неожиданно закончившаяся ссылкой Н. Ф. Павлова,—любопытный примѣръ порядковъ,

ноетъ при мысли, чѣмъ мы были прежде, и чѣмъ стали теперь,—писаль Грановскій осенью 1853 г. Герцену.—Вино пьемъ по старой памяти, а веселья въ сердцахъ нѣтъ; только при воспоминаніи о тебѣ молодѣетъ душа. Лучшая, отраднѣйшая мечта моя въ настоящее время—еще разъ увидѣть тебя, да и она, кажется, не сбудется“. Одно изъ послѣднихъ своихъ писемъ къ другу онъ заключаетъ такъ: „Слышенъ глухой общій ропотъ, но гдѣ силы? гдѣ противодействие? Тяжело, братъ, а выхода нѣтъ—живому“.

Здѣсь, можетъ быть, умѣстно будетъ указать, до чего стѣсненъ былъ Грановскій въ это время въ выраженіи тѣхъ самыхъ мыслей, которыя раньше онъ высказывалъ безъ всякихъ обиняковъ и которыя сами по себѣ ни съ какой точки зрѣнія не могли казаться опасными. Объ этомъ обезцвѣченіи цензурнымъ терроромъ русской литературы вспоминалъ Некрасовъ:

Бывали случаи: весь вѣкъ
Считался умнымъ челоуѣкъ,
А въ книгѣ глупымъ очутился:
Пропаль и умъ, и слогъ, и жаръ,
Какъ будто съ бѣднымъ приключился
Апоплексическій ударъ!

По поводу диссертациі И. Бабста „Государственные мужи древней Греціи“, Грановскій желалъ было снова развить нѣкоторые свои взгляды на важность изученія классическихъ литературъ, какъ отражающихъ кое какіе жизненные вопросы, которые волнуютъ и наше время. Намъ уже приходилось цитировать совершенно ясныя его слова на этотъ счетъ изъ статьи, писанной въ 1847 г. (соч., т. II, 222). Черезъ четыре года точно параличъ разбилъ ясный, сжатый и образный языкъ Грановскаго: находимъ лишь вялое указаніе, что политическія судьбы Греціи и Рима заслуживаютъ такого же

заведенныхъ гр. Закревскимъ. Тестъ Павлова пожаловался Закревскому, что Павловъ разоряетъ его имѣнія. Казалось бы, всего проще уничтожить довѣренность на управленіе. вмѣсто того, Павловъ былъ посаженъ въ такъ называемую „яму“ при ремесленной управѣ, помещеніе его обыскано, а самъ Павловъ сосланъ въ Пермь за найденныя у него запрещенныя изданія. „Р. Архивъ“, 1894 г., февраль, стр. 214. „Н. Ф. Павлова сослали именно потому, что онъ былъ писателемъ“,—замѣчаетъ г. Бар-теньевъ.

вниманія, какъ и искусство, и наука ихъ. „Образованіе и упадокъ древнихъ гражданскихъ обществъ были не даромъ предметомъ постоянныхъ размышленій для величайшихъ умовъ послѣдующихъ временъ. Они не искали въ прошломъ примѣровъ и формъ, неприменимыхъ къ настоящему, а, напротивъ, укрѣпляли себя созерцаніемъ явленій, которыя раскрылись въ античномъ мірѣ, уже столь отдаленномъ, что онъ можетъ служить предметомъ совершенно спокойнаго изученія, свободнаго отъ всякихъ практическихъ увлеченій“ (II, 309). И Грановскій мало работалъ для журналовъ; двѣ-три незначительныхъ рецензіи, переводъ статьи о физиологическихъ признакахъ человѣческихъ породъ, намѣренія написать книгу о трехъ великихъ распространителяхъ просвѣщенія въ Европѣ: Теодорихѣ, Карлѣ и Альфредѣ Великихъ, и другія—вотъ и весь результатъ собственно литературныхъ работъ Грановскаго.

Въ 1851 г. въ мартѣ (6, 10, 13 и 17 числа) Грановскій послѣдній разъ читалъ публичныя лекціи. Это тѣ четыре историческія характеристики, о которыхъ мы уже много говорили, какъ шедеврахъ ораторской и литературной манеры Грановскаго; онѣ были записаны и появились въ печати, причемъ, какъ уже упомянуто, ихъ называли слишкомъ хорошими для научныхъ лекцій. Состоялись онѣ въ ряду публичныхъ лекцій съ 20 янв. по 31 марта проф. Геймана (о четырехъ стихіяхъ древнихъ), Рулье (о жизни животнаго по отношенію къ внѣшнимъ условіямъ), Соловьева (исторія установленія государственнаго порядка въ Русской землѣ до Петра Великаго) и Шевырева (очеркъ исторіи итальянской живописи).

„Лекціи Грановскаго, — писалъ Погодинъ, — наполняли своею славою литературные и ученые салоны Москвы. Одна дама, ревностная почитательница достойнаго профессора, передала мнѣ такъ живо лекцію о Людовикѣ IX, что я рѣшился наконецъ отложить часть своего утра и застать хотя послѣднюю его лекцію о Бэконѣ. Давно уже не слышалъ я Грановскаго. Фраза его стала еще легче, пріятнѣе, щеголеватѣе (элегантнѣе)... У него не бываетъ никакихъ неприятныхъ выходокъ. Онъ всегда ровень, и даже слишкомъ. Вниманіе слушателя поддерживается неотступно“... Погодинъ и

Шевыревъ, правда, брюзжали относительно содержанія лекцій; первый выражалъ негодованіе на разоблаченіе темныхъ сторонъ жизни замѣчательнаго человѣка. Какъ бы то ни было, „лекціи Грановскаго были лучше всѣхъ, и вѣнокъ остался за нимъ,—писалъ Анненкову Боткинъ, добавляя: —разумѣется, мы не замедлили вплестъ туда и гроздіи“.

Талантъ Грановскаго, какъ лектора, достигъ теперь наибольшаго развитія; онъ вполне владѣлъ теперь и всѣмъ своимъ недюжиннымъ запасомъ ученыхъ свѣдѣній, но пользоваться ими и покорять своему обаянію обширную и разнообразно составленную аудиторію приходилось рѣдко. 12-го января слѣдующаго года онъ читалъ лекцію на университетскомъ актѣ „о современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи“. Мы неоднократно цитировали и эту лекцію. И нечего говорить, какъ необычны были въ это время для интеллигентнаго общества, опустившагося и одичавшаго, такія напоминанія, какъ слова Грановскаго: „Да будетъ позволено намъ сказать, что тотъ не историкъ, кто не способенъ перенести въ прошедшее живого чувства любви къ ближнему и узнать брата въ отдѣленномъ отъ него вѣками иноплеменникѣ“. Но не были ли эти напоминанія гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, среди общества, которое все свое увлеченіе переносило теперь на балетъ, когда молодежь—не исключая университетской—дѣлилась на партіи, на сторонниковъ Андреевской и Санковской, и сходила съ ума отъ Фанни Эльслеръ, во главѣ съ редакторомъ „Московск. Вѣд.“, Хлоповымъ (замѣстителемъ Корша), удостоившимся завидной чести проѣхаться на козлахъ коляски дивы (за что, впрочемъ, потерялъ мѣсто).

Не имѣя возможности читать публичные курсы, Грановскій время отъ времени читалъ лекціи въ кругу друзей и знакомыхъ. Такъ, въ 1849 г., въ Порѣчьи, у гр. Уварова онъ читалъ не сохранившуюся, къ сожалѣнію, лекцію „о переходныхъ эпохахъ“; такова лекція „объ Океаніи и ея жителяхъ“, прочитанная въ семьѣ Фролова лѣтомъ 1852 г.; таковъ, наконецъ, курсъ древней исторіи, прочитанный имъ лѣтомъ 1854 г. Забѣлину и Солдатенкову.

Отрывочныя занятія, чтеніе и т. д.—все это не удовлетворяло, раздражало Грановскаго, а вдобавокъ болѣзнь мѣ-

шала систематическому труду и то и дѣло нарушала предположенный распорядокъ занятій. Доктора противорѣчили одинъ другому, а болѣзнь проявлялась мучительными болями, подолгу не прекращавшимися, иногда появлявшимися при малѣйшемъ движеніи, и медленно дѣлала свое разрушительное дѣло. „Я все болѣю и болѣю,—писалъ Грановскій въ 1854 г. въ Пермь Павлову.—Самому мнѣ писать почти невозможно, и я даже долженъ диктовать мои письма“... „Мои дѣла въ самомъ гнусномъ положеніи,—писалъ онъ тутъ же о матеріальныхъ заботахъ, также не мало отравлявшихъ существованіе.—Едва ли они когда нибудь были хуже. Ломаю голову и не нахожу выхода изъ сквернаго положенія. Денегъ нѣтъ: кто мнѣ долженъ, тѣ не платятъ, а съ самого все требуютъ уплаты. Одно утѣшеніе—работа. Я диктую каждое утро и крѣпко занимаюсь своими лекціями. Кое-что увидите скоро въ печати“ *.

Въ дѣйствительности и въ общемъ едва ли эта работа была настолько производительна, какъ могла бы быть при другихъ, болѣе благопріятныхъ условіяхъ.

Между тѣмъ наступили годы турецкой и крымской войны.

ХІІІ.

Послѣдніе мѣсяцы жизни Грановскаго.

Вотъ въ воинственномъ азартѣ
Воевода Пальмерстонъ
Раздѣляетъ Русь на картѣ
Указательнымъ перстомъ!
Вдохновленъ его отвагой,
И французъ за нимъ туда-жъ
Машетъ дядюшкиной шпагой
И кричитъ: „Allons, courage!“

Такъ распѣвали по всеѣмъ концамъ Россіи—въ воинственномъ же азартѣ—это произведеніе Алферьева и предсказывали союзникамъ:

* „Русск. Архивъ“, 1894 г., февр., 215—216.

То-то будетъ удивленье
Для практическихъ головъ,
Какъ высокое давленье
Имъ покажутъ безъ паровъ.
Знайте-жь, машина готова,
Вудеть дѣйствовать, какъ встарь;
Ее двигаютъ три слова:
Богъ, да родина, да царь!

Подобныя же вирши строчили кн. Вяземскій, Майковъ, К. Павлова и другіе *. „Въ этомъ, конечно, нѣтъ ничего предосудительнаго, — записываетъ объ этихъ стихотвореніяхъ въ своемъ дневникѣ Никитенко. — Но бѣда въ томъ, что всѣ признанные и непризнанные поэты — особенно послѣдніе — вдохновляются не столько дѣйствительнымъ патриотизмомъ, сколько вождельніями къ перстнямъ, табакеркамъ и т. д. Стихи подносятся министру, въ надеждѣ, что бьющія въ нихъ черезъ край вѣрнопопданническія изліянія будутъ подвергнуты къ стопамъ монарха и принесутъ желаемые плоды“ **. Къ характеристикѣ пустозвоннаго настроенія служить то, что публика, услаждавшаяся этими виршами, съ неудовольствіемъ встрѣтила стихи Хомякова, вполне „патріотическіе“, но наминавшіе Россіи:

...А на тебя, увы! какъ много
Грѣховъ ужасныхъ налегло!
Въ судахъ черна неправдой черной
И игомъ рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лѣни мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

Хомякову пришлось за эти стихи объясняться съ Закревскимъ.

Скоро оказалось, однако, что одними патріотическими чувствованіями съ врагомъ не сладишь, что машина если и дѣйствуетъ, то прескверно, что закидываніе враговъ шапками — способъ борьбы весьма ненадежный...

* Полоса „патріотическаго творчества“ охарактеризована подробно въ книгѣ М. Лемке „Очерки по исторіи русской цензуры и журнал. XIX в.“, стр. 2—11.

** „Записки и дневникъ“, I, 575. Единственное осозательное слѣдствіе тогдашней моды на патріотическія стихотворенія — это то, что одно такое стихотвореніе обратило вниманіе на погибавшій въ глуши талантъ; именно стихотвореніе „Русь“ выдвинуло И. Никитина.

Переписка И. С. Аксакова даетъ любопытныя подробности, характеризующія общественное настроеніе и тѣмъ болѣе цѣнныя, что Аксаковыхъ трудно заподозрить въ желаніи преувеличить краски; картина полного нравственнаго и матеріальнаго банкротства, къ которому пришла система официальной народности со всѣми ея чертами, доведенными до крайности въ періодъ 1848 — 55 гг., смутно сознаваемая современниками, теперь рисуется предъ нами во всей ея безотрадности.

Скоро стало „замѣтно всеобщее неудовольствіе, — говоритъ И. Аксаковъ, — на пренебреженіе, оказываемое правительствомъ народному чувству, именно на то, что правительство держитъ все и всѣхъ въ неизвѣстности, что не приняты мѣры для полученія скорѣйшихъ свѣдѣній и пр. Вообще, восторги, возбужденные войною вначалѣ, остыли, участіе ослабѣло и смѣняется какимъ-то равнодушіемъ, какимъ-то апатическимъ упованіемъ на милость Божию“. „Обидно читать иностранныя газеты, — жалуется онъ далѣе: — съ какимъ восторгомъ описываютъ онѣ высадку, изображаютъ ее въ картинахъ, съ какою гордостью, понятною и на этотъ разъ законною (это не бомбардированіе Одессы!), рассказываютъ онѣ всѣ подробности этого дѣла. Здѣшніе (т. е. харьковскіе) французы также съ иронической улыбкой спрашиваютъ всякій разъ: какія новости? вѣрно французовъ выгнали? и т. п. Имъ можно было бы отвѣчать: *rien bien, qui rien le dernier*, — но не смѣешь и это сказать: такъ мало имѣешь надежды на умъ и способности нашихъ военачальниковъ!“ Недовѣріе къ послѣднимъ было, къ несчастію, слишкомъ основательно: цѣлая эпопея грандіознаго грабежа и разврата развертывалась передъ тѣми, кто могъ заглянуть за кулисы, и не было недостатка въ самыхъ яркихъ доказательствахъ полной несостоятельности системы даже въ области, наиболѣе ею поддерживаемой. Отсылаемъ читателя къ перепискѣ Аксакова, которая даетъ нѣкоторое понятіе о томъ, откуда бралась „экономія, которую мошенникъ, или, лучше сказать, истинный русскій чело-вѣкъ, съ полнымъ иногда простосердечіемъ кладетъ въ карманъ“, и какъ честный чело-вѣкъ долженъ былъ лгать, и лгать официально. „И тѣ, которые отпускаютъ деньги, знаютъ, что весь расчетъ будетъ ложный, и тѣ, ко-

торые принимаютъ, и тѣ, которые ведутъ книги, и всѣ лгутъ, — лгутъ для удовлетворенія требованій официальной лжи, какого-то страшнаго чудовища, именуемаго въ Россіи порядкомъ и снѣдающаго Россію“. Полное уныніе охватывало тѣхъ, кто не поддавался обманчивой формулѣ „все благополучно“. „У меня душа ноетъ до сихъ поръ, — жаловался старикъ Аксаковъ сыну послѣ рассказовъ, слышанныхъ имъ о грабежахъ одного дворянскаго комитета по устройству ополченія:— Боже мой, какая ужасная безнравственность! Все проникнуто ею до костей. Нѣтъ, мы не стоимъ торжества, —мы должны пострадать позорно за свои грѣхи. Грустно, очень грустно“ *.

„Это было время глубокой тревоги, —вспоминаетъ и Салтыковъ („За рубежомъ“, гл. IV).—Въ первый разъ изъ крошечной тьмы выдвинулось на свѣтъ Божій „свое“ и вспугнуло не только инстинкты, но и умы. До тѣхъ поръ это „свое“ пряталось за цѣлою сѣтью всевозможныхъ формальностей, которыя были преднамѣренно комбинированы съ такимъ расчетомъ, чтобъ спрятать заправскую дѣйствительность. Теперь эта вся масса формальностей какъ-то разомъ оказалась прогнившею и истлѣла у всѣхъ на глазахъ. Изъ-за прорѣхъ и отребьевъ тлѣнія выступило наружу „свое“, вопиющее, истекающее кровью. Вся Россія, изъ края въ край, полна была стонами. Стонали русскіе солдатики и подъ Севастополемъ, и подъ Инкерманомъ, и подъ Альмою; стонали елабужскіе и курмышскіе ополченцы, мѣся босыми ногами грязь столбовыхъ дорогъ; стонали русскія деревни, провожая сыновей, мужей и братьевъ на смерть за „ключи“.

„Оставаться равнодушнымъ къ этимъ стонамъ, не почувствовать, что стонетъ „свое“, родное, кровное, — было немислимо...

„Но тогдашнія времена были тѣ суровыя, жестокія времена, когда все, напоминающее о сознательности, представлялось не только нежелательнымъ, но даже болѣе опаснымъ, нежели бѣдственныя перипетіи войны. По крайней мѣрѣ такого мнѣнія держался тотъ безыменный сбродъ, который въ то время носилъ названіе русскаго „общества“. Благодаря своекорыстному и пустомысленному настроенію этого сброда,

* „И. С. Аксаковъ въ его письмахъ“, III, стр. 76, 85, 159, 176.

незамѣтно потонули первые, робкіе проблески сознательнаго отношенія русской мысли къ русской дѣйствительности. Рядомъ съ величайшей драмой, все содержаніе которой исчерпывалось словомъ „смерть“, шла позорищѣйшая комедія пустословія и пустохвальства... Не скорбь слышалась, а какое-то откровенно-подлое ликованіе, прикрываемое рубрикой патріотизма. Никогда пьяный угаръ не охватывалъ такъ всецѣло провинцію, никогда жажда расхищенія не встрѣчала такого явнаго и безнаказаннаго удовлетворенія. Кости стараго Политковского стучали въ гробъ; младенецъ Юханцевъ задумывался надъ вопросомъ: „ужели я когда нибудь превзойду?“ Среди этой нравственной неурядицы, гдѣ позабыто было всякое чувство стыда и боязни, гдѣ грабитель во всеуслышаніе именовалъ себя патріотомъ, человѣку сколько нибудь безглаголивому ничего другого не оставалось, какъ жаться къ сторонѣ...“

Вообще, отношеніе народа и общества къ крымской войнѣ, если оставить въ сторонѣ сочинителей патріотическихъ виршей, представляетъ собою любопытное явленіе, показывающее, къ какому глубокому нравственному паденію, не говоря о паденіи экономическомъ и политическомъ, пришла страна. „Общество, отвыкнувши думать, перестало и чувствовать,—говоритъ біографъ Кошелева:—война не возбуждала въ немъ патріотическихъ порывовъ,—къ ней относились съ тупымъ равнодушіемъ и привычною апатіей“. „Высадка союзниковъ въ Крымъ въ 1854 г., послѣдовавшія затѣмъ сраженія при Альмѣ и Инкерманѣ и обложеніе Севастополя насъ не слишкомъ огорчили,—пишетъ самъ А. И. Кошелевъ,—ибо мы были убѣждены, что даже пораженіе Россіи сносиће и даже для нея и полезнѣе того положенія, въ которомъ она находилась послѣднее время. Общественное и даже народное настроеніе, хотя отчасти безсознательное, было въ томъ же родѣ. Не могу здѣсь не сказать нѣсколькихъ словъ объ объявленномъ въ 1854 г. ополченіи. Несмотря на то, что войны противъ мусульманъ за единовѣрцевъ и единоплеменниковъ всегда встрѣчали въ Россіи народное сочувствіе, манифестъ объ ополченіи принятъ былъ всѣми сословіями не только холодно, но даже съ тяжелымъ чувствомъ. Какъ на-

боры рекрутовъ всегда возбуждали вой и плачь, такъ и ополченцевъ провожали, какъ будто они отправлялись на тотъ свѣтъ; не видно было въ народѣ никакого одушевленія, хотя дѣло уже шло о защитѣ своей земли. Въ дворянскихъ собраніяхъ замѣтно было то же: шли въ ополченіе только тѣ дворяне, которые съ приличіемъ не могли отъ того уклониться; а кого освобождали лѣта, здоровье или особенныя семейныя обстоятельства, тѣ, съ едва скрываемою радостью, отказывались отъ чести и долга защищать свое отечество“*.

Положимъ, что патріотическое одушевленіе народа, „популярность“ той или иной войны, вообще говоря, существуютъ преимущественно въ фантазіи квасныхъ патріотовъ, лично ничѣмъ для войны не жертвующихъ. Тѣмъ не менѣе, при нормальномъ положеніи дѣлъ въ странѣ, существуетъ извѣстная солидарность и готовность перенести несчастье, обрушившееся на всѣхъ одинаково, кто бы ни былъ причиною его. Ничего подобнаго не было въ отношеніи общества къ крымской войнѣ, и не совсѣмъ основательно его винить за то, какъ это дѣлаетъ, наприм., А. Д. Галаховъ въ своихъ воспоминаніяхъ. „Повсюду и глубоко возбудила она національное чувство,—пишетъ онъ о крымской войнѣ — всѣ, конечно, желали блага отчеству, но взгляды на средства къ достиженію этого блага были различны, иногда прямо противоположны. Одни молились объ успѣхахъ нашихъ войскъ, не допуская ни малѣйшаго изъяна нашимъ владѣніямъ; другіе находили полезнымъ временный гнѣвъ Божій, то есть политическое приниженіе, которое раскрыло бы глаза на недостатки правительственной системы. Рано утромъ являлись любопытные въ книжную лавку Базунова (въ Москвѣ) читать газеты и узнавать севастопольскія новости. По фізіономіи читавшихъ легко было угадать, къ какой категоріи патріотовъ принадлежать они—къ первой или ко второй. Нѣкоторые изъ послѣдней доходили въ своихъ мнѣніяхъ и чувствахъ до абсурда. Одинъ (С—въ) почему-то восхищался зуавами, когда наши войска постоянно выказывали образцовый героизмъ; другой (Н. Ф. Павловъ) на выраженное къ-то сожалѣніе, что враги наши завладѣютъ,

* „Біографія Кошелева“, II, 227—228.

пожалуй, Крымомъ (русской Италіей), началъ утѣшать сожалѣвшаго такими словами: „Повѣрьте, мы не останемся въ накладѣ, а въ выигрышѣ: мы будемъ ѣсть еще лучшія яблоки и по болѣе дешевой цѣнѣ“ *.

Возможность столь легкаго отношенія къ войнѣ со стороны хотя бы нѣкоторыхъ представителей интеллигенціи—а Павлова какъ, ни-какъ надо признать одною изъ замѣтныхъ величинъ въ ея рядахъ—достаточно характеризуетъ чувство, накипѣвшее въ обществѣ по отношенію къ системѣ, тогда господствовавшей. Забывали, что наши военныя неудачи ложатся прежде всего на безотвѣтный и ни въ чемъ неповинный народъ, и только были готовы радоваться всякому факту, который обличалъ несостоятельность государства, игнорированнаго и общество, и народныя массы. Болѣзненно раздраженные долгимъ гнетомъ нервы доводили людей до такого глумливаго отношенія къ самимъ себѣ. „Вспоминая теперь подобныя рѣчи,—добавляетъ Галаховъ (1891 г.),—изумляешься и невольно краснѣешь, несмотря на преклонные годы“. Строго говоря, изумляться совершенно нечему, и краснѣть приходится совѣмъ не за тѣхъ или другихъ лицъ, глумившихся надъ огорченіемъ квасныхъ патріотовъ. Дѣло въ томъ, что страна давно уже была въ такомъ состояніи, что лучшаго будущаго для нея ждали иные только отъ какого нибудь внѣшняго, обрушившагося на нее, несчастія. Эта мысль довольно ясно проглядываетъ въ одной фразѣ герценовскаго дневника, гдѣ подъ 17 іюня 1844 г., по поводу статьи какого-то нѣмецкаго журнала, доказывавшаго выгодность для Германіи войны съ Россіей, записано: „Можетъ, и для насъ война принесла бы что нибудь“. Черезъ 10 лѣтъ эта мысль, какъ ни чудовищна она сама по себѣ и какъ ни нелѣпа была бы во всякомъ другомъ обществѣ, въ русскомъ — стала господствующею и, къ несчастью, совершенно вѣрною, какъ показало близкое будущее.

Грановскій принадлежалъ, конечно, къ числу тѣхъ, кто видѣлъ ясно это противорѣчіе, и оно, какъ кошмаръ, преслѣдовало его. Чувство симпатіи къ народу, на который тяжелымъ бременемъ ложилаь неудачная война съ бесплоднымъ

* Галаховъ: „Сороковые годы“, „Историческій Вѣстн.“ 1892 г., №№ 1 и 2.

геройствомъ арміи, боролось въ немъ съ сознаніемъ невозможности побѣды и надеждою, что неудача будетъ грандіознымъ урокомъ системѣ. „Такъ много совершается кругомъ, такъ много противорѣчій въ головѣ и въ сердцѣ, что подчасъ не знаешь, куда дѣться съ этою ношей, — писалъ онъ Фролову въ октябрѣ 1854 г. — Образованныхъ отголосковъ на собственныя мысли слышится мало. Встрѣчаешься съ людьми просвѣщенными, мыслящими, которыхъ знаешь давно, и съ удивленіемъ замѣчаешь безконечное разстояніе, раздѣляющее насъ въ самыхъ коренныхъ понятіяхъ и убѣжденіяхъ. Я за-сѣлъ дома—и кромѣ университета почти нигдѣ не бываю“.

Въ такомъ настроеніи, волнуемый противорѣчіями, и въ умѣ, и въ сердцѣ, и тогдашнимъ положеніемъ Россіи, онъ встрѣтилъ и столѣтнюю годовщину основанія московскаго университета, 12-е января 1855 г. Въ составъ комиссіи для приготовленія къ торжеству вѣкового юбилея университета вошли: С. П. Шевыревъ, С. И. Баршевъ, Ѳ. Л. Морошкинъ, Т. Н. Грановскій и С. М. Соловьевъ. На Шевырева было возложено писаніе исторіи университета. Въ силу официальныхъ требованій почетными гостями приглашалось множество весьма далекихъ отъ университета лицъ, преимущественно военнаго званія. Одинъ изъ бывшихъ студентовъ рассказываетъ, какъ трудно было имъ попасть на торжество.

„Прихожу въ правленіе—желающихъ гибель: кто изъ Сибири, кто изъ Архангельска, кто изъ Одессы. Билетовъ не даютъ... Въ правленіе входитъ Т. Н. Грановскій. Мы поклонились. Онъ остановился, заговорилъ съ нами. Между прочимъ, мы объявили ему, что не можемъ добиться билетовъ. Грановскій пожалъ плечами и, уходя, обратился къ намъ со слѣдующими словами: „Жаль, господа; но, вѣроятно, вы получите билеты; если же нѣтъ, то можете утѣшиться тѣмъ, что первыя мѣста будутъ заняты бригадными генералами и ихъ адъютантами“*.

Юбилей былъ отпразднованъ съ большою торжественностью. Изъ одного Петербурга было человѣкъ 300 и болѣе 18 депутацій отъ высшихъ учебныхъ заведеній и учреждений. Ученая и учебная Россія, какъ могла, дружно чествовала старѣйшій русскій университетъ. Университету была дана Вы-

* „Русское Обозрѣніе“, 1896 г., I.

сочайшая грамота государя и на имя министра рескриптъ отъ Наслѣдника о принятіи имъ званія почетнаго члена московскаго университета; по случаю торжества комплектъ студентовъ—300 человекъ безъ медицинскаго факультета—былъ увеличенъ на 50 человекъ, и министръ народнаго просвѣщенія А. С. Норовъ, лично присутствовавшій на трехдневномъ празднествѣ, очень внимательно отнесся и къ университету, и къ профессорамъ, и въ томъ числѣ къ Грановскому. Онъ пригласилъ его въ Петербургъ для совѣщаній и переговоровъ по поводу составленія учебника всеобщей исторіи по его программѣ.

Достаточно извѣстенъ всѣмъ характеръ официальныхъ торжествъ, съ ихъ натянутою чопорностью, и нѣтъ надобности останавливаться на описаніи порядка праздника; укажемъ лишь, что тогдашняя официальность курьезно сказала, между прочимъ, въ такой мелочной подробности: на колоссальномъ обѣдѣ гостямъ въ стѣнахъ университета, на второй день праздника, тостъ за процвѣтаніе виновника торжества, императорскаго Московскаго университета, былъ по счету только седьмымъ, вслѣдъ за тостами въ честь христіанскаго, храбраго и побѣдоноснаго русскаго воинства (что звучало весьма иронически) и за благосостояніе первопрестольной столицы Москвы*. На третій день праздника министръ обѣдалъ съ профессорами и студентами. Говорилъ Шевыревъ на тему о преданности престолу и готовности студентовъ идти на войну, что вызвало, по словамъ „Московскихъ Вѣдомостей“, трогательную сцену: „министръ принималъ въ свои объятія нашихъ пламенныхъ юношей, которые съ радостными слезами и рыданіями бросались къ нему и почтительно преклонялись на его любящую грудь. Онъ плакалъ, крестился; всѣ плакали и крестились вмѣстѣ съ нимъ“. Послѣ этой сцены Шевыревъ докончилъ свое слово увѣреніемъ, что, „кромѣ этой будущей молодой арміи, готова, въ лицѣ профессоровъ и студентовъ, армія духовная... воинство мыслящее, которое сумѣетъ постоять противъ Запада за святыя начала нашего отечества“. „Начальники университета и профессора весьма благообразно

* Описаніе официального праздника въ „Журналѣ Мин. Нар. Просвѣщенія“, за 1855 годъ.

отказались от своихъ тостовъ, чтобы успокоить порывы восторженнаго чувства юношескаго“ *. И дѣйствительно, послѣ этого говорить было бы трудно. Но помимо этой взмыленной пѣны фальшиваго умиленія была и другая, болѣе интимная, задушевная сторона праздника, и въ ней Грановскій, на официальномъ празднествѣ не выдѣлявшійся, занялъ совершенно естественно и незамѣтно первое мѣсто. Лучшіе представители науки и литературы, съѣхавшіеся въ Москву, желали видѣть его, познакомиться съ нимъ, пожать ему руку, говорить съ нимъ: домъ его всегда былъ полонъ эти дни. И одинаково всѣхъ, кто тутъ впервые видѣлъ его, привлекали простота и задушевность его. Онъ носилъ въ этой толпѣ свой авторитетъ, какъ бы и не подозрѣвая того, что онъ—центръ стремленій и надеждъ цѣлаго круга лицъ. „Мнѣ всѣхъ больше по душѣ пришелся Грановскій,—такъ записалъ въ своемъ дневникѣ Никитенко, присутствовавшій на юбилей въ качествѣ депутата: — это человѣкъ высокаго таланта и благородныхъ чувствъ. Онъ вполне очеловѣченъ наукою. Въ немъ какая-то классическая простота и благородство“ **. И такое чарующее впечатлѣніе производилъ онъ и на другихъ. „Его легко было найти въ толпѣ, не справляясь, гдѣ онъ; въ ту сторону, гдѣ находился онъ, обращалось много глазъ, туда сильнѣе было движеніе“,—говорилъ о немъ Соловьевъ ***.

Но и на самого Грановскаго праздникъ не остался безъ сильнаго вліянія. Со времени юбилея въ немъ замѣтенъ сильный подъемъ духа; онъ почти совершенно забываетъ свою хандру, не обращаетъ вниманія на болѣзнь. Въ кипучемъ соприкосновеніи съ самыми разнообразными лицами, въ бесѣдахъ и спорахъ онъ ожилъ. Ему страстно хотѣлось излить въ живой рѣчи всѣ впечатлѣнія, уяснить себѣ и другимъ современное положеніе. „Много и много накопилось мыслей и фактовъ,—писалъ онъ послѣ праздника Фролову,—которые хотѣлось бы передать тебѣ, братъ мой. Подчасъ желаніе это становится даже мучительно“.

Историческія судьбы Россіи, связь ея быта съ обществен-

* Барсуковъ: „Ж. и тр. Погод.“, XIII, стр. 347.

** „Записки и дневникъ“, I, стр. 587.

*** Рѣчь на актѣ 1856 г., „Журн. Мин. Нар. Пров.“, мартъ.

ными учрежденіями особенно начинаютъ занимать Грановскаго въ это время, и онъ обращается къ изученію русской исторіи. Она начала привлекать его еще раньше. Такъ, весною 1852 г. онъ очень интересовался славянофильскою теоріею общиннаго быта въ русской исторіи, выставленною въ противоположность защищаемой западниками, Соловьевымъ и Кавелинымъ, теоріи быта родового. Грановскій „совершенно соглашается съ Константиномъ (Аксаковымъ),—писаль И. С. Аксаковъ:—говорить, что ошибки Кавелина и Соловьева очевидны, но что, конечно, обломки до-историческаго быта могли встрѣчаться и потомъ“, и пр. *. Это вмѣстѣ съ тѣмъ образецъ всегдашней готовности Грановскаго отдать должное противнику. Но въ то же время онъ умѣлъ и ѣдко отдѣлывать его, когда замѣчалъ притязательное невѣжество. Въ эти годы (1851—55) въ „Москвитянинѣ“, такъ называемой молодой редакціи, развивалъ свои теоріи Аполлонъ Григорьевъ, широковѣщательно и туманно возглашая „народность“ и „непосредственность“. Галаховъ передаетъ, что на одномъ изъ вечеровъ у В. П. Боткина Грановскій занялся чтеніемъ только что вышедшей книги „Москвитянина“. „Полно вамъ наслаждаться болтовнею молодой редакціи,—замѣтилъ ему кто-то:—присядьте-ка лучше къ намъ для бесѣды“.—„Нѣтъ, господа,—отвѣчалъ онъ,—дайте дочитать: это до того глупо, что даже становится интереснымъ“.

Грановскій, между прочимъ, собиралъ печатные и рукописные матеріалы по занимавшей его исторіи Александра I, и объ общественномъ движеніи двадцатыхъ годовъ онъ думалъ даже писать очеркъ. Но глубокое и благоговѣйное вниманіе его привлекала болѣе всего личность великаго преобразователя Россіи. Въ связи съ занятіями русской исторіей было, вѣроятно, посѣщеніе Грановскимъ Погодина,—посѣщеніе, о которомъ онъ писалъ вскорѣ послѣ юбилея: „На дняхъ я былъ у Погодина и вынесъ оттуда глубокое впечатлѣніе. У Погодина есть портретъ Петра Великаго, написанный съ мертваго современнымъ художникомъ.... Я не знатокъ живописи, и вообще она на меня почти никогда не дѣйствовала; но передъ этимъ портретомъ я готовъ бы стоять цѣлые дни. Я отдалъ

* „И. С. Аксаковъ въ его письмахъ“, III, стр. 111.

бы за него половину моей библиотеки, любимыя книги мои. Я едва не зарыдалъ, глядя на это божественно-прекрасное лицо. Спокойную красоту верхней части нельзя описать. Только великая, безконечно благородная и святая мысль можетъ положить на чело печать такого спокойствія. Но губы сжаты скорбію и гнѣвомъ. Онѣ будто дрожатъ еще. Онѣ еще причастны тревогамъ и волненіямъ жизни. Что за человѣкъ былъ этотъ Петръ!“. О томъ же впечатлѣніи Грановскій со-общалъ и Кавелину, уговаривая его писать исторію петровскихъ учреждений: „Цѣлый вечеръ смотрѣлъ я на это изображение человѣка, который далъ намъ право на исторію и едва ли не одинъ заявилъ наше историческое призваніе. Цѣлый вечеръ голова была полна имъ...“ Всмотриваясь въ разнообразныхъ представителей русскаго общества, Грановскій приходилъ къ убѣжденію, что русскій народъ умѣетъ умирать только за отечество, но жить за него и для него еще не научился. „Чѣмъ болѣе живемъ мы, тѣмъ колоссальнѣе растетъ предъ нами образъ Петра,—писалъ въ это время Грановскій и Герцену, порицая его за то, что онъ въ своихъ изданіяхъ „бросилъ камень“ въ преобразователя Россіи: — тебѣ, оторванному отъ Россіи, отвыкшему отъ нея, онъ не можетъ быть такъ близокъ и такъ понятенъ; глядя на пороки Запада, ты клонишься къ славянамъ и готовъ подать имъ руку. Пожилъ бы ты здѣсь, и ты сказалъ бы другое. Надобно носить въ себѣ много вѣры и любви, чтобы сохранить какую нибудь надежду на будущность самаго сильнаго и крѣпкаго изъ славянскихъ племенъ. Наши матросы и солдаты славно умираютъ въ Крыму; но жить здѣсь никто не умѣетъ“ *. Петръ Великій, учившій Россію жить, представлялся Грановскому, какъ и Бѣлинскому въ послѣдніе мѣсяцы его жизни **, единственнымъ спасеніемъ для Россіи. Но Петры Великіе не каждый день рождаются...

Кончина Фролова была для Грановскаго новою утратою, не менѣе тягостною, чѣмъ тѣ, какія ему пришлось испытать въ молодости.

Новое потрясеніе перевернуло вверхъ дномъ тяжелыя думы Грановскаго: императоръ Николай I скоропостижно скончался

* „Сѣверный Вѣстникъ“, 1896 г., № 1, стр. 65. „Переписка Гр.“, 448.

** „Анненковъ и его друзья“, I, 611.

18-го февраля 1855 г. Извѣстны слова его на смертномъ одрѣ своему преемнику: „Сдаю тебѣ команду, но не въ такомъ порядкѣ, какъ желалъ, — оставляю тебѣ много заботъ и трудовъ“.

„Въ настоящихъ обстоятельствахъ смерть его является особенно важнымъ событіемъ, которое можетъ повести къ неожиданнымъ результатамъ, — записалъ Никитенко, и слова его — выраженіе тревожныхъ размышленій всего общества. — Для Россіи, очевидно, наступаетъ новая эпоха. Императоръ умеръ. Да здравствуетъ императоръ! Длинная и, надо-таки сознаться, безотрадная страница въ исторіи русскаго царства дописана до конца. Новая страница перевертывается въ ней рукою времени. Какія событія занесетъ въ нее новая царская рука, какія надежды осуществитъ она?..“ *

Первые дни новаго царствованія не принесли никакихъ существенныхъ переменъ. Шла еще крымская война, и пока было не до внутреннихъ реформъ. Но много надеждъ возлагалось уже на императора Александра II. Грановскій видѣлъ лишь первые семь мѣсяцевъ новаго царствованія, но, несмотря на жестокія физическія страданія, — врачи подозрѣвали каменную болѣзнь, — онъ давно не былъ — по общему признанію — такъ бодръ, оживленъ и дѣятеленъ, какъ именно въ эти мѣсяцы.

Въ концѣ февраля болѣзненные припадки усилились до такой степени, что въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ онъ не могъ выходить изъ комнаты. Въ это время онъ получилъ сильно тронувшее его письмо отъ слушателей; они просили его читать на дому для нѣсколькихъ изъ нихъ, съ тѣмъ, чтобъ и остальные могли воспользоваться ихъ записками. „Мы съ грустнымъ чувствомъ, — писали они любимому профессору, — говоримъ себѣ: печатныя руководства и историческія сочиненія останутся съ нами вездѣ и навсегда, но не вездѣ и всегда будемъ имѣть возможность слушать Грановскаго“. Онъ преодолѣлъ себя и не прекратилъ курса.

Едва оправившись, Грановскій выѣхалъ въ Петербургъ и здѣсь принялъ на себя, по порученію министра, хотя и не совсѣмъ охотно, составленіе учебника всеобщей исторіи. То немногое, что успѣлъ написать Грановскій, и что въ 1892 г. по-

* „Записки и дневникъ“, I, 588.

явилось въ третьемъ изданіи его сочиненій, показываетъ, какъ относился онъ къ дѣлу составленія учебника и какъ смотрѣлъ на задачу учителя. Книга должна была быть послѣднимъ словомъ науки, по изложенію и группировкѣ историческихъ фактовъ и объясненію ихъ. За каждымъ отдѣломъ были подробныя указанія на литературу предмета. При своемъ всегда одинаково простомъ и ясномъ изложеніи, Грановскому не было надобности принаравливать къ степени пониманія учениковъ. Судя по размѣрамъ написанной части книги, это вышелъ бы собственно не учебникъ, но то, что нѣмцы называютъ Handbuch, большое сжатое руководство исторіи, которое было бы полезно вспомогательною книгой для учащихся.

Новое настроеніе Грановскаго сказалось, въ Петербургѣ, между прочимъ, рѣзкою филиппикой, которою онъ разразился, по разсказу Панаева, противъ Москвы, у Е. Корша, вздыхавшаго по первопрестольной столицѣ. Такъ какъ воспоминанія Панаева въ общемъ представляютъ весьма надежный источникъ, то нелишне указать здѣсь на страстную рѣчь Грановскаго. Тѣ же мотивы, которые заставляли Бѣлинскаго такъ безпощадно относиться къ Москвѣ съ ея провинціализмомъ, елейностью и прекраснодушною болтовней—были теперь повторены Грановскимъ, хотя раньше онъ былъ несогласенъ съ Бѣлинскимъ.

„Когда я вошелъ въ комнату и взглянулъ на Грановскаго,—передаетъ Панаевъ,—я какъ будто увидалъ передъ собою новаго человѣка, или, по крайней мѣрѣ, совсѣмъ преобразованнаго. Внутренній пылъ отражался въ его благородныхъ, прекрасныхъ чертахъ, въ которыхъ мелькала грустная, но ѣдкая иронія; даже въ голосѣ его была несвойственная ему энергія. Я никогда не слышалъ, чтобы рѣчь его лилась такъ звонко, горячо и свободно... Я никогда не видалъ его такимъ прекраснымъ и такимъ вдохновеннымъ, какъ въ эту минуту. Изрѣдка и вяло прерываемый Коршемъ, онъ говорилъ часа два сряду. Каждое его слово въ этотъ вечеръ надобно было стенографировать. Онъ доказывалъ, что Москва отживаетъ то великое и неоспоримое значеніе, которое она имѣла нѣкогда для Россіи, что, напротивъ, значеніе для Рос-

сія Петербурга, въ ущербъ Москвѣ, обнаруживается съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе, и что Петербургу предназначено играть современемъ большую роль въ судьбахъ нашего отечества; что русскій чело­вѣкъ, развитой и мыслящій, еще нѣсколько свободнѣе можетъ жить изъ всей Россіи въ одномъ только Петербургѣ... Если бы не моя привязанность къ московскому университету,—говорилъ онъ,—я ни одной минуты не остался бы жить въ Москвѣ,—и что такое для меня, для тебя и для всѣхъ насъ Москва безъ людей, дорогихъ нашему сердцу, кровныхъ намъ по убѣжденію, по мысли? Москва дорога мнѣ по однимъ воспоминаніямъ объ этихъ людяхъ...“ *.

Грановскій въ страшномъ возбужденіи, подъ впечатлѣніемъ всей тяжести послѣднихъ лѣтъ, пережитыхъ въ сонномъ, вяломъ и равнодушномъ обществѣ, точно сводилъ счеты съ Москвою, съ которою въ умственномъ и нравственномъ отношеніи не хотѣлъ имѣть теперь ничего общаго.

По возвращеніи изъ Петербурга, Грановскій былъ снова избранъ деканомъ историко-филологическаго факультета, на мѣсто Шевырева. На этотъ разъ утвержденіе состоялось.

Еще весною Грановскій задумывалъ работы на лѣто и осень. Лѣто онъ провелъ въ воронежской деревнѣ, у родственниковъ. Тутъ онъ работалъ надъ учебникомъ, составилъ представленную министру и разобранную уже нами записку объ ослабленіи классическаго преподаванія въ гимназіяхъ, написалъ для „Магазина землевѣдѣнія и путешествій“ теплый некрологъ Фролова. Онъ жадно слѣдилъ за военными событіями, съ грустью наблюдая разореніе юга Россіи, вслѣдствіе затянувшейся войны, и воочию видя вопіющій хаосъ въ мѣстной военной администраціи, злоупотребленія при поставкѣ продовольствія въ армію, при составленіи ополченія. „Еще годъ войны, и вся южная Россія разорена,—писалъ онъ, подъ впечатлѣніемъ всего видѣннаго и слышаннаго, уже изъ Москвы Кавелину:—надобно самому съѣздить да посмотрѣть, что тамъ дѣлается. Когда правительство требуетъ копейку, мѣстное начальство распорядится такъ, что заставитъ народъ заплатить три, и все это бессмысленно и подло!“ Надежды на новаго государя смѣнялись въ немъ снова мрачными ми-

* Панаевъ: „Литер. воспоминанія“, стр. 240.

нутами отчаянія въ будущности Россіи. Но эти минуты въ это послѣднее лѣто не обращались уже въ цѣлыя полосы безнадежной хандры. Воспоминаніями, планами, мечтами онъ дѣлился съ окружающими его, почти всегда одинаково ровный и спокойный, входя въ интересы другихъ и заражая припадками веселости. Задушевныя бесѣды о литературѣ, исторіи, сновъ поэтическія мечтанія, напоминавшія идеалистическое настроеніе его молодости, заполняли его свободное время. Свободное *far niente* смѣняло работу, и снова облегченный и освѣженный, онъ бодро принимался за трудъ.

Но и болѣзнь не прекращала своей разрушительной работы, — и лѣто не обошлось безъ мучительныхъ припадковъ. Оправившись, Грановскій спѣшилъ въ Москву, гдѣ его ожидало новое свиданіе съ министромъ, переговоры объ учебникѣ, работа по новому распредѣленію преподаванія въ историко-филологическомъ факультетѣ и т. д. 24 августа 1855 г. началось послѣднее бомбардированіе Севастополя; 27 августа войска перешли на сѣверную сторону, оставивъ однѣ окровавленныя развалины. Это извѣстіе застало Грановскаго дорогою въ Воронежъ. „Вѣсть о паденіи Севастополя заставила меня плакать. А какія новыя утраты и позоры готовить намъ будущее. Будь я здоровъ, я ушелъ бы въ милицію, безъ желанія побѣды Россіи, но съ желаніемъ умереть за нее. Душа наболѣла за это время. Здѣсь всѣ порядочные люди поникли головами“.

„Хотя бы мы умѣли воспользоваться этимъ страшнымъ урокомъ, какъ пруссаки—іенскимъ пораженіемъ“, — писалъ Тургеневъ С. Т. Анненкову 5-го сентября 1855 г., выражая настроеніе всѣхъ, ждавшихъ обновленія Россіи*.

Зато, между Тулой и Москвой, у Грановскаго была встрѣча, глубоко и свѣтло подѣйствовавшая на него. На одной станціи онъ вошелъ въ почтовый домъ. Здѣсь его узнали офицеры проходившаго на югъ нижегородскаго ополченія, бывшіе его слушатели, и радостно окружили его. „Ни одинъ изъ проживающихъ въ Нижегородской губерніи воспитанниковъ московскаго университета не уклонился отъ выборовъ въ ополченіе, — сказала растроганному Грановскому одинъ изъ нихъ:—

* „В. Евр.“, 1894, II, 492, февр.

мы всё пошли. Зато другіе надъ нами смѣялись“. „Я гордился въ эту минуту званіемъ профессора московскаго университета“,—замѣчаетъ Грановскій. Съ восторгомъ жали эти люди руки бывшему своему учителю, говорили ему о глубокомъ нравственномъ слѣдѣ, какой оставила въ нихъ память о немъ, толпою проводили его до экипажа и горячо разстались съ нимъ.

Какъ Грановскій началъ свой послѣдній, оставшійся неоконченнымъ, курсъ, объ этомъ рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ г. Обнинскій. „Первое впечатлѣніе не оправдало ожиданій: передъ нами сидѣлъ пожилой господинъ съ круглымъ брюшкомъ, огромною лысиной, красный и толстый, сидѣлъ неподвижно, молчалъ и отдувался. Началъ онъ лекцію тихо, шепелявымъ голосомъ, присюсюкивая; вся фигура выражала собою не то апатію, не то усталость. Но это впечатлѣніе исчезло очень скоро, съ первыхъ же фразъ, отрывочныхъ, нерѣдко безсвязныхъ, произносимыхъ съ долгими интервалами и тяжелыми вздохами. Передъ аудиторіей, какъ бы застывшей въ глубочайшемъ вниманіи, стали понемногу развертываться, одна за другою, картины средневѣковой жизни, исполненныя смысла и красоты... Чѣмъ дальше говорилъ знаменитый профессоръ, тѣмъ дальше отодвигалась окружающая дѣйствительность; онъ уводилъ свою аудиторію въ сѣдую глубь вѣковъ, воскрешалъ передъ нею минувшіе идеалы, оживлялъ въ чарующихъ образахъ давно сошедшіе со сцены типы, а надо всѣмъ этимъ какъ-то незамѣтно, сами собою, вставали въ сердцахъ слушателей великія начала человѣчности, свѣта, правды и добра“*. Большой и постарѣвшій, Грановскій до конца сохранилъ, такимъ образомъ, въ цѣлости даръ овладѣвать умомъ и чувствомъ слушателей.

Лекціи и университетскія дѣла сильно заняли его немедленно по пріѣздѣ въ Москву.хлопоты и разъѣзды задерживали его работу надъ учебникомъ, и въ то же время онъ не терялъ изъ виду литературу, готовясь къ усиленной работѣ. Цензурныя условія теперь становились уже легче. Газеты и журналы получили лѣтомъ разрѣшеніе печатать политическія обозрѣнія; „Современникъ“ печаталъ корреспонденціи

* „Изъ воспоминаній юриста“, г. Обнинскаго. „Р. Архивъ“, 1892 г., № 1.

изъ Севастополя; Катковъ и Леонтьевъ дѣятельно хлопотали объ изданіи „Русскаго Вѣстника“; славянофилы, со своей стороны, принимались за „Русскую Бесѣду“. Показателемъ общественнаго оживленія была литература рукописныхъ записокъ, ходившихъ по рукамъ, все размножавшаяся. Даже у Погодина, написавшаго рядъ „политическихъ писемъ“ о внѣшней и внутренней политикѣ русской, развязался языкъ, и льстивый, холопскій въ „Москвитянинѣ“, онъ бывалъ безпощадно рѣзокъ въ письмахъ. По рукамъ ходила между прочимъ и чья-то записка объ освобожденіи печати; ее приписывали Грановскому, что показываетъ, какъ смотрѣли на него въ либеральныхъ кругахъ. И Грановскій, увлеченный общимъ оживленіемъ, почувствовалъ въ себѣ прежнюю литературную и полемическую жилку. „Эти люди противны мнѣ, какъ гробы,—писалъ онъ о славянофилахъ, въ настроеніи литературнаго бойца, за два дня до смерти, Кавелину:—отъ нихъ пахнетъ мертвечиной. Ни одной свѣтлой мысли, ни одного благороднаго взгляда. Оппозиція ихъ бесплодна, потому что основана на одномъ отрицаніи того, что сдѣлано у насъ въ полтора столѣтія новѣйшей исторіи. Я до смерти радъ, что они затѣяли журналъ... Я радъ, потому что этому воззрѣнію надо высказаться до конца, выступить наружу во всей красотѣ своей. Придется поневолѣ снять съ себя либеральныя украшенія, которыми морочили они дѣтей. Надобно будетъ сказать послѣднее слово системы, а это послѣднее слово—православная патріархальность, несомвѣстная ни съ какимъ движеніемъ впередъ“.

Въ концѣ сентября воспаленіе венъ ноги заставило его слечь. Болѣзнь казалась совершенно неопасною, и онъ сносилъ ее нетерпѣливо, порываясь къ задержанной работѣ. Онъ обдумывалъ рядъ „историческихъ писемъ“ на темы, которыхъ коснулся въ рѣчи „о современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи“; снова собирался заняться „городомъ въ древней, средней и новой исторіи“. Въ то же время онъ разработалъ съ Кудрявцевымъ проектъ историко-литературнаго періодическаго сборника. Теперь Грановскій оставилъ скромный планъ изданія переводовъ историческихъ сочиненій, который не удался въ 1849 г., и ставилъ себѣ болѣе ши-

рокую задачу. Онъ видѣлъ теперь полную возможность подъ эластическимъ словомъ „историческій“ касаться самыхъ жизненныхъ вопросовъ и сдѣлать сборникъ или журналъ интереснымъ и съ современной точки зрѣнія. Программа журнала указывала на необходимость изученія русской исторіи въ связи со всеобщемою; предполагалось, кромѣ переводовъ и подробныхъ отчетовъ о новинкахъ по исторіи, печатать критико-литературныя статьи, статьи по исторіи искусствъ, ибо „въ художественной дѣятельности иногда находятъ себѣ отраженіе лучшія стремленія вѣка“, и т. д. Сборникъ долженъ былъ стать, словомъ, журналомъ историко-литературнымъ и общественнымъ; программа его напоминаетъ „Вѣстникъ Европы“ въ первое время изданія этого журнала, когда въ немъ отсутствовала беллетристика. За два дня до смерти Грановскій одобрилъ эту программу и собирался лично ѣхать въ Петербургъ въ декабрѣ для хлопотъ о разрѣшеніи*.

Мы видѣли только что, какъ говорилъ онъ въ это время о славянофилахъ. Въ такомъ же задорномъ духѣ отозвался онъ въ письмѣ, которое диктовалъ лежа, больной, о Герценѣ, изданія котораго уже начинали сильно расходиться въ Россіи. Грановскій былъ болѣе всего недоволенъ сотрудниками Герцена и его руссофильствомъ, и писалъ даже, что такъ и чешутся руки отвѣчать печатно въ его же изданіи. Въ томъ же письмѣ онъ подсмѣивался надъ политическими письмами Погодина, и въ томъ же духѣ, въ какомъ въ Петербургѣ недавно громилъ Москву, полусутоливо, полусерьезно увѣрялъ, что „не только Петръ Великій былъ бы намъ полезенъ теперь, но даже и палка его, учившая русскаго дурака уму-разуму. Со всѣхъ сторонъ бѣда; нехорошо и снаружи, и внутри, а ни общество, ни литература не отзываются на это положеніе разумнымъ словомъ. Московское общество страшно возстаетъ противъ правительства, обвиняетъ его во всѣхъ неудачахъ и при томъ обнаруживаетъ, что стоитъ несравненно ниже правительства по пониманію вещей. На дняхъ—здѣшніе сенаторы выражали сильное негодованіе за извѣстіе о Корфѣ**.“ „Какъ можно,—говорятъ они,—такъ ком-

* „Русск. Старина“, 1886 г., августъ.

** Уланская резервная дивизія Корфа, попавшаго-таки подъ судъ,

прометировать генерала!“ Вообще наша публика боится гласности“. Грановскій въ скептическомъ отношеніи къ обществу проявилъ немалую проникаемость: извѣстно, что реформы шестидесятихъ годовъ прошли далеко не въ такомъ полномъ и широкомъ видѣ, какъ предположено было сначала, именно благодаря воплямъ реакціонеровъ и крѣпостниковъ, опиравшихся на косную массу общества, равнодушно или враждебно смотрѣвшаго на реформы.

Ничто не предвѣщало трагической развязки. 3-го октября Грановскій просмотрѣлъ послѣднюю часть статьи о чтеніяхъ Нибура, помѣщенной въ „Прописяхъ“. Онъ остался ею доволенъ и сказалъ женѣ съ улыбкою: „а знаешь, Лиза, эту статью писалъ не глупый человѣкъ“. На другой день больной читалъ, бесѣдовалъ съ многочисленными посѣтителями, которые являлись осведомиться о его здоровьѣ, шутили, такъ что всѣ надѣялись на скорое выздоровленіе. 4-го октября онъ съ утра спокойно читалъ съ карандашомъ въ рукахъ для отмѣтокъ, пока вдругъ не почувствовалъ утомленія. Говоря съ женой о публичномъ курсѣ, который намѣренъ былъ прочитать зимою, онъ ожидалъ нѣсколькихъ студентовъ, приглашенныхъ на обѣдъ. Вдругъ онъ опустился на изголовье постели: его поразилъ нервный ударъ. Послѣднее его слово было къ женѣ: „Бѣдная!“—произнесъ онъ, цѣлуя ея руку, и впалъ въ забытѣе. Немедленно прибылъ врачъ, но Грановскій былъ уже въ агоніи и скоро скончался, все держа руку жены въ холодѣющей рукѣ своей.

Печальная вѣсть быстро облетѣла городъ; ей не вѣрили: всякій спѣшилъ къ дому Грановскаго въ тайной надеждѣ, что это ошибка... Въ университетѣ остановились лекціи. Профессора, студенты, знакомые и незнакомые тѣснились въ квартиру покойнаго. Смерть заставила забыть вражду и нерасположеніе къ Грановскому и его недруговъ. Проф. Бодянский, человѣкъ, не принадлежавшій, какъ мы знаемъ, къ числу поклонниковъ Грановскаго, въ числѣ другихъ бросился ко гробу и засталъ у тѣла Грановскаго такую сцену:

даже въ пословицу вошла грабительствомъ солдатъ и населенія, какъ объ этомъ сообщаетъ И. Аксаковъ (Ш т. переписки, 269).

„Жена сидѣла подлѣ него и, положивши лѣвую руку на его руки, вперила въ него глаза свои и не замѣчала никого. Это до того поразило меня,—пишетъ Бодянский,—что я не могъ и пяти минутъ перенести: слезы брызнули ручьемъ отъ такой безмолвной, глубоко-сосредоточенной въ высшей степени горести, и я отъ всей души пожелалъ ей слезъ, которыя могли бы облегчить ее и, можетъ быть, и спасти“ *.

„Московскій университетъ, наука, общество — понесли горестную, невознаградимую утрату... — писалъ М. Катковъ въ некрологѣ, появившемся въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ отъ 6-го октября.

„Тѣмъ тяжелѣе этотъ ударъ, чѣмъ онъ неожиданнѣе. Кто зналъ покойнаго, — и кто же здѣсь не зналъ его? — тотъ пойметъ всю силу нашей потери, всю глубину нашей скорби.

„Смерть похитила его во цвѣтѣ силъ, посреди поприща, на которомъ онъ такъ прекрасно, такъ благотворно, такъ славно дѣйствовалъ!.. Въ многочисленныхъ слушателяхъ Тимоея Николаевича, разсѣянныхъ во всей Россіи, скорбно отзовется эта вѣсть. Всѣ они хранятъ въ себѣ прекрасный образъ своего наставника и высокую поэзію его уроковъ. Московское общество стекалось на публичныя его лекціи и помнить это лицо, столь выразительное, запечатлѣнное думою, и этотъ тихій, глубокій, проникавшій въ душу голосъ, и эту рѣчь, столь оживленную, столь изящную. Онъ былъ созданъ для своей науки... Какъ историкъ, онъ, въ созерцаніи человѣческихъ дѣлъ, преимущественно одушевлялся идеалами нравственной красоты и видѣлъ въ своей наукѣ могущественное средство для воспитанія нравственнаго чувства. Онъ былъ исполненъ любви; мысль его была рыцарски великодушна. Строго отдѣляя добро отъ зла въ человѣческихъ дѣйствіяхъ, онъ не отказывалъ въ своемъ участіи погрѣшившимъ. Въ каждомъ явленіи онъ умѣлъ находить положительную сторону, и, сочувствуя торжеству побѣды, онъ не присоединялся къ восклицавшимъ: *vae victis!* но съ симпатическою грустью, съ чувствомъ примиренія и любви подавалъ руку побѣжденнымъ; историческія катастрофы не помрачали въ его глазахъ

* „Сборникъ общества любителей россійской словесности на 1891 г.“, М., 1891 г., стр. 134.

нравственного достоинства побуждений и дѣйствій. Таковъ онъ былъ и въ жизни, среди близкихъ и друзей... Къ сожалѣнію, онъ писалъ мало, и все написанное имъ, какъ ни драгоценно, не можетъ дать и малѣйшаго понятія о томъ богатствѣ, которое заключалось въ его природѣ, и которое расточалъ онъ въ окружавшей его средѣ. Домъ, гдѣ жилъ покойный, съ утра до ночи наполняется прибывающими отдать ему послѣдній долгъ... Родные, друзья, товарищи и слушатели покойнаго постоянно окружаютъ его гробъ... Да покоится же съ миромъ искренне оплаканный прахъ твой, возлюбленный товарищъ! Ты жилъ недаромъ и переселился въ лучший міръ, совершивъ земной подвигъ свой честно и вѣрно“.

Люди, знавшіе Грановскаго только по слухамъ и по печатнымъ его статьямъ, присоединяли свой голосъ къ выраженію скорби со стороны лицъ, лично на себѣ испытавшихъ его вліяніе.

„Впечатлѣніе живо—могила свѣжа,—писалъ кто-то, не знававшій лично Грановскаго, въ „С.Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“.—Русская историческая наука лишилась великаго дѣятеля: почилъ отъ земныхъ трудовъ своихъ профессоръ всеобщей исторіи московскаго университета, Т. Н. Грановскій. Жизнь ученаго профессора принадлежитъ безспорно тому городу, гдѣ онъ совершалъ свое высокое призваніе. Москва счастлива тѣмъ, что на ея долю Провидѣніе послало Грановскаго; въ московскомъ университетѣ онъ началъ свои оживленныя лекціи, и его слушатели достойно оцѣнили высокое призваніе своего профессора. Теперь, послѣ его смерти, отовсюду слышатся дорогія мысли о немъ; всюду сказывается печаль о покинувшемъ насъ такъ рано нашемъ любимцѣ. Да, Москва, какъ родная ему, какъ присутствовавшая при его духовномъ откровеніи, какъ свидѣтельница его животворныхъ успѣховъ, пусть первая его оплакиваетъ; но онъ принадлежитъ и всей Россіи. Въ другихъ университетахъ съ восторгомъ читались статьи его; во всѣхъ образованныхъ кружкахъ нашего обширнаго отечества имя его было извѣстно, а журнальныя статьи его возбуждали только желаніе видѣть ихъ продолженіе, что не всегда, однако, сбывалось. Съ какимъ восторгомъ прочитываемы были его сочиненія! Въ нихъ ис-

крилась жизнь. Мы не знали Грановскаго, но могли по его сочиненіямъ угадать въ немъ высокую личность "... Примѣняя къ Грановскому его характеристику аббата Сугерія, авторъ говорилъ: „Онъ принадлежалъ къ числу рѣдкихъ людей, которые знаютъ хорошо, чего хотятъ, которые отдали себѣ полный отчетъ въ своихъ цѣляхъ и намѣреніяхъ. Благо тому, кто соединилъ въ себѣ такую ясность пониманія съ высокимъ нравственнымъ убѣжденіемъ, безъ котораго нѣтъ прочной исторической заслуги“. Вотъ оцѣнка исторической личности, какою былъ и самъ покойный профессоръ... Не исчезла съ нимъ его мысль, пережила она брѣнное тѣло и своимъ могучимъ полетомъ увлекла его многочисленныхъ приверженцевъ. Не умеръ Грановскій,—онъ живетъ и въ той школѣ исторической, которую основалъ въ Москвѣ, онъ живетъ въ нашихъ мысляхъ, онъ будетъ жить, пока будетъ существовать въ Россіи самобытная историческая русская наука. Благодаримъ тебя, великій труженикъ науки, герой мысли, гений вдохновенія, благодаримъ за то теплое чувство, которымъ ты согрѣлъ насъ, за ту божественную искру сочувствія къ человечеству, которую ты оставилъ намъ въ наслѣдіе!“

Если такъ писалъ человѣкъ, никогда не слыхавшій рѣчи Грановскаго, то понятно, какъ сильно было чувство скорби въ его слушателяхъ, разсѣянныхъ въ провинціи. Одинъ изъ нихъ писалъ въ „Московскія Вѣдомости“: „Печальная вѣсть о внезапной смерти Т. Н. Грановскаго дошла и до насъ, жителей провинціи, давно разлученныхъ съ Москвою и университетомъ, но свято хранящихъ въ душѣ дорогія воспоминанія университетской жизни. Нѣтъ нужды говорить о глубокой искренней скорби, съ которою принято нами это извѣстіе; всякій, кто зналъ покойнаго профессора, кто былъ некогда его слушателемъ, понимаетъ и раздѣляетъ это чувство... Далеко отброшенные судьбою отъ нашей alma mater, мы не переставали съ участіемъ и любовію слѣдить за жизнью родного намъ университета, за дѣятельностію любимыхъ и чтимыхъ наставниковъ; съ радостію видѣли мы, какъ имя Грановскаго сдѣлалось извѣстнымъ не одной Москвѣ, но и всей Россіи, съ наслажденіемъ читали рѣдкіе и отрывочные труды его, появлявшіеся въ журналахъ и сборникахъ; мы ждали и

надѣялись, что съ полнымъ развитіемъ и зрѣлостью силъ наступило для Грановскаго время подѣлиться со всею русскою публикой результатами многолѣтнихъ трудовъ своихъ... Не суждено было сбыться этимъ надеждамъ: во цвѣтѣ силъ, въ настоящей порѣ разумной дѣятельности застигла Грановскаго смерть. Искреннею слезою и добрымъ словомъ почтутъ прахъ любимаго профессора всякій изъ учениковъ его. Уваженіе и любовь къ покойному сохраняются неизмѣнно и по смерти его во всѣхъ благородныхъ сердцахъ. Утѣшимся въ этой потерѣ тѣмъ, что недаромъ, не безъ слѣда прошла жизнь, посвященная наукѣ и преподаванію: стремленіе къ истинѣ, любовь къ добру, сочувствіе ко всему благородному и высокому вынесли съ лекцій Грановскаго тысячи его слушателей“ *.

Самыя похороны Грановскаго, состоявшіяся 6-го октября на Пятницкомъ кладбищѣ, были высоко знаменательны: Грановскаго провожало и чествовало его память все общество, не только друзья и университетъ.

„Ничья смерть такъ сильно не поражала университета съ незапамятнаго времени, какъ смерть его, — говоритъ Бодянский: — всѣ безъ исключенія были подъ гнетомъ ея; съ утра и до поздней ночи двери жилища его не затворялись. Только на третій день вынесли его въ университетскую церковь. Торжественность была полная, но и того полнѣе была она на слѣдующій день, когда хоронили его. Послѣ обѣдни, совершенной ректоромъ семинаріи Леонидомъ, и панихиды, профессора историко-филологическаго факультета, при помощи нѣкоторыхъ изъ другихъ, а также и самого попечителя (Назимова), вынесли гробъ его изъ церкви до сѣнныхъ дверей и сдали студентамъ, которые понесли его гробъ на своихъ рукахъ черезъ весь городъ на Пятницкое кладбище, разстояніемъ верстъ шесть. Путь былъ усыпанъ цвѣтами и лавровыми листьями. Давно наша столица не видала такихъ похоронъ, давно никого она такъ славно, такъ единодушно не чтитъ“... Сравнивая похороны Грановскаго съ недавними пышными, но холодно-официальными похоронами гр. Уварова, Бодянский добавляетъ: „Честь и благодарность Москвѣ, умѣвшей понять, оцѣнить и отдѣлать истинныя заслуги отъ

* „Кончина Грановскаго“, „Русск. Вѣдомости“, 1895 г., № 273.

мнимыхъ (или, по крайности, взять во вниманіе и взвѣсить средства и дарованія... не увлекаясь громкостью роли), могшей почувствовать, какъ много требовалось истиннаго дарованія и умѣнія отъ покойника, чтобы возбудить къ себѣ такое повсемѣстное и единодушное сочувствіе“*.

„На древнихъ саркофагахъ встрѣчаемъ изображенія погребальныхъ процессій, изъ которыхъ можно узнать о значеніи покойника,—говорилъ С. Соловьевъ на университетскомъ актѣ слѣдующаго года, вспоминая Грановскаго:—если бы на надгробномъ памятникѣ Грановскаго можно было изобразить вполне скорбь, слезы многочисленной семьи чужихъ людей, то этотъ памятникъ далъ бы понятіе о значеніи человѣка, подъ нимъ скрытаго“.

„Похороны его были чѣмъ-то удивительнымъ и глубоко значательнымъ,—писалъ Тургеневъ:—онѣ останутся событіемъ въ памяти каждаго, участвовавшаго въ нихъ. Никогда не забуду я этого длиннаго шествія, этого гроба, тихо колыхавшагося на плечахъ студентовъ, этихъ обнаженныхъ головъ и молодыхъ лицъ, облагороженныхъ выраженіемъ честной и искренней печали, этого невольнаго замедленія между разбросанными могилами кладбища, даже тогда, когда все уже было кончено, и послѣдняя горсть земли упала на прахъ любимаго учителя... Одни и тѣ же ощущенія наполняли всѣхъ, высказывались во всѣхъ устахъ, во всѣхъ взорахъ; всѣмъ хотѣлось продлить ихъ въ себѣ, и расходиться было жутко... Всякое общее чувство, даже скорбное, связуя людей, возвышаетъ ихъ. Каждый изъ пришедшихъ на кладбище, къ какому бы направленію ни принадлежалъ онъ, слишкомъ хорошо зналъ, чего лишилась въ Грановскомъ русская жизнь и русская наука. Для душъ молодыхъ, еще не искушенныхъ, не утомленныхъ плоскою незначительностью житейскихъ дрягъ, такія ощущенія особенно благотворны; подъ наитіемъ ихъ сердце крѣпнетъ, и сѣмена будущихъ добрыхъ дѣлъ и доблестныхъ поступковъ зрѣютъ въ немъ... Дай Богъ, чтобы мы научились хотя эту пользу извлекать изъ нашихъ утратъ“**.

Въ запискахъ А. Аенасьева есть и еще дополнительныя

* Сборн. общ. люб. словесн. 1891 г., 134—135.

** „Два слова о Грановскомъ“.

свѣдѣнія объ „октябрьскихъ дняхъ“ 1855 г. Аванасевъ, подобно Бодянскому, не принадлежалъ къ числу поклонниковъ или друзей Грановскаго при жизни его. Подъ 4-мъ октября въ запискахъ Аванасева читаемъ: „Сегодня умеръ Т. Н. Грановскій, и умеръ ударомъ,—быстро, неожиданно... Смерть была спокойна, лицо сохранило задушевную красоту, исполненную мысли. И друзья, и знакомые, и студенты сильно огорчены. Студенты положили ему на голову вѣнокъ изъ лавровъ и миртовъ, окружили его изголовье бѣлыми камеліями; маска снята; Рамазановъ приготовляетъ бюстъ покойника; сняли съ него и фотографическій портретъ. Такого даровитаго профессора не скоро обрѣтетъ университет!“

Послѣ похоронъ Грановскаго, Аванасевъ занесъ въ свои записки слѣдующее: „О смерти Грановскаго помѣщены прекрасныя статьи въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“. На похоронахъ ярко высказалось общее къ нему сочувствіе. Студенты и друзья покойнаго убрали входъ и лѣстницу университетской церкви зеленью и цвѣтами; крышка гроба была увѣнчана гирляндой изъ цвѣтовъ и зеленымъ вѣнкомъ; въ могилу было брошено множество вѣнковъ. Послѣ похороннаго обѣда, въ тѣсной комнатѣ гостиницы (на Пятницкомъ кладбищѣ), при свѣтѣ сальной свѣчи, воткнутой въ пустую бутылку, профессора говорили рѣчи въ воспоминаніе объ умершемъ. Крыловъ сказалъ нѣсколько умныхъ словъ объ эстетическомъ достоинствѣ лекцій Грановскаго, производившихъ на всѣхъ его слушателей обаяніе, но упустилъ изъ виду, что не одна художественность образовъ, но и гуманное воззрѣніе придавало имъ такой большой авторитетъ между студентами... Кавелинъ, пріѣхавшій нарочно изъ С.Петербурга, припомнилъ о послѣднемъ письмѣ къ нему Грановскаго и о послѣднихъ его ученыхъ предположеніяхъ. Кудрявцевъ произнесъ нѣсколько задушевныхъ фразъ на могилѣ. Соловьевъ хотѣлъ сказать что-то, но расплакался, за нимъ много другихъ“...

На томъ же собраніи, послѣ похоронъ, говорилъ и Погодинъ: „Онъ былъ дорогъ многимъ, многимъ, получившимъ отъ него ободреніе, наставленіе, утѣшеніе, вспомошествованіе. Онъ былъ нуженъ намъ всѣмъ—своимъ характеромъ, своимъ словомъ, именемъ, нуженъ особенно теперь, когда предъ нами

открывается новый путь, и вдали занимается свѣтлая, нетерпѣливо ожидаемая заря!“ „Онъ имѣлъ еще одно горячее убѣжденіе—въ необходимости учиться, и я обращаюсь теперь къ молодому поколѣнію, меня окружающему: необходимость учиться, много учиться, никогда не ощущалась въ Россіи такъ настоятельно, какъ въ наше время... Ничѣмъ болѣе не можете вы засвидѣтельствовать вашего уваженія, вашей благодарности къ покойнику, ничѣмъ достойнѣе не можете почтить его имя, какъ ревностнымъ исполненіемъ этого его завѣщанія“.

Въ „Отеч. Зап.“ появилась прочувствованная статья П. Н. Кудрявцева: „Воспоминаніе о Т. Н. Грановскомъ“, посвященное ученикамъ его (сочин. Кудр., М., 1887 г., т. II, стр. 540—550).

„Каждому понятно и дорого въ немъ свое. Кто не можетъ довольно наговориться о его профессорской дѣятельности; кто съ особенной любовью вспоминаетъ его задушевную бесѣду въ тѣсномъ дружескомъ кругу; кто задумывается надъ чувствительною потерю, которую понесло въ немъ цѣлое общество; кто, наконецъ, оплакиваетъ въ немъ просто человѣка, котораго нельзя было не любить, зная его лично. Любили же его всѣ мы—друзья, товарищи и ученики разныхъ возрастовъ и поколѣній, и потому всѣ мы охотно присоединяемъ наши голоса къ счастливому напоминанію о немъ стихомъ древняго поэта, которое какъ будто само собою сказалося во время застольной бесѣды, бывшей послѣ погребенія, у одного изъ присутствовавшихъ,—такъ оно шло къ покойному Грановскому:

Quis desiderio sit pudor, aut modus
Tam cari capitis*?

„Там cari capitis!—повторили мы въ одинъ голосъ вслѣдъ за говорившимъ. Лучше нельзя было выразить истины нашего чувства“...

Еще два-три отклика личныхъ друзей Грановскаго.

„Такъ меня загубила и подрѣзала потеря Тимофея Ни-

* Horat. Satm. Od. XXIV. Это напоминаніе принадлежитъ М. П. Погодину. „Какая мѣра или стыдъ можетъ быть скорби по столь милой главѣ?“

колаевича, — писалъ Погодину Кавелинъ черезъ мѣсяцъ, — что половина меня съ нимъ умерла и руки отвалились. До сихъ поръ хожу, какъ шальной, и не могу удержаться отъ слезъ и сѣтованій при мысли, что онъ зароется въ землю“.

„Грустно поразила меня вѣсть о смерти Грановскаго, — вспоминаетъ Герценъ: — я шелъ въ Ричмондъ, на желѣзную дорогу, когда мнѣ подали письмо. Я прочиталъ его идучи и истины сразу не понималъ. Я сѣлъ въ вагонъ; письма не хотѣлось перечитывать, — я боялся его. Посторонніе люди, съ глупыми, уродливыми лицами, входили, выходили, машина свистѣла, — я смотрѣлъ на все и думалъ: „Да это вздоръ! Какъ? Этотъ человѣкъ во цвѣтѣ лѣтъ, онъ, котораго улыбка, взглядъ у меня предъ глазами, — его будто нѣтъ?..“ Меня клонилъ тяжелый сонъ, и мнѣ было страшно холодно. Въ Лондонѣ со мной встрѣтился А. Тальяндѣ; здороваясь съ нимъ, я сказалъ, что получилъ дурное письмо, и, какъ будто самъ только что услышалъ вѣсть, не могъ удержать слезъ. Мало было у насъ сношеній въ послѣднее время, но мнѣ нужно было знать, что тамъ, вдали, на нашей родинѣ, живетъ этотъ человѣкъ. Безъ него стало пусто въ Москвѣ; еще связь порвалась!“

Огаревъ, посѣтившій могилу Грановскаго, вспоминалъ:

То было осенью унылой...
Средь урнъ надгробныхъ и камней
Свѣжа была твоя могила
Недавней насыпью своей.
Дары любви, дары печали —
Рукой твоихъ учениковъ
На ней разсыпаны лежали
Вѣнки изъ листьевъ и цвѣтовъ.
Надъ ней, суровымъ днѣмъ послушна, —
Кладбища сторожъ вѣковой, —
Сосна качала равнодушно
Зелено-грустною главою,
И рѣчка, берегъ омывая,
Волной безслѣдною вблизи
Лилась, лилась, не отдыхая,
Вдоль несмолкаемой стези...

* * *

Твоею дружбой не согрѣта,
Вдали шла долго жизнь моя,
И словъ послѣдняго привѣта
Изъ устъ твоихъ не слышалъ я.
Размовкой нашей недовольный,
Ты, можетъ, глубоко скорбѣлъ:

Обиды горькой, но невольной,
Тебѣ простить я не успѣлъ.
Никто изъ насъ не могъ быть злобенъ;
Никто, тая строптивый нравъ,
Былъ повиниться неспособенъ,
Но каждый думалъ, что онъ правъ.
И ѣхалъ я на примиренье:
Я жаждалъ искренно сказать
Тебѣ сердечное прощенье
И отъ тебя его принять...
Но было поздно...

Рѣдко такъ тѣсно сливаются въ воспоминаніяхъ объ умирающихъ дѣятеляхъ впечатлѣнія личной утраты друзей и сознаніе потери общественной, какъ то было при кончинѣ Грановскаго.

Въ сообщеніи „Моск. Вѣд.“ о похоронахъ справедливо замѣчено было, какъ и въ некрологѣ, написанномъ Тургеневымъ: „Съ памятью Грановскаго неразрывно будетъ связано и воспоминаніе о погребеніи его праха. При всемъ скорбномъ значеніи этого событія, въ немъ заключалось много возвышающаго душу, много отраднаго и свѣтлаго“. При этомъ въ письмѣ, приписываемомъ Мелѣгунову, одному изъ членовъ круга Грановскаго, тогда же указано было значеніе покойнаго, какъ дѣятеля общественнаго: „Грановскій былъ не только профессоръ, не только ученый,—онъ былъ однимъ изъ малочисленныхъ у насъ общественныхъ людей. Его публичныя лекціи, до сихъ поръ сохранившіяся въ живой памяти всѣхъ, кто имѣлъ счастье на нихъ присутствовать, его многостороннія общественныя связи возбуждали въ образованной публикѣ сочувствіе къ наукѣ, къ просвѣщенію, ко всему прекрасному и благородному современнаго общества. О Грановскомъ можно сказать, что онъ былъ историкомъ не одного прошедшаго, но и настоящаго. Для него такъ же важенъ, такъ же драгоцененъ былъ листокъ газеты, какъ и листокъ лѣтописи. Онъ не пренебрегалъ ничѣмъ и умѣлъ вездѣ находить живую струю исторической жизни. Я готовъ прибавить, что прошедшее всего болѣе имѣло цѣну въ его глазахъ по своему отношенію къ настоящему. Конечно, на все, говоренное имъ и публично, и въ частныхъ бѣсѣдахъ, онъ клалъ неизмѣнно печать изящнаго и чистаго; но едва ли можно утверждать, чтобы въ этомъ изящномъ и чистомъ заключались всѣ достоинства его словъ“

Однимъ изъ важныхъ, существенныхъ его преимуществъ было глубокое сочувствіе къ современному, ко всевозможнымъ успѣхамъ общественной жизни, понимаемой въ самомъ обширномъ смыслѣ. Грановскій сочувствовалъ всякому успѣху, гдѣ бы то ни было, въ какой бы ни было области человѣческой дѣятельности... Глубокимъ сочувствіемъ къ современному обществу были проникнуты всѣ его слова, и на публичныхъ лекціяхъ, и въ университетѣ, и въ разговорахъ съ друзьями. Этимъ-то сочувствіемъ согрѣвалъ онъ все, что выливалось изъ его души; и не однѣ прекрасныя формы его рѣчи, не одни изящныя образы, которые онъ одинъ умѣлъ вызывать изъ тѣни прошедшаго, приковывали вниманіе его слушателей и глубоко врѣзывались въ ихъ памяти, — нѣтъ, всѣ эти прекрасныя формы рѣчи и прекрасныя историческія образы были еще согрѣты скрытою, но вездѣ присущею теплотою глубокаго сочувствія къ настоящему, къ его успѣхамъ и надеждамъ. Помянувъ его, какъ профессора и ученаго, помянемъ его, какъ общественнаго русскаго человѣка*.

Но, быть можетъ, потому, что общественное значеніе Грановскаго такъ бросилось въ глаза въ эти скорбные дни, быть можетъ, именно потому не обошлось безъ рѣзкой нотки диссонанса.

Взрывъ скорби и выраженія ея показались неумѣстными, неприличными... На другой день послѣ похоронъ, „попечитель, — рассказываетъ въ своемъ дневникѣ проф. Бодянский, — призвавши въ одну изъ аудиторій декановъ, нѣсколькихъ профессоровъ и студентовъ, сталъ выговаривать имъ за вѣнки (лавровые), которыми наканунѣ забросали Грановскаго при опущеніи въ могилу гроба его. „Это обычай рѣшительно языческій, противный нашей церкви. Какойнибудь аеинскій ареопагъ или римская академія могли это дѣлать, но намъ, хри-

* „Кончина Грановскаго“, „Рус. Вѣдом“, 1895, № 273. „Замѣтили ли вы, — писалъ А. С. Хомяковъ Ю. Самарину, — въ статьѣ о Грановскомъ похвалу ему, какъ общественному русскому человѣку? Похвала эта была совершенно несправедлива въ отношеніи къ нему; но очень важно то, что это смѣли сказать и напечатать. Царство Николая кончилось. Бѣдный Грановскій! Вы вѣрно о немъ пожалѣли. Миѣ очень жаль его, хоть и знаю, что онъ себя пережилъ... Но жаль въ немъ прекраснаго таланта, благороднаго сердца и любви къ просвѣщенію, и способности согрѣвать другихъ. Жаль добраго врага“. Барсуки, XIV, 194.

стіанамъ, такія дѣла неприличны“. Эта странная нотація у свѣжей еще могилы — выраженіе того, что съ Грановскимъ никакъ не хотѣли помириться... *.

Какъ бы ни смотрѣли иные на эту кончину, въ обществѣ, съ которымъ нераздѣльно слилъ свое имя Грановскій, во всѣхъ концахъ Россіи она отозвалась одинаково. Журналы и газеты, безъ различія направлений, долго наполнялись некрологами и скорбными воспоминаніями о немъ. „Въ память Грановскаго“ Кавелинъ принялся за составленіе проекта освободительныхъ реформъ. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ въ память его раздавались подаванія: такъ, въ Харьковѣ въ лазаретѣ, гдѣ лѣжились раненые, было прислано значительное денежное приношеніе „отъ Грановскаго“. Долго памяти его посвящались выдающіяся ученые сочиненія **.

* Могила Грановскаго находится на юго-восточной окраинѣ Пятницкаго кладбища, въ такъ называемомъ пятомъ разрядѣ, и расположена на довольно обширной 4-хъ-угольной площадкѣ (24 $\frac{1}{2}$ × 21 аршинъ), обнесеной изгородью изъ двухъ рядовъ деревянныхъ перекладинъ, прикрѣпленныхъ къ деревяннымъ столбамъ, съ небольшою калиткой съ западной стороны отъ „дорожки Грановскаго“, близъ сѣверо-западнаго угла площадки. Восточный обрывистый край этой послѣдней укрѣпленъ, во избѣжаніе обваловъ, невысокой каменной кладкой. На самой срединѣ площадки водруженъ высокій обелискъ изъ рябого коричневаго гранита, поставленный на 4-гранную дымчатаго цвѣта колонну. Колонна покоится на сѣрой каменной плитѣ, лежащей на такой же другой, нѣсколько большаго размѣра. На отполированной поверхности верхней части четырехъ граней обелиска видны черныя пятна отъ выкрошившихся кусочковъ гранита. На сѣверной сторонѣ колонны, поддерживающей обелискъ, надписи крупными золотыми буквами гласить:

Тимошею Николаевичу

Грановскому

(10 марта 1813—4 окт. 1855)

Студенты

Московскаго Университета.

На противоположной (южной) сторонѣ такими же буквами изображено:

Елизавета Богдановна

Грановская.

(11 декабря 1824—19 апрѣля 1857).

Золото надписей поблекло и вытерлось. Въ этой же оградѣ—могилы М. С. Щепкина, А. Н. Аванасьева, Н. Х. Кетчера, М. Ѳ. Корша и друг.— „Русск. Вѣдом.“, 1895 г., № 274.

** Слушателями и учениками Грановскаго, считавшими себя въ долгу предъ нимъ, были, между прочимъ, его товарищи по наукъ: П. Н. Кудрявцевъ, С. В. Ешевскій, И. К. Бабстъ, В. Н. Чичеринъ, К. Д. Кавелинъ, С. М. Соловьевъ, К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, Н. С. Тихонравовъ, И. Е. Забѣлинъ и др. Имя Грановскаго съ уваженіемъ неизмѣнно упоминается во всѣхъ біографіяхъ дѣятелей послѣдующей эпохи, побывавшихъ въ московскомъ университетѣ 40-хъ и 50-хъ годовъ (К. Д. Ушинскій, К. Т. Солдатенковъ, Н. П. Коллюпановъ и мн. др.).

Онъ умеръ въ самомъ началѣ новой эпохи, которое сулило уже осуществленіе дорогихъ надеждъ и задушевныхъ стремленій юности его, молодости и зрѣлыхъ лѣтъ. Въ обществѣ чувствовалось уже то приподнятое настроеніе, которое такъ прекрасно передано И. Аксаковымъ:

День встаетъ, багрянъ и пышенъ;
Долгой ночи скрылась тѣнь,
Новой жизни трепеть слышенъ,
Чѣмъ-то вѣщимъ смотреть день!
Съ сонныхъ вѣждъ стряхнувъ дремоту,
Бодрой свѣжести полна,
Вышла, съ Богомъ, на работу
Пробужденная страна.

Такъ торжественно, прекрасно
Блещетъ утро на землѣ;
На душѣ свѣтло и ясно,
И не помнится о злѣ,
Объ истекшихъ дняхъ страданья,
О потратѣ многихъ силъ
Въ скорбныхъ мукахъ ожиданья,
Въ безвременности могиль!

Начинались „шестидесятые годы“, и прежде всего симпатіи общества обращались къ тѣмъ, кто въ „сороковые годы“ первый провозгласилъ освободительные идеалы, нынѣ готовые перейти въ жизнь. Гоголевскій періодъ русской литературы получалъ уже въ извѣстныхъ статьяхъ Чернышевскаго свое историческое истолкованіе *, а съ нимъ и весь періодъ сороковыхъ годовъ. Грановскій занималъ въ немъ такое видное мѣсто, что одного этого обстоятельства достаточно, чтобы понять и объяснить всю острую горечь для общества смерти Грановскаго именно въ этотъ моментъ, не говоря о той симпатіи, которою онъ пользовался, какъ человѣкъ и профессоръ. Онъ сдѣлалъ уже такъ много, — вся его дѣятельность была на глазахъ общества, — что ждали еще боль-

* Вспоминая Бѣлинскаго въ послѣднее время своей жизни, Грановскій высказывалъ мнѣніе, что, принимая во вниманіе уровень и размѣры умственнаго и нравственнаго состоянія современнаго Бѣлинскому русскаго общества, можно сравнивать значеніе его дѣятельности для послѣдняго со значеніемъ дѣятельности Лессинга для современной ему Германіи (А. Станкевичъ, Грановскій, т. I, стр. 110). Этотъ взглядъ высказанъ и у Чернышевскаго.

шаго, и онъ самъ своимъ оживленіемъ, казалось, обѣщала оправдать эти всеобщія надежды и ожиданія. Смерть разрушила ихъ, но Грановскій сошелъ въ могилу, озаренный отблескомъ догорѣвшей вечерней зари того времени, когда онъ былъ во цвѣтѣ молодыхъ силъ и таланта, и первыми робкими лучами зари новой эпохи, по которой болѣло и томилось его сердце такъ долго и такъ напрасно...

XIV.

Заключеніе.

„Передъ нами прошло одно изъ тѣхъ прекрасныхъ жизненныхъ явленій, надъ которыми стоитъ задуматься въ поученіе самимъ себѣ“ (Кудрявцевъ).

Возсоздавая жизнь Грановскаго въ реальной бытовой ея обстановкѣ и оцѣнивая плоды его трудовъ, мы не могли иногда не относиться критически къ его взглядамъ. „Онъ самъ училъ насъ повѣрять наши чувства сознательною мыслью“ (Кудрявцевъ), и въ этомъ наше оправданіе. Нельзя при этомъ не сказать, что нѣкоторыя особенности взглядовъ Грановскаго, безъ сомнѣнія, были бы поводомъ къ столкновеніямъ для Грановскаго весьма тяжелымъ, если бы смерть не застала его такъ неожиданно. Наибольшей популярности онъ достигъ уже въ половинѣ сороковыхъ годовъ, и къ этому періоду относятся наиболѣе важныя заслуги его въ исторіи развитія западныхъ идей. Въ пятидесятые годы, когда онъ въ глазахъ общества остался единственнымъ виднымъ представителемъ этихъ стремленій, популярность эта не уменьшилась, а въ послѣдніе мѣсяцы его жизни еще увеличилась, такъ какъ сороковые годы невольно идеализировались послѣ только что пережитой волны усиленной реакціи. Но едва ли популярность удержалась бы на той же высотѣ въ послѣдующій періодъ. Нечего и говорить, какъ восторженно встрѣтилъ бы Грановскій реформы прошлаго царство-

ванія, преобразившія Русь во многихъ отношеніяхъ до неузнаваемости; но врядъ ли бы онъ присоединился къ тѣмъ умственнымъ теченіямъ, которыя были неизбѣжнымъ спутникомъ духа, первоначально проникшаго эти реформы и до сихъ поръ, къ счастью, не совсѣмъ отошедшаго въ область преданій. Дѣло въ томъ, что Грановскаго не могли бы не шокировать тѣ нынѣ исторически совершенно понятныя рѣзкости, которыя ставились въ вину шестидесятымъ годамъ, а въ дѣйствительности были лишь шероховатой оболочкою здоровыхъ идей, органически развивавшихся изъ идей сороковыхъ годовъ. Мы видѣли уже, что Грановскій въ концѣ сороковыхъ годовъ имѣлъ съ Анненковымъ и Герценомъ столкновенія по поводу того, что они отрицательно относились къ западноевропейской либеральной буржуазіи (см. главу X); совершенно такъ же Тургеневъ осуждалъ Добролюбова за отрицательное отношеніе къ Кавуру. Возможно, что подобныя столкновенія между Грановскимъ и новыми дѣятелями публицистики были бы часты. Можно себѣ представить, напр., какъ вышутилъ бы Грановскаго Писаревъ за недовѣріе къ естественнымъ наукамъ, какъ къ элементу воспитанія. Нашлись бы и другіе поводы для враждебнаго отношенія къ Грановскому со стороны людей, стоявшихъ на той точкѣ зрѣнія, которая уже въ 1846 г. произвела охлажденіе между Герценомъ и Грановскимъ. И къ концу пятидесятихъ годовъ общественное значеніе дѣятельности Грановскаго представляется уже до извѣстной степени исчерпаннымъ: онъ умеръ въ дни лучшей своей славы, и мы сочтемъ нашу задачу исполненною, если намъ удалось вызвать предъ читателями образъ Грановскаго въ томъ свѣтломъ ореолѣ, какой окружалъ его въ глазахъ свидѣтелей его кончины.

Какъ живой человѣкъ и гражданинъ, волновавшійся всѣми вопросами современности, Грановскій и по сю пору близокъ и понятенъ намъ, особенно потому, что реакція освободительному движенію шестидесятихъ годовъ приходитъ, подобно всякой реакціи, къ повторенію задовъ. Показывать, чѣмъ въ дѣйствительности были эти зады, идеализируемые такъ часто съ самымъ безцеремоннымъ искаженіемъ исторической правды, является дѣломъ вполне своевременнымъ. Имѣя это въ виду,

мы и отвели сравнительно широкое мѣсто характеристикъ внѣшнихъ условий дѣятельности Грановскаго.

Мы старались показать, какъ отражались они на современникахъ. Съ одной стороны показное внѣшнее могущество оказалось въ концѣ концовъ мнимымъ, потому что прикрывало собою неприглядную картину возмутительнаго безправія, именовавшагося крѣпостнымъ правомъ, произвола, подкупности и распущенности многосложной бюрократіи, называвшихся порядкомъ, прикрывало картину, хорошо знакомую намъ по „Ревизору“ и „Мертвымъ душамъ“. Съ другой стороны система официальной народности тяготѣла тяжело надъ „живыми“ душами, надъ тѣми, кто не мирился съ общимъ уровнемъ жизни и мысли, кто такъ или иначе пытался проводить воззрѣнія, сложившіяся подъ влияніемъ книгъ и общественныхъ условий, менѣе стѣснительныхъ. Всѣ стороны тогдашней системы болѣе, чѣмъ на комъ либо другомъ, отзывались на Грановскомъ. „Ему бы слѣдовало жить совсѣмъ не среди нашего общества, — справедливо замѣчаетъ А. Скабичевскій. — Его могла бы удовлетворить только жизнь, полная одушевленнаго, разумнаго общественнаго движенія. Только среди общества политически-зрѣлаго талантъ его могъ бы вполне развернуться; конечно, и убѣжденія его могли бы выработаться и сдѣлаться болѣе твердыми и систематическими“ *.

Мы видѣли, въ дѣйствительности, какъ невозможность не то что широкой общественной дѣятельности, а даже изданія скромнаго журнала или заявленія воззрѣній въ публичныхъ курсахъ — опустошительно дѣйствовала на его нравственное состояніе, приближала его болѣе созерцательную, чѣмъ боевую, натуру — къ типу „лишняго человѣка“, вѣчно рефлектирующаго и изнаывающаго въ душевной пустотѣ.

„Лишний человѣкъ“! Значеніе всей эпохи не можетъ быть опѣнено съ достаточной ясностью, пока не задумаешься въ безотрадный смыслъ этого глубоко ироническаго словечка Тургенева. Какъ бы ни чувствовали себя порою „лишними“ Грановскій, Бѣлинскій, Герценъ, Тургеневъ и др., они все-таки умудрялись жить и дѣйствовать. Достаточно извѣстно, что все, чѣмъ такъ или иначе можетъ гордиться русское об-

* Сочиненія, т. I, стр. 524.

щество: литература, занявшая почетное мѣсто въ ряду европейскихъ литературъ, наука, — конечно, не та „русская“ наука, которую собирались насаждать въ эпоху 1848—1855 гг., даже не славянофильская наука, — зачатки общественнаго самосознанія, реформы 60-хъ гг., поразительныя по глубинѣ и значенію и осуществленныя правительствомъ лишь при содѣйствіи передовой части общества, — все это тѣсно связано съ жизнью, думами и проповѣдью людей сороковыхъ годовъ.

Учесть въ этомъ отношеніи заслуги того или другого изъ нихъ часто затруднительно. Мы видѣли, что единство мысли и настроенія въ кружкахъ не всегда позволяетъ отличить, кому собственно принадлежитъ та или другая общественно плодотворная мысль, кто первый формулировалъ то или иное настроеніе. Часто приходится довольствоваться указаніемъ, что мысль точно сама собою возникла въ цѣломъ кружкѣ. Относительно Грановскаго можно сказать, что признаніе имъ роли личности въ исторической и общественной жизни, защита интересовъ и самостоятельности науки и литературы предъ обществомъ и властями противъ нападковъ со стороны невѣжественныхъ защитниковъ тогдашняго status quo, признаніе необходимости для Россіи подвергнуться культурно-общественному вліянію западно-европейской жизни, науки и литературы — все это объединяло Грановскаго съ другими западниками. Но онъ и самъ внесъ не мало въ развитіе у насъ западническихъ или, точнѣе, западно-европейскихъ либерально-гуманистическихъ идей. Какъ и Герценъ, онъ протестовалъ противъ односторонняго пониманія гегелевской философіи и наравнѣ съ нимъ содѣйствовалъ повороту мысли Бѣлинскаго съ друзьями отъ абстракцій къ реальнымъ жизненнымъ явленіямъ. Онъ первый заявилъ съ кафедры предъ обществомъ цѣльное міровоззрѣніе, которое къ дѣйствительности предъявляло требованіе весьма существенныхъ измѣненій. „Прежде всего челоувѣчность“, — сказалъ Грановскій, и за одно это слово о немъ никогда не забудутъ въ Россіи“ (П. Виноградовъ). Въ то время, когда славянофилы сами еще плохо раздѣляли свои взгляды отъ реакціонныхъ стремленій официальной народности, Грановскій, неустанно борясь съ этими стремленіями, по достоинству оцѣнилъ демократическую сторону славяно-

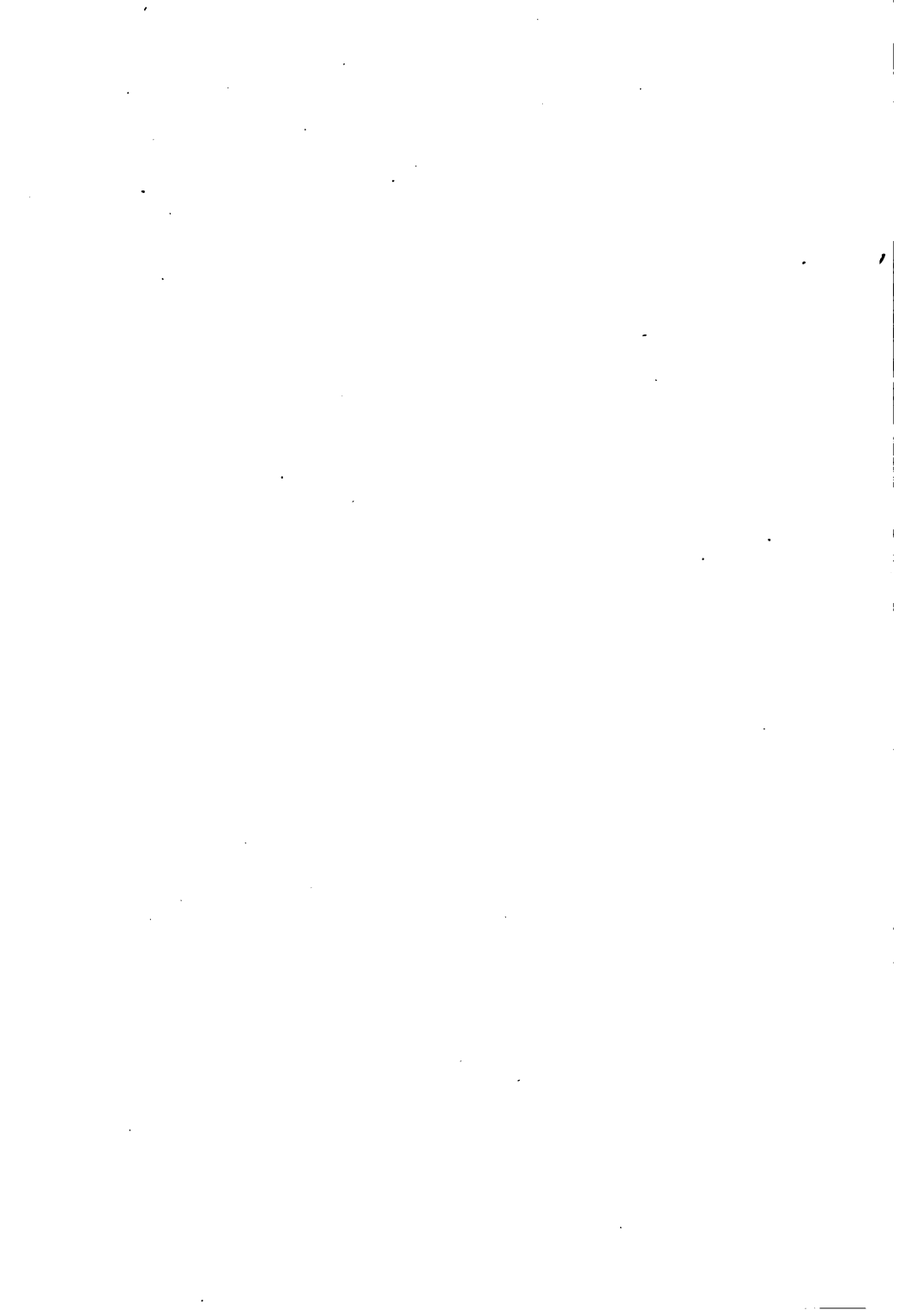
фильской идеи народности; хотя это и было сдѣлано лишь въ тѣсномъ кругѣ друзей, но новый взглядъ на задачи западничества не прошелъ незамѣченнымъ, а былъ налету подхваченъ и развитъ другими. Въ теченіе шестнадцати лѣтъ Грановскій былъ профессоромъ и успѣлъ создать за это время—болѣе, чѣмъ кто бы то ни былъ другой—прочныя традиціи въ профессорской средѣ. Эти традиціи тѣсной близости университета и общества, профессоровъ и студентовъ,—традиціи, при которыхъ нѣтъ мѣста казеннымъ отношеніямъ между профессорами и учащимся, и названіе университета—*alma mater*—не является пустою фразой,—были разнесены учениками Грановскаго, занимавшими не мало кафедръ, и въ другіе университеты, такъ что и понынѣ высшая честь профессору, если по вліянію и обаянію на студентовъ его сравнять съ Грановскимъ. Не будемъ, наконецъ, останавливаться на личномъ вліяніи его, на совершенно неопредѣлимомъ, но не незначительномъ воздѣйствіи его на людей всѣмъ своимъ существомъ, полнымъ живого участія ко всѣмъ нравственнымъ стремленіямъ и запросамъ ихъ, т. е. собственно на такъ называемой гуманности Грановскаго, того человѣка, „въ правоту ума и сердца котораго можно было безусловно вѣрить“, кто „былъ чистъ, какъ лучъ солнца, отъ всякой скверны нашей общественности“. Напомнимъ зато еще разъ о его литературномъ наслѣдствѣ, къ которому вполне примѣнимо латинское: „*non multa, sed multum*“. Говоря словами ученика Грановскаго, Кудрявцева, о его литературномъ наслѣдствѣ (Соч. т. I, стр. XVI): „У Грановскаго долго не перестанутъ учиться живому пониманію науки, разумному сочувствію лучшимъ человѣческимъ интересамъ, глубокому уваженію ко всему истинно великому, благородно-рыцарскому образу мыслей, простотѣ и вѣрности ученыхъ приемовъ, благородству и изяществу языка, всего же болѣе—неподкупности нравственнаго чувства“. И въ послѣдній разъ, вмѣстѣ съ читателемъ, обнимая мысленно время и жизнь Грановскаго въ ихъ цѣломъ, повторимъ слова Шекспира, взятые нами въ эпиграфъ:

„There is no time so miserable, but a man may be true“.

О Г Л А В Л Е Н И Е .

	<i>Стр.</i>
Предисловіе ко второму изданію	3
Изъ «Медвѣжьей охоты» Н. Некрасова. (Вмѣсто введенія)	6
Памяти Грановскаго. (Изъ студенческаго стихотворенія)	7
I. Дѣтство и юность; годы ученья	9
II. За-границей	29
III. Сороковые годы	59
IV. Грановскій, какъ историкъ	95
V. Грановскій въ университетѣ	146
VI. Грановскій въ интимной жизни.	170
VII. Грановскій въ кружкахъ сороковыхъ годовъ	179
VIII. Первый публичный курсъ Грановскаго	216
IX. Защита диссертациі Грановскаго	238
X. Грановскій и западники и славянофилы въ 1845 г.	262
XI. Грановскій въ концѣ сороковыхъ годовъ (1845—1848 гг.).	277
XII. Пятидесятые годы (1848—1855)	302
XIII. Последніе мѣсяцы жизни Грановскаго	347
XIV. Заключеніе	379





0163108/56

Stanford University Libraries



JM

3 6105 002 306 608

CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) 723-1493
grncirc@sulmail.stanford.edu
All books are subject to recall.

DATE DUE

MAY
JUN 3 8 2000
7 2000

